90 коп.

Индекс
70327

В ТРЕТЬЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

Академик Андрей САХАРОВ. Мир. Прогресс. Права человека (продолжение).

Даниил ГРАНИН. Нравственный пример.

Александр КУШНЕР. Стихи.

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Август Четырнадцатого (продолжение).

Стихи Галины ГАМПЕР, Надежды ПОЛЯКОВОЙ.

Леонид ЛИХОДЕЕВ. Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала (продолжение).

ПУБЛИЦИСТИКА

Ральф ШРЁДЕР. «Коперниково открытие» Владимира Тендрякова.

Владимир ТЕНДРЯКОВ. Метаморфозы собственности.

Андрей ИЛЛЕШ. Кто он — диссидент № 1?

КРИТИКА

Джордж ОРУЭЛЛ. Лир, Толстой и шут.

Ив. ТОЛСТОЙ. Набоков в СССР.

К 70-ЛЕТИЮ Ф. А. АБРАМОВА

Глеб ГОРЫШИН. Перевезите за реку.

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

Петро ГРИГОРЕНКО. Воспоминания (продолжение).

ISSN 0321—1878. Звезда. 1990. № 2. 1—208.

ISSN 0321—1878

2

1990

ТЕЛЕГРАММА

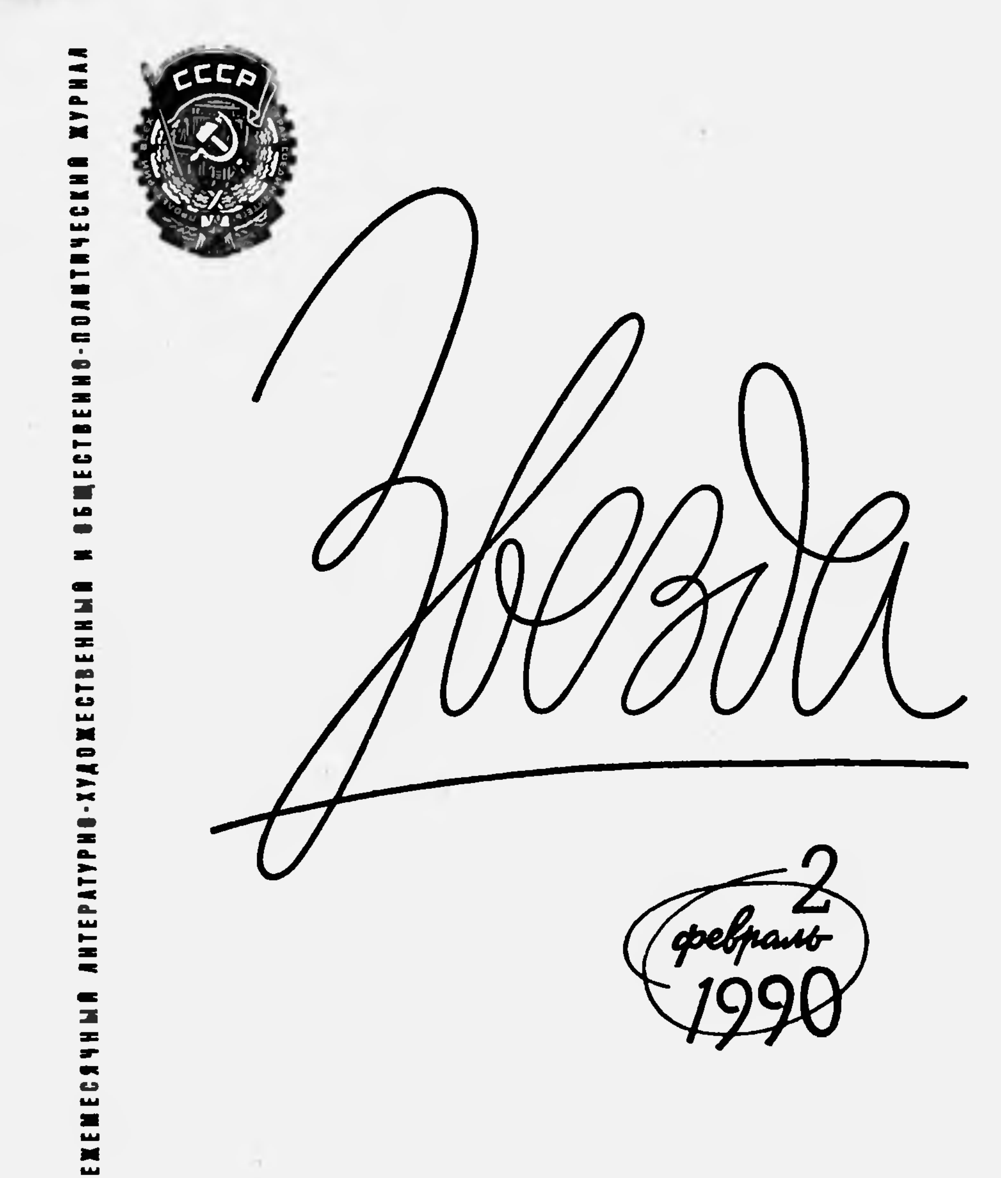
МОСКВА, Е. Г. БОННЭР

Дорогая Елена Георгиевна!

Искренне, сердечно скорбим вместе с Вами и людьми доброй воли всего мира об Андрее Дмитриевиче. Для всех нас эта утрата невосполнима.

Всегда готовы быть вместе с Вами. Что бы ни творилось на земле и в нашей стране, мы будем развивать идеи, продолжать дело Андрея Дмитриевича.

Редколлегия и сотрудники
журнала «Звезда»,
главный редактор *Николаев*



■ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Главный редактор Г. Ф. НИКОЛАЕВ

Редакционная коллегия:

А. Ю. АРЬЕВ, Л. Э. ВАРУСТИН, Я. А. ГОРДИН, В. С. ДЯКИН, В. В. КАВТОРИН (первый зам. главного редактора), Ю. Ф. КАРЯКИН, В. Н. КУЗНЕЦОВ, И. С. КУЗЬМИЧЕВ, А. С. КУШНЕР, Н. К. НЕУЙМИНА, А. А. НИНОВ, М. М. ПАНИН, Н. Н. СКАТОВ, Б. Н. СТРУГАЦКИЙ, С. С. ТХОРЖЕВСКИЙ, А. А. ФУРСЕНКО, М. М. ЧУЛАКИ

Ответственный секретарь А. С. ЩЕГЛОВ

Корректоры О. А. Назарова, Л. А. Привалова **Технический редактор В. Т. Молоткова**

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместитель главного редактора — 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Издательство «Художественная литература»

Сдано в набор 20.10.89. Подписано к печати 11.12.89. М-36529. Формат 70×108 1/16. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,38 усл. кр.-отт. 24,40 уч.-изд. л. Тираж 350 000 экз. Заказ № 239. Цена 90 к. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

© *«Звезда», 1990*

К столетию Б. Л. Пастернака

Борис Пастернак

О ПОЭЗИИ

(ответ на анкету)

Вы говорите, стихов писать не перестали, хотя их не печатают, изданных же не читают. Ценное наблюдение, хотя не оно меня убеждает в упадке поэзии,— мы пишем крупные вещи, тянемся в эпос, а это определенно жанр второй руки. Стихи не заражают больше воздуха, каковы бы ни были их достоинства. Разносящей средой звучания была личность. Старая личность разрушилась, новая не сформировалась. Без резонанса лирика немыслима.

Короче говоря, с поэзией дело обстоит преплачевно. Во всем этом заключен отраднейший факт. Просто счастье, что имеется область, неспособная симулировать зрелость или расцвет в период до крайности условный, развивающийся в постоянном расчете на нового человека, в расчете, прибавим, который и сам болеет и видоизменяется и из агитационного лозунга дня становится вольным двигателем поколения.

— Кто виноват в бедственном положении поэзии?

— Двадцать шестой год — тем, что он не Тридцатый.

— Можно ли тут чем-нибудь помочь?

— Только средствами черной магии.

— Нужна ли вообще поэзия?

Достаточно такого вопроса, чтобы понять, как тяжело ее состоянье. В периоды ее благополучия не сомневаются никогда в ее *ненужности*. Когда-нибудь это опять перестанет возбуждать сомнения и она воспрянет. Пока же, до этого времени, принято думать, что искусство нужно для сохранения преемственности, как перемет от старой к новой, будущей культуре. С этим взглядом я сталкивался в ответ на мое предложенье прямоты и резкости в этом деле. Природе легче бороться с внезапным препятствием, нежели с постоянным тормозом, задрапированным формами потворства.

Но как вы запретите искусство, отвечали мне. Не конец ли это поэзии и будет ли она еще существовать? Вероятно. Я думаю, ее прекращенью будут препятствовать явленья, более знаменательные, чем настоящая анкета. Ну, например, забьет Швивая горка, оказавшись потухшим вулканом, или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, как ни глубоко паденье поэзии, я и одной такой не отдам за десяток блистательнейших наших проз или еще похлеще. Не как поэт, о нет,

гораздо шире, как лицо, увлеченное историей, как характер, втянутый в ее игру в момент, когда социализму возвращается его широчайшее нравственное содержание, заслоненное горячкой основоположничества.

Только поэзии не безразлично, сложится ли новый человек действительно или же только в фикции журналиста. Что она в него верит, видно из того, что она еще тлеет и теплится. Что она не довольствуется видимостью, ясно из того, что она издыхает.

18 января 1926

Борис Пастернак

Машинописная копия этого текста хранится в ЦГАЛИ среди материалов альбома «Б. Пастернак о поэзии», который собирал в тридцатых годах А. Е. Крученых (ф. 1334.1.840). Перед текстом пояснительная запись: «Ответ на анкету «Ленинградской правды» в 1925 году напечатан не был».

Судя по материалам, печатавшимся в газете к исходу 1925 года и в начале 1926-го, речь идет об анкете, разосланной литераторам с целью сбора мнений и последующего итогового выступления газеты. Литературной жизни, поэзии в частности, уделялось большое внимание в связи с недавним Постановлением ЦК РКП о литературе. Это было очередной гальванизацией перманентной заботы о судьбах культуры в эпоху социальных перемен и стремления к процветанию духовной жизни в не соответствующих тому условиях.

На литературной странице «Ленинградской правды» появлялись критические статьи на эту тему. Но парадоксальная глубина мнения Пастернака не нашла в них отражения, ни в коей мере не изменив их нравоучительного и в то же время пропагандистского тона.

К сожалению, нам не удалось найти текст вопросов этой анкеты, с возражения и спора с которыми начинает Пастернак свою заметку. Но они понятны из ответов поэта.

В машинописи стоит дата 18 января 1925 года, хотя из содержания следует, что писалась она к новому, 1926 году. Это подтверждается записью из дневника Л. В. Горнунга:

«20 января 1926 года.

Борис Леонидович рассказал мне, что ему прислали из редакции «Ленинградской правды» анкету с вопросами о положении современной поэзии. Эта анкета рассылалась литераторам Москвы и Ленинграда. Он сказал, что относится к ней несерьезно и ответил на вопросы иронически».

В действительности иронический тон заметки скрывает серьезность и глубину отношения Пастернака к вопросам поэзии, реальную заботу о существовании искусства в трудный и противоречивый период ломки традиционных форм.

Очень важно при этом иметь в виду требовательность Пастернака к высокой лирике, под которой он понимал трехмерное пространство горячей совести, отказываясь считать ею планиметрию сюжетных или описательных стихотворений. Такое понимание Пастернак выразил и в тексте «Высокой болезни», начиная с самой метафоры ее названия.

Евгений Пастернак

Андрей Сахаров

МИР ПРОГРЕСС ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

МИР ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА

Сильные и противоречивые чувства охватывают каждого, кто задумывается о будущем мира через 50 лет — о том будущем, в котором будут жить наши внуки и правнуки. Эти чувства — удрученность и ужас перед клубком трагических опасностей и трудностей безмерно сложного будущего человечества, но одновременно надежда на силу разума и человечности в душах миллиардов людей, которая только одна может противостоять надвигающемуся хаосу. Это также восхищение и живейшая заинтересованность, вызываемые многосторонним и неудержимым научно-техническим прогрессом современности.

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ?

По почти всеобщему мнению, из числа факторов, которые определят облик мира в ближайшие десятилетия, бесспорными и несомненными являются:

рост населения (к 2024 году более 7 миллиардов человек на планете); истощение природных ресурсов — нефти, природного плодородия почвы, чистой воды и т. п.; серьезное нарушение природного равновесия и среды обитания человека.

Эти три бесспорных фактора создают удручающий фон для любых прогнозов. Но столь же бесспорен и весом еще один фактор — научно-технический прогресс, который накапливал «разбег» на протяжении тысячелетий развития цивилизации и только теперь начинает полностью выявлять свои блистательные возможности.

Я глубоко убежден, однако, что огромные материальные перспективы, которые заключены в научно-техническом прогрессе, при всей их исключительной важности и необходимости, не решают все же судьбы человечества сами по себе. Научно-технический прогресс не принесет счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими изменениями в социальной, нравственной и культурной жизни человечества. Внутреннюю духовную жизнь людей, внут-

---

Андрей Дмитриевич Сахаров (21.05.1921—14.12.1989). Советский физик, академик АН СССР с 1953 г. Герой Социалистического Труда (1953, 1956, 1962 гг.). Лауреат Нобелевской премии мира. В 1989 г. избран народным депутатом СССР от Академии наук. Основные труды по теоретической физике; один из создателей отечественного ядерного оружия. С 1945 г. работал в Физическом институте АН СССР.

ренние импульсы их активности трудней всего прогнозировать, но именно от этого зависит в конечном итоге и гибель и спасение цивилизации.

Самое главное неизвестное в наших прогнозах — это возможность гибели цивилизации и самого человечества в огне большой термоядерной войны. До тех пор, пока существуют термоядерно-ракетное оружие и враждующие, полные недоверия государства и группы государств, эта страшная опасность является самой жестокой реальностью современности.

Но избегнув большой войны, человечество все же может погибнуть, истощив свои силы в «малых» войнах, в межнациональных и межгосударственных конфликтах, от соперничества и отсутствия согласованности в экономической сфере, в охране среды, в регулировании прироста населения, от политического авантюризма.

Человечеству угрожает упадок личной и государственной морали, проявляющийся уже сейчас во многих странах в глубоком распаде основных идеалов права и законности, в потребительском эгоизме, во всеобщем росте уголовных тенденций, в ставшем международным бедствием националистическом и политическом терроризме, в разрушительном распространении алкоголизма и наркомании. В разных странах причины этих явлений несколько различны. Все же мне кажется, что наиболее глубокая, первичная причина лежит во внутренней бездуховности, при которой личная мораль и ответственность человека вытесняются и подавляются абстрактным и бесчеловечным *по своей сущности, отчужденным от личности авторитетом* (государственным, или классовым, или партийным, или авторитетом вождя — это все не более чем варианты одной и той же беды).

При современном состоянии мира, когда имеется огромный и имеющий тенденцию увеличиваться разрыв в экономическом развитии различных стран, когда налицо разделение мира на противостоящие друг другу группы государств,— все опасности, угрожающие человечеству, в колоссальной степени увеличиваются.

Значительная доля ответственности за это ложится на социалистические страны. Я должен тут об этом сказать, так как на меня как гражданина влиятельнейшего из социалистических государств тоже ложится своя часть этой ответственности. Партийно-государственная монополия во всех областях экономической, политической, идеологической и культурной жизни; неизжитый груз скрываемых кровавых преступлений недавнего прошлого; нерманентное подавление инакомыслия; лицемерно-самовосхваляющая, догматическая и часто националистическая идеология; закрытость этих обществ, препятствующих свободным контактам их граждан с гражданами любых других стран; формирование в них эгоистического, безнравственного, самодовольного и лицемерного правящего бюрократического класса — все это создает ситуацию не только неблагоприятную для населения этих стран, но и опасную для всего человечества. Население этих стран в значительной степени унифицировано в своих стремлениях пропагандой и некоторыми несомненными успехами, частично развращено приманками конформизма, но в то же время оно страдает и раздражено из-за постоянного отставания от Запада в материальном и социальном прогрессе. Бюрократическое руководство по своей природе не только неэффективно в решении текущих задач прогресса, оно еще, кроме того, всегда сосредоточено на сиюминутных, узкогрупповых интересах, на ближайшем докладе начальству. Такое руководство плохо способно на деле заботиться об интересах будущих поколений (например, об охране среды), а, главным образом, может лишь говорить об этом в парадных речах.

Что противостоит (или может противостоять, должно противостоять) разрушительным тенденциям современной жизни? Я считаю особенно важным преодоление распада мира на антагонистические группы государств, процесс сближения (конвергенции) социалистической и капиталистической систем, сопровождающийся демилитаризацией, укреплением международного доверия, защитой человеческих прав, закона и свободы, глубоким социальным прогрессом и демократизацией; укреплением нравственного, духовного, личного начала в человеке.

Я предполагаю, что экономический строй, возникший в результате этого процесса сближения, должен представлять собой экономику смешанного типа, соединяющую в себе максимум гибкости, свободы, социальных достижений и возможностей общемирового регулирования.

Очень большой должна быть роль международных организаций — ООН, ЮНЕСКО и др., в которых я хотел бы видеть зачаток мирового правительства, чуждого каких-либо целей, кроме общечеловеческих.

Но необходимо как можно скорей осуществить существенные промежуточные, возможные уже сейчас шаги. По моему мнению, это должно быть расширение деятельности по экономической и культурной помощи развивающимся странам, в особенности помощи в решении продовольственных проблем и в создании экономически активного, духовно здорового общества; это — создание международных консультативных органов, следящих за соблюдением прав человека в каждой стране и за сохранением среды. И самое простое, насущное — повсеместное прекращение таких недопустимых явлений, как любые формы преследования инакомыслия; повсеместный допуск уже существующих международных организаций (Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения, «Эмнести Интернешнл» и др.) туда, где можно предполагать нарушения прав человека, в первую очередь в места заключения и психиатрические тюрьмы; демократическое решение проблемы свободы перемещения по планете (эмиграции, реэмиграции, личных поездок).

Решение проблемы свободы перемещения на планете особенно существенно для преодоления закрытости социалистических обществ, для создания атмосферы доверия, для сближения правовых и экономических стандартов в разных странах.

Я не знаю, понимают ли до конца люди на Западе, что представляет собой сейчас декларируемая свобода туризма в социалистических странах,— как много в этом показного, казенщины, жесточайшей регламентации. Для немногих пользующихся доверием подобные поездки чаще всего просто оплаченная конформизмом притягательнейшая возможность приодеться «по-западному», вообще войти в элиту. Я уже много писал о проблемах отсутствия свободы перемещения, но это тот Карфаген, который должен быть разрушен.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что борьба за права человека — это и есть реальная сегодняшняя борьба за мир и будущее человечества. Именно поэтому я считаю, что основой деятельности всех международных организаций должна стать Всеобщая декларация прав человека, в том числе основой деятельности провозгласившей ее 25 лет назад Организации Объединенных Наций.

ГИПОТЕЗЫ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЛИКЕ БУДУЩЕГО

Во второй части статьи я изложу некоторые футурологические гипотезы, в основном научно-технического характера. Большинство из них уже публиковалось в той или иной форме, и я не выступаю тут ни как автор, ни как эксперт. Моя цель другая — попытаться набросать общую картину технических аспектов будущего. Естественно, что эта картина является весьма гипотетической и субъективной, а местами условно-фантастической. Я не считал себя при этом слишком связанным датой 2024 года, то есть писал не о сроках, а о возможных, по моему мнению, тенденциях. Предсказатели недавнего прошлого чаще всего завышали сроки своих прогнозов, но для современных футурологов нельзя исключить и обратной ошибки.

Я предполагаю постепенное (далеко не завершенное к 2024 году) выделение из перенаселенного, плохо приспособленного для жизни людей и сохранения природы индустриального мира двух типов территорий. Назову их условно: «Рабочая территория» (ниже РТ) и «Заповедная территория» (ЗТ). Большая по площади «Заповедная территория» предназначена для поддержания природного равновесия на Земле, для отдыха людей и активного восстановления равновесия в самом человеке. На «Рабочей территории» (меньшей по площади и с гораздо большей средней плотностью населения) люди проводят большую часть своего времени, ведется интенсивное сельское хозяйство, природа полностью преобразована для практических нужд, сосредоточена вся промышленность с гигантскими

автоматическими и полуавтоматическими заводами, почти все люди живут в «сверхгородах», в центральной части которых многоэтажные дома-горы с обстановкой искусственного комфорта — искусственного климата, освещения, автоматизированных кухонь, голографических стен-пейзажей и т. п. Однако большую часть этих городов составляют пригороды, растянувшиеся на десятки километров. Я рисую себе эти пригороды будущего по образцу наиболее благополучных сейчас стран — застроенными семейными домиками-коттеджами с садиками, огородиками, детскими учреждениями, спортплощадками, купальными бассейнами, со всеми предприятиями быта и современным городским комфортом, с бесшумным и удобным общественным транспортом, с чистым воздухом, с кустарным и художественным производством, со свободной и разнообразной культурной жизнью.

Несмотря на довольно высокую среднюю плотность населения, жизнь в РТ при разумном решении социальных и межгосударственных проблем может быть ничуть не менее здоровой, естественной и счастливой, чем жизнь человека из средних классов в современных развитых странах, то есть гораздо более здоровой, чем это доступно подавляющему большинству наших современников. Но у человека будущего, как я надеюсь, будет возможность часть своего времени, хотя и меньшую, проводить в еще более «естественных» условиях ЗТ. Я предполагаю, что в ЗТ люди тоже живут жизнью, имеющей реальную общественную цель,— они не только отдыхают, но и трудятся руками и головой, читают книги, размышляют. Они живут в палатках или в домах, построенных ими как дома их предков. Они слышат шум горного ручья или просто наслаждаются тишиной, красотой дикой природы, лесов, неба и облаков. Основная их работа — помочь сохранению природы и сохранению самих себя.

Условный числовой пример. Площадь РТ — 30 миллионов квадратных километров, средняя плотность населения — 300 человек на квадратный километр. Площадь ЗТ — 80 миллионов квадратных километров, средняя плотность населения — 25 человек на квадратный километр. Общее население Земли — 11 миллиардов человек, люди около 20 процентов своего времени могут проводить в ЗТ.

Естественным расширением РТ явятся «летающие города» — искусственные спутники Земли, выполняющие важные производственные функции. На них сосредоточена гелиоэнергетика, возможно, значительная часть ядерных и термоядерных установок с лучистым охлаждением энергетических холодильников, что даст возможность избежать теплового перегрева Земли; это предприятия вакуумной металлургии, парникового хозяйства и т. п.; это космические научные лаборатории, промежуточные станции для дальних полетов. Как под РТ, так и под ЗТ — широкое развитие подземных городов — для сна, развлечений, для обслуживания подземного транспорта и добычи полезных ископаемых.

Я предполагаю индустриализацию, машинизацию и интенсификацию земледелия (в особенности в РТ) — не только с самым широким использованием классических типов удобрений, но и с постепенным созданием искусственной сверхпродуктивной почвы, с повсеместным применением обильного орошения, в северных районах — широчайшее развитие парникового хозяйства с использованием подсветки, подогрева почвы, электрофореза, возможно, и других физических методов воздействия. Конечно, сохранится и даже усилится первостепенная, решающая роль генетики и селекции. Таким образом, «зеленая революция» последних десятилетий должна продолжаться и развиваться. Возникнут также новые формы земледелия — морское, бактериальное, микроводорослевое, грибное и т. п. Поверхность океанов, Антарктиды, а в дальнейшем, возможно, Луны и планет будет постепенно втягиваться в орбиту земледелия.

Сейчас очень острой проблемой в области питания является белковый голод, от которого страдают многие сотни миллионов людей. Решение этой проблемы за счет расширения объема животноводства в перспективе невозможно, так как уже сейчас производство кормов поглощает около 50 процентов продукции земледелия. Более того, многие факторы, и в том числе задачи сохранения среды, толкают на сокращение животноводства. Я предполагаю, что в течение ближайших десятилетий будет создана мощная промышленность производства заменителей животного белка, в частности производства искусственных аминокислот,

главным образом для обогащения продуктов растительного происхождения, что приведет к резкому сокращению животноводства.

Почти столь же радикальные изменения должны произойти в промышленности, энергетике и быте. В первую очередь, задачи сокращения среды обитания диктуют повсеместный переход на замкнутый по отходам цикл, с полным отсутствием вредных и засоряющих отходов. Гигантские технические и экономические проблемы, связанные с таким переходом, могут быть решены лишь в международном масштабе (так же, как проблемы перестройки сельского хозяйства, демографические проблемы и т. п.).

Другой чертой промышленности, как и всего общества будущего, будет гораздо более широкое, чем сейчас, использование кибернетической техники.

Я предполагаю, что параллельное развитие полупроводниковой, магнитной, электронно-вакуумной, фотоэлектронной, лазерной, криотронной, газодинамической и иной кибернетической техники приведет к огромному возрастанию ее потенциальных и экономическо-технических возможностей.

В области промышленности можно предполагать большую степень автоматизации и гибкости, «перестраиваемости» производства — в зависимости от спроса и потребностей общества в целом. Такая перестраиваемость промышленности будет иметь далеко идущие социальные последствия. В идеале можно думать, в частности, о преодолении социально вредных и пагубных для сохранения ресурсов и среды явлений искусственной стимуляции «сверхспроса», которые сейчас имеют место в развитых странах и частично связаны с консерватизмом массового производства.

В бытовой технике все большую роль будут играть простейшие автоматы.

Но особенную роль будет играть прогресс в области связи и информационной службы.

Одним из первых этапов этого прогресса представляется создание единой всемирной телефонной и видеотелефонной системы связи. В перспективе, быть может позже, чем через 50 лет, я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС), которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи, получение любой справки. ВИС должна включать индивидуальные миниатюрные запросные приемники-передатчики, диспетчерские пункты, управляющие потоками информации, каналы связи, включающие тысячи искусственных спутников связи, кабельные и лазерные линии. Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие. В отличие от телевизора, который является главным источником информации многих из наших современников, ВИС будет предоставлять каждому максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности.

Но поистине историческая роль ВИС будет в том, что окончательно исчезнут все барьеры обмена информацией между странами и людьми. Полная доступность информации, в особенности распространенная на произведения искусства, несет в себе опасность их обесценивания. Но я верю, что это противоречие будет как-то преодолено. Искусство и его восприятие всегда настолько индивидуальны, что ценность личного общения с произведением и артистом сохранится. Также сохранят свое значение книга, личная библиотека — именно потому, что они несут в себе результат индивидуального выбора, и в силу их красоты и традиционности в хорошем смысле этого слова. Общение с искусством и с книгой навсегда останется праздником.

Об энергетике. Я уверен, что в течение 50 лет сохранится и даже возрастет значение энергетики, основанной на сжигании угля на гигантских электростанциях с полным поглощением вредных отходов. В то же время, несомненно, огромное развитие получит атомная энергетика и к концу этого периода — термоядерная энергетика. Проблема «захоронения» отходов атомной энергетики — это уже сейчас чисто экономическая, и в перспективе это будет не более сложно и дорого, чем столь же необходимое в будущем извлечение сернистого газа и окислов азота из топочных газов тепловых электростанций.

О транспорте. В области семейно-индивидуального транспорта, который в основном будет применяться в ЗТ, на смену автомобилю, по моим предположе-

ниям, придет аккумуляторная повозка на шагающих «ногах», не нарушающих травяного покрова и не требующих асфальтовых дорог. Для основных грузовых и пассажирских перевозок — гелиевые дирижабли с атомным двигателем и, главным образом, быстроходные поезда с атомным двигателем на эстакадах и в туннелях. В ряде случаев, в особенности в городском транспорте, получит распространение погрузка и выгрузка на ходу с использованием специальных подвижных «промежуточных» устройств (движущиеся тротуары, подобные описанным в романе Герберта Уэллса «Когда спящий проснется», разгрузочные вагоны на параллельных путях и т. п.).

О науке, новейшей технике, космических исследованиях. В научных исследованиях еще большее значение, чем теперь, получит теоретическое вычислительное «моделирование» многих сложных процессов. Использование вычислительных машин с большим объемом памяти и быстродействием (машины параллельного действия, возможно, фотоэлектронные или чисто оптические с логическим оперированием информационными полями-картинами) даст возможность решить многомерные задачи, задачи с большим числом степеней свободы, квантово-механические и статистические задачи многих тел и т. п. Примеры подобных задач: прогноз погоды, магнитная газодинамика Солнца, солнечной короны и других астрофизических объектов, расчеты органических молекул, расчеты элементарных биофизических процессов, расчеты свойств твердых и жидких тел, жидких кристаллов, расчеты свойств элементарных частиц, космологические расчеты, расчеты «многомерных» производственных процессов, например, в металлургии и химической промышленности, сложные экономические и социологические расчеты и т. п. Хотя вычислительное моделирование ни в коем случае не может и не должно заменить эксперимент и наблюдения, оно дает тем не менее огромные дополнительные возможности развития науки. Например, это великолепная возможность контроля правильности теоретического объяснения того или иного явления.

Возможно, будут достигнуты успехи в синтезе веществ, обладающих сверхпроводимостью при комнатной температуре. Такое открытие означало бы революцию в электротехнике и многих других областях техники, например в транспорте (сверхпроводящие рельсы, на которых повозка скользит без трения на магнитной «подушке»; конечно, сверхпроводящими могут быть, наоборот, полозья повозки, а рельсы — магнитными).

Я предполагаю, что достижения физики и химии (быть может, с использованием математического моделирования) позволят не только создать синтетические материалы, превосходящие природные по всем существенным свойствам (тут первые шаги уже сделаны), но и воспроизвести искусственно многие уникальные свойства целых систем живой природы. Можно представить себе, что в автоматах будущего будут применяться экономичные и легко управляемые искусственные «мускулы» из обладающих свойством сокращаемости полимеров, что будут созданы высокочувствительные анализаторы органических и неорганических примесей в воздухе и воде, работающие по принципу искусственного «носа», и т. п. Я предполагаю, что возникнет производство искусственных алмазов из графита при помощи специальных подземных ядерных взрывов. Алмазы, как известно, играют очень важную роль в современной технике, и более дешевое их производство может еще более способствовать этому.

Более важное место, чем сейчас, в науке будущего должны занять космические исследования. Я предполагаю расширение попыток установления связи с инопланетными цивилизациями. Это — попытки принять сигналы от них во всех известных видах излучений и одновременно проектирование и осуществление собственных излучающих установок. Это — поиски в космосе информационных снарядов инопланетных цивилизаций. Информация, полученная «извне», может оказать революционизирующее воздействие на все стороны человеческой жизни — на науку, технику, может быть полезной в смысле обмена социальным опытом. Бездействие в этом направлении, несмотря на отсутствие каких-либо гарантий успеха в обозримом будущем, было бы неразумным.

Я предполагаю, что мощные телескопы, установленные в космических научных лабораториях или на Луне, дадут возможность увидеть планеты, обращающиеся вокруг ближайших звезд (альфа Центавра и других). Атмосферные

помехи делают нецелесообразным увеличение зеркал наземных телескопов сверх уже существующих.

Вероятно, к концу пятидесятилетия начнется хозяйственное освоение поверхности Луны, а также использование астероидов. Произведя на поверхности астероидов взрывы специальных атомных зарядов, возможно, удастся управлять их движением, направлять их «поближе» к Земле.

Я изложил некоторые свои предположения о будущем науки и техники. Но я почти полностью обошел то, что составляет самое сердце науки и часто оказывается наиболее значительным по практическим последствиям,— наиболее абстрактные теоретические исследования, порождаемые неистощимой любознательностью, гибкостью и мощью человеческого разума. В первой половине XX века такими исследованиями явились создание специальной и общей теории относительности, создание квантовой механики, раскрытие строения атома и атомного ядра. Открытия такого масштаба всегда были и будут непредсказуемы. Единственное, на что я могу рискнуть, да и то с большими сомнениями, это назвать несколько достаточно широких направлений, в которых, по моему мнению, возможны особенно важные открытия. Исследования в области теории элементарных частиц и в области космологии могут привести не только к большому конкретному прогрессу в уже существующих областях исследований, но и к формированию совершенно новых представлений о структуре пространства и времени. Большие неожиданности могут принести исследования в области физиологии и биофизики, в области регуляции жизненных функций, в медицине, в социальной кибернетике, в общей теории самоорганизации. Каждое крупное открытие окажет прямо или косвенно глубочайшее влияние на жизнь человечества.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПРОГРЕССА

Мне кажется неизбежным продолжение и развитие основных существующих сейчас тенденций научно-технического прогресса. Я не считаю это трагичным по своим последствиям, несмотря на то, что мне не совсем чужды опасения тех мыслителей, которые придерживаются противоположной точки зрения.

Рост населения, истощение природных ресурсов — это все такие факторы, которые делают абсолютно невозможным возвращение человечества к так называемой «здоровой» жизни прошлого (на самом деле очень тяжелой, часто жестокой и безрадостной) — даже если бы человечество этого захотело и могло осуществить в условиях конкуренции и всевозможных экономических и политических трудностей. Разные стороны научно-технического прогресса — урбанизация, индустриализация, машинизация и автоматизация, применение удобрений и ядохимикатов, рост культуры и возможностей досуга, прогресс медицины, улучшение питания, снижение смертности и продление жизни — теснейшим образом между собой связаны, и нет никакой возможности «отменить» какие-то направления прогресса, не разрушая всей цивилизации в целом. Только гибель цивилизации в огне всемирной термоядерной катастрофы, от голода, эпидемий, всеобщего разрушения — может обратить вспять прогресс, но надо быть безумцем, чтобы желать такого исхода.

Сейчас в мире неблагополучно в самом прямом, самом грубом смысле слова, голод и преждевременная смерть непосредственно угрожают множеству людей. Поэтому сейчас первой задачей истинно человеческого прогресса является противостоять именно этим опасностям, и всякий другой подход явился бы непростительным снобизмом. При всем том я не склонен абсолютизировать одну только технико-материальную сторону прогресса. Я убежден, что «сверхзадачей» человеческих институтов, и в том числе прогресса, является не только уберечь всех родившихся людей от излишних страданий и преждевременной смерти, но и сохранить в человечестве все человеческое — радость непосредственного труда умными руками и умной головой, радость взаимопомощи и доброго общения с людьми и природой, радость познания и искусства. Но я не считаю непреодолимым противоречие между этими задачами. Уже сейчас граждане более развитых, индустриализированных стран имеют больше возможно-

стей нормальной здоровой жизни, чем их современники в более отсталых и голодающих странах. И уж во всяком случае прогресс, спасающий людей от голода и болезней, не может противоречить сохранению начала активного добра, которое есть самое человечное в человеке.

Я верю, что человечество найдет разумное решение сложной задачи осуществления грандиозного, необходимого и неизбежного прогресса с сохранением человеческого в человеке и природного в природе.

17 мая 1974 года

О СЕБЕ

В сборнике [1] собрано большинство моих выступлений на социальные, правовые и политические темы за последние три года. Некоторые из них нуждаются в пояснениях, особенно для зарубежного читателя. Вероятно, лучшим способом избежать возможных недоразумений был бы максимально подробный и откровенный рассказ о внутренних и внешних обстоятельствах, сформировавших мою позицию и мироощущение. Но сейчас я не чувствую себя в силах осуществить это в полной мере, ограничусь необходимым минимумом. Сообщая автобиографические сведения, я надеюсь также на прекращение кривотолков в отношении фактов, которые часто представлялись в печати неверно из-за незнания или стремления к сенсациям.

Я родился в 1921 году в Москве, в интеллигентной и дружной семье. Мой отец — преподаватель физики, автор ряда широко известных учебных и научно-популярных книг. С детства я жил в атмосфере порядочности, взаимопомощи и такта, трудолюбия и уважения к высокому овладению избранной профессией. В 1938 году я окончил среднюю школу, поступил в Московский государственный университет и окончил его в 1942 году. В 1942—1945 годах работал инженером на военном заводе, автор нескольких изобретений в области методов контроля продукции.

В 1945—1947 годах я был в аспирантуре под руководством известного советского ученого, физика-теоретика Игоря Евгеньевича Тамма. Через несколько месяцев после защиты диссертации, весной 1948 года, я был включен в исследовательскую группу, занимавшуюся проблемой термоядерного оружия. Я не сомневался в жизненной важности создания советского сверхоружия для нашей страны и для равновесия сил во всем мире. Увлеченный грандиозностью задачи, я работал с максимальным напряжением сил, стал автором или соавтором некоторых ключевых идей. В западной печати меня часто называют «отцом водородной бомбы». Эта характеристика очень неточно отражает сложную реальную ситуацию коллективного авторства, о которой я не буду говорить подробно.

Почти одновременно с началом работ по термоядерному оружию, с лета 1950 года, я вместе с И. Е. Таммом начал работу по проблеме управляемой термоядерной реакции, то есть по использованию ядерной энергии легких элементов для целей промышленной энергетики. В 1950 году нами была сформулирована идея магнитной термоизоляции высокотемпературной плазмы и проведены оценки параметров установок термоядерного синтеза. Эти работы, о которых стало известно за рубежом из доклада И. В. Курчатова в Харуэлле в 1956 году, из материалов Первой Женевской конференции по мирному использованию ядерной энергии, признаются пионерскими. В 1961 году я предложил для тех же целей нагрев дейтерия лучом импульсного лазера. Я упомянул тут об этом, чтобы разъяснить, что мой вклад не ограничивался только военными проблемами.

В 1950 году наша исследовательская группа вошла в состав специального института. В течение последующих восемнадцати лет я находился в круговороте особого мира военных конструкторов и изобретателей, специальных институтов,

[1] Это предисловие написано Сахаровым к сборнику «Sakharov speaks», A. Knopf, 1974.

комитетов и ученых советов, опытных заводов и полигонов. Ежедневно я видел, как огромные материальные, интеллектуальные и нервные силы тысяч людей вливаются в создание средств тотального разрушения, потенциально способного уничтожить всю человеческую цивилизацию. Я наблюдал, что рычаги управления находятся в руках циничных, хотя по-своему и талантливых людей. До лета 1953 года верховным шефом атомного проекта был Берия, во власти которого находились миллионы рабов-заключенных, почти все строительство осуществлялось их руками. С конца пятидесятых годов все более отчетливым образом вырисовывалось коллективное могущество военно-промышленного комплекса, его энергичных, беспринципных руководителей, слепых ко всему, кроме своего «дела». Я был в несколько особом положении. В качестве теоретика-изобретателя, сравнительно молодого и к тому же беспартийного, я находился в стороне от административной ответственности, я был освобожден от партийной идеологической дисциплины. Мое положение давало мне возможность знать и видеть многое, заставляло чувствовать свою ответственность, и в то же время я мог смотреть на всю эту извращенную систему несколько со стороны. Все это толкало меня, особенно в идейной атмосфере, возникшей после смерти Сталина и XX съезда КПСС, на общие размышления о проблемах мира и человечества, в особенности о проблемах термоядерной войны и ее последствий.

Начиная с 1957 года (не без влияния высказываний по этому поводу во всем мире таких людей, как А. Швейцер, Л. Полинг и некоторых других) я ощутил себя ответственным за проблему радиоактивного заражения при ядерных испытаниях. Как известно, поглощение радиоактивных продуктов ядерных взрывов миллиардами населяющих Землю людей приводит к увеличению частоты ряда заболеваний и врожденных уродств (за счет так называемых непороговых биологических эффектов, например, за счет поражения молекул ДНК — носителей наследственности). При попадании радиоактивных продуктов взрыва в атмосферу каждая мегатонна мощности ядерного взрыва влечет за собой тысячи безвестных жертв. А ведь каждая серия испытаний ядерного оружия (все равно — США, СССР, Великобритании или Китая и Франции) — это десятки мегатонн, то есть десятки тысяч жертв. Я встретился с большими трудностями при попытках разъяснить эту проблему, с нежеланием понимания. Я писал докладные записки (одна из них вызвала поездку И. В. Курчатова для встречи с Н. С. Хрущевым в Ялте — с безуспешной попыткой отменить испытания 1958 года), выступал на совещаниях. Вспоминаю лето 1961 года, встречу ученых-атомщиков с председателем Совета Министров Хрущевым. Выясняется, что нужно готовиться к серии испытаний, которая должна поддержать новую политику СССР в германском вопросе (Берлинскую стену). Я пишу записку Н. С. Хрущеву: «Возобновление испытаний после трехлетнего моратория подорвет переговоры о прекращении испытаний и о разоружении, приведет к новому туру гонки вооружений, в особенности в области межконтинентальных ракет и противоракетной обороны» — и передаю ее по рядам. Хрущев кладет записку в нагрудный карман и приглашает присутствовавших отобедать. За накрытым столом он произносит импровизированную речь, памятную мне по своей откровенности, отражающей не только его личную позицию. Он говорит приблизительно следующее. Сахаров хороший ученый, но предоставьте нам — специалистам этого хитрого дела — делать внешнюю политику. Только сила, только дезориентация врага. Мы не можем сказать вслух, что мы ведем политику с позиции силы, но это должно быть так. Я был бы слюнтяй, а не Председатель Совета Министров, если бы слушался таких, как Сахаров. Своей политикой в 1960 году мы способствовали избранию Кеннеди. Но на черта нам Кеннеди, если он связан по рукам и ногам, если его в любой момент могут свалить.

Другой, не менее драматичный эпизод разыгрался в 1962 году. Министерство, исходя в основном из бюрократических интересов, дало указание провести очередной испытательный взрыв, фактически бесполезный с технической точки зрения. Взрыв должен был быть мощным, так что число ожидаемых жертв было колоссально. Понимая необоснованный, преступный характер этого плана, я предпринял отчаянные усилия его остановить. Это длилось несколько очень напряженных для меня недель. Накануне испытания я позвонил министру и угрожал отставкой. Министр ответил: «Мы вас за горло не держим». Я сумел

дозвониться в Ашхабад, где Хрущев в тот день находился, и умолял его вмешаться. На другой день я имел объяснение с одним из приближенных Хрущева, но в это время срок испытания был перенесен на более ранний час и самолет-носитель уже нес свою ношу к намеченной точке взрыва. Чувство бессилия и ужаса, охватившее меня в этот день, запомнилось на всю жизнь и многое во мне изменило на пути к моему сегодняшнему мировосприятию.

В 1962 году я посетил министра атомной промышленности, находившегося в тот момент на лечении в загородном правительственном санатории вместе с заместителем министра иностранных дел, и изложил важную идею, на которую в то время мое внимание обратил один из моих друзей. В этот период уже несколько лет велись переговоры о запрещении ядерных испытаний, упиравшиеся в трудность контроля подземных взрывов. Но радиоактивное заражение возникает лишь при взрывах в атмосфере, в космосе и в океане. Поэтому ограничение соглашения о запрещении испытаний этими тремя средами решает обе проблемы (заражения и контроля). Необходимо упомянуть, что с подобным предложением ранее выступал президент Эйзенхауэр, но тогда оно не встретило понимания с советской стороны. В 1963 году по инициативе Хрущева и Кеннеди был заключен так называемый Московский договор, в котором эта идея была реализована. Возможно, моя инициатива способствовала этому историческому акту.

В 1964 году я выступил на собрании Академии наук СССР (в связи с выборами одного из соратников Лысенко) и публично коснулся «запретной» темы о положении в советской биологии, где десятилетиями преследовалась как «лженаука» современная генетика, а ученые, работавшие в этой области, подвергались жестоким гонениям и репрессиям. Затем я подробно развил эти мысли в письме на имя Н. С. Хрущева. Оба выступления имели очень широкий отклик, впоследствии в какой-то мере способствовали исправлению положения. Тогда впервые мое имя появилось в советской прессе в статье президента Академии сельскохозяйственных наук, содержавшей самые беспардонные нападки на меня.

Для меня лично эти события имели большое психологическое значение, а также расширили круг лиц, с которыми я общался. В частности, я познакомился в последующие годы с братьями Жоресом и Роем Медведевыми. Ходившая по рукам, минуя цензуру, рукопись биолога Жореса Медведева была первым произведением «самиздата» (появившееся несколько лет перед этим слово для обозначения нового общественного явления), которое я прочел. Я познакомился также в 1967 году с рукописью книги историка Роя Медведева о преступлениях Сталина. Обе книги, особенно последняя, произвели на меня очень большое впечатление. Как бы ни складывались наши отношения и принципиальные разногласия с Медведевыми в дальнейшем, я не могу умалить их роли в своем развитии.

В 1966 году я принял участие в коллективном письме XXIII съезду КПСС о «культе» Сталина. В том же году я послал телеграмму Верховному Совету РСФСР о намечавшемся тогда новом законе, который открывал возможности широких преследований за убеждения (статья 190-1 УК РСФСР). Так впервые моя судьба переплелась с судьбой той малочисленной, но очень весомой в нравственном и, смею сказать, в историческом плане группы людей, впоследствии получивших название «инакомыслящие». (Лично мне больше по душе старое русское слово «вольномыслящие».) Очень скоро мне пришлось выступить в письме на имя Брежнева против ареста четырех из них: А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, трагически погибшего в лагере в 1972 году, В. Лашковой и Добровольского. В связи с этим письмом и предыдущими действиями министр ведомства, которому я был подчинен, сказал обо мне, что Сахаров крупный ученый и мы его хорошо наградили, но он «шалавый политик».

В 1967 году я написал для одного распространявшегося в служебном порядке сборника футурологическую статью о будущей роли науки в жизни общества и о будущем самой науки. В том же году мы вдвоем с журналистом Э. Генри написали для «Литературной газеты» статью о роли интеллигенции и опасности термоядерной войны. ЦК КПСС не дало разрешения на публикацию этой статьи, однако неведомым мне способом она попала в «Политический дневник» — таинственное издание, как предполагают, нечто вроде «самиздата» для высших

чиновников. Обе эти оставшиеся малоизвестными статьи легли через год в основу работы, которой суждено было сыграть центральную роль в моей общественной деятельности. В начале 1968 года я начал работу над книгой, которую назвал «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней я хотел отразить свои мысли о самых важных вопросах, стоящих перед человечеством,— о войне и мире, о диктатуре, о запретной теме сталинского террора и свободе мысли, о демографических проблемах и загрязнении среды обитания, о той роли, которую может сыграть наука и научно-технический прогресс. На общем настроении работы сказалось время ее написания — разгар «Пражской весны». Основные мысли, которые я пытался развить в «Размышлениях», не являются очень новыми и оригинальными. В основном это компиляция либеральных, гуманистических и «науко-кратических» идей, базирующаяся на доступных мне сведениях и личном опыте. Я оцениваю сейчас это произведение как эклектическое и местами претенциозное, несовершенное («сырое») по форме. Тем не менее основные мысли его мне дороги. В работе четко сформулирован представляющийся мне очень важным тезис о сближении социалистической и капиталистической систем, сопровождающемся демократизацией, демилитаризацией, социальным и научно-техническим прогрессом, как единственной альтернативы гибели человечества. Начиная с мая-июня 1968 года «Размышления» широко распространялись в СССР. Это моя первая работа, ставшая достоянием «самиздата». К июлю и августу относятся первые зарубежные сообщения о моем выступлении; в дальнейшем «Размышления» многократно публиковались за рубежом большими тиражами, вызвали огромный поток откликов в прессе множества стран. Наряду с содержанием работы в этом несомненно сыграло важную роль то, что это было одно из первых прорвавшихся на Запад произведений общественно-политического характера, к тому же автором был отмеченный высшими знаками отличия представитель «таинственной» и «грозной» специальности физика-атомщика (эта сенсационность, к сожалению, и сейчас еще окружает меня, особенно на страницах массовой западной печати).

Опубликование за рубежом «Размышлений» мгновенно повлекло мое отстранение от секретных работ (в августе 1968 года) и перестройку всей моей жизни на новый лад. Как раз в это время я под влиянием импульсов, представляющихся мне сейчас несостоятельными, передал в фонд государства (на строительство онкологической больницы и в Красный Крест) почти все свои сбережения. Я не имел в то время личных контактов с нуждающимися в помощи людьми. Сейчас, постоянно видя вокруг себя людей, нуждающихся не только в защите, но и в материальной помощи, я часто сожалею о своем слишком поспешном поступке. С 1969 года я был направлен на работу в Физический институт Академии наук СССР, где я когда-то был аспирантом, а затем сотрудником Игоря Евгеньевича Тамма. Хотя это означало существенное понижение в служебном и материальном положении, но сохраняло за мной возможность продолжать научную работу в наиболее интересной для меня области физики — теории элементарных частиц. К сожалению, в последние годы я не удовлетворен продуктивностью своей научной работы. Так же, как и немалый для физика-теоретика возраст, определенную роль в этом играет напряженное, а в последнее время крайне тревожное положение, в котором оказались близкие мне люди, моя семья и я сам.

Между тем общественные события и внутренняя потребность противостоять несправедливости продолжали толкать меня на новые действия. В начале 1970 года мы совместно с физиком и математиком Валентином Турчиным и Роем Медведевым опубликовали новое открытое письмо руководителям государства. Тема письма — взаимосвязь проблем демократизации и технико-экономического прогресса. В июне я принял активное участие в кампании за освобождение другого из братьев Медведевых — биолога Жореса — от незаконного помещения в психиатрическую больницу. В те же дни я принял участие в коллективной надзорной жалобе в Прокуратуру СССР по делу генерала П. Г. Григоренко, который по определению Ташкентского суда был направлен для принудительного лечения в специальную тюремную больницу МВД СССР в город Черняховск. Причиной этого являлись неоднократные открытые выступления Григоренко в защиту политзаключенных и в защиту прав крымских татар, которые в 1944 году были по сталинскому произволу с огромными жестокостями высе-

ны из Крыма, а ныне не могут вернуться на родину. На наше обращение, указывающее на многочисленные явные нарушения закона в деле Григоренко, не последовало никакого ответа (что тоже представляет собой грубое нарушение закона). Так я еще более вплотную, чем в 1968 году, соприкоснулся с одной из наиболее, быть может, позорных сторон современной советской действительности — с беззаконным и циничным преследованием лиц, выступающих в защиту основных прав человека. Но одновременно я узнал некоторых (и в последующее время — многих других) из этих людей. Одним из участников коллективной жалобы по делу Григоренко был Валерий Чалидзе, с которым я тесно сошелся.

Дальнейшее мое сближение с проблемами защиты прав человека произошло в октябре 1970 года, когда я был допущен присутствовать на политическом процессе. Математик Револьт Пименов и артист театра кукол Борис Вайль обвинялись в распространении «самиздата» — давали читать друзьям книги и рукописи. В данном случае упоминалась статья Джиласа, чешский манифест «2000 слов», личные комментарии Пименова к речи Хрущева на XX съезде и т. д. Я сидел в зале, заполненном «стажерами» КГБ, а друзья подсудимых в течение всего процесса находились в коридоре первого этажа. Это еще одна черта всех без исключения политических процессов. Формально они открыты для публики, но зал заранее заполняется специально для этого привезенными сотрудниками КГБ, и еще другая группа сотрудников окружает суд со всех сторон, они всегда в штатском, называют себя дружинниками и якобы охраняют общественный порядок. Так было (с незначительными вариациями) на всех судах, на которые я допускался в зал заседания. Допуски же эти были, по-видимому, некоторой данью моим прежним заслугам. Пименова и Вайля осудили на пять лет ссылки каждого, несмотря на то, что адвокат Вайля на кассационном суде привел веские доводы его полной непричастности к инкриминируемым ему эпизодам. В последнем слове Борис Вайль сказал, что несправедливый приговор сказывается не только на судьбе осужденного, но и на сердце судей.

Начиная с осени 1971 года я уже оказался вне линии дружинников. Но больше ничего не менялось. На суде над известным астрофизиком Кронидом Любарским (который обвинялся все в том же — в распространении «самиздата») разыгрался очень показательный и трагический спектакль. Нас не пустили в зал, а когда заседание началось, «неизвестные в штатском» с применением силы вытолкнули из вестибюля суда на улицу. После этого на входную дверь народного суда был повешен большой амбарный замок. Надо видеть своими глазами весь этот бессмысленный и жестокий театр, чтобы прочувствовать его до конца! Но зачем все это? Я не могу дать другого ответа, кроме того, что фарс, разыгрывающийся внутри суда, еще в меньшей мере предназначен для гласности, чем фарс у стен суда. Казенно-бюрократическая логика судопроизводства неизбежно выглядит гротескной в свете гласности, даже при формальном соблюдении закона, что тоже бывает далеко не всегда.

Приговор Пименову и Вайлю, такой жестокий и несправедливый с точки зрения человеческих норм, является относительно мягким в сравнении с решениями советских судов в других подобных случаях, в особенности в последующие годы. Владимир Буковский, известный всему миру своими выступлениями в защиту заключенных по политическим мотивам в психиатрические больницы, осужден на 12 лет — 2 года тюрьмы, 5 лет лагеря и 5 лет ссылки. К. Любарский осужден на 5 лет заключения. Еще суровей приговоры за пределами Москвы. Молодой психиатр С. Глузман осужден на 7 лет заключения. Я однажды случайно видел Семена несколько минут на вокзале и был поражен чистотой его облика, какой-то действенной добротой и прямотой. Тогда я еще не мог подозревать, что ему предстоит такая судьба! Предполагают, что причиной расправы над Глузманом было предположение, что он автор «Заочной экспертизы по делу Григоренко». Но на суде это обвинение не фигурировало. Авторы мемуаров о своем пребывании в лагере В. Мороз и Ю. Шухевич осуждены украинским судом один на 14, другой на 15 лет заключения и ссылки. Резко возросло и число подобных расправ.

Прежде чем двигаться дальше, я хочу сказать несколько слов, почему мне представляется таким важным делом защита политзаключенных, защита свободы убеждений. Наша страна за 56 лет прошла путь тяжелых потрясений, страданий и унижений, физического уничтожения миллионов лучших в нравственном и интеллектуальном отношении людей, десятилетия казенного лицемерия и демагогии, внутреннего и внешнего приспособленчества. Эпоха террора, когда пытки и особые совещания грозили каждому, когда хватали самых верных слуг режима просто для общего счета и для создания атмосферы страха и подчинения,— сейчас позади. Но мы все еще живем в созданной этой эпохой духовной атмосфере. К тем немногим, которые не подчиняются господствующему соглашательству, государство по-прежнему применяет репрессии. Наряду с судебными репрессиями самую важную и решающую роль в сохранении этой атмосферы внутреннего и внешнего подчинения играет власть государства, сосредоточившего в своих руках все экономические и социальные рычаги. Это больше всего держит в невидимой зависимости тело и дух большинства людей. Для психологической обстановки в стране также очень существенно, что люди устали от бесконечных обещаний экономического процветания в самом ближайшем будущем, разуверились в громких словах вообще. Уровень жизни (питание, жилье, одежда, возможности отдыха), социальные условия (детские учреждения, медицинские и учебные заведения, пенсии, охрана труда и т. д.) — все это крайне отстает от уровня в развитых странах. В широких слоях населения развивается равнодушие к общественным вопросам, потребительская и эгоистическая позиция. Протест же против мертвящей официальной идеологии у большинства носит неосознанный, подспудный характер. Наиболее широкими и осознанными являются религиозные и национальные движения. Среди тех, кто заполняет лагеря и подвергается другим преследованиям, много верующих и представителей национальных меньшинств. Одной из массовых форм протеста является желание покинуть страну. К сожалению, надо отметить, что иногда стремление к национальному возрождению приобретает шовинистические черты. При этом оно смыкается с традиционной «бытовой» неприязнью к «инородцам». Русский антисемитизм — один из примеров этого. Для части русской оппозиционной интеллигенции таким образом намечается парадоксальная близость с негласной партийно-государственной доктриной национализма, которая фактически все больше сменяет антинациональный и антирелигиозный миф большевизма. У некоторых то же чувство неудовлетворенности и внутреннего протеста принимает другие асоциальные формы (пьянство, уголовщина).

Очень важно, чтобы фасад показных благополучия и энтузиазма не закрывал от мира этой истинной картины — наш опыт не должен пропасть даром. Столь же важно, чтобы наше общество постепенно выходило из тупика бездуховности, при котором закрывается возможность не только развития духовной культуры, но и прогресса в области материальной сферы.

Я убежден, что в условиях нашей страны нравственная и правовая позиция является самой правильной, соответствующей потребностям и возможностям общества. Нужна планомерная защита человеческих прав и идеалов, а не политическая борьба, неизбежно толкающая на насилие, сектантство и бесовщину.

Убежден, что только так и при условии возможно широкой гласности Запад сможет увидеть сущность нашего общества, и тогда эта борьба становится частью общемирового движения за спасение всего человечества. В этом частичный ответ на вопрос, почему я от общемировых проблем естественно обратился к защите конкретных людей.

Позицию тех, кто, начиная с процессов Синявского и Даниэля, Бродского, Гинзбурга и Галанскова, боролись за справедливость, так, как они ее понимают, вероятно, можно сопоставить с позицией всемирно известной, стоящей вне политики организации — «Эмнести Интернешнл». В любой демократической стране не могло бы даже возникнуть вопроса о законности подобной деятельности. У нас, к сожалению, это не так; десятки самых известных политических процессов, десятки узников психиатрических тюремных больниц — наглядное тому свидетельство.

За последние годы я многое узнал о советской юридической практике — присутствуя на судах, получая множество сведений о ходе подобных дел в других городах. Очень многое я узнал также о режиме в местах заключения, о недоедании, безжалостном формализме и репрессиях против заключенных. В ряде выступлений я обращаю внимание мирового общественного мнения на эту про-

блему, которая является жизненно важной для одного миллиона шестисот тысяч советских заключенных и косвенно оказывает глубокое влияние на многие важные стороны нравственной и социальной жизни всей страны. Я обращался и обращаюсь вновь ко всем международным организациям, к которым эта проблема имеет отношение, в особенности к Международному Красному Кресту, с просьбой отказаться от политики невмешательства во внутренние дела социалистических стран в вопросах защиты прав человека и проявить при этом максимальную настойчивость. Я выступал также об институте «условного освобождения с обязательным привлечением к труду», который в политическом отношении представляет собой пережиток сталинской системы массового принудительного труда и является очень страшным в социальном отношении. Трудно даже представить себе весь кошмар бараков «условно освобожденных», с почти повальным пьянством, мордобоем и поножовщиной. Эта система сломала уже жизнь многим людям. Сохранение системы лагерей и принудительного труда является одной из причин, почему обширные районы страны закрыты для иностранцев. По-видимому, осуществление сколько-нибудь успешного международного сотрудничества в деле освоения наших богатейших ресурсов невозможно без ликвидации этой системы.

Другая проблема, которая привлекала на протяжении всех последних лет мое внимание,— это психиатрические репрессии, используемые органами КГБ как важное дополнительное средство подавления и устрашения инакомыслящих. Несомненна огромная социальная опасность этого явления.

Собранные документы отражают мое стремление привлечь внимание к этому кругу проблем.

Я чувствую себя в неоплатном долгу перед смелыми и нравственными людьми, которые являются узниками тюрем, лагерей и психиатрических больниц за свою борьбу в защиту прав человека.

Осенью 1970 года я совместно с В. Н. Чалидзе и А. Н. Твердохлебовым принял участие в основании «Комитета прав Человека». Этот наш акт привлек большое внимание в стране и за рубежом. Со дня основания в работе комитета принимал активное участие А. С. Вольпин. Впервые в нашей стране появилась подобная ассоциация, и ее участники не очень точно представляли, что и как им надо делать. Однако Комитетом была проделана в некоторых проблемах большая работа, в частности в изучении вопроса о принудительных психиатрических госпитализациях по политическим мотивам. Само существование комитета как независимой от властей свободной ассоциации, так же как и существование несколько ранее созданной «Инициативной группы», для нашей страны имеет уникальное и очень большое нравственное значение.

В первые месяцы 1971 года мною была написана и в марте 1971 года направлена на имя Л. И. Брежнева «Памятная записка». Она представляет собой по форме нечто вроде конспекта воображаемого диалога с руководством страны. Я не уверен, что эта форма литературно удачна, но зато компактна. По содержанию же я стремился к отражению своих позитивных требований в политической, социальной и экономической областях. Через пятнадцать месяцев, не получив никакого ответа, я опубликовал «Памятную записку», дополнив ее «Послесловием», которое представляет собой самостоятельное произведение. Я обращаю особое внимание читателя на него.

Публикуя «Памятную записку», я не вносил исправлений в ее текст. В частности, я не изменил и трактовки проблемы советско-китайских отношений, о чем сожалею. Я не идеализирую и сейчас китайский вариант социализма. Но я не считаю правильной ту оценку опасности угрозы китайской агрессии в отношении СССР, которая содержится в «Памятной записке», во всяком случае, китайская угроза не может служить оправданием милитаризации нашей страны и отсутствия в ней демократических преобразований.

Я уже говорил о тех документах сборника, которые связаны с защитой прав отдельных людей. Я узнавал в эти годы все большее число трагических и героических судеб, некоторые из них нашли свое отражение на страницах сборника. Документы этого цикла в основном не требуют комментария.

В апреле 1972 года я составил текст обращения к Верховному Совету СССР об амнистии политзаключенных и об отмене смертной казни. Эти документы были

приурочены к пятидесятилетию СССР. Я уже писал, почему я придаю такое первостепенное значение первому из этих вопросов. Остановлюсь на втором. Отмена смертной казни — исключительно важный в нравственном и социальном отношении акт для любой страны. В нашей же стране с ее очень низким уровнем правосознания при широко распространенной озлобленности этот акт был бы особенно важен. Под обращениями удалось собрать около пятидесяти подписей. Каждая из них — это очень весомый нравственно-общественный акт подписавшего. Собирая подписи, я почувствовал это с особой силой. Гораздо больше людей отказалось, объяснения некоторых из них многое прояснили мне во внутренних причинах мыслей и действий нашей интеллигенции.

В сентябре 1971 года я обратился к членам Президиума Верховного Совета СССР с письмом о свободе эмиграции и беспрепятственном возвращении. Другое же выступление по этому вопросу — письмо Конгрессу США в сентябре 1973 года. В этих документах я обращаю внимание на различные стороны этой проблемы, в том числе на ту важную роль, которую ее положительное решение будет иметь для демократизации и повышения жизненных стандартов в нашей стране до уровня развитых стран. Пример Польши и Венгрии, где сейчас свободе выезда и возвращения не чинятся такие тяжкие препятствия, как у нас, может служить доказательством правоты этой мысли.

Летом 1973 года я дал интервью по вопросам общего характера, предложенным мне корреспондентом шведского радио Улле Стенхольмом. Интервью это вызвало широкий резонанс в СССР и за рубежом. Я получил несколько десятков писем, содержащих возмущение моей «клеветнической» позицией (следует иметь в виду, что письма противоположного характера обычно не доходят до меня). Советская «Литературная газета» опубликовала статью обо мне под названием «Поставщик клеветы». Корреспондент Улле Стенхольм, взявший у меня интервью и без искажений опубликовавший его текст, недавно лишен въездной визы и возможности продолжать свою работу в СССР, что является возмутительным нарушением прав честного и умного журналиста, ставшего другом нашей семьи. Не исключено, что последнее обстоятельство сыграло свою роль в учиненном над ним беззаконии. Интервью было устным, ни вопросы, ни ответы заранее не обсуждались. Это следует учитывать при оценке данного документа, представляющего собой непринужденный домашний разговор по весьма серьезным принципиальным вопросам. В этом интервью, как и в «Памятной записке» и в «Послесловии», я вышел за пределы темы прав человека и демократических свобод и коснулся экономических и социальных проблем, которые, вообще говоря, требуют специальной, а может быть, и профессиональной подготовки. Но эти проблемы так животрепещущи для каждого человека, что я не раскаиваюсь в том, что они явились предметом обсуждения. Особое раздражение моих оппонентов вызвала характеристика строя нашей страны как государственного капитализма с партийно-государственной монополией и вытекающих из такого строя последствий во всех областях жизни общества.

Важные принципиальные проблемы «разрядки» международной напряженности в их связи с условием демократизации и открытости советского общества отражены в интервью августа-сентября 1973 года.

Мои выступления в последние годы проходили в условиях все возраставшего давления на меня и особенно на мою семью. В сентябре 1972 года был арестован наш близкий друг Юрий Шиханович. В октябре 1972 года с последнего курса университета исключена по формальному и надуманному предлогу при полной успеваемости дочь моей жены Татьяна, все попытки добиться ее восстановления были полностью безуспешны. Весь год нас преследуют анонимными телефонными звонками с угрозами и нелепыми обвинениями. В феврале 1973 года в «Литературной газете» помещена статья ее главного редактора Чаковского, посвященная книге Гаррисона Солсберри. В этой статье я охарактеризован как крайне наивный человек, цитирующий Евангелие, «кокетливо размахивающий оливковой веткой», «юродствующий» и «охотно принимающий комплименты Пентагона» (все это в связи с моими «Размышлениями», которые впервые за пять лет таким образом попали на страницы советской печати). В марте я впервые вызван на беседу в КГБ (формально — под предлогом совместного с моей женой поручи-

тельства за нашего друга Юрия Шихановича). В июне в связи с подачей заявления поехать учиться по приглашению в США лишается работы муж Татьяны. В июле появляется уже упомянутая статья «Поставщик клеветы». В июле же сын жены Алексей, видимо, по специальному указанию свыше, не допускается к поступлению в университет. В августе меня вызывает заместитель Прокурора СССР Маляров. Основное содержание беседы — угрозы. Сразу же вслед за моим интервью от 21 августа о проблемах разрядки в советских газетах публикуются перепечатки из зарубежных коммунистических газет и письмо сорока академиков, объявивших меня противником смягчения международной напряженности. Затем газетная кампания по всей стране с осуждением меня представителями всех слоев нашего общества. В конце сентября — визит в нашу, со всех сторон просматриваемую КГБ, квартиру лиц, назвавших себя членами организации «Черный сентябрь». Они угрожают расправой не только мне, но и членам моей семьи. В ноябре следователь — полковник КГБ — вызывает мою жену на повторные многочасовые допросы. Моя жена отказывается участвовать в следствии, но это не сразу прекратило вызовы. Ранее моя жена публично заявила, что передала на Запад попавший в ее руки дневник Эдуарда Кузнецова, однако она считает себя вправе не рассказывать, как и что было сделано для его распространения. Следователь предупреждает ее, что ее действия подпадают под ответственность по статье 70 УК РСФСР со сроком наказания до семи лет. Мне кажется, что на одну семью этого вполне достаточно.

Вскоре после военного переворота в Чили писатели А. Галич, В. Максимов и я обратились к новой администрации Чили с письмом, выражавшим тревогу за жизнь выдающегося чилийского поэта Пабло Неруды. Наше письмо не носило политического характера и не преследовало никаких целей, кроме чисто гуманных. Однако оно вызвало в советской и просоветской западной прессе взрыв наигранного негодования как якобы «защищающее фашистскую хунту». При этом само письмо цитировалось неточно, а о двух его авторах — Галиче и Максимове — вообще «забыли». Цель организаторов этой кампании — скомпрометировать меня хотя бы таким образом, если не удается сделать это иначе — слишком очевидна. Но если отвлечься от явно недобросовестных оппонентов и обратиться к высказываниям, более объективно отражающим общественное либеральное мнение на Западе, то следует сказать, что вся эта история выявила характерное недоразумение, на котором есть смысл остановиться. Либеральное общественное мнение в демократических странах, как правило, занимает интернациональную позицию, выступая против несправедливости и насилия не только в собственной стране, но и во всем мире. Я не случайно сказал «как правило»; к сожалению, очень часто защита прав человека в социалистических странах в силу мнения об особой прогрессивности их режимов выпадает или почти выпадает из поля деятельности зарубежных организаций. Большая часть моих выступлений как раз и направлена на преодоление этого положения, которое явилось одной из причин наших трагедий. Но сейчас речь не об этом. Будем говорить о той, пока малой, части западной либеральной интеллигенции, которая распространяет свою активность также и на социалистические страны. Эти люди ждут от советских инакомыслящих ответной аналогичной интернациональной позиции в отношении других стран. Но они не учитывают ряд важных обстоятельств: недостаток информации; советский инакомыслящий не только не может поехать в другие страны, но и внутри страны лишен большинства источников информации; исторический опыт нашей страны отучил нас от излишней «левизны», многие факты мы расцениваем иначе, чем «левая» интеллигенция Запада; мы должны избегать политических выступлений на международной арене, где мы так мало знаем, ведь мы и в собственной стране не занимаемся политической деятельностью; мы должны не впадать в русло советской пропаганды, которая так часто нас обманывает. Мы знаем, что в западных странах существуют бдительные и влиятельные силы, которые лучше и эффективнее нас могут выступить против несправедливости и насилия там. Мы не оправдываем несправедливость и насилие, где бы они ни проявлялись, не считаем, что их в нашей стране обязательно больше, чем в других странах, но сейчас наших сил не может хватить на весь мир. Мы просим учитывать все это и прощать те неточности, которые мы иногда допускаем в полемическом пылу.

Общая позиция, нашедшая выражение в материалах сборника, гораздо ближе к «Размышлениям», чем это может показаться на первый взгляд. Отличия в трактовке политических или политэкономических вопросов, конечно, бросаются в глаза, но поскольку я не претендую на роль первооткрывателя или политического советника, то это менее существенно, чем дух свободной дискуссии, озабоченность фундаментальными вопросами, которые, как мне хотелось бы думать, присутствуют и в «Размышлениях», и в последних работах.

Большинство моих выступлений адресовано руководителям нашего государства или имеют конкретный зарубежный адрес. Но внутренне я обращаю их ко всем людям на земле и в особенности к людям моей страны, потому что продиктованы они заботой и тревогой о своей стране и ее народе.

Я не являюсь чистым отрицателем нашего образа жизни, признавая многое хорошее в наших людях и стране, горячо ее любя; но вынужден фиксировать внимание на негативных явлениях, так как именно о них умалчивает казенная пропаганда и так как именно они представляют собой наибольший вред и опасность. Я не являюсь противником разрядки международной напряженности, торговли, разоружения — напротив, в ряде работ я призываю именно к этому; именно в конвергенции я вижу единственный путь спасения человечества, но я считаю своим долгом указывать на все скрытые опасности ложной разрядки, разрядки-сговора или разрядки-капитуляции, и призывать к использованию всего арсенала средств, всех усилий для достижения реальной конвергенции, сопровождающейся демократизацией, демилитаризацией и социальным прогрессом. Я надеюсь, что публикация этого сборника принесет пользу в этом деле.

В заключение я должен выразить глубокую признательность всем, кто способствовал подготовке и изданию этого сборника,— издателю м-ру Кнопфу, редактору м-ру Грину и м-ру Солсберри, моей жене и многим моим друзьям в СССР и других странах.

31 декабря 1973 года
Москва

МИР, ПРОГРЕСС, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Нобелевская лекция

Глубокоуважаемые члены Нобелевского комитета!
Глубокоуважаемые дамы и господа!

Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими. Такова главная мысль, которую я хочу отразить в этой лекции.

Я глубоко благодарен за присуждение мне высокой, волнующей награды — Нобелевской премии мира — и за предоставленную возможность выступить сегодня перед вами. Я с особенным удовлетворением воспринял формулировку Комитета, в которой подчеркнута роль защиты прав человека как единственного прочного основания для подлинного и долговечного международного сотрудничества. Эта мысль кажется мне очень важной. Я убежден, что международное доверие, взаимопонимание, разоружение и международная безопасность немыслимы без открытости общества, свободы информации, свободы убеждений, гласности, свободы поездок и выбора страны проживания. Я убежден также, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является основой научно-технического прогресса и гарантией от использования его достижений во вред человечеству, тем самым основой экономического и социального прогресса, а также является политической гарантией возможности эффективной защиты социальных прав. Таким образом я защищаю тезис о первичном, определяющем значении гражданских и политических прав в формировании судеб

Прочитана Е. Г. Боннэр в Осло 10 декабря 1975 г.

человечества. Эта точка зрения существенно отличается от широко распространенных марксистских, а также от технократических концепций, согласно которым определяющее значение имеют именно материальные факторы, социальные и экономические права. (Сказанное не означает, конечно, что я в какой-либо мере отрицаю значение материальных условий жизни людей.)

Все эти тезисы я собираюсь отразить в лекции и особо остановиться на некоторых конкретных проблемах нарушения прав человека, решение которых представляется мне необходимым и срочным.

В соответствии с этим планом выбрано название лекции: «Мир, прогресс, права человека». Это, конечно, сознательная параллель к названию моей статьи 1968 года «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», во многом близкой по своей направленности, по содержащимся в ней предостережениям.

Имеется много признаков того, что начиная со второй половины XX века человечество вступило в особо ответственный, критический период своей истории.

Создано ракетно-термоядерное оружие, способное в принципе уничтожить все человечество,— это самая большая опасность современности. Благодаря экономическим, промышленным и научным достижениям несравненно более опасными стали также так называемые «обычные» виды вооружения, не говоря уже о химическом и бактериологическом оружии.

Несомненно, успехи промышленного и технологического прогресса являются главным фактором преодоления нищеты, голода и болезней; но они одновременно приводят к угрожающим изменениям в окружающей среде, к истощению ресурсов. Человечество таким образом столкнулось с грозной экологической опасностью.

Быстрые изменения традиционных форм жизни привели к неуправляемому демографическому взрыву, особенно мощному в развивающихся странах третьего мира. Рост населения создает необычайно трудные экономические, социальные и психологические проблемы уже сейчас и неотвратимо угрожает гораздо более серьезными опасностями в будущем. Во многих странах, в особенности в Азии, Африке, Латинской Америке, недостаток продовольствия продолжает оставаться постоянным фактором жизни сотен миллионов людей, обреченных с момента рождения на нищенское полуголодное существование. При этом прогнозы на будущее, несмотря на несомненные успехи «зеленой революции», являются тревожными, а по мнению многих специалистов — трагическими.

Но и в развитых странах люди сталкиваются с очень серьезными проблемами. Среди них — тяжелые последствия неумеренной урбанизации, потеря социальной и психологической устойчивости общества, непрерывная изнуряющая гонка моды и сверхпроизводства, бешеный, безумный темп жизни и ее изменений, рост числа нервных и психических заболеваний, отрыв все большего числа людей от природы и нормальной, традиционной человеческой жизни, разрушение семьи и простых человеческих радостей, упадок морально-этических устоев общества и ослабление чувства цели и осмысленности жизни. На этом фоне возникают многочисленные уродливые явления — рост преступности, алкоголизма, наркомании, терроризма и т. п. Надвигающееся истощение ресурсов Земли, угроза перенаселения, многократно углубленные международными политическими и социальными проблемами, начинают все сильней давить на жизнь также и в развитых странах, лишая (или угрожая лишить) многих людей изобилия, удобства и комфорта, ставших уже привычными.

Однако наиболее существенную, определяющую роль в проблематике современного мира играет глобальная политическая поляризация человечества, разделившая его на так называемый первый мир (условно назовем его «западный»), второй (социалистический), третий (развивающиеся страны). Два крупнейших социалистических государства фактически стали враждующими тоталитарными империями с непомерной властью единственной партии и государства над всеми сторонами жизни своих граждан и с огромным экспансионистским потенциалом, стремящимся подчинить своему влиянию обширные районы земного шара. При этом одно из этих государств — КНР — находится пока на относительно низком уровне экономического развития, а другое — СССР,—

используя уникальные природные ресурсы, пройдя через десятилетия неслыханных бедствий и перенапряжения всех сил народа,— достигло в настоящее время огромной военной мощи и относительно высокого (хотя и одностороннего) экономического развития. Но и в СССР уровень материальной жизни населения низок, а уровень гражданских свобод ниже даже, чем в малых социалистических странах. Очень сложные общемировые проблемы связаны также с третьим миром с его относительной экономической пассивностью, сочетающейся с растущей международной политической активностью.

Эта поляризация многократно усиливает и без того очень серьезные опасности, нависшие над миром,— опасности термоядерной гибели, голода, отравления среды, истощения ресурсов, перенаселения, дегуманизации.

Обсуждая весь этот комплекс неотложных проблем и противоречий, следует прежде всего сказать, что, по моему убеждению, любые попытки замедлить темп научно-технического прогресса, повернуть вспять урбанизацию, призывы к изоляционизму, патриархальности, к возрождению на основе обращения к здоровым национальным традициям прошлых столетий — нереалистичны. Прогресс неизбежен, его прекращение означало бы гибель цивилизации.

Еще не так давно люди не знали минеральных удобрений, машинной обработки земли, ядохимикатов, интенсивных методоа земледелия. Есть голоса, призывающие вернуться к более традиционным и, возможно, более безопасным формам земледелия. Но возможно ли осуществить это в мире, где и сейчас сотни миллионов людей страдают от голода? Несомненно, наоборот, необходима дальнейшая интенсификация и распространение ее на весь мир, на все развивающиеся страны. Нельзя отказаться от все более широкого применения достижений медицины и от расширения исследований во всех ее отраслях, в том числе и в таких, как бактериология и вирусология, нейрофизиология, генетика человека и генохирургия, несмотря на потенциальные опасности злоупотребления и нежелательных социальных последствий некоторых из этих исследований. То же относится к исследованиям в области создания систем имитации интеллекта, к исследованиям в области управления массовым поведением людей, к созданию единых общемировых систем связи, систем сбора и хранения информации и т. п. Совершенно очевидно, что в руках безответственных бюрократических, действующих под покровом секретности учреждений — все эти исследования могут оказаться необыкновенно опасными, но в то же время они могут стать крайне важными и необходимыми для человечества, если их осуществлять под контролем гласности, обсуждения, научного социального анализа. Нельзя отказаться от все более широкого использования искусственных материалов, синтетической пищи, от модернизации всех сторон быта людей. Нельзя отказаться от возрастающей автоматизации и укрупнения промышленного производства, несмотря на связанные с этим социальные проблемы.

Нельзя отказаться от строительства все более мощных тепловых и атомных электростанций, от исследований в области управляемой термоядерной реакции, поскольку энергетика — одна из основ цивилизации. Я позволю себе вспомнить в этой связи, что 25 лет назад мне, вместе с моим учителем, лауреатом Нобелевской премии по физике Игорем Евгеньевичем Таммом, довелось стоять у начала исследований управляемой термоядерной реакции в нашей стране. Сейчас эти работы приобрели огромный размах, исследуются самые различные направления, от классических схем магнитной термоизоляции до методов с использованием лазеров.

Нельзя отказаться от расширения работ по освоению околоземного космоса и по исследованию дальнего космоса, в том числе от попыток приема сигналов от внеземных цивилизаций — шансы на успех таких попыток, вероятно, малы, но зато последствия успеха могут быть грандиозными.

Я назвал только некоторые примеры, их можно умножить. В действительности все главные стороны прогресса тесно связаны между собой, ни одну из них нельзя отменить, не рискуя разрушить все здание цивилизации; прогресс неделим. Но особую роль в механизме прогресса играют интеллектуальные, духовные факторы. Недооценка этих факторов, особенно распространенная в социалистических странах, возможно, под влиянием вульгарных идеологических догм официальной философии может привести к извращению путей прогресса или

даже к его прекращению, к застою. Прогресс возможен и безопасен лишь под контролем Разума. Важнейшая проблема охраны среды — один из примеров, где особенно ясна роль гласности, открытости общества, свободы убеждений. Только частичная либерализация, наступившая в нашей стране после смерти Сталина, сделала возможными памятные всем нам публичные дискуссии первой половины шестидесятых годов по этой проблеме, но эффективное ее решение требует дальнейшего усиления общественного и международного контроля. Военные применения достижений науки, разоружение и контроль на ним — другая, столь же критическая область, где международное доверие зависит от гласности и открытости общества. Упомянутый пример управления массовым поведением людей, при своей внешней экзотичности, тоже вполне актуален уже сейчас.

Свобода убеждений, наличие просвещенного общественного мнения, плюралистический характер системы образования, свобода печати и других средств информации — всего этого сильно не хватает в социалистических странах вследствие присущего им экономического, политического и идеологического монизма. Между тем эти условия жизненно необходимы не только во избежание злоупотреблений прогрессом, вольных и по неведению, но и для его поддержания. В особенности важно, что только в атмосфере интеллектуальной свободы возможна эффективная система образования и творческой преемственности поколений. Наоборот, интеллектуальная несвобода, власть унылой бюрократии, конформизм, разрушая сначала гуманитарные области знания, литературу и искусство, неизбежно приводят затем к общему интеллектуальному упадку, бюрократизации и формализации всей системы образования, к упадку научных исследований, исчезновению атмосферы творческого поиска, к застою и распаду.

Сейчас, в поляризованном мире, тоталитарные страны благодаря детанту, или разрядке, приобрели возможность своеобразного интеллектуального паразитизма — и похоже, если не произойдет тех внутренних сдвигов, о необходимости которых все мы думаем, скоро им придется встать на этот путь. Один из возможных результатов детанта именно таков. Если это произойдет, взрывоопасность общемировой ситуации может только возрасти. Миру жизненно необходимо всестороннее сотрудничество между странами Запада, социалистическими и развивающимися странами, включая обмен знаниями, технологией, торговлю, экономическую, в частности продовольственную, взаимопомощь. Но это сотрудничество должно происходить на основе доверия открытых обществ, как говорят, с открытой душой, на основе истинного равноправия, а не на основе страха демократических стран перед их тоталитарными соседями. Сотрудничество в этом последнем случае означало бы просто попытку задарить, задобрить жуткого соседа. Но подобная политика всегда лишь отсрочка беды, которая вскоре возвращается в другую дверь с удесятиренными силами, это попросту новый вариант Мюнхенской политики. Устойчивый успех детанта возможен только, если с самого начала он сопровождается непрестанной заботой об открытости всех стран, об увеличении уровня гласности, о свободном обмене информацией, о непременном соблюдении во всех странах гражданских и политических прав — короче говоря, при дополнении разрядки в материальной сфере разоружения и торговли разрядкой в духовной, идеологической сфере. Об этом прекрасно сказал президент Франции Жискар д'Эстен во время своего визита в Москву. Право, стоило пережить упреки некоторых недальновидных прагматиков из числа его соотечественников ради того, чтобы поддержать важнейший принцип!

Прежде чем перейти к обсуждению проблем разоружения, я хочу воспользоваться возможностью и еще раз напомнить некоторые свои предложения общего характера. Это прежде всего идея создания под эгидой ООН Международного консультативного комитета по вопросам разоружения, прав человека и охраны среды. Комитету, согласно моей мысли, должно быть предоставлено право получения обязательных ответов от всех правительств на его запросы и рекомендации. Такой комитет явился бы важным рабочим органом для обеспечения общемировых дискуссий и гласности по самым важным проблемам, от которых зависит будущее человечества. Я жду поддержки и обсуждения этой идеи.

Я также хочу подчеркнуть, что я считаю особенно важным более широкое использование войск ООН для купирования международных и межнациональных вооруженных конфликтов. Я очень высоко оцениваю возможную и необходимую роль ООН, считая ее одной из главных надежд человечества на лучшее будущее. Последние годы — трудные, критические для этой организации. Я писал об этом в книге «О стране и мире». Уже после ее выхода в свет заслуживающим сожаления событием было принятие Генеральной Ассамблеей (причем почти без обсуждения по существу) резолюции, объявившей сионизм формой расизма и расовой дискриминации. Все беспристрастные люди знают, что сионизм — это идеология национального возрождения еврейского народа после двух тысяч лет рассеяния и что эта идеология не направлена против других народов. Принятие подобной резолюции, по моему мнению, нанесло удар престижу ООН. Несмотря на подобные факты, часто порождаемые отсутствием чувства ответственности перед человечеством у руководителей некоторых более молодых членов ООН, я все же верю, что рано или поздно ООН сумеет играть в жизни человечества достойную роль, в соответствии с целями Устава.

Перехожу к одной из центральных проблем современности — к разоружению. Я подробно изложил свою позицию в книге «О стране и мире». Необходимо укрепление международного доверия, совершенный контроль на местах силами международных инспекционных групп. Все это невозможно без расширения разрядки на область идеологии, без увеличения открытости общества. В этой же книге я подчеркнул необходимость международных соглашений об ограничении поставок оружия другим государствам, прекращения новых разработок систем оружия по специальным соглашениям, соглашения о запрещении секретных работ, устранения факторов стратегической неустойчивости, в частности запрещения разделяющихся боеголовок.

Как же я представляю себе идеальное общемировое соглашение о разоружении в техническом плане?

Я думаю, что такому соглашению должно предшествовать официальное (не обязательно сразу открытое) заявление об объеме всех видов военного потенциала (от запасов термоядерных зарядов до прогнозов контингентов военнообязанных), с указанием *примерной условной разбивки* по районам «потенциальной конфронтации». Соглашение должно предусматривать в качестве первого этапа ликвидацию преимуществ одной стороны над другой отдельно для каждого стратегического района и для каждого вида военного потенциала (конечно, это только схема, от которой неизбежны некоторые отклонения). Таким образом, будет исключено, во-первых, что соглашение в одном стратегическом районе (скажем, в Европе) будет использовано для усиления военных позиций в другом районе (скажем, на советско-китайской границе), и, во-вторых, исключены возможные несправедливости из-за трудности количественно сопоставить значимость разных видов потенциала (например, трудно сказать, скольким зенитным установкам ПРО эквивалентен один крейсер и т. п.). Следующим этапом сокращения вооружений должно явиться пропорциональное сокращение одновременно для всех стран и всех стратегических районов. Такая формула «сбалансированного» двухэтапного сокращения вооружений обеспечит непрерывающуюся безопасность каждой страны, непрерывное равновесие сил в каждом районе потенциальной конфронтации и одновременно радикальное решение экономических и социальных проблем, порождаемых милитаризацией. На протяжении многих десятилетий варианты подобного подхода выдвигаются многими экспертами и государственными деятелями, однако до сих пор успех очень незначителен. Но я надеюсь, что сейчас, когда человечеству реально угрожает гибель в огне термоядерных взрывов, разум людей не допустит этого исхода. Радикальное сбалансированное разоружение действительно необходимо и возможно как часть многостороннего и сложного процесса разрешения грозных, неотложных мировых проблем. Та новая фаза межгосударственных отношений, которая получила название разрядки, или детанта, и, вероятно, имеет своим кульминационным пунктом совещание в Хельсинки, в принципе открывает определенные возможности продвижения в этом направлении.

Заключительный акт совещания в Хельсинки в особенности привлекает наше внимание тем, что в нем впервые официально отражен тот комплексный подход к решению проблем международной безопасности, который представляется единственно возможным; в акте содержатся глубокие формулировки о связи международной безопасности с защитой прав человека, свободой информации

и свободой передвижения и важные обязательства стран-участниц, гарантирующие эти права. Очевидно, конечно, что речь идет не о гарантированном результате, а именно о новых возможностях, которые могут быть реализованы лишь в результате длительной планомерной работы, с единой и последовательной позицией всех стран-участниц, в особенности демократических стран.

Это относится, в частности, к проблеме прав человека, которой посвящена последняя часть лекции. В нашей стране, о которой я теперь буду говорить преимущественно, за месяцы, прошедшие после совещания в Хельсинки, вообще не произошло сколько-нибудь существенного улучшения в этом направлении; в отдельных же вопросах замечаются даже попытки сторонников жесткого курса «завинтить» гайки.

Все в том же состоянии находятся важные проблемы международного информационного обмена, свободы выбора страны проживания, поездок для учения, работы, лечения, просто туризма. Чтобы конкретизировать это утверждение, я сейчас приведу некоторые примеры — не в порядке их важности и не стремясь к полноте.

Вы все знаете лучше, чем я, что дети, скажем, из Дании, могут сесть на велосипеды и весело доехать до Адриатики. Никто не увидит в них «малолетних шпионов». Но советские дети этого не могут! Вы сами можете мысленно развить этот пример (и все нижеследующие) на множество аналогичных ситуаций.

Вы знаете, что Генеральная Ассамблея под давлением социалистических стран приняла решение, ограничивающее свободу телевизионного вещания со спутников. Я думаю, что сейчас, после Хельсинки, есть все основания для его пересмотра. Для миллионов советских граждан это очень важно и интересно.

В СССР качество протезов для инвалидов крайне низкое. Но ни один советский инвалид, даже имея вызов от иностранной фирмы, не может выехать по этому вызову за границу.

В советских газетных киосках нельзя купить некоммунистические зарубежные газеты, да и коммунистические продаются далеко не каждый номер. Даже такие информационные журналы, как «Америка», крайне дефицитны и продаются в ничтожном числе киосков, расходятся же мгновенно и обычно с «нагрузкой» неходовых изданий.

Каждый, желающий эмигрировать из СССР, должен иметь вызов от близких родственников. Для многих это неразрешимая проблема, например, для 300 тысяч немцев, желающих уехать в ФРГ (к тому же квота на выезд составляет для немцев всего 5 тысяч человек в год, то есть выезд распланирован на 60 лет!). За этим — огромная трагедия. Особенно трагично положение лиц, желающих соединиться с родственниками в социалистических странах,— за них некому заступиться, и произвол властей не знает пределов.

Свобода передвижения, выбора места работы и жительства продолжает нарушаться для миллионов колхозников, продолжает нарушаться для сотен тысяч крымских татар, 30 лет назад с огромными жестокостями выселенных из Крыма и до сих пор лишенных права вернуться на родную землю.

Заключительный акт совещания в Хельсинки вновь подтвердил принципы свободы убеждений. Но требуется большая и упорная борьба, чтобы эти положения акта имели не только декларативное значение. В СССР многие тысячи людей преследуются сегодня за убеждения в судебном и внесудебном порядке — за религиозные верования и желание воспитывать своих детей в религиозном духе; за чтение и распространение (часто простое ознакомление одного-двух человек) нежелательной властям литературы, обычно абсолютно легальной по демократическим нормам, например религиозной; за попытку покинуть страну; особенно важна в моральном плане проблема преследования лиц, страдающих за защиту других жертв несправедливости, за стремление к гласности, в частности за распространение информации о судах, преследованиях за убеждения, об условиях мест заключения.

Невыносима мысль, что сейчас, когда мы собрались для праздничной церемонии в этом зале, *сотни и тысячи узников совести страдают от тяжелого многолетнего голода, от почти полного отсутствия в пище белков и витаминов, от отсутствия лекарств (витамины и лекарства запрещено пересылать в места заключения), от непосильной работы, дрожат от холода, сырости и истощения в полутемных карцерах, вынуждены вести непрестанную борьбу за свое человеческое достоинство, за убеждения против машины «перевоспитания»*, а фактически слома их души. Особенности системы мест заключения тщательно скрываются, десятки людей страдают за ее разоблачение — это лучшее доказательство реальности обвинений в ее адрес. *Наше чувство человеческого достоинства требует немедленного изменения этой системы для всех заключенных, как бы они ни были виновны. Но что сказать о муках невинных? Самое же страшное — ад спецпсихбольниц Днепропетровска, Сычевки, Благовещенска, Казани, Черняховска, Орла, Ленинграда, Ташкента...*

Я не могу сегодня рассказывать конкретные судебные дела, конкретные судьбы. Есть большая литература (я обращаю здесь ваше внимание на издания издательства «Хроника-Пресс» в Нью-Йорке, перепечатывающего, в частности, советский самиздатский журнал «Хроника текущих событий» и издающего аналогичный информационный бюллетень). *Я просто назову здесь, в этом зале, имена некоторых известных мне узников.* Как уже вы слышали вчера, я прошу вас считать, что *все* узники совести, *все* политзаключенные моей страны разделяют со мной честь Нобелевской премии мира.

Вот некоторые известные мне имена: Плющ, Буковский, Глузман, Мороз, Мария Семенова, Надежда Светличная, Стефания Шабатура, Ирина Калинец-Стасив, Ирина Сеник, Нийоле Садунайте, Анаит Карапетян, Осипов, Кронид Любарский, Шумук, Винс, Румачик, Хаустов, Суперфин, Паулайтис, Симутис, Караванский, Валерий Марченко, Шухевич, Павленков, Черноглаз, Абанькин, Сусленский, Мешенер, Светличный, Сафронов, Роде, Шакиров, Хейфец, Афанасьев, Мо-Хун, Бутман, Лукьяненко, Огурцов, Сергиенко, Антонюк, Лупынос, Рубан, Плахотнюк, Ковгар, Белов, Игрунов, Солдатов, Мяттик, Юшкевич, Кийренд, Здоровый, Товмасян, Шахвердян, Загробян, Айрикян, Маркосян, Аршакян, Мираускас, Стус, Сверстюк, Кандыба, Убожко, Романюк, Воробьев, Гель, Пронюк, Гладко, Мальчевский, Гражис, Пришляк, Сапеляк, Калинец, Супрей, Вальдман, Демидов, Берничук, Шовковый, Горбачев, Верхов, Турик, Жукаускас, Сенькив, Гринькив, Навасардян, Саартс, Юрий Вудка, Пуце, Давыдов, Болонкин, Лисовой, Петров, Чекалин, Городецкий, Черновол, Балахонов, Бондарь, Калиниченко, Коломин, Плумпа, Яугялис, Федосеев, Осадчий, Будулак-Шарыгин, Макаренко, Малкин, Штерн, Лазарь Любарский, Фельдман, Ройтбурт, Школьник, Мурженко, Федоров, Дымшиц, Кузнецов, Менделевич, Альтман, Пэнсон, Хнох, Вульф Залмансон, Израиль Залмансон и многие, многие другие. В несправедливой ссылке — Анатолий Марченко, Нашпиц, Цитленок. Ожидают суда — Мустафа Джемилев, Ковалев, Твердохлебов. Я не мог назвать всех известных мне узников за неимением места, еще больше я не знаю или не имею под рукой справки. Но я всех подразумеваю мысленно и всех не названных явно прошу извинить меня. За каждым названным и не названным именем — трудная и героическая человеческая судьба, годы страданий, годы борьбы за человеческое достоинство.

Кардинальное решение проблемы преследования за убеждения — освобождение на основе международного соглашения, возможно, решения Генеральной Ассамблеи ООН, всех политзаключенных, всех узников совести в тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах. В этом предложении нет никакого вмешательства во внутренние дела какой-либо страны, ведь оно в равной мере распространяется на все страны: на СССР, Индонезию, Чили, ЮАР, Испанию, Бразилию, на все другие страны и потому, что защита прав человека провозглашена Всеобщей декларацией ООН международным, а не внутренним делом. Ради этой великой цели нельзя жалеть сил, как бы ни был долог путь — а что он долог, это мы видели во время последней сессии ООН. США на этой сессии внесли предложение о политической амнистии, но затем сняли его после попытки ряда стран чересчур (по мнению делегации США) расширить рамки амнистии. Я сожалею о происшедшем. Но снять проблему нельзя. И я глубоко убежден, что лучше освободить некоторое число людей в чем-то виновных, чем держать в заключении и истязать тысячи невинных.

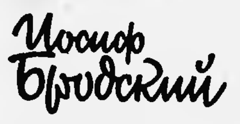
Не отказываясь от кардинального решения, сегодня мы должны бороться за каждого человека в отдельности, против каждого случая несправедливости, нарушения прав человека — от этого зависит слишком многое в нашем будущем.

Стремясь к защите прав людей, мы должны выступать, по моему убеждению, в первую очередь как защитники невинных жертв существующих в разных странах режимов, без требования сокрушения и тотального осуждения этих режимов. Нужны реформы, а не революции. Нужно гибкое, плюралистическое и терпимое общество, воплощающее в себе дух поиска, обсуждения и свободного, недогматического использования достижений всех социальных систем. Что это — разрядка? конвергенция? — дело не в словах, а в нашей решимости создать лучшее, более доброе общество, лучший мировой порядок.

Тысячелетия назад человеческие племена проходили суровый отбор на выживаемость; и в этой борьбе было важно не только умение владеть дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению традиций, способность к альтруистической взаимопомощи членов племени. Сегодня все человечество в целом держит подобный же экзамен. В бесконечном пространстве должны существовать многие цивилизации, в том числе более разумные, более «удачные», чем наша. Я защищаю также космологическую гипотезу, согласно которой космологическое развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное число раз. При этом другие цивилизации, в том числе более «удачные», должны существовать бесконечное число раз на «предыдущих» и «последующих» по отношению к нашему миру листах книги Вселенной. Но все это не должно умалить нашего священного стремления именно в этом мире, где мы как вспышка во мраке возникли на одно мгновение из черного небытия бессознательного существования материи, осуществить требования Разума и создать жизнь, достойную нас самих и смутно угадываемой нами Цели.

1 декабря 1975 года

Окончание следует



ПРИМЕЧАНИЯ ПАПОРОТНИКА

По положению пешки догадываешься о короле.
По полоске земли вдалеке — что находишься на корабле.
По сытым ноткам в голосе нежной подруги в трубке
— что объявился преемник: студевт? хирург?
инженер? По названию станции — Одинбург —
что пора выходить, что яйцу не сносить скорлупки.

В каждом из нас сидит крестьянин, специалист
по прогнозам погоды. Как то: осенний лист,
падая вниз лицом, сулит недород. Оракул
не лучше, когда в жилище входит закон в плаще:
ваши дни сочтены — судьею или вообще
у вас их, что называется, кот наплакал.

Что-что, а примет у нас природа не отберет.
Херувим — тот может не знать, где у него перед,
где зад. Не то человек. Человеку всюду
мнится та перспектива, в которой он
пропадает из виду. И если он слышит звон,
то звонят по нему: пьют, бьют и сдают посуду.

Поэтому лучше бесстрашие! Линия на руке,
пляска розовых цифр в троллейбусном номерке,
плюс эффект штукатурки в комнате Валтасара
подтверждают лишь то, что у судьбы, увы,
вариантов меньше, чем жертв; что вы
скорей всего кончите именно как сказала

цыганка вашей соседке, брату, сестре, жене
приятеля, а не вам. Перо скрипит в тишине,
в которой есть нечто посмертное, обратное танцам в клубе,
настолько она оглушительна; некий анти-обстрел.
Впрочем, все это значит просто, что постарел,
что червяк устал извиваться в клюве.

Пыль садится на вещи летом, как снег зимой.
В этом — заслуга поверхности, плоскости. В ней самой
есть эта тяга вверх: к пыли и к снегу. Или
просто к небытию. И, сродни строке,
«не забывай меня» шепчет пыль руке
с тряпкой, и мокрая тряпка вбирает шепот пыли.

По силе презренья догадываешься: новые времена.
По сверканью звезды — что жалость отменена
как уступка энергии низкой температуре

либо как указанье, что самому пора
выключить лампу; что скрип пера
в тишине по бумаге — бесстрашье в миниатюре.

Внимай же этим речам, как пению червяка,
а не как музыке сфер, рассчитанной на века.
Глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья
песня. Того, что грядет, не остановить дверным
замком. Но дурное не может произойти с дурным
человеком, и страх тавтологии — гарантия благополучья.

1988

FIN DE SIÈCLE

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорей — влияние небытия

на бытие: охотника, так сказать, на дичь,
будь то сердечная мышца или кирпич.
Мы слышим, как свищет бич,

пытаясь припомнить отчества тех, кто нас любил,
барахтаясь в скользких руках лепил.
Мир больше не тот, что был

прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот,
кушетка и комбинация, соль острот.
Кто думал, что их сотрет,

как резинкой с бумаги усилья карандаша,
время? Никто, ни одна душа.
Однако время, шурша,

сделало именно это. Поди его упрекви.
Теперь повсюду антенны, подростки, пни
вместо деревьев. Ни

в кафе не встретить сподвижника, раздавленного судьбой,
ни в баре уставшего пробовать возвыситься над собой
ангела в голубой

юбке и кофточке. Всюду полно людей,
стоящих то плотной толпой, то в виде очередей.
Тиран уже не злодей,

но посредственность. Также автомобиль
больше не роскошь, но способ выбить пыль
из улицы, где костыль

инвалида, поди, навсегда умолк;
и ребенок считает, что серый волк
страшней, чем пехотный полк.

И как-то тянет все чаще прикладывать носовой
к органу зрения, занятому листвой,
принимая на свой

счет возникающий в ней пробел,
глаголы в прошедшем времени, букву «л»,
арию, что пропел

голос кукушки. Теперь он звучит грубей,
чем тот же Каварадосси — примерно как «хоть убей»
или «больше не пей»,

и рука выпускает пустой графин.
Однако в дверях не священник и не раввин,
но эра по кличке фин-

де-сьекль. Модно все черное: сорочка, чулки, белье;
когда в результате вы это все с нее
стаскиваете, жилье

озаряется светом примерно в тридцать ватт,
но с уст вместо радостного «виват!»
срывается «виноват».

Новые времена! Печальные времена!
Вещи в витринах, носящие собственные имена,
делятся ими на

те, которыми вы в состоянье пользоваться, и те,
которые, по собственной темноте,
вы приравниваете к мечте

человечества — в сущности, от него
другого ждать не приходится — о нео-
душевленности холуя и о

вообще анонимности. Это, увы, итог
размножения, чей исток
не брюки и не Восток,

но электричество. Век на исходе. Бег
времени требует жертвы, развалины. Баальбек
его не устраивает; человек

тоже. Подай ему чувства, мысли, плюс
воспоминания. Таков аппетит и вкус
времени. Не тороплюсь,

но подаю. Я не трус; я готов быть предметом из
прошлого, если таков каприз
времени, сверху вниз

смотрящего — или через плечо —
на свою добычу, на то, что еще
шевелится и горячо

на ощупь. Я готов, чтоб меня песком
занесло и чтоб на меня пешком
путешествующий глазком

объектива не посмотрел и не
исполнился сильных чувств. По мне,
движущееся вовне

время не стоит внимания. Движущееся назад
стоит, или стоит, как иной фасад,
смахивая то на сад,

то на партию в шахматы. Век был, в конце концов,
неплох. Разве что мертвецов
в избытке; но и жильцов,

включая автора данных строк,
тоже хоть отбавляй, и впрок
впору, давая срок,

мариновать или сбивать их в сыр
в камерной версии черных дыр,
в космосе; либо — самый мир

сфотографировать и размножить — шесть
на девять, что исключает лесть —
чтоб им после не лезть

впопыхах друг на дружку, как штабель дров.
Под аккомпанемент авиакатастроф,
век кончается; проф.

бубнит, тыча пальцем вверх, о слоях земной
атмосферы, что объясняет зной,
а не как из одной

точки попасть туда, где к составу туч
примешиваются наши «спаси», «не мучь»,
«прости», вынуждая луч

разменивать его золото на серебро.
Но век, собирая свое добро,
расценивает как ретро

и это. На полюсе лает лайка и реет флаг.
На западе глядят на Восток в кулак,
видят забор, барак,

в котором царит оживление. Вспугнуты лесом рук,
птицы вспархивают и летят на юг,
где есть арык, урюк,

пальма, тюрбаны, и где-то звучит там-там.
Но, присматриваясь к чужим чертам,
ясно, что там и там

главное сходство между простым пятном
и, скажем, классическим полотном
в том, что вы их в одном

экземпляре не встретите. Природа, как бард вчера —
копирку, как мысль чела —
букву, как рой — пчела,

искренне ценит принцип массовости, тираж,
страшась исключительности, пропаж
энергии, лучший страж

каковой есть распущенность. Пространство заселено.
Трению времени о него вольно
усиливаться сколько влезет. Но

ваше веко смыкается. Только одни моря
невозмутимо синеют, издали говоря
то слово «заря», то — «зря!».

И услышавши это, хочется бросить рыть
землю, сесть на пароход и плыть,
и плыть — не с целью открыть

остров или растенье, прелесть иных широт,
новые организмы, но ровно наоборот;
главным образом — рот.

1989

ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ШМАКОВА

Извини за молчанье. Теперь
ровно год, как ты нам в киловаттах
выдал статус курей слеповатых
и глухих — в децибелах — тетерь.

Видно, глаз чтит великую сушь,
плюс от ходиков слух заложило:
умерев, как на взгляд старожила —
пассажир, ты теперь вездесущ.

Может статься, тебе, хвастуну,
резонеру, сверчку, черноусу,
ощущавшему даже страну
как безадресность, это по вкусу.

Коли так, гедонист, латинист,
в дебрях северных мерзнувший эллин,
жизнь свою, как исписанный лист,
в пламя бросивший,— будь беспределен,

повсеместен, почти уловим
мыслью вслух, как иной небожитель.
Не сказать «херувим, серафим»,
но — трехмерных пространств нарушитель.

Знать, теперь, недоступный узде
тяготенья, вращению блюдец
и голов, ты взаправду везде,
гастроном, критикан, себялюбец.

Значит, воздуха каждый глоток,
тучка рваная, жиденький ельник,
это ты — однокашник, годок,
брат молочный, наперсник, подельник.

Может статься, ты вправду целей
в пляске атомов, в свалке молекул,
углерода, кристаллов, солей,
чем когда от страстей кукарекал.

Может, вправду, как пел твой собрат,
сантименты сильней без вместилищ,
и постскриптум махровей стократ,
чем цветы театральных училищ.

Впрочем, вряд ли. Изнанка вещей
как защита от мины капризной
солоней атлантических щей
и не слаще от сходства с отчизной.

Но, как знавший чернильную спесь,
ты оттуда простишь этот храбрый
перевод твоих лядвий на смесь
астрономии с абракадаброй.

Сотрапезник, ровесник, двойник,
молний с бисером щедрый метатель,
лучших строк поводырь, проводник
посвещения, лучший читатель!

Нищий барин, исчадье кулис,
бич гостиных, паша оттоманки,
обнажавшихся рощ кипарис,
пьяный пеньем великой гречанки,

— окликать тебя бестолку. Ты,
выжав сам все, что мог, из потери,
безразличен к фальцету тщеты,
и когда тебя ищут в партере.

Ты бредешь, как тот дождь, стороной,
вьешься вверх струйкой пара над кофе,
треплешь парк, набегаешь волной
на песок где-нибудь в Петергофе.

Не впервой! так разводят круги
в эмпиреях, как в недрах колодца.
Став ничем, человек — вопреки
песне хора — во всем остается.

Ты теперь на все руки мастак —
бунта листьев, падения хунты —
часть всего, заурядный тик-так;
проще — топливо каждой секунды.

Ты теперь, в худшем случае, пыль,
свою выше ценящая небыль,
чем салфетки, блюдущие стиль
твердой мебели: мы эта мебель.

Длинный путь от Уральской гряды
с прибауткою «вольному — воля»
до разреженной внешней среды,
максимально — магнитного поля!

Знать, ничто уже, цепью гремя
как причины и следствия звенья,
не грозит тебе там, окромя
знаменитого нами забвенья.

21 авг. 1989 г.

Леонид Лиходеев

Роман[1]

Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.

Матф. 6, 34.

Эпилог

Семидесятый год

Умерла старуха Иванова Юлия Семеновна.

Умерла она как раз под день своего рождения, когда принесли ей телеграмму из города Марселя.

Почтальонша позвонила, еще раз позвонила, постучала, удивилась, что старухи нет, и собралась было кинуть телеграмму а дверную прорезь. Но передумала и решила спуститься в подвал, в домоуправление: пусть хоть управдомша вручит, все-таки — поздравительная.

В домоуправлении находился только слесарь-водопроводчик Родионыч, который никак не соглашался принимать эту телеграмму:

— Управдомша еще спит, а я — затеряю...

Почтальонша посмотрела на него, поверила. Слесарь, видать, либо уже принял, не глядя на ранний час, либо еще не просох от вчерашнего и аа себя, конечно, не отвечал.

— Пить надо меньше,— в сердцах сказала почтальонша, на что слесарь резонно ответил:

— Не на твои...

— Еще чего! У меня б ты — выпил...

Ей не хотелось ругаться с самого утра. Она повертела телеграмму, вздохнула и снова поднялась на шестой этаж, снова постучала в старухину дверь, и тут ей послышалось, будто в передней у старухи что-то упало...

Пенсию старуха получала — всесоюзного значения. На весь участок таких пенсий было всего три штуки. Ну, те двое стариков брали положенное беа слов, а эта — обязательно спрашивала про здоровье, трудная ли работа, есть ли дети, внуки, будто могла чем помочь. Видит, что пожилая женщина лазит по этажам — неужели от удовольствия? И — давала рубль, поила чаем на кухне. Почтальонша еще раз осмотрела телеграмму, нерешительно сунула ее в прорезь и пошла по участку: и так завозилась!

---

[1] Журнальный вариант.

Леонид Лиходеев родился в 1921 году в Юзовске (ныне Донецк). Учился в Литературном институте имени М. Горького. Начал печататься в 1941 году. Автор романов «Я и мой автомобиль», «Четыре главы из жизни Марьи Николаевны», «Семь пятниц» и многих других произведений. Участник Великой Отечественной войны. Живет в Москве.

На почту она вернулась быстро. Скинула пустую сумку и присела на стульчик, удивляясь, что всю ходку думала об этой старухе. Все уже собрались — длинная красавица, стаж отбывала перед институтом; толстенькая — эта уже год работала; две молоденькие, только из школы, и еще пенсионерка, прирабатывала к пенсии. Складывали имущество, переговаривались с раздатчицей, торопились — кому в магазин, кому домой — детей в лагерь готовить...

— Девочки, что сегодня было...

— Убили кого? — равнодушно спросила молодая красавица.

— Как убили?! — испугалась почтальонша.

— Как убивают, так и убили,— сказала красавица и ушла за загородку, покачиваясь,— как она только сумку носит на такой походке?

— Понимаете,— посмотрела ей вслед почтальонша,— стучу, не открывает... Еще стучу...

Толстенькая глянула на нее:

— Чего им стучать? Каждому стучать — кулаков не хватит. На то — ящики есть.

Пришел заведующий отделением, коренастый мужчина в синем форменном костюме. Выслушал, подумал, сказал:

— Надо бы в милицию... Может, действительно — того... Старуха все-таки... А телеграммы надо вручать... Тем более — из иностранного государства... Тем более ты — передовик, на доске висишь...

Действительно, у входа в отделение на глухой стене укреплен был пространный щит с большими золотыми буквами — «Социализм без почт, телеграфов и машин — пустейшая фраза». А уже под золотыми буквами написано красной краскою: «Лучшие люди» и — один к одному — портреты работников отделения связи, в том числе и почтальонши.

Почтальонша хотела что-то сказать, но начальник присел к телефону и набрал ноль-два...

Милиция взломала старухину дверь при свидетелях.

Иванова лежала головою к двери, на спине, в новом капоте с большими яркими цветами. Она лежала, закинув голову, вытянув подбородок. Из-под капота торчали ноги с перекрученными синими жилами, видные до бедер. Была она совершенно седая, неприбранная, и только брови густо чернели на желтом лице, как причесанные. На плече у нее, в кружевном воротнике зацепилась поздравительная телеграмма из города Марселя.

— Ой, мамочки! — крикнула почтальонша.

— Спокойно,— сказал участковый,— родственники у нее есть? Беда с этими пенсионерами...

— Родственники у нее есть,— закивала головою управдомша,— а куда звонить — не знаю... Она член партии...

— В какой организации?

— Так в нашей, в жэковской...

Участковый подумал и сказал:

— В райком звони... Она что — старая большевичка?

— С двенадцатого года...

Участковый уважительно посмотрел на покойницу:

— Заслуженный товарищ...

Прибыли санитары, установили носилки, уложили старуху и покрыли ее казенной простыней.

— Двери опечатать, что ли? — засомневалась управдомша.

— Надо родичей искать,— сказал участковый.

— Не знаю телефона... Тут старик к ней ходил — считай, каждый день. Может, придет? Дочка у нее есть... Стой! Лейтенант! У нее внучка тут прописана, но пока — не живет...

— Постоянно прописана?

— Ну да! Депутатка прописывала! Она тоже к ней ездит на машине, но — не часто...

— Ну вот, видишь! — обрадовался участковый.— А говоришь — не знаешь!

Он прошел в комнату, увидел неприбранную постель, тумбочку с лекарствами, осмотрелся, не останавливая взгляда ни на чем, хотел было выйти а переднюю. Но — не вышел.

Потому что в простенке возле двери висел, покосившись, портрет. Висел так, будто хотели его сорвать, но не смогли. А на портрете была написана яркая женщина с неземным лицом, с черными бровями, с глазами не то зелеными, не то — синими. Лицо это было смугловатым, чистым и ясным, со лбом, который даже светился в черных кудрях, и с такими алыми губами, что участковый вздохнул. Глаза на портрете были большими, чуть косоватыми, понятливыми, веселыми и строгими — боязно смотреть без привычки.

— Она? — тихо спросил участковый.

Управдомша глянула с некоторым испугом, кивнула:

— Она... Молодая... А сходство есть...

— Есть,— подтвердила почтальонша, глядя на портрет как на образ.

— То-то и я вижу,— вздохнул участковый,— знакомое лицо... Какая была... Симпатичная... А портрет кто-то хотел утащить... Неясно...

— Как же? — испугалась управдомша.

— А это мы уточним.

И тут зазвонил телефон — мягко так, словно через один ударчик. Управдомша глянула на участкового — как быть? Участковый остановил ладонью — не трогать! И сам взял трубку:

— Старший лейтенант милиции Тюнин!.. Гражданочка, туда попали!.. Туда!.. Кто это говорит?.. А-а-а... Ну так давайте сюда! Плохо вашей мамаше... Вот так... Мигом! Ждем!

И положил трубку:

— Дочка сейчас прибудет.

Юлия Семеновна лежала в морге.

В «Вечерке» накануне появилось траурное извещение — из горкома поторопили, чтоб не тянули, напечатали сразу.

Из райкома позвонили в ЖЭК, велели хоронить как следует, как положено хоронить старых большевиков, и венок прислали.

Почтальонша тоже пришла на похороны, хоть никто ее здесь не знал. Пришла, надев черную шаль. Откуда у простых людей черные шали? А ведь находятся, когда нужно. В почтовом отделении подружки сказали — иди, мол, сами разнесем, чего уж... И даже собрали на веночек, по двугривенному. Уж больно она маялась этой чужою смертью. А почему — сама не понимала.

Дочь Юлии Семеновны была лет сорока, с такими же черными бровями, исхудавшая, стройная, без особой печали в облике, во каждый видел, что горе свое она упрятала крепко. Она держала за ручку мальчика лет восьми, который смотрел на свои ботинки глазами, полными слез.

К ней подошел высокий мужчина, сутуловатый и немолодой, осторожно, как на горячее, положил руку на ее плечо и сказал тихо:

— Здравствуй, Лаура...

Это нарядное имя прозвучало как-то неуместно в темном скорбном зальце. Мужчина погладил по голове мальчика и сказал еще тише:

— Лаурочка...

И всхлипнул.

Лаура обернулась, посмотрела в его рыжеватое лицо с большим носом и близко поставленными глазами, полными слез:

— Здравствуй, Иван...

Плотная женщина, прикрытая черной вуалеткой, обняла Лауру, ничего не говоря, и стала рядом с ней.

— Здравствуй, Анна... Где Таня? — спросила Лаура.

— Сейчас приедут с Сережей,— тихо сказала Анна.

Лаура поправила на мальчике курточку.

— Николка, поди во двор, сядь на скамеечку. Посиди там с папой.

Мальчик послушно вышел, не поднимая головы.

Лаура подошла к изголовью гроба. Иван поплелся было за нею, но остановился, пересиливая плач, и пошел из темного зальца в горячий солнечный двор.

Старухи в черных шалях, старики в давно ненадеванных пиджаках — Лаура не помнила их лиц, да и не вглядывалась — стояли потупясь, слушали пугливо, как виноватые. Кто они были? Друзья, должно быть, сверстники — печальное извещение достало их из далеких времен. Одна старуха все протирала пенсне с золотой дужкой. Ее Лаура знала. Наташа Толкачева. Наташе тоже было лет восемьдесят...

Все ждали чего-то, будто еще не все произошло.

Лаура стояла у изголовья и видела сквозь открытую дверь катафалк с приподнятой задней дверцей и рабочего, который сидел на ступеньках и курил. Курил медлительно, наблюдая за дымом.

Вошел сухой длинный сутулый старик с букетом красных роз. Он подошел к ногам, положил цветы и быстро вышел. Спина его содрогалась от плача. На согнутой руке его висела бамбуковая палка — щеголеватая трость. Старик явно не приучен был ходить с палкой, но, глядя на него, хотелось подсказать: обопрись, отец, может, легче будет. Рабочий на ступеньках поднял голову, оценил старика, бросил окурок.

И в это время к самому моргу подкатила черная государственная машина и из нее вышла немолодая, но весьма еще стройная женщина в черном костюме — юбка и пиджак. Вдоль лацкана пиджака, в ряд от плеча к пуговице, свисали с разноцветных колодочек ордена. А у самого плеча, рядом с красным эмалевым флажком сверкала звездочка чистого золота.

Женщина спокойно дожидалась, пока шофер ее, молодой, крепколицый, небыстрый

в движениях, при черном галстуке, с повязкой на рукаве, выносил из машины большой овальный венок, устанавливал у ног гроба. И тогда уж вошла, не глядя ни на кого, приблизилась к покойнице, посмотрела на нее, вздохнула и вдруг кинулась к желтому личику.

— Юличка Семеновна! — закричала она.— Мамочка вы моя родненькая! Что же ты наделала, старушечка ты моя!

Она прижалась щекою к мертвой головке, поцеловала холодные черные веки, безучастный лобик, поднялась, поправила на покойнице промереженный воротничок черного платья, от которого тянулся неуместный след хороших духов, поцеловала узенькую белую ручонку, постояла, держась за край гроба, ожидая, пока просохнут слезы.

Стояла она спиною к Лауре. Лаура смотрела на нее, и слезы сами по себе появились на косоватых Лауриных глазах.

— Настенька,— простонала Лаура жалобно, как маленькая.

У женщины с флажком просохли слезы. Почти не обернувшись, она спросила строго и тихо:

— Павел где?

— Вышел,— шепнула Лаура.

— Посажу его в машину... Сейчас Сережа с Танечкой еще две «Волги» пригонят.

И вышла из скорбного зальца.

Вышла, осмотрелась, увидела старика, который стоял у железной решетки, придерживаясь за прутья, сказала ласково:

— Дядя Павел... Садитесь в машину...

— А... Настенька,— обернулся без силы старик,— я постою...

— Ничего не постою... Садитесь в машину.

Старик послушно поплелся к государственному автомобилю, сел, как было велено — рядом с шофером.

Женщина увидела мальчика, привлекла:

— Сладкий ты мой...

И — пожилому человеку, который сидел па скамейке, взяв лысую голову руками:

— Профессор...

Человек не слышал. Мальчик прикоснулся к его руке:

— Папа...

Человек очнулся, встал:

— Горе, Анастасия Романовна, горе...

И все пошли по ступеням к гробу.

— Герой Социалистического Труда,— понимающе сказал рабочий на ступеньке шоферу катафалка.

— Депутат,— подтвердил шофер и взял сигарету.

Представитель райкома, молодой круглоголовый парень, прокашлялся и стал было читать бумагу бойко и торопливо, но вдруг осекся, сбавил голос, стараясь не спешить. Держа обеими руками листок, он никак не мог совладать со звонким и четким не своим голосом.

Юлию Семеновну похоронили, не сжигая, на кладбище рядом с первым ее мужем, Егором Иннокентьевичем Ивановым, умершим в двадцать шестом году от туберкулеза.

Был Егор Иннокентьевич Иванов крупный деятель тех времен, председатель губисполкома, делегат многих партсъездов. Скончался он после четырнадцатого, весною, оставив пятилетнего сынишку. Это было давно. Иван плохо помнил отца.

Могила Егора Иванова находилась в центральном секторе, не то чтобы заброшенная, но и не ухоженная по сравнению с другими. Зажата она была меж двух загородочек с черными надгробиями. На одном надгробии значилось, что покоится под ним архимандрит, на другом же — артистка императорских театров. Над архимандритом высился гранитный православный крест, над артистской — тоже крест, но — католический, без косой перекладины у подножья и без малой — наверху.

Почему могила Егора Иванова очутилась в таком соседстве, теперь уже никто не понимал и не задумывался — не все ли равно, хотя хоронили его сорок четыре года назад в отсеке для революционеров.

Четыре расторопных дядьки умело доправляли могилу. Один — поменьше ростом — остался в яме прокапывать закуток куда-то вглубь, в подземелье.

Трое послушно держали ношу свою на веревках.

Нижний вылез из-под гроба, объясняя товарищам, но так, чтобы и родичи слышали:

— Сам не идет... Тесно... Просовывать надо...

Верхние дядьки помалу пустили веревки, и гроб поплыл вниз и вперед, в уготованное место, тихо дрогнув, успокоившись на рыхлом дне.

Дядьки потоптались в тишине, взяли лопаты. Главный спросил прилично:

— Горсть кидать будете?..

И все наклонились, взяли желтой земли, ожидая, пока кинут Иван и Лаура.

Иван бросил свою горсть в яму. Земля мягко тряхнулась о крышку. Лаура тоже бросила горсть. Молодой офицер наклонился, взял пригоршню желтой земли, протянул старику, как будто почувствовал, что старик сам не сможет — свалится.

— Павел Михайлович...

— Спасибо, Сережа...

Старик принял землю, дрожа рукой, бросил без размаха, не достав до ямы. Узенькая девушка, стоявшая рядом с офицером, вздрогнула, дернулась к старику, поддержать.

— Спасибо, Танечка,— сказал старик,— я удержусь.

Дядьки умело зашаркали лопатами. Настя, глядя, как вырастает из ямы рыхлая земля, обняла офицера и девушку:

— Деточки мои...

Деревья разрослись над могилами, наполняя знойный день медовой сладостью цветущей липы.

Дорожки, посыпанные песком, тянулись переулками, пересекаясь крест-накрест с другими дорожками, а у перекрестков тлели деревенским дымом старые венки, засохшие цветы, плавились зеленые парафиновые листья и лепестки тяжелых матерчатых похоронных цветов.

Анна откинула вуалетку. Лицо ее было плотным, хорошо покрытым тонкремом, глаза подведены. Она шла, держа под мышкой небольшую лакированную сумочку. Мальчик шел рядом с нею, настороженно поглядывая на памятники и надгробия, теснившие с двух сторон дорожку. Могилы, огражденные сетками и прутьями, были похожи на птичьи клетки, внутри которых находились не птицы, а полированные камни с длинными золотыми надписями.

Мальчик притронулся к одной сетке, посмотрел на Анну, но ничего не спросил.

Тщеславная кладбищенская скорбь, выбитая золотом по лабрадору, возвещала и любовь, и верность, и привязанность оставшихся к ушедшим. Обломанные, как бы сокрушенные внезапной бурей колонны, сбитый по углам полированный гранит, крашенные индустриальным серебром ангелы на малых александрийских столпах, шары, расколотые ударом,— затейливые символы утраты — сопровождали идущих по дорожке.

Тяжелое каменное забвение рябило в глазах молчаливой укоризною освободившихся имен, вырезанных на граните и намалеванных на жести в номерном инвентарном порядке. Декабристы и царедворцы, атеисты и священнослужители, народовольцы и тайные советники, архиепископы и балерины, красные герои и белые офицеры, спортсменки и монахини носили когда-то эти имена и донесли их сюда, освободив от себя, от своих истин, от своих правил, от своих желаний и надежд.

А рядом, в притулочках, как на временном месте, под незаметными, век не крашенными крестами почивали неведомые многолетние старухи. И можно было разобрать из цифири на покосившихся крестах, что являлись они в мир сей задолго до всего такого и уходили намного после...

Над кладбищем лениво плавали большие траурные птицы, нехотя прячась в ветвях и выплывая вновь.

Возле старенькой опрятной церквенки дожидался отпевания красный оборчатый гроб. Оркестр вяло сидел на пустых тележках, устало облизывая горячие медные мундштуки.

С глухой стены храма глядел святой Никола в пышном пурпурном одеянии, отороченном горностаем. Никола вздел два перста, как бы останавливая толпу. Старухи плотно прижимали щепоть к желтым лобикам, молясь на него. Видимо, художник писал его, подвигаемый талантом немалым: святой глядел на вечный покой с тихой щемящей печалью на галилейском лике. Он постиг тайну познания, и тайна сия умножила скорбь его до пределов, недоступных человекам. Многие тайны ведал Чудотворец и с ними еще одну — суетную, поспешную. Явились вчера в храм сей две жены неразглашенно, принесли лепту, поставили свечи — за упокой души рабы Божией Юлии. Просили отпеть, не назвавшись, удалились сокрыто, сели в такси. Две жены скорбящих, одна постарше, другая помоложе,— Анастасия и Лаура...

По пересекающей дорожке, удаляясь от всех, шел сутулый старик, опираясь на палку. Он шел, никого не видя.

Иван спросил Лауру:

— Что же с ним теперь будет?

Старик шел, подгребая под себя землю посохом, растерянно озираясь на обступившие его со всех сторон кресты, колонны, звезды, которые вырывались к небу из своих оградок и сеток.

— Наверное, он возвращается на могилу,— сказала Лаура,— подожди...

Она догнала старика без труда и увидела, что он вот-вот упадет. Голова его, лысая и седая, тряслась.

— Дядя Павел,— сказала Лаура,— я тебе помогу.

Старик повернул к ней дряблое морщинистое лицо с младенчески-голубыми глазами, наполненными брезгливой мольбой:

— Я не помню... мама любила блины?..

Наверно, он подумал о поминках, которые там, в опустевшем доме, готовила Тоня — соседка по этажу. Лаура не поняла, хочет он туда или не хочет.

— Дядя Павел,— сказала Лаура, мучительно выискивая слова в опустевшей голове,— дядя Павел, я тебя очень люблю... А где ты взял палку?

— У мамы! — как будто оживился старик.— Прямо у вешалки... Там стояла моя палка!.. Ты очень похожа на маму... А где Иван?.. Он уже ушел?..

— Нет, он здесь. Он ждет нас.

— Это хорошо,— сказал старик и слабо смежил дряблые веки — слезы мешали смотреть.— Ты иди, детка, иди... Я посижу... Вот здесь посижу.

Он шагнул к черной некрашеной скамейке, опустился, поставил палку меж колен и положил на гнутую ручку бледные руки с длинными неровными пальцами, которые мягко дрожали.

— Дядя Павел,— сказала Лаура,— если хочешь — поедем ко мне. Я сделаю мировые котлеты, как ты любишь.

Старик улыбнулся, глаза его просохли.

— Конечно... Но не сегодня... Теперь я к тебе буду ездить часто. Хочешь? Ты же сама сказала, что я — вечный! Сколько тебе было тогда? Тебе было тогда тринадцать лет, когда ты так сказала... А скоро и Николка будет большой... Не заметишь...

Что-то сокрушило Лауру изнутри. Она покачнулась, уронила сумочку, взмахнув руками, пытаясь схватиться за воздух, задрожала лицом и, как к спасению, потянулась к старику, привалившись мокрой щекою к его твердому костяному плечу, трясясь и хватая воздух.

Старик не испугался. Глаза его стали сухими, ясными, он обнял Лауру, прижал к себе и, тихонько покачиваясь вместе с нею, стал ждать, пока она выплачется всласть...

Часть первая

ОТРЕЧЕНИЕ

Девяносто четвертый год

1

Юлия Семеновна родилась в угрюмое царствование Александра Третьего. Император пил горькую, как простой мужик, олицетворяя собою неуклюжую, тупую, полупьяную Россию. За ним числились изобретение плоской фляжки, которую можно прятать в голенище, и мерзкие законы против инородцев.

Мать Юлии Семеновны — Наталия Александровна, урожденная княжна Щепина, окрестила свою дочь Юлией по святцам, но демонстративно называла Юдифью, намекая на библейскую легенду, в которой прекрасная Юдифь отсекла голову ужасному Олоферну.

Семен Аркадьевич Берг, в отличие от своей юной супруги, которую обожал, не придавал особого значения ни фляге, ни мерзким законам. Его больше занимало настойчивое стремление людей императора строить заводы, разрабатывать копи и прокладывать железные дороги.

Метафорическое предназначение дочери своей для метафорической гибели метафорического же Олоферна он принял весело, по-домашнему и даже поднес жене изумрудный браслет за выдумку.

Но царь — мощный гигант, не достигший еще и пятидесяти лет,— умер сам через три месяца после рождения Юлии.

Когда Юлия уже ходила, а Наталия Александровна вновь ждала прибавления в семействе, короновался новый царь. Коронование его было ужасным, кровавым и стоило почти двух тысяч жизней. Страшную «Ходынку» приписывали тайным замыслам нового императора, пожелавшего начать царствование свое расправою над народом.

Наталия Александровна слегла. Она не могла снести напряжения этих дней. Семен Аркадьевич не отходил от нее. (Они не ездили этот год в Ниццу — Наталия Александровна хотела родить в России.) Горячка угрожала двум жизням.

Семен Аркадьевич выхаживал жену как мог. Доктор Шлегель поселился на Васильевском.

Семен Аркадьевич разделял гнев супруги. Но сам понимал, что «Ходынка» всегда сопровождала Россию. И никакому императору вовсе не нужно было замышлять расправу над народом. Расправа эта была подготовлена легковерием, легкомыслием, порывами, которые дремлют в народе до поры и возникают по той же неведомой причине, по которой и дремлют...

Дворянство княжны Наталии Александровны Щепиной было столбовым, древним, и гедиминовским, и татарским — в родне состояли и Голицыны, и Юсуповы. Брак ее был чистым — по любви, хотя иные признавали его мезальянсом. Миллионы дома «Артур Берг и сыновья» притеняли брак этот, как листья столетнего дуба притеняют счастливую лужайку.

Семен Аркадьевич Берг изучал металлургию в Манчестере и в Берлине — старый Аркадий выстраивал сына, как строят завод — тщательно, дотошно, придирчиво.

Молодой Берг был принят в доме Щепиных хладно.

Но не миллионы согрели сердце юной княжны Наталии. Семен представлялся ей новым Базаровым, новым Штольцем, новым Левиным...

И не по одной любви, но и с вызовом (ибо в истинной любви всегда прячется вызов) отдала она ему руку и сердце...

Жизнь их была любовью, и от любви этой родились две дочери: одна, чтобы казнить Олоферна, а другая... Для чего же родилась другая, Мария, наделенная вечным именем?..

Девятьсот первый год

2

Заводской дом действительного статского советника Семена Аркадьевича Берга сложен был из спекшегося пунцового кирпича. Наличники белели известью. Стоял дом на степном бугре, засаженном небольшими яблонями. Конюшня и каретник — тоже кирпичные — размещены были ниже — поближе к балке, заросшей ивняком.

Берг бывал на заводе нечасто. Дело вел управляющий Михаил Яковлевич Кордин, ученый инженер. Управляющий был вдов, суров видом. Жил он в маленьком домишке — в двух верстах отсюда по дороге к заводу. Жил среди книг и чертежей одиноко, поскольку сын его Павел воспитывался в губернском городе, в гимназии.

В кабинете Берга находился гость — промышленник Евграф Лукич Коршунов. Коршунов владел хлебной ссыпкой в губернском городе, и, казалось бы, какое до него дело могущественному Бергу? Однако Коршунов был весьма знаменит на юге. Знаменит какой-то стародавней удачливостью, смелостью, что ли, риском, от которого питерские промышленники, связанные акционерством, банками, правительственными гарантиями, были как бы ограждены.

Родитель оставил Евграфу Лукичу чистое от долгов дело, разбросанное по России. Свободный от фамильных связей, вольный как ветер, молодой Евграф, побывавший на родительские деньги в Берлине, потрудившийся в подмастерьях на металлических заводах, уразумел суть прибыли. Суть сия состояла в том, что откачиваемая из одного резервуара по разным прочим, она должна непременно, постоянно пополняться испытанным, стародавним способом. Новые марксические словеса, обуявшие ученых людей, заполонившие газеты, не жаловали этот способ, именуя эксплуатацией, присвоением прибавочной стоимости, но Евграф Лукич знал один резон: а как же иначе?

Первая основа богатства — мужик, хоть он землю пашет, хоть уток направляет. Евграф Лукич хозяйствовал с размахом, ссужал капиталом и под проценты, и под заклад, однако сам не одолжался ни у кого. И в своих делах должников не учитывал (мало ли как обойдется!), имея их как бы про запас, как другую линию собственной крепости.

Коршунов был московским купцом, рискнувшим внедриться в металл, в машины, прибрать к рукам юг России. Первым его шагом была, разумеется, нефть — даровой продукт, злато, качаемое из земли. Барыш от нефти удивил Евграфа Лукича, окрылил, укрепил в надеждах. И в девятьсот первом году, тридцатилетним малым, Евграф Коршунов купил в донецких степях землю и вбил веху, положив начало Южному заводу.

Теперь он нацеливался на Криворожскую руду: а не заложить ли и здесь металлургическое дело?

Евграф Лукич счел за благо нанести по-соседски визит и был принят противу ожидания радушно, без петербургского высокомерия, коего не то чтобы побаивался, а как-то избегал.

Семен Аркадьевич считал визит Евграфа Лукича деловым, а посему в кабинете его находился и управляющий.

Кабинет раскрыт был широкими дверями на веранду, негусто обвитую хмелем. Сквозь просвет зеленела лужайка — подстриженная шелковистая трава.

Хозяин сидел в кресле у небольшого и неудобного столика и потчевал гостя кофием из пустяковых японских наперстков.

— Трудность ваша, Евграф Лукич, состоит в том,— держал чашечку над блюдцем

Берг,— что вы столкнетесь с поставщиками... В России никакое дело нельзя начинать без гарантий правительства...

— А я — куплю,— весело сказал Коршунов.

Берг поставил блюдечко с наперстком на столик, приподнял улыбкою уголки губ. Небольшие темные усы его при этом изогнулись птичкой.

— Что же вы, собственно, собираетесь купить?

Коршунов развел руками:

— Шахты куплю, дорогу протяну, порт построю.

Усы Берга выпрямились.

— Владельцы шахт не склонны к продаже, насколько я знаю.

— Дело житейское, ваше превосходительство. Хорошо заплатим — так как раз и отдадут.

— Может быть, вам на первых порах войти акционером? — осторожно спросил Берг.

— Зачем же-с? На первых порах надобно — как на последних. Иначе — прогоришь.

— И все это вы — сами? — все так же осторожно вглядывался в Коршунова Берг.— Без кредитов, без банков?

— А я — сам себе банк, ваше превосходительство.

Кордин взял сигару, должно быть, не чинился с хозяином.

— Евграф Лукич прав. Я не поклонник распыления средств, но существуют цели, ради которых следует поступаться. Семен Аркадьевич, мы имеем удовольствие видеть перед собою могучего конкурента.

Это была самая длинная речь сурового управляющего. Коршунов удивленно посмотрел на него. Берг сказал:

— И — присовокупите — конкурента, который не скрывает своих намерений. Этак вы, пожалуй, переманите всех наших рабочих, любезнейший Евграф Лукич! А уж инженеров — и подавно!

Берг говорил весело, дружелюбно, даже несколько снисходительно. Однако снисхождение это никак не звучало обидно.

— А мне — невыгодно,— просто сказал Коршунов.

— То есть — как? — не понял Берг.

— Не выгодно-с... Выгоднее брать деревенских... Мужиков. Дешевле-с. А в инженерах — поклонимся Европе. Вот съезжу в Берлин, в Лондон...

— Позволю себе заметить,— осторожно сказал Берг,— иностранные инженеры возбуждают определенное отчуждение русских мастеровых. Вы не находите? Если вы затеваете новое дело, вам, как мне кажется, следует предусмотреть и это...

— Предусмотрел, ваше превосходительство! Брать-то буду русских, даром что Берлин, наших, учащихся.— Оживился, разговорился вдруг.— Я ведь, грешным делом, иной раз так залетаю,— махнул рукою.— Московские купцы-филантропы театры строят, картины скупают. А я бы, пожалуй, училище соорудил. Академию, что ли, промышленную. Нанял бы немцев, англичан — учить нашего брата. А выучат — с почетом проводим-с, и — свои профессоры как раз объявятся!..

Берг рассмеялся.

— Евграф Лукич! Энергия ваша известна, однако вы вторгаетесь в сферу деятельности правительства!

— Ну-к что ж — коли надо. Правительство правительством, а жизнь жизнью, ваше превосходительство.

— Да оставьте вы это свое «ваше превосходительство», право, Евграф Лукич!

— Оно — не мое, ваше-с,— сощурился Коршунов.

На неширокой (шага три до края) веранде появилась молодая дама в просторном, перевязанном на узкой талии платье. Она держала полураскрытый шелковый зонтик белой до локтя перчаткой. Широкая шляпа тенила ее темные глаза, короткий прямой нос, яркие небольшие губы.

Берг поднялся, заулыбался, даже слегка порозовел радостью. Управляющий и Евграф Лукич встали. Дама вошла смело, как бы мимоходом, привычно подставила Бергу твердую (Евграф Лукич как будто ощутил твердость) щеку, Берг поцеловал бережно, как к кресту приложился. Дама была всего на полголовы ниже его.

— Наташа,— сказал Берг,— представляю тебе и поручаю твоим попечениям одного из самых интересных людей, с кем мне приходилось встречаться... Это,— широко отвел руку,— Евграф Лукич Коршунов. Наш сосед и — будущий конкурент.

Евграф Лукич не то чтобы оробел, а как-то смутился. Дама смотрела на него мягко, будто давно ждала случая протянуть ему небольшую руку в перчатке и улыбнуться. Твердые щеки приподнялись, сузили глаза.

— Надеюсь, Евграф Лукич не разорит нас окончательно?

Коршунов шагнул к руке, наклонился, едва подставив под нее свою ладонь. От перчатки пахло тревожно — неуловимой пленительной горчинкой, тайной парижского мускуса.

— Это — Наталья Александровна,— лучился радостью Берг.

Евграф Лукич выпрямился (был с хозяйкою одного роста), пробормотал несуразно:

— Почитаю за честь, ваше превосходительство...

Две девочки лет пяти-шести, должно быть, погодки, бегали по лужайке перед верандою. Обе они были в белых кисейных платьицах. Розовые панталончики с бантиками опускались из платьиц ниже коленок на розовые же чулочки. Евграф Лукич умилился. Неожиданно девочки заспорили. Старшенькая тряхнула белым бантом на черных волосах, притопнула красным башмачком.

— Вузэт фоль, ма сёр!

Младшая (была посветлее и — тоже с бантом), дразня, закивала головкой в стороны, запрыгала на одной ножке.

— Мэ жэ нэ вэ па парле авэк ву, мэ жэ нэ вэ па парле авэк ву, мэ жэ нэ вэ па парле авэк ву!..

— Юдифь, Мари,— негромко, но строго сказала девочкам Наталия Александровна и улыбнулась Коршунову.— Евграф Лукич, вы сегодня обедаете с нами, не так ли?

Евграф Лукич развел короткими руками, преодолел смущение, улыбнулся ясно.

— Так уж, как прикажете, ваше превосходительство...

— Да оставьте вы это «превосходительство»! — повторил Берг.

— И это — как прикажете,— вовсе осмелел Коршунов.

Наталья Александровна спросила сурового управляющего:

— Надеюсь, ваш сын прибыл на вакации здоровым?

— Благодарю вас,— привстал управляющий, а Евграф Лукич поразился, как изменилось лицо старика — помолодело, повеселело, будто ожило из камня. Должно быть, сын Павел был главным, а может быть, и единственным достоянием старика Кордина...

Девятый год

3

Павел Кордин был интеллигентным юношей из провинции. Противостояние самодержавию — явное или тайное, смелое или опасливое, сладостное или желчное, но непременное — сопутствовало ему с пеленок.

Земельный закон шестого года выбил Павла Кордина из колеи. Прошение в Московское высшее техническое училище было отложено. Павлу Кордину стало не до экзаменов. Он занялся крестьянской долей. Отец смотрел на его увлечение сквозь пальцы, допуская, что один год может быть и пропущен. Старый Кордин видел пользу во всяком занятии.

Начитавшись за зиму уже знакомых Герцена, Ницше, Чернышевского, Михайловского и очень молодых Бельтова, Штирнева, Маркса, раскопав даже старенькую немецкую книжицу барона Гекстхаузена, Павел Кордин вдруг увидел, что яростная схватка вокруг русского социализма сводится к простым и очевидным разговорам отца, когда он обвинял самодержавие в искусственном торможении промышленного развития России:

— Община уничтожила желание и способность интенсивного выгодного труда. Нужно отдать землю в собственность. Способные крестьяне разбогатеют, неспособные продадут им землю и придут к заводским воротам. Некоторые литераторы полагают общину основой социализма. Не думаю. Это прежде всего основа безответственности и безразличия к своей судьбе. Тому, кто не знает своей собственности, не жалко разрушать чужую. Он работает из-под палки. Его нетрудно эксплуатировать, но еще легче вовлечь в мятеж. А между тем промышленность ждет рабочих рук...

Так говорил отец, старый русский инженер, и Павел Кордин верил ему.

В девятьсот седьмом году Павел Кордин выдержал экзамены в Московское высшее техническое училище.

Пятый год еще гремел в памяти, однако уже исподволь расползалось по умам утешающее, поначалу постыдное, но мало-помалу набирающее резон размышление: а надо ли было браться за оружие?

Училище остывало, как хорошо нагретая подковка, так и не попавшая под кузнечный пресс. Павлу Кордину казалось, что он с порога, с первой аудитории очутится в политике — не в полубезопасной, гимназической, а в настоящей, освященной циркулярами министерства внутренних дел, шашками казаков и пулями лейб-гвардии Семеновского полка. Ему казалось, что он будет пожимать руки, которые вот так же запросто, по-товарищески сжимали руки тех, кто сейчас томился за решетками, отбывал каторгу, тосковал в ссылке.

Но он опоздал.

Семеновцы расстреляли не просто Пресню. Они расстреляли веру в победу над самодержавием, надежду на самосознание рабочего класса и любовь к покладистому и социально-здоровому русскому мужику, прирожденному социалисту.

Русский интеллигент, кряхтя и отфыркиваясь, выбирался из-под обломков революционного марксизма. Он сжигал все, чему поклонялся, и искал, чему поклоняться,— тому

ли, что сжигал, или чему-нибудь еще. Вчерашний день казался суетою сует. Политическая экономия со своей постылой прибавочной стоимостью проваливалась в тартарары. Истина оказалась не в баррикадах, она очутилась в аине, в стихах, в Боге, в предчувствии конца света.

Самодержавие наступало, не встречая сопротивления. Противостояние таяло.

Павла Кордина ужасало сходство своих представлений об общине с представлениями самого Столыпина. Ему хотелось, чтобы Столыпин подал в отставку, сделался частным лицом, чтобы он, Павел Кордин, сходился с частным лицом, а не с премьер-министром и (тем более ужасно!) министром внутренних дел.

Первым, кому доверился Павел Кордин, был студент-технолог Вадим Бушин. Серые глаза Бушина сверкали смелым обаянием. Он был бесстрашен. Его называли Бакуниным за трубный голос и дерзкие речи. Он требовал убийства Столыпина.

— Я понимаю тебя,— сказал он Павлу Кордину,— ты принимаешь земельную программу этой скотины из конспиративных соображений. Сейчас все бросились лизать полицейские сапоги. Все читают бессмысленные стишки, все бегут к Толстому хлебать пустые щи. Все заметались. Струве, как козел, отпрыгнул от марксизма. Плеханов полез в ренегаты. Революцию продали и предали! Я тебя понимаю! Нужно быть осторожным. Отсюда твоя мнимая солидарность с этим душегубом!

— Ты меня не понял,— сказал Павел Кордин,— я пытаюсь изучать крестьянский вопрос... Я полагаю, что община...

— На кой ляд тебе эта община?! — загремел Бушин.— Их надо стрелять! Вешать на фонарях! Как они стреляют и вешают народ!

Бушин притащил к нему на Басманную тяжелый саквояж.

— Что это? — спросил Павел Кордин.

Вместо ответа Бушин раскрыл саквояж надвое. Оттуда холодным черным блеском дали о себе знать наганы и браунинги.

— Закрой,— сказал Павел Кордин.

— Боишься?

— Я не боюсь. Я не знаю, что с этим делать.

— Один можешь взять себе. А остальные — спрячь. Они скоро понадобятся. Вот пароль,— сказал Бушин и, вынув желтый рубль девяносто восьмого года, разорвал его пополам.

Павел Кордин не взял из бушинского саквояжа ничего. Саквояж стоял под кроватью.

— Что там? — спросила хозяйка, убиравшая его комнату.

— Инструменты, приборы,— ответил Павел Кордин, удивившись своей находчивости.

— Тяжеленькие...

Павел Кордин не подумал, что хозяйка могла открыть саквояж, да она и не открывала.

Саквояж забрал молоденький — почти отрок — мастеровой. Он предъявил половину желтого рубля. Другая половина была у Павла Кордина. Разрыв приходился как раз через желтого двуглавого орла. Это был пароль, придуманный Бушиным. Они сложили рубль — разорванный двуглавый орел совпал.

Саквояж, унесенный белобрысым мастеровым, понадобился для отчаянного геройского дела: на Мясницкой была экспроприация. Белобрысый мастеровой служил на почтамте слесарем, он следил за каретами, возившими деньги. В перестрелке был убит охранник. Полиция схватила пятерых, в том числе Бушина. Подробности дела почему-то стали известны сразу. Говорили, будто Бушин сорвал с городового шнурок и закричал: «Придет время, мы вас всех повесим на этих шнурках!» Это было похоже на Бушина. Он был герой. Через три дня он бежал. Начались обыски. Вадима Бушина искали у всех, с кем он знался. Заодно искали оружие.

Не искали только у Павла Кордина. Он ждал обыска. Но шли дни, полиция будто нарочито не появлялась. Она не появлялась день за днем, ночь за ночью. Он ждал, а полиция не шла. Это угнетало Павла Кордина. Он не понимал причины. Он хотел обыска. Он хотел, чтобы к нему пришли и ушли, ничего не найдя. И он с облегчением рассмеется им вслед. Ему необходимо было это облегчение. Он чувствовал, что если у него не будет обыска — жизнь превратится в кошмар. Может быть, явиться в околоток и устроить скандал? Почему у всех — обыски, а его обходят?

В аудитории Павел Кордин увидел на доске рисунок: священник, перечеркнутый крест-накрест беспощадно раскрошенным мелом.

Павел Кордин вздрогнул: его студенческое прозвище было — Поп. Может быть, из-за первой буквы имени, может быть, из-за склонности увещевать в спорах, выслушивать и другую сторону. На доске был изображен призыв к бойкоту. Павла Кордина перечеркнули. Справа и слева от него на лавке пустовали места.

Павел Кордин ждал обыска как спасения. И когда хозяйка сказала ему вечером: «К вам пришли»,— он обрадовался и даже засмеялся от долгожданного облегчения.

Но это была не полиция. Это пришли студенты Рыбин и Удальцов и — незнакомая курсистка. Она была в сизоватой беличьей шапочке, сдвинутой ко лбу. Волосы ее, стянутые на затылке в крендель, искрились желтизною десятилинейной керосиновой лампы. Руки она держала в сизоватой беличьей муфте.

— Мы пришли вас судить,— надменно сказала она, округлив гневом синие глаза.

— Судите,— облегченно вздохнул Павел Кордин.

Они стояли — все четверо — посреди комнаты, не зная, что делать дальше.

Павел Кордин испытывал странное чувство удовлетворения и даже благодарности — как будто они пришли объявить о прекращении бойкота. Курсистка (а почему он решил, что она — курсистка?) была небольшая, тесно помещающаяся в синем пальто все с теми же беличьим воротничком и оторочкой по длинному подолу. Удальцов был землист лицом, с черными узкими бровями на тяжелых надбровьях. Такие лица Павел Кордин встречал на юге, на заводе. Ему почему-то казалось, что Удальцов, должно быть, хорошо поет высоким громким хохлацким голосом.

Рыбин был симпатичен Павлу Кордину с первого дня. Он был мягок даже на вид — с мягким детским лицом, на котором кудрявилась золотая бородка. Павел Кордин радовался приходу Рыбина.

— Судите,— дружелюбно сказал Павел Кордин.— Правда, я ждал не вас, а полицию... У меня даже была мысль наскандалить в околотке: почему они обходят меня с обыском?

— Довольно паясничать,— выдержала взгляд курсистка,— нам все известно!

— В таком случае скажите и мне...

— У вас хранилось оружие, использованное в деле,— тихо и грозно сказал Удальцов.

Павел Кордин вспыхнул.

В сознании ясно вырисовался ответ на все его мучительные недоумения. То, что у него был саквояж, известно! Значит, известно, что он знался с Бушиным! Тогда почему у него не искали Бушина? Вместо полиции пришли свои! Пришли судить. Судить за провал дела, в котором Павел Кордин не участвовал, потому что Бушин запретил.

Павел Кордин резко шагнул к Удальцову, едва не коснувшись грудью его черного пальто:

— Я говорил вам об этом?! Кто вам сказал?!

Удальцов отступил:

— Неважно.

— Нет! — снова шагнул Павел Кордин.— Это важно! Кто вам сказал?

— Вопрос, достойный агента охранки,— язвительно вставила курсистка.

— Мадемуазель,— обернулся к ней Павел Кордин,— ваша решительность обогнала разум... Если было, что обгонять... Рыбин! Я только сейчас все понял! Бушин...

— Не смейте произносить его имя, грязный предатель!

— Да замолчите вы! Рыбин! Об этом знал только Бушин и парень, которого он прислал! Больше никто! Идиоты! Да вы хоть понимаете, что за мной теперь следят? Сейчас вас переловят как цыплят! Если пощупают вашу муфту — вам каторга!

— И пусть! — закричала курсистка.— Но прежде чем я пойду на каторгу, я убью вас и еще какого-нибудь филера.

Рыбин присел. Он был испуган.

— Почему ты думаешь, что нас схватят?

— Потому что Бушин сделал из меня провокатора! Я только сейчас это понял! Бежал? Странно он бежал! Из полицейской кареты! Кто вам сказал про оружие?

— Неважно,— сквозь зубы проговорил Удальцов.

— Нет! Важно! Если вам сказал Бушин — это еще туда-сюда... Но если кто-нибудь другой, оставшийся на свободе, я вас поздравляю! Кто вам сказал?

— Неважно. Я не предаю.

Ярость першила в горле Павла Кордина.

— Можете не говорить мне. Но скажите товарищам, чтоб они хотя бы знали, с кем имеют дело!

Не вынимая рук, курсистка тычком присела на край гнутого стула. Она вглядывалась то в Удальцова, то в Павла Кордина. Лобик ее под шапочкой напрягся, густые, как беличьи хвостики, брови сдвинулись. Павел Кордин заметил это, опустил глаза, сказал спокойнее:

— Я верил Бушину так же, как и вы. Но теперь я получил урок на всю жизнь. Я не желаю быть ни пищей, ни орудием министерства внутренних дел...

— Вот твой Столыпин,— тихо сказал Рыбин.

— К несчастью, он наш общий. Вы фитюк, Удальцов. Такой же фитюк, как и я...

— А вот это мы сейчас проверим,— сказала курсистка,— если нас арестуют, значит, вы — мнимый предатель. А если не арестуют — тогда — берегитесь...

— Боже мой! — всплеснул руками Павел Кордин.— Почему вам так хочется непременно быть арестованной?

— Я не договорила. И в том и в другом случае никто вам не будет подавать руки...

— Как вам угодно. Рыбин, подумай, что здесь произошло. Мне кажется, ты еще не лишился рассудка. Ступайте, господа. Арестуют вас или не арестуют, я не знаю. Я не служу в охранке и не верю в Бушина. Прощайте.

Их не арестовали.
Павел Кордин уехал за границу.
Он начал понимать, что власть в России — подпольна. И противостояние власти — тоже подпольно. И власть нарочито загоняет в подполье это противостояние, создавая особенную подпольную суть взаимоотношений, в которых связующим звеном является провокатор.
Рыбин пришел проститься с ним.
— Поп,— сказал Рыбин,— ты всегда будешь виноват. Потому что ты благороден и ищешь истину.
Павел Кордин уехал во Львов — в Лемберг, в Школу Политехничну. Он не чувствовал себя жертвой опасного недоразумения. Он хотел быть инженером и не хотел — конспиратором.
Но противостояние не отпускало его. Оно находилось внутри, от него нельзя было избавиться.
Каким-то необъяснимым чутьем он брал в руки именно те книги, которые звали спорить, бороться, противостоять.
Год был трудным. Павел Кордин заставлял себя слушать лекции. Чтение политических книг оказалось непреодолимой напастью.
В Лемберге ему не с кем было делиться о прочитанном. Львовских студентов занимала только Речь Посполита од можа до можа. Все, что не касалось воссоединения Польши, не касалось и их.

4

Утром барышня садилась — одна, без кучера — в бедарочку. Подушки (кожаные мешки с сеном) принимали барышню как пушинку. Лошадь впрягали смирную, послушную — серого в мелкую серебряную монетку мерина с черными ноздрями и губами. На лошадином лбу неясно намечалась седоватая метка.
Барышня одевалась по-английски: черные бриджи, черные же лакированные сапожки и малиновый бархатный колет, из-под которого ярко белел кружевной воротничок блузочки. Шляпка — плоский цилиндрик, обвязанный газовым шарфиком,— держалась заколкой на черных, закрученных узлом волосах — золотая английская булавка с мелким жалом. Белой перчаткой барышня держала стек.
Берг полагал, что приучать дочь к владениям следует исподволь, не досаждая ни советами, ни внушениями.
Лошадь легко плясала в черных оглоблях по сизой степи, по узкой дороге — по коричневому укатанному чернозему, прикрытому лиловым доменным шлаком.
В плотном мареве, на горизонте виделся, как грезился завод. Синее малороссийское небо не принимало заводского дыма, дым не заволакивал его, не таял в нем, а будто мазал, пачкал. Завод выглядел несуразицей в степи. Но почему-то несуразица эта привлекала Юлию.
Она несильно натягивала вожжи в красных плюшевых чехлах (кучера полагали, что барышне не пристало держать ручками сыромятину). Она заметила, что ощущение узды придает бодрости лошади.
Дорога вабиралась на пологий степной подъем. Марево завода опускалось при этом, обнаруживая за собою уже совсем не различаемое пространство.
С одного из подъемов барышня увидела беленький домик управляющего.
Домик находился в двух верстах от завода — ровно на полпути. За домиком желтела дикая степь, пустырь, на котором торчали шесты. Отец говорил, что собирается строить поселок, слободу для рабочих. А где живут рабочие сейчас? Почему-то прежде Юлии не приходил в голову этот вопрос. Может быть, спросить управляющего? Как глупо... Вероятно, нужно спросить у него что-нибудь важное, умное, достойное наследницы. Но это было бы еще глупее.
Из небольшой беседки, поставленной поближе к дороге, вышел высокий студент в черной куртке, накинутой на белую косоворотку. Отворот куртки он держал длинной узкой кистью. Он подошел, посмотрел весело, серые глаза его (Юлия тотчас заметила, что — серые!) сузились.
Юлия сдвинула брови, почувствовала, что зарделась, и решительно дернула вожжи. Но вместо того чтобы сдвинуться, мерин повернул к ней длинную голову с черными губами.
— Вероятно, он хочет спросить — куда,— предположил студент и, шагнув к мерину, погладил его по лбу. Не снимая руки с лошадиного лба и все придерживая отворот, он сказал: — Мне знаком этот джентльмен. Его зовут Ухват.
— И вы давно знакомы? — надменно спросила Юлия.
— Четыре года. Мы вместе поступали в техническое училище, но он — увы — провалился. Вообразите, я оказался способнее к наукам...
— Это трудно вообразить,— все еще пыжилась Юлия.

— Меня зовут Павел Кордин, к вашим услугам... Разумеется, вы всегда можете впрягать и меня в свою колесницу.
— В другой раз! — отвернулась Юлия и дернула вожжи. Теперь мерин послушался.
Но Павел Кордин также серьезно, но уже совсем иным тоном поспешно сказал:
— Юлия Семеновна! Если вы собрались на завод — пожалуйста, повремените... На заводе беда. Ночью сгорел человек. Я был там... В него брызнуло из летки... Я вам объясню, что это...
Утром Берга не было дома. Прислуга ходила притихшая. Юлия отметила это только сейчас.
— Боже мой!
— Юлия Семеновна,— спокойно сказал Павел Кордин,— там господин советник, там мой отец... Этот инцидент обойдется компании недешево. Газеты с наслаждением схватятся... Но это — производство. Оно опасно по самому своему существу...
Он — она чувствовала — утешал ее, по крайней мере, пытался утешить. Но — не как утешают ребенка, а совсем иначе — дельно и толково.
— Литейный двор давно уже пора перестроить... Я говорил отцу, он готовит представление...
— Павел... Михайлович,— спросила Юлия,— а где они живут?
— Кто?
— Рабочие. Мастеровые.
Павел Кордин посмотрел в сторону завода.
— Там... За трубами... Там поселки. Село Витково...
— Я хочу дать денег его семье...
— Это — благородно... Но — не сегодня... Сегодня это некстати...— Посмотрел на одеяние амазонки.— Пожалуйста, поезжайте домой...— И — мерину: — Сэр, надеюсь, вы знаете дорогу?
Юлия вспыхнула, но сдержалась, вздохнула и, опустив голову, послушно, исподлобья посмотрела, как он поворачивал назад Ухвата, держа за уздечку.
Она дернула вожжи.
Мерин резво взял с места...
Юлия уже знала, что Павлу Кордину пришлось оставить Московское высшее техническое училище и перебраться во Львов, в Школу Политехничну. Старик Кордин и сам был когда-то выпущен из этой школы, там теперь профессорствовали его однокашники. Старику хотелось, чтобы Павел поучился сооружать стальные конструкции у профессора Вонторека. Так, по крайней мере, он объяснял переезд сына за границу.
Но Юлия понимала все это по-своему: перевод в Лемберг говорил сам за себя — революционер удалился от надзора. Стало быть, было над чем надзирать, если пришлось уехать за границу.
Теперь он прибыл на вакации.
Берг вернулся с завода к вечеру. С ним приехали какие-то незнакомые господа. Возле дома стояли чужие экипажи. Отец был озабочен, господа насуплены. Они о чем-то говорили в кабинете. Потом уехали.
— Я все знаю,— сказала Бергу Юлия.
— Да,— сказал Берг,— это ужасно.
Юлия ждала иного: она хотела, чтобы отец непременно спросил — откуда она знает о несчастье, и тогда она победно посмотрит на отца и ни за что не выдаст сына управляющего.
— Я все знаю,— повторила Юлия, настойчиво дожидаясь вопроса. Но Берг посмотрел ей в глаза печально:
— На заводе волнения... Завтра его будут хоронить. Это может обернуться демонстрацией... Они предлагают полицию... Я отказал...
Юлия немедленно сдвинула брови.
— Литейный двор нуждается в перестройке!
— Да, да,— кивнул Берг, и она снова удивилась — почему он не спрашивает, кто ей это сказал?..
Утром она положила себе непременно попасть на похороны несчастного мастерового. Это был первый случай, позволяющий увидеть то, о чем она слышала с детства: демонстрацию, стачку, может быть, даже стрельбу, может быть, даже баррикады, как в Москве пятого года.
Она оделась в Анютино платье, вспомнила, как посмотрел на нее вчера Павел Кордин, повязалась платочком и направилась пешком. Две версты до домика управляющего она прошла легко и только здесь почувствовала досаду — неужели нет другой дороги? А впрочем, она пройдет мимо, ей вовсе не следует останавливаться.
Павел Кордин вышел ей навстречу, как будто ждал.
— Юлия Семеновна, вам очень к лицу этот маскарад...
За домиком переминались оседланные лошади.
Юлия вспыхнула:

— Я полагаю, вас это не должно касаться!
И тотчас о лошадях:
— Что это? Жандармы?
— Юлия Семеновна, это не жандармы... Это...
— Нет, жандармы! — закричала Юлия.
Гнев ее был велик. Сейчас все решится! Сейчас она покажет!.. Камнем, палкой, револьвером, который выхватит из жандармской руки, шашкой... Она будет драться насмерть! А потом Сибирь! Пусть! Пусть как с Марусей Спиридоновой! Но прежде она постоит за себя! И пусть этот странный революционер увидит...
Она рванулась к домику.
Небольшой молоденький офицерик в белом кителе с шашкой через плечо возник перед нею.
— Куда торопишься, милашка?
Он спросил дружелюбно, даже как-то лениво.
— Потрудитесь убраться отсюда! — закричала Юлия.
Павел Кордин немедленно оказался рядом.
— Сударь, это дочь действительного статского советника господина Берга...
Но было уже поздно. Офицерик успел ласково потрепать ее по щеке и уже изумленно пялился, приложив ладонь к следу звонкой молниеносной пощечины.
— Юлия Семеновна,— опешил Павел Кордин,— никто не войдет на завод без разрешения господина советника...
— Они и с его разрешения не войдут!
Офицер отнял руку от щеки. Щека горела.
— Вы присутствовали,— сказал он Павлу Кордину,— при нанесении оскорбления действием при исполнении служебных обязанностей...
— Я надеюсь, это была шутка,— дружелюбно перебил Павел Кордин.
— Шутка?! Вы в своем уме?
— А вы? — спросил Павел Кордин, глядя на него по-журавлиному.— Вы желаете протокол? Извольте... Ваш послужной список украсится этой пощечиной навсегда... Это доставит немало веселых минут вашим коллегам...
Неожиданно Юлия рассмеялась с облегчением. Офицер резко шагнул в сад и вдруг обернулся:
— Я найду способ посчитаться...
— Как с Марусей Спиридоновой?! — выкрикнула Юлия.
— Я не знаю, кто такая эта Маруся,— мрачно сказал офицер,— но вы пожалеете... Честь имею...
И пошел к лошадям.
Всадники поскакали в степь.
— Ну вот, вы уже и революционерка,— улыбнулся Павел Кордин,— право же, вы не соразмерили своего гнева...
— Как он смеет не знать, кто такая Маруся Спиридонова!
— Это — исправник, Юлия Семеновна. В Зеленом Гае — самосуд. Убили крестьянина.
Она подняла голову, посмотрела в лицо, глаза сына управляющего были не совсем серые, скорее темно-голубые. Юлия отвернулась.
— Кто?
— Крестьяне.
— За что?
— Передел земли... Это случается нередко...
— И они поехали вешать?
— Во всяком случае — наводить порядок.
Юлия остывала.
— Павел Михайлович, скажите прямо: отец звал их?
— Нет, конечно...
— Дайте мне воды...
— А хотите — мокка?
Павел Кордин занимался в беседке, которую соорудил сам: четыре столба с крышею. Там у него находился стол, вкопанный в землю. На столе, с краю стояла спиртовка, медный ковшик с широким дном и маленькая кофейная мельница с изогнутой бронзовой рукояткой.
Юлия присела на табурет. Павел Кордин взял мельницу, выдвинул, как из шкатулки, ящичек. Она почувствовала запах свеженамолотого хорошего кофе.
— Вы собирались пить свою мокку с этим исправником?
Павел Кордин осторожно выбирал из ящичка серебряной ложкой темный крупный порошок, перенося в медный ковшик.
— Как же это согласовать с вашими революционными убеждениями?
Павел Кордин налил в ковшик воды из графина.

— Я не знаю, что вам известно о моих убеждениях, но весьма польщен, что они вас занимают... Юлия Семеновна, не нужно вам, право, на эти похороны...
— Но я хочу видеть это!
Павел Кордин помешивал в медном ковшике.
— Если уж вы так настаиваете — окажите мне честь, прихватите и меня...
Он чиркнул спичкой, зажег спиртовку, поставил на невидимое пламя ковшик.
На струганых досках стола развернут был замысловатый чертеж, прижатый с краев книгами, чтоб не свернулся. Книги были тяжелые, кожаные, с золотым тиснением. И странно рядом с ними выглядели раскрытые брошюрки, напечатанные на скверной бумаге. «Это, наверно, и есть нелегальщина»,— подумала Юлия и потянулась глазом (что было неприлично) разобрать хоть строчку. «Эмульсия, употребляемая на этих стапах, содержит...» Нет, это слишком скучно для нелегальщины. Да и не стал бы он при исправнике. Она удивилась, что уже несколько раз называла про себя сына управляющего «он».
А он колдовал над спиртовкой, помешивая в медном ковшике. Она не думала, что готовить кофе так сложно.
— Вы — алхимик? — примирительно спросила Юлия.
Павел Кордин приложил палец к губам:
— Это моя тайна. Как вы догадались?
Неожиданно она улыбнулась (уголки губ поплыли кверху, приподнимая твердые щеки):
— Почему я все время сержусь на вас?
— Я думаю, из-за Ухвата,— сказал Павел Кордин,— я опередил его в науках, вам трудно признать это...
Всадники (шесть, Юлия посчитала) небыстрой рысью пылили по степи. Они были маленькие и неопасные.
Павел Кордин поднял со спиртовки медный ковшик. Над ковшиком вздымалась бежевая кофейная пена.
— Я их ненавижу,— сказала Юлия.
— Разумеется... Но самосуд — это тоже нехорошо...
Из ящика, в котором, как была уверена Юлия, сын управляющего хранил запрещенную литературу, Павел Кордин взял тяжелые глиняные чашки, поставил на стол, стал внимательно разливать кофе.
— А где вы храните подпольные издания?
Он даже не повернулся к ней.
— В сейфе Дворянского банка.
— Павел Михайлович, почему вы так со мной разговариваете?
Он поставил перед нею чашку.
— Юлия Семеновна, если хотите, у меня есть брошюра, которую я вам могу дать. Только это трудно читать.
— Почему — трудно?
— Потому что автор полемизирует с писателями, которых вы, я полагаю, не читали.
— Дайте мне эту брошюру!
— Как хотите. Но, пожалуйста, никого не расспрашивайте, кроме меня, если что-нибудь не усвоите.
— Я спрошу вашего приятеля!
— Ухват под надзором консистории, сударыня. Вы поставите его в неловкое положение...
Ей тогда исполнилось пятнадцать лет. Ему — двадцать один.

Десятый год

5

Отец пожелал, чтобы Павел отправился в Париж посмотреть работу прессов на заводах Рено.
Но и в Париже Павел Кордин застрял в Латинском квартале все в той же политике. Он приехал ранней весною и попал на чествования семидесятилетнего Бебеля. В какой-то небольшой библиотеке возле Люксембургского сада висел плакат на русском языке: «Мир хижинам — война дворцам».
— Русские чествуют немца на французской земле,— возвышенно сказал Павлу Кордину симпатичный юноша, с которым он познакомился в кафе.
Эмигрантов можно было отличить безошибочно — мужчины носили котелки и непременные тросточки, дамы одевались в длинные, до пят, платья с буфами.
В кафе, в бистро, на бульварах говорили по-русски. В ресторанчике на улице Глясьер по-русски говорили даже официанты. Это была Россия, бежавшая из России. В маленьком садике Монсури Павел Кордин встретил Бушина. Бушин обрадовался:

— И ты здесь?
— Слушай,— опешил Павел Кордин,— как ты смеешь...
Бушин перебил, взмахнув тросточкой:
— Так нужно было, Поп. Приходится жертвовать своими. Но все ведь обошлось — ты здесь...
— Ты — провокатор.
— Берегись,— спокойно сказал Бушин и ушел.
Симпатичный юноша был эсдек. Ему было тридцать три года.
Павел Кордин не поверил:
— Тебе на вид лет двадцать...
— Я сохранился в сибирском морозе... Кроме того, у меня — чахотка. Она — молодит... Я скоро умру, Павел...
— Однако ты — не кашляешь...
— Уже нечем... Ты знаешь Мальцева?..
— Нет...
— Но ты ведь сейчас говорил с ним.
— Я знал его как Бушина...
— Ну и что? У меня у самого восемь кличек.
Павел Кордин не понимал беспечности этого симпатичного человека, обреченного, но не знающего уныния. Юноша кашлял редко, но — кровью. Одной из восьми его кличек была — Станислав. Может быть, его так звали и в самом деле.
— Что ты читал из нашей литературы? — спросил Станислав.
— Меня поразила брошюра Ильина.
— Он — здесь! Я могу тебя свести с ним.
В маленьком бистро на улице Мари-Роз он говорил с Ильиным и еще раз испытал незащищенное одиночество перед победным сплочением ради высшей цели...

Одиннадцатый год

6

Часть каникул одиннадцатого года Павел Кордин провел в Кракове со случайным своим приятелем Кшыштофом Фабианом Адамским.
Кшыштоф Фабиан когда-то пробовал учиться в Школе Политехничной, но вовремя, под влиянием Феба, которого почитал истинным своим патроном, бросил занятия и сделался актером. Он наезжал во Львов, где проживали его родители, посещал Школу, где были у него приятели, и возвращался в Краков.
Они ехали в первом классе, поскольку Кшыштоф Адамский, когда в его сафьяновом кошельке шевелились хоть какие-нибудь пенензы, ощущал болезненное беспокойство.
В их отсек никто не заходил, и все шесть мест были в их распоряжении. Пить они начали с отправлением поезда.
— Погоди! — поднял стакан Адамский после третьего звонка.— Мы не можем начать раньше расписания! Дирекция колейова нам никогда этого не простит!
На «ты» они перешли уже через час. За это время выяснилось, что Кшыштоф Фабиан Адамский предпочитает белое вино, брюнеток и студентов-техников. Кроме того выяснилось, что он не любит жидов.
— Если я тебе скажу, что пан Езус не был поляком,— ты мне поверишь. Я не люблю жидув в абстракции! Я — поляк! Я обязан не любить жидув. Но я люблю Боя-Желеньского! Кто может запретить поляку любить жидув по отдельности?
— У тебя раздвоение души,— сказал Павел Кордин,— это потому, что ты — славянин.
— Иди ты к дьяволу! — закричал Адамский, наваливаясь с объятиями.— Во всей Ягеллонской библиотеке, куда ты несомненно полезешь глотать пыль вместо того, чтобы заниматься делом, ни в одной книге, ни в одной рукописи ты не найдешь описания такой цельной души, как моя! Выпей этот стакан и выслушай меня! Брось книги, в них нет проку!
— А с чего ты учишь свои роли?
— Павел! Все стараются играть страдания Гамлета. А мне много не нужно! Я — длинный, как Мариацкая брама! А Гамлет был коротышка! Я все время страдал, что я длинный! А слова мне подсказывал суфлер! Я их даже не помню! Но спроси — кто лучший Гамлет в Кракове? И ты услышишь, что тебе ответят! Я ношу в себе что-то такое, что разрывает меня изнутри, как яблочный сидр пана Собаньского, которого вываляли в пуху за то, что он подсыпал в свое пойло какую-то дрянь! Ты любишь балаган? Я тебя познакомлю со Збышком Цыганевичем! У него квадратные плечи! Ты когда-нибудь видел человека с квадратными плечами? Покажи твои плечи! Слушай! — толкнул Павла Кордина так, что он отвалился на сиденье.— Мы с тобой можем выступать борцами! Братья Цыганевичи нас научат! Мы будем по очереди ложиться на лопатки, и толпа будет млеть от обмана, потому что обман — это единственное, от чего млеет толпа!
— Разумеется,— поднялся Павел Кордин,— но в толпе непременно найдутся умники, которые схватят нас...
— И пускай! Мы сядем в тюрьму, в крепость и убежим по веревочной лестнице! Запеченной в пирог! Ты видел — рядом едет паненка? Со старым паном... Она пришлет нам такой пирог, вот увидишь!
— Если ей позволит ее отец...
— Это не отец! Я уверен — это ее старый мэнж, за которого ее выдали насильно! Когда я вижу такие браки, я становлюсь социалистом! Я — социалист! А ты — социалист?
— Разумеется!
— В таком случае, мы просто обязаны допить эту бутыль! Ты никогда не был в Кракове, Павел!
— Зато я был в Париже.
— Прекрасно! Ты убедишься, какая это яма по сравнению с Краковом! Я тебя познакомлю с краковскими социалистами!
— Что ты врешь? Откуда ты их знаешь?
И вдруг Адамский совершенно трезво сказал:
— Павел... Я кое-кого знаю... Меня, конечно, не допускают в святая святых... На Висльную или на Свентэго Филипа. Но когда на меня сваливаются с неба пенензы, я передаю, сколько не жалко, на Свента Кшижа, семь... На вязней политычни... Как веревочную лестницу... Жаль, что мы с тобой прикончили эту пузатую пани,— посмотрел на пустую бутыль,— надо бы выпить...
Неожиданный поворот разговора отрезвил Павла Кордина.
Он растянулся на трех сиденьях и, делая вид, что дремлет, размышлял. По законам бытия, в коем он вырос, Павел Кордин прежде всего должен был задуматься — не филер ли этот длинный неугомонный поляк. Но здесь, за границею Государства Российского, мысль эта почему-то показалась Павлу Кордину оскорбительной. Веселый болтун Кшыштоф Фабиан Адамский от души верил в веревочную лестницу и от души отдавал пенензы на политических узников. Он не знал, что такое конспирация. Он не мог даже подозревать о неразрываемой связи ловцов с ловимыми, о том особенном мышленье, которое одинаково свойственно русскому министру, подписывающему тайный циркуляр, и русскому студенту, прячущему тайную прокламацию.
Они прибыли в Краков к вечеру.
— Павел! — закричал Адамский.— Мы въедем в город, как въезжали польские короли после походов: с севера и немножечко с востока, через Флорианскую браму! Где же еще воевать польским королям, если не на севере и немножечко на востоке? Там — немцы, вы и татары!
— В Замок! — закричал Адамский дорожкажу.— По Королевскому тракту! С вещами!
— Пять крон! — весело заявил нестарый дорожкаж.
— Чи пан сдурел? — отпрянул от него Адамский.
Дорожкаж приподнял каскетку:
— Проше паньство, мне никогда не случалось возить королей, да еще с вещами... Как же не содрать с короля? Я же не враг себе...
— Умница! — закричал Адамский.— Обойдешься кроной...
— Тремя...
Адамский возмутился:
— Но пан может понять, что мы пропились в дым?
— С этого надо было начинать,— скорбно сказал дорожкаж.— Прошу садиться...
Они въехали через Флорианские врата, как Ягеллоны.
— Бальзак не должен был жениться на этой курве! — вдруг заявил Адамский, ткнув пальцем в козырек отеля «Под Розой».— Он жил здесь!
— Совершенно верно! — обернулся дорожкаж.— Я возил пана Бальзака!
— Что ты врешь! — крикнул Адамский.— Он умер, когда еще твой дед не знал, в какую бабушку сунуть твоего отца!
Пан дорожкаж снял каскетку, перекрестился, не выпуская вожжей:
— Жаль... Такий был пенькный пан... Так элегантне платил...
— Молодец! — закричал Адамский.— Мне нравятся откровенные жулики! За Бальзака получишь еще десять халежей!
— Помоги вам Мадонна,— надел каскетку пан дорожкаж,— но я еще возил пана Мицкевича...
Адамский выпучил глаза на Павла Кордина:
— Этот бродяга нас разорит! — К извозчику: — Сколько ты хочешь за Мицкевича?
— На крону он не тянет,— не оборачивался дорожкаж,— но центувек девяносто всетаки стоит... Яма Михаликова, проше паньство... Я имею честь возить пана Жиленьского и пана...

— Вот здесь ты не получишь ни гроша! — перебил Адамский.— Они все еще живы!
— Но зато я знаю вирши пана Боя,— обернулся пан дорожкаж и снова снял каскетку:

А ты знаешь ли кофейни?
Лучших нет! Ищи по свету!
И богемы корифейней,
Чем в кофейнях этих,— нету!

— Павел! — закричал Адамский.— Посмотри на этого пройдоху. Он нас обчистит, думая, что мы — богачи!
— Пошли вам Мадонна богатство, пан фигляж,— начал было пан дорожкаж, но Адамский перебил:
— Откуда ты знаешь, кто я?
— Я имел счастье видеть пана на празднике Лейконека в прошлом году и надеюсь увидеть в этом.
— И на этом основании ты меня доишь?
— Что делать, ясный пан? — сказал дорожкаж.— Как же не брать, если дают? Я же — католик. Что бы мы делали без богатых?
— Павел! — закричал Адамский.— Этот пройдоха мудрее всех социалистов, вместе взятых, какие мне попадались! Они хотят истребить богатых! Они пилят сук, на котором сидят, свесив ноги в шевровых бутах! Я никогда не буду богат! Но кто-то же должен купаться в свинском золоте, чтобы я не голодал! Пан пройдоха! Прав я или нет?
— Пан фигляж прав,— поправил каскетку извозчик,— человек живет при человеке, а все остальное — от Провидения.
Они ехали по Королевскому тракту. Справа лежали Сукеницы, слева вскинулся к небесам Мариацкий собор, впереди, перед въездом на Гроздскую зеленел медный купол костела святого Войцеха.
— Павел,— вдруг сделался серьезным Адамский,— я никогда не был в России. Но я знаю: из Варшавы в Кракова бегут хорошие люди, из Кракова в Варшаву — никогда. Нас разорвали чужие двуглавые орлы, но мы держим за пазухой своего орла — белого и чистого, как голубка! Мы — поляки, Павел, и с нами Мадонна!
Это была Австрийская Польша. Краковяне жили, как венцы,— безопасно и домовито. Они писали в своих польских газетах — что хотели, и играли в своих театрах — что хотели, и пели песни — какие хотели. Ягеллонский университет был польским, и вывески были польскими, и даже расписания поездов печатали на польском языке.
Но была еще Русская Польша — крулевство, империя. Там находилась Варшава, где были Бельведер и Королевский замок и та же, что и в Кракове, Висла. Но в Варшаве находился также централ — всегдашний признак присутствия Российской Империи. Краков сочувствовал страданиям Варшавы, не испытывая их на себе. Сочувствия были безопасно демонстративными, ярко-красочными, может быть, даже праздничными. Двуглавый орел Франца Иосифа отличался от двуглавого орла Николая Александровича европейской толерантией.
Павел Кордин поселился у Адамского в старом доме на улице Святого Себастьяна. Улица находилась вне Плантов, но недалеко от Вавеля. Соседство это Адамский особенно подчеркивал.
На летнем празднике Лейконика Адамский изображал всадника в татарском наряде. Это была веселая, балаганная память о страшном нашествии орды Чингизхана. Орда докатилась сюда и откатилась назад, чтобы двести тридцать лет оставаться в России. Там она оставила по себе совсем другую память.
На празднике Лейконика — веселого победителя ордынцев, надевшего доспехи поверженного татарина,— Павел Кордин познакомился с двумя братьями-помещиками, прибывшими из России. Им было не до веселья. Ответственность за все, что было, есть и будет, темнила их глаза. Они смотрели на веселье, как на истязание. Тяжкий попрек наполнял их речи. Отчаянье перед легкомыслием человечества угнетало их. Звали их товарищ Вольдемар и товарищ Мишель.
Павел Кордин втолковывал Адамскому, почему русские такие отчаянные революционеры. Но Адамский был темен, он не читал ни Чернышевского, ни Михайловского. Он вообще не знал, что такое тяжесть вины перед народом. Адамский всякий раз вырастал как Вий, грозясь пробить потолок своей неначитанной башкою. Он заламывал двухаршинные руки и орал: «Вы сумасшедшие!»
Тамбовские помещики подались в революционеры внезапно. Они были выпущены в Московском высшем техническом училище. Стажировались в Германии у Сименса. Занимались они прилежно, не ввязываясь ни в какие конспирации, когда все конспирировали, и ни в какие разочарования, когда все разочаровались в революции.
Но вдруг, на пороге своей инженерной жизни, братьев будто подменили. Они вдруг увидели то, среди чего жили всю жизнь: свое поместье, окруженное жалкой крестьянской землей. Инженерии была дана отставка. Вина перед народом оказалась очевидной, и необходимо было немедленно искупать ее.

В Моршанске служил исправником благообразный густовласый и чернобровый господин, которого звали Плеханов. Вся Русь стояла на исправниках. Но кто-то сказал братьям, что у моршанского исправника будто бы есть брат, как бы не близнец, который причастен еще к убиению государя императора, царя-освободителя. Брат чудом избежал тогда виселицы, скрывшись за границей, и теперь был главным социалистом. Тамбовские помещики ринулись его искать. Они положили себе кинуться в ноги главному социалисту, раскаиваясь в провинности перед народом. И Павел понимал, что они найдут Плеханова, если им хватит денег и если они не застрянут в соблазнительных европейских кабаках.
Братья спорили, как дрались, призывая в свидетели всю околицу. Главным предметом их спора был все тот же русский социализм. Товарищ Вольдемар считал разрушение общины благом, товарищ Мишель возражал исступленно, непримиримо:
— Если бы ты не был моим братом, я ни минуты не сомневался бы а том, что ты — адепт правительственного землеустройства!
Слово «адепт» было модным. Оно было обидным и требовало сатисфакции.
— Следи за своими выражениями! — требовал товарищ Вольдемар.
— Незачем следить за своими выражениями, когда не следят за своими действиями!.. Действий за братьями не было еще никаких.
Почему два инженера, вместо того чтобы заниматься своим делом, бесятся хлопьим проблематом, Адамский не понимал. Он очень удивился, когда узнал, что и Павел Кордин еще гимназистом ринулся в крестьянский вопрос и что проблемат хлопський составляет главную заботу интеллигентов российских, о чем крестьяне даже не подозревают.
— Вы — великий артист! — кричал на Адамского старший помещик, товарищ Вольдемар.— Вы должны чувствовать кожей несправедливость!
Вольдемар кричал по-немецки, однако слово «несправедливость» произносил на революционном французском языке — «л'энжюстис»; произносил четко, внятно, придавая этому слову особенное значение.
Младший брат, товарищ Мишель, сопел и бычился. Он глядел на старшего с кровавой ненавистью, выпуклыми детскими глазами с детскими ресницами.
— Это Каин и Авель,— испуганно говорил Адамский Павлу Кордину, когда они оставались вдвоем.— Нет! Это — два Каина! Я их боюсь...
Помещики отправились в Париж, к Плеханову, оставив пять белых бумажек с зеленоватым изображением Екатерины Второй.
Павел Кордин заявил Адамскому, что пенензы нужно отдать в Спуйню на политических узников. Адамский не возражал, но — только против двух бумажек. В результате длительного спора о чести и совести Спуйне отдали четыре купюры.
Но Адамского осенила новая выдумка:
— Павел! Мы можем зашибать немалые пенензы для нужд освободительного движения и оставлять себе приличную сдачу! Ты будешь наниматься шефом к русским карбонариям! Среди них попадаются богачи! Я только сейчас понял: кто же еще может испытывать вину перед хлопством, кроме снедаемых фальшивой панской совестью богачей?!
— Кшыштоф,— вздохнул Павел Кордин,— тебе этого никогда не понять....
— Я не так прост, Павел! Брат брата может обжулить, отбить кобету, подделать первородство — это так. Но убивать из-за Плеханова брат брата не должен, поверь мне. Над вами нет Бога, Павел, того самого Бога, который проклял Каина за его политическое убийство!
— Политическое? — удивился Павел Кордин.
— А какое? Каин убил Авеля из ревности! И не к какой-нибудь курве, что было бы естественно, а — к Богу, то есть к чему-то недостижимому! А это — политика! Революция! Нет, Павел, у нас никогда не будет революции! Мы — поляки!
Деньги, нажитые на тамбовских помещиках, были первыми и последними. Павел Кордин и сам ощутил толчок совести — нужно было ехать в Россию, навестить отца, возвращаться во Львов, становиться инженером и заняться делом. И еще он думал — вдруг снова увидит старшую барышню...
Ни он, ни Адамский не подозревали, что через полтора года судьба сведет их вновь и поднесет их фирме доход от эксплуатации диковатого кутаисского курфюрста, черт знает почему оказавшегося в Кракове...

7

В Петербурге в особняке на Васильевском появилась дальняя родственница Наталии Александровны, освобожденная из Иркутской ссылки под негласный надзор.
Звали ее Лидия Николаевна. В пятом году она застрелила семеновского офицера, и вызволение ее от каторги обошлось Бергу недешево. Поселившись на Васильевском (что было незаконно, ибо в столицах ей проживать запрещалось), Лидия Николаевна сделалась чем-то вроде компаньонки Юлии.
Наталия Александровна видела в своей дальней родственнице (натуральной револю-

ционерке!) мученицу, помогать которой в ее стараниях о народе порядочные люди просто обязаны.

На Васильевский стали являться странные визитеры, которые предпочитали проникать в особняк через кухню либо довольствоваться каретником. Берг несколько раз видел этих молодых господ, и они представлялись ему ряжеными. Одни из них несомненно принадлежали к цивилизованному сословию, однако почему-то рядились под мастеровых, под работный люд. Другие же зачем-то носили (и весьма неумело) котелки или крылатки. Однажды Берг увидел Лидию Николаевну и Юлию в салопах и пуховых платках. Они куда-то торопились. Вернулись они за полночь на извозчике, привезя с собою какого-то человека в приличной шубе, и человек этот ночевал на мансарде. Когда его позвали к завтраку, он почему-то отказался и исчез так же внезапно, как появился.

Берг не осуждал поведения дочери. Гимназисты, курсистки и студенты проводили время в яростных спорах, восторгаясь и возмущаясь то Марксом, то Арцыбашевым. Берг примирительно относился к странным визитерам, но заметил как-то вскользь, что девицы, считающие для себя удобным и нравственным посещение городских окраин и сомнительных квартир, должны, по крайней мере, позаботиться о своей безопасности. И поднес дочери маленький, так называемый «дамский», пистолет с перламутровой ручкой.

— В кого мне стрелять? В полицию? — вызывающе спросила Юлия, принимая подарок.

Отец сказал строго:

— Только без глупостей... В полицию я буду стрелять сам.

Она оскорбилась:

— Я разделю судьбу своих товарищей.

Отец усмехнулся:

— Если товарищей не очень много, я могу пострелять и за них...

— Оставь, папа. Нам не нужны деньги капитализма! На них пот и кровь трудящихся.

Берг рассмеялся:

— Это ты вычитала у Маркса или у Боборыкина?

Ему казалось, что она все еще маленькая и играет в модную среди детей из хороших семейств игру «в революцию». Он был настолько уверен в своих понятиях, что даже влиянию натуральной революционерки на дочь не придавал значения. С Лидией Николаевной он держался учтиво. Его забавляла сентиментальность жены, которая называла «бедняжкой» отчаянную особу, застрелившую человека.

Впрочем, отчаянная особа была мягка, достойна и, должно быть, весьма искренне осуждала террор. Может быть, там, в Сибири, она записалась в какую-нибудь иную партию?

Если и был на свете человек, которому Юлия хотела бы рассказать свои тайны, то это был отец. Она любила его. Но отец — крупный капиталист. И дочь, страдая между чувством и долгом, проходила первую школу конспирации.

— Я вовсе не желаю колебать твоих убеждений,— сказал Берг.— Я уважаю их, хотя и не знаю толком, в чем они заключаются. Но маузер на всякий случай пусть будет при тебе... Им можно отпугнуть...

— Кого? — резко спросила она.

Берг засмеялся:

— Мне кажется, не все молодые люди, с которыми ты сталкиваешься, достаточно нравственны...

— Ты сам, папа, не знаешь, что говоришь!

— Ну, как знаешь,— сказал Берг.

8

Павел Кордин явился в отчий дом вечером, в четверг, первого сентября. Старый Кордин никогда не выговаривал сыну ни обид, ни назиданий, и это вызывало в Павле благодарность. Ему хотелось обнять старика, разыграть перед ним что-то вроде провинившегося и раскаявшегося блудного сына, но старик не позволял чудачеств.

Старик расплатился с возчиком рыдвана, на котором Павел Кордин приехал с вокзала (двенадцать верст), и спросил сына:

— Сколько дней ты голодаешь?

Вместо ответа Павел Кордин оглядел отца.

— Почему на тебе медаль?

— Сегодня праздник,— сказал отец и улыбнулся одними глазами,— разумеется, не твой приезд...

— Не сомневаюсь. Какой же праздник?

— Господин советник заложил слободу для мастеровых. Сегодня было освящение и — обед.

— Они что — здесь? — как можно спокойнее спросил Павел Кордин.

— Ступай чиститься с дороги...

Пелагея Ивановна — кухарка, горничная, экономка,— круглая, стесненная одеждой, выкатилась навстречу:

— Павлуша, красавец! Ах ты ж, горе мое луковое! А худющий, а длиннющий!

Она знала Павла с его младенчества. Жалела (сиротка!), учила (шалун!) и гордилась господином студентом. Своих детей Пелагее Ивановне с мужем ее, кучером и садовником Елизарием Степановичем, Бог не послал. Елизарий Степанович, трезвый, причесанный, борода подстрижена, подошел, сказал строго:

— Непорядок, сынок, непорядок... Что же весточки не прислал? Босикам платить при своем выезде...

— Воду грей! — приказала Пелагея Ивановна. И, привалившись к Павлу Кордину, шепнула:

— Анютка являлась... И на Ивана Постника, и вчерась.

— Какая Анютка?

— Девушка старшей барышни... Прибыл ли господин студент...

— Не может быть!

Пелагея Ивановна сжала губы гузкой, закивала знающе:

— Все может быть, Павел Михайлович.

Старый Кордин не отличался сентиментальностью. Он ушел к себе заниматься (всегда занимался по вечерам), и Павел Кордин знал, что говорить отец сегодня не будет. Радостные причитания доброй Пелагеи Ивановны (ешь, худющий, кушай и — слезы) томили Павла Кордина. Впереди была ночь, родительская постель и размышления: почему же его как горячим обдало изнутри, когда Пелагея шепнула про девушку старшей барышни?..

Утро второго сентября было пасмурным поначалу, но небо нехотя голубело в размытых облаках.

Завтракали в беседке. Михаил Яковлевич не поехал на завод. С утра он бывал разговорчивее. Ел мало, отщипывал длинными пальцами хлеб, смотрел снисходительно, как сын теряется перед щедро наставленной едою — помидорами, огурцами, бараньей ногою, жаренными под прессом цыплятами, сметаной в глиняной миске, желтым, домашнего пахтания маслом на капустном листе...

— Вообрази,— улыбался одними глазами отец,— господин советник теперь патриот. Слободу намечено закончить к трехсотлетию династии...

— И называться будет, разумеется, Романовка или Николаевка?

— Вообрази — нет. Господин советник считает такое название безвкусным и даже пошлым. Слободу назвали Марьино — как бы в честь Рождества Пресвятые Богородицы. Но на самом деле — в честь младшей дочери.

— А деньги у него есть?

— На слободу, пожалуй, компания наскребет... Возможно, патриотизм откроет ему дорогу к военным верфям... Завод плох, Павел. Нужна реконструкция... Я, разумеется, делал представления... Без казенных заказов компании не обойтись...

Пелагея Ивановна бегала из беседки в дом, на кухню, в погреб, легко, как молодая. Прибежав, ставила блюдо, присаживалась тычком, слушала разговор, не вникая. Одно понимала: прибыл красавец Павлуша, важный, чинный, благородный, и суровый старик рассуждает с ним как с ровней.

Елизарий Степанович в чистой синей косоворотке подходил к беседке, как бы мимо идя, держал в руках сыромятину и шило.

— Ты, Палаша, не мешай, не засти, мало ли какие разговоры бывают...

И чувствовалось, что он и сам бы присел от души, не слушать, нет — выпить с господином студентом ради возвращения в отчий дом. Но и то понимал — не пасха, чтобы хозяева и слуги из одного штофа пили. Да и штоф этот стоит непочато — обидно смотреть...

А Павел Кордин ловил себя на том, что, слушая отца, думает о Юлии, которая сейчас здесь — в двух верстах.

— Вообрази,— говорил отец,— на Васильевском был обыск.

Павел Кордин вздрогнул, но спросил спокойно:

— Не пошел ли наш патриот в эсэры?

— Напротив! Господин советник требовал, чтобы его оставили в покое. У них ведь объявилась родственница, отбывшая Сибирь.

Павел Кордин почувствовал, как напружинились ноги — вскочить, добежать, увидеть. Но и сейчас он сказал спокойно:

— Что же там искали?

— Я думаю, ты должен нанести визит...

Теперь Павел Кордин вскочил.

Старик Кордин рассмеялся тихо, как смеялся, когда был моложе.

— Вот уж не думал, что ты так взбросишься!

— Я и сам не думал, отец,— покраснел Павел Кордин.

— Доешь, Павлуша, доешь,— закивала Пелагея Ивановна,— какая бы барышня ни была, а сытый всегда смелее...
— Да откуда ты знаешь, что я — туда?!
— А куда ж еще? Доешь, Павлуша...

9

Из балки в виду берговского дома раздавались негромкие выстрелы и радостный визг.
В балке несколько барышень стреляли по пню из маленького пистолета. Девицы хмурились, отворачиваясь от протянутой руки, как будто в руке была лягушка. Выстрелив, бросали оружие с визгом. Больше всех получала удовольствие от стрельбы младшая дочь Берга Мари. После каждого выстрела она с хохотом подпрыгивала и радостно хлопала в ладоши. Какой-то юнкер, небольшой, золотистый, как ангел, занимал барышень, поучал:
— Так нельзя, сударыня, так нельзя... Нужно смотреть в прорезь на мушку.
И, оттягивая руку какой-нибудь барышни, придвигался щекою к щеке несколько ближе, чем требовала наука.
Пришла очередь Юлии. Юнкер кинулся было щекой к щеке, но Юлия дернула плечом, прицелилась, выстрелила, с пня взлетела мелкая труха.
— Молодец, молодец, молодец! — захлопала ладошками Мари.
Юлия отдала пистолет юнкеру и, повернувшись, увидела на гребне Павла Кордина.
— Павел!.. Михайлович! — закричала она и бросилась бежать наверх.
Павел Кордин спрыгнул с бугра навстречу. Он взял ее руки, вглядываясь в косоватые (заячьи) глаза. Она смотрела так, будто готова была кинуться за делом, которое он сейчас ей прикажет. Павел Кордин был еще молод и не знал, что любовь женщины начинается с признания главенства того, кого она полюбила. Так было всегда и, по-видимому, пребудет до тех пор, пока женщины не разучатся любить.
Они держались за руки секунду, может быть, миг. Держаться так было неприлично, они забыли об этом.
— Пойдемте, пойдемте,— не отпускала руки Юлия и — притихшим барышням: — Господа, это мой старый друг Павел Михайлович.
Юнкер с пистолетом в руке чопорно кивнул и щелкнул каблуками, насколько это позволяла рыхлая почва балки. Барышни посмотрели на Павла Кордина, на Юлию, переглянулись, одна другой что-то шепнула. Мари вскрикнула радостно:
— Павел Михайлович! Какой вы ужасно высокий! Вас можно увидеть за версту.
В отдалении под ивой в плетеном соломенном полукресле сидела молодая дама. Она равнодушно подняла голову от книги, равнодушно посмотрела на Павла Кордина и снова опустила голову. Шея ее была охвачена черной бархоткой.
— Павел Михайлович,— радовалась Мари,— мы стреляем, но никто не может попасть! Только Юдифь один раз! Господин юнкер в отчаянье!
— Это несерьезное оружие, сударыня,— важно сказал юнкер, держа на ладони маленький пистолет с перламутровой ручкой.
— Тогда давайте серьезное!
— Извольте!
Он передал ближней барышне пистолетик и достал из-под френчика тяжелый черный кольт. Девицы расширили глаза, будто увидали чудовище. Юнкер загордился. Возле чопорной дамы лежали несколько бутылок из-под сельтерской воды. Юнкер подбежал, взял две бутылки (дама так и не шевельнулась), протянул одну Павлу Кордину:
— Не угодно ли подбросить бутылку?
Павел Кордин подбросил. Грохнул выстрел, девицы завизжали, заткнули уши, бутылка рассыпалась в воздухе.
— Славно,— сказал Павел Кордин,— позвольте и мне...
— Как? — удивился юнкер.— Господ студентов обучают тактическому бою?
— Нет, не обучают. Но мне кажется, если вычислить траекторию — бутылка достаточно велика, чтобы пуля с ней не разминулась.
— Может быть, послать в контору за счетами?
— Зачем?
— Чтобы вычислить траекторию.
— Нет, не нужно... Дайте-ка пистолет.
— Револьвер,— поправил юнкер, покосившись на притихших барышень.
Павел Кордин взвесил в руке тяжелый кольт, отвел боек.
— Бросайте... Только повыше...
Бутылка взлетела. Павел Кордин, сощурясь, прицелился и — попал. Девицы завизжали. Юнкер смутился:
— Бьюсь об заклад, вы — тренируетесь!
Юлия смотрела на Павла Кордина с каким-то благодарным изумлением. Как будто то, что он так легко утер нос этому заносчивому юнкеру, имело для нее особенное значение.

Мари почувствовала состояние сестры, едва появился Павел Михайлович. И когда девицы завизжали от его счастливого выстрела, она бросилась обнимать сестру, смеясь и радуясь.
— Ю! Ю! Ай лав ю! Ю! Ю! Ай лав ю!
— Не желаете ли снова испытать судьбу,— не отставал юнкер.
— Как вам угодно,— улыбнулся Павел Кордин,— я охотно буду подбрасывать вам бутылки, к всеобщему веселью общества.
— Нет, я желал бы, чтобы стреляли вы!
— Сударь, я охотно уступаю вам первенство в этом славном занятии.
— А вы действительно загадочны,— произнесла по-французски молодая дама.— Я видела выстрел и бьюсь об заклад: вы мастер скрывать свои таланты.
— Сударыня,— ответил по-французски Павел Кордин,— если вы изволите биться об заклад со мною, я почту за честь проиграть вам.
— Это — Лидия Николаевна,— сказала Павлу Юлин.
На бугре показалась Анюта.
— Барышни! Барин уезжает! В Киев! Скорее! Федор денешу принес! Убили там кого-то!..
— В Киеве — государь! — закричал юнкер. Он держал револьвер так, будто собирался отстреливаться. Лидия Николаевна спросила:
— Вы собираетесь защищать императора?
— Сударыня! — возмутился юнкер и покраснел.— Ваше острословие весьма неуместно!
Девицы, приподняв пальчиками широкие юбки, взбирались по неверной тропе и повизгивали, соблюдая равновесие.

Когда все подбежали к дому, Берг уже садился в экипаж. Наталия Александровна стояла рядом, кутаясь в белый пуховый платок, хотя было тепло, даже жарко.
— Папа! Что случилось? — спросила, тяжело дыша от бега, Юлия.
Берг махнул ей рукой, экипаж поехал.
— Вчера в Киевском оперном театре стреляли в Петра Аркадьевича Столыпина...— сказала Наталия Александровна.— Он очень плох...
— А государь? — вскрикнул юнкер.
Наталия Александровна не ответила, приобняла дочерей и направилась к дому. И вдруг обернулась:
— Павел Михайлович, это вы? Я не узнала вас...
Павел Кордин поклонился.
— Не уходите, господа,— попросила Наталия Александровна.— Семен Аркадьевич сказал, что это большая беда для России.
На веранде стоял остывший самовар, все молча сели вокруг стола.
— А кто стрелял? — спросил юнкер.
— Это мы узнаем из газет... Федор поскакал в город.
Печаль Наталии Александровны передалась Марии. Она всхлипнула:
— Мне его жалко...
— Можно подумать, ты была с ним знакома,— холодно сказала Юлия.
— Я не была с ним знакома! — вскрикнула Мари.— Но это ужасно!
— Значит, поездка государя по Днепру отменяется? — спросил юнкер.— Как вы думаете, господа, кто же все-таки стрелял?
— Кто бы ни стрелял,— сказала Лидия Николаевна,— он получил свое.
Мари расширила вмиг просохшие глаза.
— Как ты можешь так говорить, Лидуша? — испуганно спросила Наталия Александровна.
— Я — могу... Я видела переселенцев, умирающих с голоду! И детей с лицами стариков! На руках несчастных крестьянок.
— Они — умерли? — схватилась за щеки Мари.
— Но, Лидуша... Ведь он преобразователь, ты не станешь этого отрицать.
— Разумеется, не стану! Он надел на Россию столыпинские галстуки! И посадил ее в столыпинские вагоны! Я сама ехала в таком вагоне!
— Вообще, господа,— сказал юнкер,— упразднение в прошлом году юнкерских училищ не рисует деятельность кабинета с наилучшей стороны.
— Я думаю,— улыбался Павел Кордин,— господин юнкер нам все хорошо объяснил.
Юнкер встал, щелкнул каблуками, ткнулся подбородком в грудь.
— Сударыни! Я весьма огорчен, но вынужден вас оставить! Событие чрезвычайной важности. Я должен быть дома!
— Вы нас покидаете? — спросила Наталия Александровна.— Так неожиданно...
— Я должен видеть моего отца... Надеюсь, господин студент если не заменит меня, то, во всяком случае, развлечет общество.

Он еще раз ткнулся подбородком в грудь и резко вышел.
— Обиделся, потому что дурак,— сказала Юлия.
— Ты несносна,— возразила Наталия Александровна,— он очень воспитан и ценит отца.
— Все равно — дурак,— сказала Юлия.
Павел Кордин почувствовал резкое облегчение от ее слов.
Послышался топот рванувшегося в галоп коня.
— Армин покинула нас,— сказал Павел Кордин,— мы — беззащитны.
Гнев оставил зеленоватые глаза Лидии Николаевны.
— Вы можете говорить серьезно?
— Зачем? Нам ведь ничего не известно. Как можно говорить серьезно о том, что не известно?
— Может быть, вам не известно, но России известно! Этот преобразователь разрушал общину! Он создавал класс мелких хозяев, для которых собственность превыше всего. Ему нужны были кулаки, хуторяне, которых он цивилизованно называл фермерами! Он раскалывал крестьянство, чтобы ослабить революционный подъем! Вам этого мало?
— Нет. С меня этого предостаточно. Но революционный подъем необходим также... охранке, чтобы ловить смутьянов, оправдывая свою мерзкую деятельность. Вам это не приходило в голову?
— Весьма остроумно!
— Увы, Лидия Николаевна, ничего остроумного здесь я не вижу. Я только знаю, что владельческая, или, как вы изволите выражаться, хуторская, кулацкая земля родит в два раза больше, чем общинная. Потому что собственность выращивает хлеб и на камне...
— О, да! Это выражение вашего Столыпина!
— Вот видите, он уже — мой... А ведь он не мой и не ваш... Вы, насколько я вас понимаю, видите в общине зачатки социализма. А я, извините, о социализме более высокого мнения.
Девицы сидели напуганно, ничего не понимали, слушали, приоткрыв ротики, перепалку госпожи революционерки с господином студентом.
— Вас послушать,— сказала Юлия,— а Столыпина стреляла охранка!
— Я этого не исключаю, Юлия Семеновна,— самодержавию он был так же неудобен...
— Вот это мило! Почему?
— Потому что собственность — это свобода.
— Туманно! — воскликнула Лидия Николаевна.
— Как вам угодно... Но его проекты бессословного самоуправления — тоже удар по самодержавию...
— Вы живете за границей и потому не понимаете происходящего в России!
— Насколько я знаю, господин Плеханов тоже живет за границей.
— Я не разделяю взглядов господина Плеханова! Он больше не революционер! Он — кадет!
Неожиданно Мари хохотнула. Павел Кордин улыбнулся.
— Мария Семеновна! Кадет на палочку надет, не так ли?
— Так! Так! Так! Если все революционеры такие веселые, как Павел Михайлович, я согласна стать революционеркой! А вы все скучные! И все время тайничаете и злитесь!
— Ну хорошо! — примирительно сказала Лидия Николаевна.— Будем ждать подробностей... Вы, кажется, живете в Лемберге? Не приходилось ли вам бывать в Кракове?
— Я был там летом. Вас, вероятно, занимает Спуйня?.. Извините, Лидия Николаевна, в прошлом году в Париже я познакомился с симпатичным молодым человеком, бежавшим из Сибири. Среди оставленных в России друзей он называл ваше имя... Звали его Станислав. Не знаю, так ли его звали на самом деле...
— Он кашлял?! — вдруг вскрикнула Лидия Николаевна.
— Да... Но редко... Он был очень плох, но весел и мужествен...
Лидия Николаевна побледнела, поднялась.
— Пойдемте, пойдемте... Расскажите мне о нем... Он ведь умер... Извините меня, извините... Пойдемте, Павел Михайлович...
— Бедняжка,— сказала Наталия Александровна.

10

Павел Кордин не мог рассказать о Станиславе в общем ничего. Но его удивляло и даже вызывало странную ревность жадное любопытство Лидии Николаевны. Она просила повторять раз за разом — что он говорил, какая была погода, что он ел, как он смеялся и даже как он кашлял — приложив ко рту платок или прикрывшись рукою. Когда Павел Кордин сказал о беззаботности Станислава, Лидия Николаевна рассмеялась, и он поразился, увидав на ее глазах слезы.
Они виделись каждый день, и каждый день Лидия Николаевна требовала рассказа.

Павлу Кордину самому уже казалось, что он долго дружил с этим человеком, который ему запомнился ярко и четко, как будто знал он его с детства.
«Вы любили его?» — хотел спросить он у Лидии Николаевны, когда они вчетвером (Юлия и Мари) гуляли вдоль балки.
— Смотрите, жук! — вскрикнула в это время Лидия Николаевна и показала зонтиком на огромного рогача, ползшего по желтеющей траве.— Осень, а жук! Странно!
Приходили газеты с подробностями убийства Столыпина, но Лидия Николаевна не затевала политических разговоров. Она перестала спрашивать о Станиславе, как будто переживая про себя услышанное. Состояние ее передалось Юлии и веселой, всегда счастливой Марии.
Паутинки поблескивали в покое желтеющих деревьев. Слетали, вяло кружась, невесомые листья. Тихая осенняя грусть, предшествующая расставанию (Берг телеграфировал, чтобы семейство ехало в Петербург), тихая грусть теплила Павла Кордина и Юлию.
Дома Михаил Яковлевич листал газеты.
— Два шанса было у России... Император Александр Второй и статс-секретарь Столыпин... Будет ли третий шанс?..
Газеты описывали подробности. Сенатор Трусевич прибыл по именному повелению расследовать злодейское убийство. Оказывается, пуля попала в орден — во Владимирский крест, разбила его, и при вскрытии были обнаружены осколки эмали. Коковцов был назначен премьер-министром враз, будто ожидал за дверью. Срочно была отставлена охрана, полковник Спиридович и какой-то корнет. Убийцу — анархиста Богрова — повесили торопливо, будто кому-то нужно было, чтобы он замолк, не успев ничего сказать. Августейшие особы прислали венки, как отдаривались от семейства покойного. И службы, службы, панихиды — в храмах по всей России. Как будто что-то такое, чего не следует никому знать, заглушалось басовым ревом заупокойных молитв.
Неожиданная в Лидии Николаевне печаль по Станиславу, каждое слово о котором было для нее утешением, отдалила и от Павла Кордина реальность происходящего, то, ради чего Лидия Николаевна, казалось бы, жила. Не политика, не газетные страсти, а тихая тоска по несбывшейся любви заполонила неукротимое сердце каторжанки, ссыльной, поднадзорной.
Но политика все-таки давала о себе знать.
— Может быть, вы и правы,— сказала назавтра Лидия Николаевна,— они не хоронят его, а как будто что-то прячут...
Павел Кордин вздохнул.
— Лидия Николаевна, самодержавие заинтересовано в общине, потому что община основа деспотизма. Это крепостное право без барина. Каждый мужик следит друг за другом. Что может быть надежнее для полиции? Стрелял-то заступник народный. Мстил за галстуки, за отруба, за переселенцев...
— Но его повесили!
— Потому и повесили, что смутьян. А там, глядишь, как бы он в святые не попал.
— Иудей — в святые?
— Это бывало в истории...
— И все-таки Столыпин был вешатель!
— Лидия Николаевна, мне кажется, что самодержавию сейчас очень удобна такая пропаганда. Разумеется, оно будет хватать пропагаторов. Но только для порядка.
Лидия Николаевна ничего не сказала, прошла вперед по тропинке, потыкивая зонтиком в кору деревьев. Мари шла за нею.
— Присядем-ка,— сказала Юлия Павлу Кордину и показала сваленную давней бурей вербу. Верба лежала навзничь, но молодые, нынешнего года побеги тянулись вверх, шелестя желтеющими стрельчатыми листьями.
— Давайте попрощаемся, Павел Михайлович. Завтра мы едем... Да и вам, наверное, уже пора в вашу Школу Политехничну... А все это останется без нас... До будущего года... Субъекты познания уедут, а объекты останутся... Не могут же они исчезнуть только от того, что мы перестанем на них смотреть?..
— Ю,— неожиданно для себя сказал Павел Кордин,— мне нравится, как вас называет сестра... Берегите себя... Вы мне очень дороги...
— Вы мне тоже... Не знаю почему...
Неожиданно она шагнула к нему, взяла за плечи поднятыми руками и приложилась щекою к его груди.
Он смотрел на ее черную голову, на узенький пробор и чувствовал грудью тепло ее щеки.
— Ю...
Она подняла голову, обратила к нему лицо, и он увидел в глазах ее нежную готовность.
Павел Кордин взял лицо ее в ладони.
— Ю... Я люблю вас...
Она потянула к нему приоткрытые вспухшие вмиг губы...

11

Четвертого апреля в Сибири на реке Лене, на золотых приисках отряд ротмистра Трещенкова расстрелял толпу безоружных рабочих.

Расстрел этот потряс Россию. Двести семьдесят убитых, двести пятьдесят раненых — все сначала, как будто январский Петербург и декабрьская Москва пятого года были лишь началом кровавого века сего. Министр внутренних дел Макаров объявил в Думе, чтобы все знали: так было, так будет.

Но если пятый год напугал огромную страну, то этот, двенадцатый, звал к мести. И месть эта разгоралась не только на мастеровых окраинах. Она горячила сердца в респектабельных квартирах, в адвокатских конторах, даже в кабинетах европейски настроенных промышленников.

— Нельзя же так, господа, право, нельзя-с...

Но министерство объявило, что собирается тщательно расследовать всю правду и покарать виновных.

В квартирах, в конторах, в кабинетах угомонились.

— Брешь в стене самодержавия пробита мускулистой рукой пролетария,— сказала Лидия Николаевна.— Чем нам ответит самодержавие первого мая, когда мы выведем весь Питер на улицы? Столыпинщина не сдается? Мы ее прикончим!

Берг не мог понять, почему госпожа революционерка так настойчиво приписывает ужасную расправу на приисках деятельности покойного Столыпина, который относился к Макарову, как считал Берг, весьма предубежденно.

— На моих заводах,— пытался убедить Лидию Николаевну и во всем потакавшую ей старшую дочь Берг,— насилие невозможно...

— Дело не в тебе, папа,— поясняла Юлия,— дело в самом капитализме!

В воскресенье, пятнадцатого апреля, Берг ехал по Невскому. Невский не выглядел ни нарядным, ни фланирующим, публики на нем было не меньше, чем в обыкновенные воскресные дни, может быть, даже больше, но публика эта тревожила — студенческие фуражки, картузы, шляпки курсисток, платки и — городовые, на всех углах, посреди проспекта множество городовых. Конный полувзвод проскакал, обогнав экипаж Берга возле торговых рядов. Выглянув вслед полувзводу, Семен Аркадьевич увидел на тротуаре небольшую толпу, а в толпе — Юлию. Кучер, должно быть, тоже узнал старшую барышню, но не обернулся, а только выпрямился, причмокнув на лошадей.

Дома Семен Аркадьевич заперся у себя, приказав подать обед в кабинет. Так он поступал всегда, когда занятия ограничивали его время. Сейчас он делал вид, что занимается. Он ждал Юлию, рисуя в воображении, как поступит, если она будет схвачена. Как же услать ее из накаляющегося новыми беспорядками Петербурга? Страшная Лидия Николаевна подчинила своей воле Юлию...

Семен Аркадьевич не включал электричества. Может быть, включить, чтобы прислуга ничего не подумала. А что должна подумать прислуга? Что за вздор? Какое ему дело, о чем подумает прислуга? Бергу показалось, что он и сам начинает прятаться, таиться. Отчего? Ради чего? Он почувствовал, как в горле раздувается гнев. Семен Аркадьевич резко, демонстративно повернул выключатель настольной лампы и вдруг услышал звонкий смех старшей дочери. Пришла! Раздувшийся было гнев так и не лопнул, сменившись вмиг бурной радостью. Берг взял себя в руки, спустился вниз.

— Папа! — бросилась к нему Юлия.— Поздравь меня! Я сегодня сказала речь! Я говорила о Ленском расстреле, и меня слушали!

Птичка усов взмахнула крылышками, Берг был счастлив, что видит до́чь невредимой.

— Я очень сожалею, что не слышал твоей речи.

— А потом набежали городовые! А Лидуша заговорила со мною по-французски, и они не знали, что делать! Какие они глупые, папа! Лидуша сказала им, что я дочь французского посла!

— Это делает мне честь.

Весь апрель Берг испытывал не свойственную ему зависимость от страшной родственницы. Разумеется, странные визитеры являлись в особняк и раньше, но в эти дни Бергу все время казалось, что они готовятся к какой-то решительной акции.

Двадцать второго апреля Лидия Николаевна и Юлия были особенно возбуждены. Старшая дочь положила на письменный стол Семена Аркадьевича двойной листок. Он назывался «Правда», ежедневная рабочая газета. Берг просмотрел листок, в котором описывались демонстрации и стачки, вызванные ужасным Ленским расстрелом, прочел сообщение о том, что по независящим от издателя обстоятельствам продажа газеты по повышенной цене в пользу семей убитых ленских рабочих не может состояться, подумал о тупой беспросветной глупости правительства и увидел призыв собирать пожертвования. Он решил, что Юлия ждет от него наконец денег — денег капитализма, на которых пот и кровь трудящихся. Берг позвонил. Вошел лакей Анисим, молчаливый и важный, как

сенатор Горемыкин. Берг говорил своим слугам «вы», такая у него была англизированная манера.

— Анисим, отнесите-ка это Юлии Семеновне,— сказал он, показав пальцем на конверт («Артур Берг и сыновья, механические заводы»), в котором была сложена вчетверо рабочая газета и находились три бумажки с портретом императрицы Екатерины.

На Двенадцатой линии помещалась вполне респектабельная типография господина Гаевского. Берг, пожалуй, не удивился, если бы узнал, что ночью Юлия и ее горничная Анюта в узком проходе между стеной и сараем, обтирая спинами скверную штукатурку, принимают пачки прокламаций, которые им кидают через стенку.

Одна прокламация была подложена на стол Семена Аркадьевича: «Пусть нашими лозунгами будут Учредительное собрание, восьмичасовой рабочий день, конфискация помещичьих земель... Долой царское правительство! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует социализм!»

Из всего сказанного в листовке Семен Аркадьевич видел резон только в восьмичасовом рабочем дне, который рано или поздно придется установить в интересах производства. Насчет земель, правительства и социализма — он только вздыхал от ребячливой торопливости.

В среду, первого мая, полиция как дождалась — казаки гарцевали у Казанского собора, отмахивались нагайками, не выпуская народ на Невский, загоняли в переулки, в проходные дворы.

Было похоже, толпа стремилась слиться на Невском в единый поток, казаки налетали, разгоняли, делили на кучки. Но, перебежав проспект, люди валом валили в Апраксин двор. Апраксины ряды торговали все-таки, несмотря на неспокойный день, невзирая на предупреждение власти. В рядах толокся народ — поди разбери, покупатели или так — зеваки. Вдруг полиция кинулась выбивать народ из лавок — отчего, неясно. Говорили, будто брызнул кумачовый плат, но тотчас сник, спрятался и — вслед за полицией по Садовой пролетели казаки наметом, свистя нагайками. Несколько барышень и мастеровых раздавали в толпе листовки, звали — товарищи, теснее ряды! Мы победим!

Казак с налету взвился на коне, резанул воздух плетью, и вдруг барышня какая-то хлопнула в казака выстрелом (откуда пистолет взялся в ручке?):

— Не сметь, холоп!

Казак бросил плеть, качнулся в седле, но не упал. Конь его отскочил. На выстрел обернулись городовые, и проскакавшие было казаки повернули коней, двое даже влетели в галерею, но барышня как провалилась.

— Кто стрелял?

Городовые хватали всякого, выталкивали на улицу.

Приказчик, молодой, усики-бородка, брильянтиновый блеск раздвоенной прически, учтиво-галантно указывал, как пройти:

— Сударыня, сюда-с... Однако, сударыня, весьма, весьма... Извините, подвал-с...

Юлия не отвечала. Она раздувала ноздри не то от подвального запаха, не то от непокидающего ее гнева.

— Извольте, сударыня, извольте...

Юлия приходила в себя. Бочки, ящики, связки чего-то в полутьме — все это она видела впервые. Приказчик начал ее смешить своей напуганной учтивостью. Вдруг стало светлее.

— Сударыня, я попытаюсь извозчика... Благоволите ждать...

12

Что-то произошло с Лидией Николаевной и Юлией. Они никуда не выходили, читали книги, Лидия Николаевна музицировала. Странные визиты прекратились. Какая-то настороженная благостность воцарилась в особняке на Васильевском.

В Петербурге начались аресты. Оживились адвокаты. Берг не знал, что старшая дочь, ранившая казака, разыскивается полицией.

— Мне кажется,— сказал он жене,— было бы не худо, если бы Лидуша и Юленька прокатились бы... Куда-нибудь, в Италию, что ли...

— Ты думаешь, им грозит опасность? Но как их уговорить уехать?

К удивлению Семена Аркадьевича, предложение прокатиться в Италию было принято обеими молодыми дамами весьма легко.

— По дороге мы побываем в Вене,— сказала Лидия Николаевна, и Берг, весьма обрадованный согласием, не заметил, как она переглянулась с Юлией.

13

В середине июня в Кракове на Флорианской улице, в старом отеле «Под розой» появились две молодые особы, прибывшие из Вены. Вездесущие репортеры газеты «Час»

в отделе «Кто приехал» сообщили о том, что путешественницы пожелали сохранить инкогнито. Они несомненно принадлежали к высшему обществу, предпочитали говорить по-французски, однако старшая знала и по-польски, впрочем, с явно русским проговором.

Польские социал-демократические страсти поразили Юлию своей открытостью. Открыто выходили партийные газеты, полиция будто забыла здесь свое привычное для русских людей назначение.

Средоточием страстей была Спуйня — Союз помощи политическим узникам. Председатель Спуйни доктор Зигмунт Марек, вальяжный плотный господин с корректными (как у Берга) усами на спокойном учтиаом лице, держал свою адвокатскую контору открыто, не опасаясь ни хвостов, ни обысков.

Однако и здесь — в благословенном краю — раскол! Спуйня оказывала помощь политическим узникам независимо от их партийности и тем более национальности. Галицийские социал-демократы требовали, чтобы Союз помогал только полякам.

Юлия читала газету «Червоны штандар», удивляясь, что понимает читаемое, проясняя неясные места словарем. «Выстрелы на Лене попали в пролетариат Польши и России как в один общий организм, вызвали из груди общий крик боли и протеста, как будто одна общая кровь текла в жилах рабочих Польши и России, как будто оживляло их движение одного общего великого сердца».

В Кракове издавались газеты для русской Литвы и русской Польши. Там, в десяти верстах к северу, за границей, листки эти были опасны, здесь же мальчишки продавали их, громко выкрикивая содержание.

В вольном Кракове поползли слухи, будто варшавский подпольный комитет связан с русской охранкой.

— Юдифь! — кричала Лидия Николаевна.— Если что-нибудь и погубит революцию — так это действительные или мнимые связи с охранкой! Достаточно швырнуть этот гнусный упрек в лицо товарищу, чтобы все отшатнулись. Я думала, это свойственно только нам, замученным подозрительностью и подпольем! Но смотри! Австро-Венгрия! И — то же самое!

Юлия слушала, не решалась высказать Лидуше свои соображения. Спуйня небогата, а в Кракове так много эмигрантов... Может быть, здесь просто пытаются ограничить расходы? Чековая книжка Лионского кредита «Артур Берг и сыновья» ограждала Юлию от кипящих вокруг страстей.

Лидия Николаевна заставляла ее изучать язык и не откликалась ни на русский, ни на французский.

— Откуда ты так знаешь по-польски?

— Знаю... Хочешь покурить?

Юлия взяла папироску, вдохнула дым, как делала Лидуша, и не закашлялась. Головокружение не испугало ее, оно было легким и быстро прошло.

— Это он тебя научил? — настаивала Юлия.

«Он» был бедный Станислав, которого полюбила в ссылке Лидуша.

Юлия подумала о Павле Кордине. Почему она тогда поцеловала его? Неужели она его любит?

14

Брошюра, которую три года назад дал ей сын управляющего, поразила ее еще тогда своим неуемным гнеаом. Она поняла не много, совсем не много. Философы, которых разбиаал Ильин, не были ей знакомы, многие — даже по именам. Но они заблуждались. Юлия была уверена в этом, не читая их. Так убедителен был этот Ильин.

Здесь, в Кракове, она все-таки решилась прочесть книги хоть некоторых философов, зная наперед, что читать их будет скучно. Они для нее были разбиты раз и навсегда. Она даже испытывала особенное удовлетворение от того, что они — разбиты. Это была вера, возникающая на щедрой почве истины. Только в чем состояла эта истина? В том, чтобы стрелять в казаков? Тайно разносить прокламации? В том, чтобы нападать на полицию? Чтобы избегать размышлений о самой себе, о саоей принадлежности к классу, который должен быть ниспровергнут? Юлия не думала об этом. Старое должно быть истреблено, уничтожено, растоптано, как разбиты философы, которых она пытается понять, укрощая саою неприязнь к ним. Она прилежно являлась в читальный зал Ягеллонского университета, и бравые польские студенты уже называли ее прелестным синим чулком, пытаясь завязать знакомство.

Но знакомств она не заводила.

Вечерами Лидия Николаевна водила Юлию на Щепанскую площадь слушать музыку Бетховена. Юлия никогда прежде не думала, что способна так сокрушительно покориться музыке. Бетхоаен изматывал ее, терзал и одновременно успокаивал, наполнял грозным величием, от которого влажнели глаза и спирало дыхание.

— Я устаю, Лидуша,— сказала она,— он меня пугает... Я слушаю, как будто молюсь...

— Ты — дитя! То, что создано человеком, доступно человеку.

Юлия хотела спросить — человеком ли создана музыка Бетховена, но не решалась. В театре Слоаацкого ставили пьесы с солоаьиными трелями, даже с запахом хвои, который разбрызгивали пульверизаторы. Там плескалась искусственная вода и стояла настоящая мебель шестнадцатого века. Все это было сделано людьми и было доступно людям — то есть не спирало дыхания и не влажнило глаз.

Однажды Лидия Николаевна повела Юлию в кабаре «Аполлон». Там было весело. Добропорядочные краковяне веселились добропорядочно, однако позволяли себе некоторые вольности. На эстраде выступала заезжая дива.

Дива выскочила в мужском жилете верхом на палочке — на ручке раскрытого черного зонтика. Зонтик она вертела перед собою, и непонятно было — прикрывает ли он какую-нибудь одежду или сам является одеждой.

— А то — паньска камизелька,— пела высоким лукавым голосом дива, сжав ногами раскрутившийся было зонтик и поглаживая себя по жилету.

— А то паньска парасолька! — воскликнала она, подняв брови с притаорным удивлением, и, ослабив ноги, снова пускала зонтик вертеться как раз аокруг того места, где быть фиговому листку.

Публика ерзала на стульях. Дива пела песенку о том, как обстоятельства застали ее с одним пугливым паном, который в момент бегства нацепил на себя ее робронду и оставил ей только камизельку и парасолю, и теперь ей нечем прикрыться.

— Зачем мы сюда пришли? — спросила Юлия.

— Извини, я не знала, что это так пошло...

Последние дни Лидия Николаевна, Лидуша, явно тяготилась Юлией.

— Я больше не могу сидеть сложа руки, понимаешь? Нет, ты еще ребенок, ты не можешь меня понять! Нужно уметь легко расставаться! Привязанности и симпатии мешают революции!

— Ты хочешь меня оставить?

— Только не воображай, ради Бога, что я тебя брошу! Я тебя оставлю с моими друзьями.

— А ты?

— Я? Ничего определенного я не могу тебе сказать... Возможно, мне понадобятся связи твоего отца...

— Ты собираешься застрелить еще одного офицера?

— Одного?! — Лидия Николаевна расхохоталась.— Дитя! Они собирают милостыню в своей Спуйне и грызутся, кому послать пошеную фуфайку — русскому или поляку! Болтуны! Нет, детка! Нужно не так! Бедный Станислаа звал к марксизму! Да простит меня дух его! Он заплатил жизнью за свои заблуждения. Я буду мстить за него, за себя! Нужно оружие! Оружие, а не теории!

Юлия была поражена мстительной любовью Лидуши к этому Станиславу, которого она никак не могла себе вообразить.

15

— Как же зовут сыновей «Артур Берг и сыновья, металлические заводы»?

С первых же слов разговора с новым знакомым Юлия ощутила в себе непривычную настороженность. С нею никто и никогда не разговаривал в подобном роде. Это не было эспри остроумца и не была грубость невоспитанного человека. Это была беспричинная язвительность, какая-то нещадящая хлесткость, заранее выраженная насмешка нескрываемого превосходства.

— Их зоаут Юлия и Мария...

Сдержанность ее будто подбавила ему язвительного веселья:

— И оба сына,— рассмеялся,— то бишь обе дочери — революционерки? Презабавно! Мало того, что Бог не дал господину капиталисту прямых полноценных наследников — он толкнул в революцию и тех, кого дал!

Это было невыносимо.

— Моя сестра едва ли станет реаолюционеркой,— сдержанно ответила Юлия, не понимая, как соответствоаать этому тону.

— Как вы можете это знать? — спросил он как-то неожиданно отечески, серьезно.— Как вы можете это знать, дорогая Юлия?.. Революция будет еще не скоро... Сколько лет вашей сестре?

Перемена эта принесла облегчение. Нет, она не права, он — добр. Просто у него такая манера. Неприятная, но вовсе не оскорбительная.

— Ей шестнадцать.

— Шестнадцать! Плюс сестра — барышня из хорошей семьи — в бегах!

Нет, рано она обрадовалась.

— И как вы собираетесь жить?

Юлия вспыхнула. Надо дать понять этому господину, что тон его — неприличен.

— Я обеспечена,— надменно произнесла она.

— Превосходно! Нам совершенно необходимы обеспеченные революционеры.

И шутливо приложил палец к губам.

— Мне кажется,— сдержанно сказала Юлия,— вам доставляет особенное удовольствие не воспринимать меня серьезно...

Он не переменился ни в позе, ни в лице.

— Восемнадцать лет — хороший возраст для ухода в революцию. Я воспринимаю это вполне серьезно.

— Владимир Ильич,— вспыхнула Юлия,— я, наверное, дурно воспитана...

— Ну вот! — снова развеселился он.— А теперь вы ставите в неловкое положение торговый дом «Берг и сыновья»! Можно подумать, у вас не было гувернанток! Дорогая Юдифь! Вы еще убьете своего Олоферна! Не отчаивайтесь!

Юлия усмехнулась, как ровне.

— В детстве мне подарили для этого саблю. Почти настоящую.

— Боже мой! Кто же?

— Это был Коршунов!

— Социалист-революционер? — с дурашливой таинственностью спросил он, опасливо оглянувшись.

— Нет! — по-детски вскрикнула Юлия, принимая игру.

— Октябрист?

— Нет! — хлопнула она ладошками.

— Кадет?

— Нет!

— Националист?

— Нет!

— Неужели монархист? — попытался он испуганно расширить глаза.

— Капиталист Коршунов! — Юлия пристукнула каблучком.— Папин приятель!

— А-а-а! Коршунов! Пароходы, хлебный экспорт, южные заводы? Слава богу, хоть не монархист! Типичный октябрист! Кстати, «Артур Берг и сыновья» — тоже октябрист?

Юлия удивилась, ресницы достали до бровей.

— Я не знаю...

— Как же вы не знаете, к какой партии принадлежит ваш отец? — полусерьезно спросил Ильин.— А — туда же! Играете в загадки-разгадки!

— Я думаю,— неуверенно проговорила Юлия,— он ни к какой партии не принадлежит.

— Не может быть! — решительно мотнул головой.— В России все расписаны по партиям! Все, у кого есть котелок и шуба, непременно записались в какую-нибудь партию! У господина «Берг и сыновья» есть котелок и шуба?

— А у вас есть котелок и шуба? — куснула Юлия, удивившись своей дерзости.

— Вы любите своего отца,— вновь серьезно и даже печально сказал Ильин, откинулся на спинку стула и вытянул ноги, сунув руки в карманы.— Классовая борьба сложна еще и тем, что баррикады делят комнаты... Все это не так просто... Все это — архисложно... Но.— он как-то повеселел,— назвался груздем — полезай в кузов, а?

И добавил:

— А глаза у вас — заячьи! Этого вам Коршунов не говорил, надеюсь?

— Представьте себе — говорил!

— Негодяй! И здесь он опередил меня! Нет, с октябристами надо кончать!..

16

Только здесь, в Кракове, оставшись одна, без Лидии, Юлия увидела, что вещи, без которых невозможна жизнь, имеют разную ценность. Булочка-кайзерка стоит всего один халеж, сотую часть кроны, микроскопическую долю того, что может тратить на себя Юлия даже здесь, даже вдалеке от дома. Но бросовая кайзерка утоляет голодного человека. Значит, ее достаточно для существования?

Нищий, которому она подала серебряную монетку, упал на колени — должно быть, щедрость молодой панны ошеломила его. Юлия помнила лицо нищего — нечистое, морщинистое, неприятное. Дети при нищенках угнетали воображение какой-то преувеличенной неправдоподобностью: они были серьезны, как больные старики. На Васильевском, на поварню ходил такой старик побираться у прислуги. Юлия однажды видела его и приказала дать ему поесть и еще сто рублей.

— Это много,— сказала Мари по-французски.

— Ты — жадна,— по-русски возразила Юлия.

Мари продолжала по-французски:

— Но на всех не хватит, сестра, если подавать так щедро. Я приказала раздать твои сто рублей возле Андреевской церкви...

Юлия только здесь, в Кракове, в чужом, нерусском городе, увидела, как смешна была и она сама, и ее сестра Мари со своими подачками бедным. Мама всегда их поощряла, а папа, кажется, ничего и не знал.

Краковские газеты помещали списки обездоленных, нуждающихся в помощи и поддержке. Семидесятилетняя вдова, парализованный столяр, сапожник-эпилептик, восьмидесятилетняя старушка, женщина с двумя детьми, покинутая мужем...

В доме на Любомирской, где жила русская колония, такие списки называли образчиком буржуазного ханжества. Юлия не раз слышала от Крупской, что только избавившись от эксплуатации, можно будет избавиться от нищеты и рабства...

— Ну подадите вы одному нищему, десяти, сотне, наконец...— говорила она.— Но всем же вы не подадите! Христианская мораль чудовищна тем, что ослепляет жалостью к ближнему.

17

В пятницу, в постный день, Главный рынок набивался до отказа. Неспешно тянулись от застав к Сукенницам хлопские фурманки, груженные бочками, лантухами, тесными клетками, корзинами. В клетках покрякивали стиснутые гуси. Из корзин сквозь накинутую поверх чистую мешковину выпирала тяжелая снедь, пятнаясь красным. Справные широкие коняги, упрямо опустив рыжие головы, прикрытые белесым чубом, тянули груз, выбивая разлапистыми копытами искры из кошачьих лбов мостовой.

На фурманках, свесив начищенные праздничные сапоги, сидели хозяева — без свиток, по теплому сентябрьскому времени, в жилетах, в закопанских валяных шляпах с перепелиными перышками пучком.

Бенчицкие бабы — дородные, хлебовидные, золотистые, как поджаренные, принаряженные ради праздника в штофные с турецкими затейливыми загогулинами сподницы, в кашемировые шали — синие, зеленые, красные — раскладывали в рундуках товар — неохватные караваи, желтые калачи с сыром, мелкие кайзерки сдобного теста.

Броновицкие красавицы в косынках, завязанных рогами наперед, в красных юбках, в бархатных корсажах, торговали весело, громогласно. Мониста лежали на их неподатливых каменных грудях, жаркие начищенные цехины жглись солнцем. Красавицы вздымали связанных за ноги кур. Куры висели вниз гребешками, выправляли головки позмеиному, боком глядели на опрокинутый мир. Хлебом, сухими грибами, конским потом, освежеванной тушею, влажным дымом крестьянских сушилок, коровьим хлевом, колесным дегтем, соломенной пылью — насыщался плотный воздух Главного рынка.

Юлия в шерстяной юбке (зеленый плат, обернутый вокруг бедер), в белой полотняной рубашке со вздутыми рукавчиками, в красном тесном корсаже, в зеленой же косынке — рожками наперед — несла на согнутом локте круглую плетенку, надежно упершуюся в бедро. Крупская в сизом тонком балахончике, седеющая, с тяжелыми водянистыми глазами, шла за нею. В тесноте базара она пробиралась за Юлией, будто опасалась отстать, затеряться среди кошелок, возов, рундуков, в плотной толпе, колыхающейся, крутящейся на месте без видимого смысла.

Возле Ратушной брамы свисали с крючьев, как хомуты, тухновские колбасы, тяжелые медные окорока и розовые телячьи туши. Обсмоленные свиные головы топырились с рундучных стоек вздернутыми ушами, разлапистыми пятачками.

— Ясновельможна пани! — позвал Крупскую мужик и вышел из-за рундучка.

Он был пожилой — лет сорока пяти, с дубленым крепким лицом, с близко поставленными синими глазами. Под крупным носом висели седеющие, опущенные польские усы. Вытерев ладони о бока фартука, мужик посмотрел на Юлию с пониманием:

— Где растут такие красавицы?

— Видите, каким вы пользуетесь успехом,— тихо сказала по-французски Крупская.

Мужик, услыхав французскую речь, согнал с лица веселье, поняв враз свое место под солнцем.

— Ясновельможные пани! — поклонился мужик.— Для ясновельможной пани!

Крупская приблизилась к прилавку, на котором лежала темно-красная туша.

— То есть — воловина?

— Так ест, ясновельможна пани! Сытько ту воловина!

Крупская напряглась:

— Абер... Не млода воловина...

Мужик понял:

— Патюрлих! Челенчина!

И он схватился за топор, торчащий в окровавленном пне.

— Телентина, телентина! — подтвердила Крупская.

Мужик снял с крюка небольшую розовую тушу и мягко брякнул ее на пень.

Юлия показала пальцем, какую часть туши отсечь.

— Как для невесты родного сына! — вздохнул мужик, покосившись — не обидится ли панна в холопском наряде на его вольность,— приложил здоровенную руку к фартуку.— Только для ясновельможной пани!

— А может быть — вот эту часть?

— Как прикажет ясновельможна пани!

— Но — с костями?

Мужик, держа топор, не успел замахнуться над пнем.

— Так есть! С костями!

— А без костей? — тихо спросила Крупская.

Мужик медленно опустил топор.

— Ясно пани! Пан Буг сотворил корову с костями... Как же я могу продавать ее без костей? Я же — католик...

— А в Париже продают,— улыбнулась Крупская.

— О! — воскликнул мужик и взмахнул топором.— Парыж! Для Парыжа пан Буг оставил коров без костей! Так им и надо, схизматикам!

И, хукнув, рубанул по туше.

— Вы все понимаете? — спросила Крупская.

— Так ест! — улыбнулась Юлия.— Я только не поняла, кто такие схизматики — коровы или парижане. Я вообще не знаю, кто такие схизматики.

— Схизма,— пояснила Крупская,— это неповиновение церковным властям...

Крупская заговорила ровным вразумляющим тоном. Юлии казалось, что Надежда Константиновна получает удовлетворение от наставительства. Это почему-то забавляло ее.

— В таком случае,— сказала Юлия,— схизматиками могут быть и коровы! Могут же они не повиноваться церковным властям!

— Не надо шутить... Схизма отличается от ереси тем, что не противоречит самому учению...

— Понимаю! Схизматики — это меньшевики!

Крупская улыбнулась:

— Нет уж! Они, скорее, еретики, а не схизматики!

18

Юлия была увлечена шифрованием писем, которые ей наконец доверила Крупская. Надо было взять басню Крылова «Ворона и Лисица», ставить порядковый номер строки, из которой выбираются номера букв, собственно и составляющих послание. Шифр напоминал арифметические дроби. Юлия предложила писать эти дроби на «Ремингтоне», но это было строжайше запрещено.

— Ни в коем случае! Шифр, отпечатанный на машинке, вызовет активную деятельность полиции! Чья машина? Почему — машина? Где машина? Нет! Вам еще нужно учиться и учиться конспирации!

Из России приходили газеты. Ульянов вскипал гневом, читая «Правду» или «Звезду».

— Не так! Не так! Фитюки! Они избегают открытой полемики, как старые девы! От рабочих вредно, нельзя скрывать наши разногласия! Нельзя! Губительно! Надо постоянно ввязываться, а не молчать! Если мы промолчим — мы отстанем! А газета, которая отстала,— погибла, погибла! Нас съедят ликвидаторы! Что это за Молотов? Этой каменной кувалде ничего нельзя поручать!

Он метался по комнате, выбегал на балкон, и Юлии казалось — сейчас он перемахнет через перила и улетит туда, через Блони, через границу, в Питер, где все делают не так и не то.

Но через несколько дней, размахивая свежей газетой:

— Теперь — так! Теперь — правильно!..

Он веселел в такие дни, веселел и наполнялся добродушием.

— Краков — почти Россия,— вдруг сказал Ульянов.— Почти! Всего восемь верст до границы! Присмотритесь: бабы босоногие, в пестрых платьях, как у нас! Совсем местечко — никаких умников вроде Плеханова! Здесь можно наконец работать, а не налаживать отношения.

— Владимир Ильич,— расширила глаза Юлия,— я поняла, почему им всем хочется легальной партии.

Ульянов посмотрел на нее нетерпеливо, будто заранее знал, что услышит вздор.

— Ну...

— Они не желают рисковать комфортом...

— Как?! — будто ухватился за ее слова Ульянов и вдруг расхохотался.

— Надя! Истина глаголет устами младенца!

И — к Юлии:

— Вы видели стол у Плеханова?

— Я не видела даже Плеханова...

— Неважно! Стол его важнее! Тумбы! Резьба! Палисандр! Ну куда уж тут — в нелегальщину! Нельзя подвергать опасности мебель! Надя! Наша библейская барышня говорит глупости, в которых больше истины, чем во всех пошлых завываниях ликвидаторов! Умница!

Крупская сказала ей как-то:

— Георгий Валентинович нетерпим. Вообразите, он посмел сказать, что Володе чуждо чувство смешного... Мне кажется, я никогда не встречала столь остроумного человека, как Владимир Ильич!

— А может быть, Плеханов просто брюзга? — спросила Юлия.

— Пожалуй, вы правы... Но дело не в личных качествах! Дело в организации, которая устала от пустых стычек! Георгий Валентинович выразился в таком роде, будто Володя не выносит, когда препятствуют его «нраву». Так и сказал — нраву, как о каком-нибудь купце Островского! Согласитесь — это уже личности!..

19

Юлия вышла на балкон и увидела слева дворец Любомирских, похожий на сундучок. Зеленая крыша его поблескивала влагой. Дожди то сыпали, то кончались. Было и душно, и прохладно, как бывает в Кракове уютной октябрьской осенью. Поблескивали камни мостовой и плиты тротуара. Стена сада Любомирских на той стороне улицы цвела у земли мохом, зелененьким и сырым, а за стеною маслянисто отсвечивали желтые и красные листья парка.

За сундучком высилась над Ружицкой матовая, черноватая, будто вырезанная из ржавого железа брама кармелитского монастыря. За брамою тоже маслилась осенняя зелень. Там было кладбище, цментаж, Юлия уже знала расположение этого предместья, которое почему-то называлось Веселое.

Все это находилось рядом, было влажным, прохладным, осязаемым. А сразу за любомирским парком деревья пропадали и начинались неясные поля. Они уплывали на север, в Россию, в небытие, растворяясь и смешиваясь с сырым туманом.

...Зиновьев нес зонтик как флаг — значительно и гордо. Товарищ Григорий почему-то всегда смешил ее. Ей казалось, что он неумен. Почему именно с ним Ульянов был так короток, она не понимала. Ульянов как бы отстранял всех невидимым жестом ладошки на приличное расстояние. А с этим он был подчеркнуто накоротке. Ульянов вообще враз пристегивал прозвища, не очень лестные и весьма точные. Каменева он называл «незрелым лимоном», тот не разговаривал — рассуждал, и рассуждал логично, вязко, как бы вызывая оскомину.

Зиновьев был просто Гришкой. Волосы на нем торчали густо, как на швабре, глаза тлели странным нетерпением, и губы он тоже облизывал нетерпеливо. Он был моложе Ульянова и, может быть, даже намного. Ульянов по-своему выделял его из всех, вызывая насмешливую почтительность к «швабре», к «медузе», к «коровьему блину» и к «ясной головушке». Зиновьев не обижался. Он заявлял: «Владимир, вы не правы» или «Владимир, у Маркса этого нет» — и оглядывался: каково? Ульянов позволял ему эти вольности. Он, видимо, ценил товарища Григория. Во всяком случае, Юлия видела несколько раз, как они сиживали вдвоем за Любомирским парком на малом лугу, на поваленном давным-давно дубе. Ульянов, привалясь спиною к широкому суку и сунув большие пальцы за проймы жилета, слушал, выставив бородку, слушал, сощурясь, будто выискивал ухом тонкий комариный писк, слушал, едва наклонив к плечу розовую голову и катая мышцы под щеками вчерашнего бритья. А Зиновьев, придвинувшись вплотную, почти упираясь своей шваброй в ульяновскую жилетку, говорил, глядя исподлобья, говорил складно, негромко, как завораживал.

В такие разговоры Ульянов не пускал никого. Однажды Юлия сунулась было. Ульянов дернул головою, сказал железно: «Занят!» — и даже не глянул на нее, будто ее и не было...

— Я забыла вас предупредить,— сказала ей Крупская,— если Владимир Ильич занимается с товарищем Григорием, не тревожьте.

Сейчас Зиновьев ждал Ульянова внизу — они торопились на вокзал получить почту.

На шее Зиновьева в тесном белом воротничке красовался шнурочек, вывязанный бантиком. Юлия улыбнулась, сказала с балкона:

— Как вы элегантны, Григорий Евсеевич!

Зиновьев облизнул губы.

— Не болтайте! Скоро поезд, мы опаздываем!

Юлия ушла с балкона.

Увидав в прихожей Ульянова в жилетке и тоже с зонтиком в руке, Юлия прыснула. Он о чем-то думал и в рассеянности держал зонтик, как трость. Мир не существовал для него.

Неужели Авенариус был прав: существовать — значит восприниматься субъектом? Впрочем, он мгновенно пришел в себя и впился в нее узкими глазами.

— О чем вы?

Юлия вспыхнула:

— Извините, Владимир Ильич, товарищ Григорий...

— О чем вы? — жестко спросил Ульянов.

— Я вспомнила,— начала Юлия, не смея назвать Авенариуса и мучительно подыскивая ответ.

— Ну? — подобрел Ульянов.— Что вы вспомнили?

В голове у нее вертелось:

А то панька камизелька,
А то панька парасолька...

Она соврала:

- Это к вам не имеет отношения...

— Разумеется! Но все-таки?

— Я почему-то вспомнила одну шансонетку.

Он улыбнулся отечески.

— Вы ходите по кабакам. Это — неприлично ни для девицы, ни для революционерки... Впрочем... Какую шансонетку вы вспомнили?

— Ну хорошо,— потупилась Юлия,— пойдемте на балкон.

Ульянов, пожав плечом, вышел за нею, увидел Зиновьева с пиджаком через руку, с красным шнурочком вместо галстука. Победное выражение его толстоватого лица, немного проваленного под скулами, рассмешило Ульянова.

— Так какая же шансонетка?

Юлия взяла у Ульянова зонтик, распустила и, вертя над собою, пропела:

А то панька камизелька,
А то панька парасолька!

— Каменев со своим зонтом смешнее! Вы видели, как он с ним ходит? Как на баррикаду! Григорий! Эта дама изволит шутить над вашим нарядом.

Зиновьев отозвался раздраженно:

— У нас нет времени!

20

Павел Кордин опоздал на похороны отца.

Он сидел в кабинете Берга в черном кожаном кресле возле черного, с гнутыми ножками, изукрашенного вдавленным перламутром столика. Деревянная коробка с папиросами и спички находились на столике и лежал кусок бутовой породы с углублением, затертым пеплом.

На письменном столе горела свеча в тяжелом, обвитом литыми медными листьями шандале. Шандал этот давно-давно отливал отец, показывая Павлу Кордину, еще мальчику, что такое литье...

— Мы потеряли деятельного и умного сотрудника,— сказал Берг,— уверяю вас, Павел Михайлович, для меня это — потеря друга... Судьба не пощадила нас...

Павел Кордин верил — Берг искренне огорчен этой смертью.

И эта искренность теплила его сердце. Там в домике осталось все, как было при отце — и Пелагея Ивановна и Елизарий Степанович. Пелагея плакала, Елизарий по-пьяному сопел, утирая глаза и усы. И именно это несло в себе дикое, нелепое подтверждение плохо осознаваемого несчастья.

— Могу ли я спросить о Наталье Александровне? — спросил Павел Кордин.— Здорова ли она?

Берг не ответил, встал, подошел к двери на веранду. Дверь была залеплена по краю бумажной лентой. Между рамами окон помещалась вата и стояли синие стаканчики с солью.

Тающий на лету робкий южный снежок оседал за окнами на перилах. Серый декабрьский полдень смывал все, что было за верандой, будто не было там уже ничего.

Из камина, приспособленного для каменного угля, потягивало серой — должно быть, забились колосники.

Берг посмотрел на камин:

— Не горит... Скажите, Павел Михайлович, известны ли вам политические увлечения моей старшей дочери?

— С ней что-нибудь случилось?

Берг обернулся:

— Вообразите, она — бежала! С Лидией Николаевной... И почему-то в Краков...

— В Краков? — удивился Павел Кордин и встал.

— Они собирались в Италию... Но, как видите, не доехали даже до Вены... Весьма странный маршрут... Это что — конспирация?

— Семен Аркадьевич, я знаю, что Лидия Николаевна интересовалась Краковской Спуйней...

Берг искоса глянул на него, шевельнул усами, сделал вид, будто его не так уж и занимают сведения о Лидии Николаевне.

— Садитесь, Павел Михайлович... Курите... Превосходный трапезунд...

Павел Кордин сел, взял из открытой деревянной коробки толстую папиросу, зажег спичку, папироса пыхнула пряным дымком. Берг не садился. Павел Кордин курил, дожидаясь вопросов. Берг подошел к письменному столу, открыл сигарный ящичек, вынул остриженную сигару. Павел Кордин хотел было поднести спичку, но Берг жестом усадил его, поднял шандал, стал раскуривать от свечи. Раскурил, пустил дым, поставил подсвечник.

— Друг мой,— сказал Берг.— Возможно, вам что-нибудь известно... По крайней мере, подробнее, чем мне...

Берг сел перед Павлом Кординым на кожаный пуф.

— Что она собирается делать? — Бергу был труден просительный тон.— Не желает ли она бросить бомбу в новый автомобиль господина губернатора?

— Семен Аркадьевич, бомбы бросают социалисты-революционеры... А не социал-демократы...

— Разве? Вот не думал! Чем же занимаются социал-демократы? Ах да, я где-то читал. Они грабят банки! Моя дочь хочет ограбить банк?

Берг улыбнулся спокойно, как хозяин, для которого нет препятствий. Улыбка эта смущала и неприятно коробила Павла Кордина. Всемогущий Берг пытался шутить, и было непонятно, как он воспринимает его слова.

— В Кракове,— сказал Павел Кордин,— весьма обширная русская колония... Мне кажется, социал-демократы в последнее время тяготеют к Галиции... А Лидия Николаевна — социал-демократка... Насколько я понял...

Берг слушал внимательно.

— Вы сказали о какой-то Спуйне. Что это? — спросил он.

— Организация помощи политическим узникам... Я думаю, это что-то вроде первой степени посвящения...

— Какова же вторая? — поднял брови Берг.

— Вторая, мне кажется,— польская социал-демократическая партия...

— Так что же, моя дочь решила посвятить себя польскому вопросу?

— Возможно, но скорее все-таки эрэсдэрпэ...

— Что это за несказань? — поморщился Берг.

— Это Российская социал-демократическая рабочая партия.

— Ну и что? Она желает главенствовать в этой партии?

— В этой партии несколько лидеров,— сказал Павел Кордин,— но наиболее популярен, мне кажется, Ульянов.

Берг напряг память.

— Ульянов? Ульянов... Эта фамилия мне известна из моей молодости... Он был повешен... Не так ли?

— Это его брат...

— Да-да... Бедняга... Он занимался химией и пиротехникой! Говорили, это была потеря для России... Но — позвольте, Павел Михайлович! Я вспоминаю — с ним были поляки! Какой-то Пилсудский! Я запомнил эту фамилию — у нас был инженер с такой фамилией... Так это что? Снова — Польша?

— В какой-то мере... Но я полагаю, Ульянов сейчас один из наиболее крупных, именно русских социал-демократов. Его имя теперь Ильин или Ленин.

— Ленин — это имя я слышал! Стало быть, он мстит за брата? Не смею осуждать! Но он уже, наверно, не молод? Чем же он добывает средства к существованию?

— Ленин пишет в газетах этой партии.

— Он — писатель? — приподнял брови Берг.

— Он философ.

Отношение Берга к бегству дочери как к очередной выходке было неприятно Павлу Кордину. Берг совершенно не понимал, о чем говорит.

— Философ? И какого же толка? Где можно прочесть его мысли?

— Если хотите,— смутился этим внезапным интересом Павел Кордин,— я принесу вам его книгу. Она называется «Материализм и эмпириокритицизм»...

— Нет-нет-нет! — замахал погасшей сигарой Берг.— Это уж слишком... Как, вы сказали, называется эта книга?

— Материализм и эмпириокритицизм.

— Да? — недоверчиво спросил Берг.— И это,— он неопределенно пошевелил пальцами, не решаясь повторить мудреное название,— и это, разумеется, написано для рабочих?

Весьма странная партия... Скажите, мой друг, не состоите ли вы в ней? Вы так легко произносите...

— Семен Аркадьевич, я не состою в этой партии. Я не состою ни в какой партии.

— Ну это вы — напрасно! — снова вернулся к оставленному на миг снисходительному тону Берг.— В ваши годы непременно нужно быть каким-нибудь масоном! Ну — Бог с вами... Так как же быть с господином Лениным? Вы знакомы с ним?

— Я видел его в Париже и говорил с ним об этой его брошюре.

— И вы, разумеется, польстили автору?

— Мне показалось, он равно нетерпим... К возражениям, к лести, все равно... Сейчас в этой партии раскол... Часть ее — наиболее умеренная — высказывается за легальную партию, другая же часть — непримирима...

— И, разумеется, мои дочь тяготеет, так сказать, к Робеспьеру? Это делает мне честь!

Павел Кордин с трудом сдерживал раздражение.

— Постойте-постойте-постойте! — продолжал Берг.— Эти господа в Думе — они и есть... Как вы сказали? Материализм и... и...

— Эмпириокритицизм...

— Вот именно! В Думе они говорнт проще... Впрочем, как знать, что у них на уме? Итак, мой друг, где же обитает этот новый Лаэрт?.. Впрочем, Лаэрт, кажется, мстил за сестру, не так ли?

— Семен Аркадьевич,— старался говорить спокойно Павел Кордин,— вы, вероятно, недостаточно представляете себе, что это такое...

— Возможно. Но Лидия Николаевна схвачена в Варшаве. А Юлия Семеновна, насколько я знаю, находится в Кракове. Скажите, нельзя ли переместить этих непримиримых в Ниццу или, допустим, в Париж?

— Я найду ее,— сказал Павел Кордин, не отвечая на вопрос.

— Но ваши занятия? — вопросительно посмотрел на него Берг, и в глазах его Павел Кордин увидел наконец острое нетерпение, тщательно скрываемое снисходительной сдержанностью.

Тринадцатый год

21

Адамский торчал над толпою, синя очароаанными синими глазами. Учтивые краковские носильщики двигались осторожно и легко, обвешанные саквояжами, вализками, шляпными коробками.

Поезд, не привезя ничего существенного, все еще отдувался.

Адамскому нравилась толпа. О пропитании размышлял Павел. Богатые гости не баловали старый Краков. Сюда не ездили тратить деньги. И наниматься в шефы было не к кому.

И вдруг Пааел Кордин увидел в толпе человека, который мог представить интерес для фирмы «Адамский и компания».

Приезжий был невелик, если бы не борода и усы, свидетельствующие о зрелом возрасте,— совсем отрок. Одет он был в черную пару и клетчатый палетот с крылаткой. Сойдя на перрон, он осмотрелся — где выход — и пошел с толпою, слегка ковыляя, но не от тяжести баульчика, который и на вид был не тяжел, а от походки, от легкой косолапости.

Приезжий не обратил бы на себя внимание Павла Кордина, если бы не явно кавказский вид. Павел Кордин не сомневался, что это перезрелый сын горского князн, прибывший в Европу проматывать отцово наследство. Павел Кордин представлнл себе это наследство в виде выручки от продажи овечьей шерсти или кислого кавказского вина.

— Это какой-нибудь тифлисский курфюрст,— пояснил Павел Кордин Адамскому.— Он, наверно, заблудился и приехал не в Париж, а в Вену, которая оказалась Краковом.

Павел Кордин направился к приезжему.

— Князь,— сказал Павел Кордин, снимая котелок,— покорнейше прошу извинить... Мне кажется, ваша светлость испытыаает затруднение, и я сочту за честь...

Приезжий, не дослушав, брезгливо толкнул его плечом в локоть (выше не дотягивался) и пошел к выходу. Павел Кордин увидал вблизи рыжеватую жесткую бороду и следы оспы на желтом лице, заросшем почти до глаз, до пухлых нижних век.

— Князь,— сказал Павел Кордин,— я позволю себе...

Приезжий остановился, посмотрел на него странным взглядом — сонным и пронзительным. Глаза его были нагловаты, на правом нижнем веке темнела углубленная точечка. Он проговорил глухим нерусским голосом, как в анекдоте яа кавказскую тему:

— Ты кто такой?

— Я студент, ваша светлость... Я знаю три языка и мог бы...

— Много говоришь,— перебил приезжий.— Закажи мне нумер.

— Хорошо, ваша светлость. Я поселю вас в Гранд-отеле, это недалеко... Электрическое освещение, центральное отопление, ванны оборудованы комфортабельно...

Павел Кордин легко цитировал рекламку Гранд-отеля.

Приезжий посмотрел на Павла Кордина, которому доходил едва до груди, и спросил дружелюбно:

— Дураков ищешь?.. Нумер... Без шику... Тут где-нибудь поселишь...

И неожиданно сунул свернутую бумажку:

— Разменяешь...

— Да, ваша светлость... Как прикажете вас записать? Я поселю вас в «Полонии», это рядом — на Баштовой улице... У Плант...

— Гогоберидзе... Князь Гогоберидзе из Кутаиси... Знаешь Кутаис?

Не ожидая ответа, приезжий направился к выходу, и не оборачиваясь, будто Павла Кордина и не было, будто не ему он сунул сейчас новенькую бумажку с портретом Александра Третьего.

На площади курфюрст подошел к извозчику, взобрался в экипаж так, словно это был его собственный экипаж, извозчик обернулся, подумал, еще раз обернулся, и коняга пошла.

Адамский станоаилсн серьезным вмиг, неожиданно, по причине, неизвестной даже ему самому.

Когда они тут же, на двожце, собрались менять русскую четвертную на пененэы старика Франца, Адамский взял новенькую бумажку, похрустел ею и, рассматривая оаальный портрет Александра Третьего, сказал:

— Ты думаешь, он — курфюрст?

Новенький, только что отпечатанный государственный кредитный билет, почему-то смущал Павла Кордина.

— По-моему,— продолжал Адамский, разглядывая разводы на купюре,— он контрабандист. Если власти узнают — его выдадут этому благодушному бородачу.

— Бородач умер,— улыбнулся Павел Кордин,— ты — певежда. Сейчас правит его сын. У него — тоже борода, но — короче.

— Если так пойдет дальше,— предположил Адамский,— следующий ваш правитель побреется... Павел, отдай ему деньги, не связывайся с ним. Уверяю тебя, Павел! В этой истории замешана женщина!

— У тебя во всех историях замешана женщина!

— Слушай, Павел! — вмиг вдохновился Адамский.— Они перевозят настоящие брильянты, выдавая их за фальшивые! Чтоб не платить пшивозоае! Но женщина, которую он потом убьет, выдаст их! Опытный чиновник не смотрит на брильянты, он смотрит в глаза кобеты, которая их носит! В них, в глазах,— истина! Единственная истина, которую женщина не в состоянии скрыть! Вот увидишь — в следующий раз цельник не ошибется! Их схватят, и твой курфюрст отомстит выстрелом в затылок!

— Кому? Цельнику?

— Болван! Этой даме! Он контрабандист! На нем же написано, как на этой бумажке!

— Ты думаешь, она — фальшивая?

Адамский сказал тихо и серьезно:

— В том-то и дело, что — нет. Но она — слишком новая. Он знает, где лежат ноаые пененэы.

Купюру обменяли благополучно. Получили шестьдесят две потрепанных кроны и семьдесят три геллера серебром и медью. Две кроны и шестьдесят центувок Павел Кордин уплатил в Полонии за два дня проживаания в ней князя Гогоберидзе из Кутаиса.

Но князь не появился ни к вечеру, ни вообще...

22

Ульянов смотрел на Кобу со снисходительным удовольстаием, как на маленького.

— Сколько же вы ехали на извозчике, товарищ Коба?

Коба улыбнулся.

— Не больше десяти минут.

— Пешком вы дошли бы за пять... Это близко,— рассмеялся Ульянов,— интересно, как вы договаривались с извозчиком, на каком языке?

Вопрос, по-видимому, был неприятен Кобе. Он ответил резко, без улыбки:

— На русском!

— Вот это — напрасно!— вскинул палец Ульянов.— Это — неконспиративно, дорогой товарищ! Это — язык угнетателей!.. Это — Галиция, батенька, Галиция! Глупо говорить здесь по-русски!

Лицо Кобы потяжелело. Юлия понимала, что Кобе неприятен этот неожиданный выговор. Ульянов ничего не замечал.

— Только жестами! — восклицал Ульянов.— Только жестами!

И тут с Кобой произошло странное изменение. Глаза его были злы, и небольшое его лицо было злым. Но он улыбнулся и сказал мягко:

— Я никогда не устану восхищаться вашей проницательпостью... Казалось бы, кому может прийти в голову этот пустяк? А оказывается, что этот пустяк — совсем не пустяк. Этот пустяк угрожает делу... Спасибо за науку, Владимир Ильич...

— Ну-ну-ну,— отмахнулся Ульянов,— вы — вдумчивый революционер... И на старуху бывает поруха!

И вдруг, когда Коба, казалось бы, признал себя провинившимся, он тихо сказал, сощурясь:

— Владимир Ильич, когда я приехал, ко мне привязался шпик, длинный, как каланча...— Коба усмехнулся.— Я откупился от него... Он нанимался в шефы...

— В шефы? — Ульянов вскочил.— Этого прежде не было! Не хватает еще, чтобы русская полиция пронюхала про наше совещание!.. Вот что — никто не селится в гостиницах, никто! Мы попросим наших дам найти комнаты и рассредоточить товарищей... Библейская барышня! Вы должны обеспечить жилище для троих товарищей!

23

Пенензы рябого курфюрста жгли Адамского. Павлу Кордину доставляло удовольствие шляться с ним по Кракову. Так они очутились на Мариацкой браме, где легендарный трубач каждый час извещал мир, что еще жива Польша... Целую вечность тащились они с корзиной вина наверх по бесконечным ступеням древней лестницы. Цель была одна — выпить поближе к Богу.

Адамский уверял трубача, что они с ним — родственники. Простодушный, нестарый трубач слушал, иногда робко поправляя неточности вдохновенного рассказа об общих фамильных связях, восходящих к какой-то бабке Рузе.

— Не Рузя, проше пана, Бася,— стеснялся трубач.

— А! А я что сказал?! Ее же прозвали Барбарой еще до того, как она вышла замуж!

Павел Кордин видел — трубачу очень хотелось быть родственником такого заметного и — по всему видать — непростого пана. Корзинка с дорогим вином стояла на досках, прикрывавших древний каменный пол.

— Хлопак! — кричал Адамский юному ученику трубача.— Ты знаешь, кто это?

— То ест мистж Вихерек... Пан Ян Вихерек...

— То ест хениуш! — орал Адамский.— И мы обязаны выпить за это!

— Не моге,— вяло отнекивался трубач,— я собьюсь с такта, проше паньство...

— Ты собьешься? Нет! Пан Павел! Пан Яцек собьется с такта! Когда это было, чтобы пан Яцек сбивался с такта? Как пан может говорить эту небылицу при своем ученике? Яцек! Помнишь, когда тебе купили первую трубу? Панове! Я тогда еще ходил под столом во весь рост!

Адамский вытянулся для наглядности, достав рукою рыжую железную стяжку. Это произвело особенное впечатление и на трубача, и на его ученика. Хлопак смотрел на длинного пана завороженно: «Как это он ходил под столом? Что это был за стол?»

— И мне кричат — бездельник! Вуйко Яцек теперь с трубою!

Слезы появились на голубых глазах Адамского. Он вдруг прижал к себе трубача и, неудобно наклонившись к нему, размазывал слезы щекою по его лицу.

— О! То была радость, панове! С тех пор я всегда показывал на браму и гордо говорил: то ест муй вуйко Яцек!

Адамский отступил спиною к окну, глядя мокрыми глазами в усатое лицо трубача.

— Меня били! Били за хвастовство! Но я — сносил! Так как же нам не выпить за это!

Теперь повлажнели темные глаза трубача.

— Разве по малой, проше паньство,— всхлипнул он.

— Ну неужели — по большой? Помнишь, Яцек, как они не давали тебе выпить? Ты хотел всего вот такую капельку! А они тебе не давали! Яцек, кохання!

Адамский сглотнул, сдерживая рыдания. Павел Кордин и сам верил, что Адамский если не родственник, то, по крайней мере, старый знакомец трубача. А между тем Адамский видел трубача впервые.

До следующего хейнала оставалось еще более получаса. Но пан трубач уже выпил свой первый стакан. Должно быть, он никогда прежде не пивал дорогой мадеры.

— Хлопак! — веселился выпитым вуйко Яцек.— Хлебни и ты! Такого вина не держит сам пан Генсеница в Закопане! То ест влошске вино! Сам папеж рымськи пьет это вино, когда отпускает грехи! Нех бенде похвалены Езус Крыстус!

— Навеки векув! — закричал Адамский.— Амен! Один дурень сказал, что вуйко Яцек ничего не умеет играть! Я ударил его! Вот видишь?

Он закатал левый рукав и показал шрам ниже локтя.

— Он ответил мне мечом! Он наточил свой меч на Свента Кшижа у этого криалнки Люциана!

Хлопак с ужасом смотрел на след, вуйко Яцек набычился пьяным негодованием и вдруг, схватив руку Адамского, страстно приложился усами к шраму.

— Езус Марья! Ты хотя бы убил его?

— Хуже! Хуже, чем убил! Я высек его метлой! Помнишь — в Бычице у пани войтовой исчезла метла? Это я изломал ее на этом дураке! Ты бы видел эту метлу! Только Кривой Зоб из Мыслинице вяжет такие метлы!

— Пани войтова? — сморщил лоб трубач.— Стара така пани...

— А цурка?! — впился в него глазами Адамский, опуская рукав.— Ты видел ее цурку?

Пан Яцек рассмеялся облегченно и подмигнул.

Пришло время трубить. Вуйко Яцек взял свой инструмент, пошевелил медные пуговицы на клапанах.

— Сейчас я им всем покажу, как я ничего не умею... Езус Марья...

И, осенив себя небрежным католическим знамением, придавил мундштук под усами.

— Мазурку! — вскрикнул Адамский.

Пан Яцек обернулся, снова подмигнул и затрубил над Главным рынком мазурку...

24

Зиновьев распалялся, рубил воздух круглым кулачком.

— Если партия не добудет средств — застопорится вся ее работа!.. Товарищу Ленину,— старался не смотреть на Ульянова,— придется заниматься черт знает чем — искать средства для существования! Какая уж тут партийная деятельность!

Ульянов сидел, откинувшись на гнутую спинку стула, слушал, сощурясь, наклонив голову к плечу, и терпеливо, выжидательно постукивал пальцами по столику.

Зиновьев набрал воздуха:

— Заработок придется искать где-нибудь в Англии, в Америке, у черта на куличках! Будет потеряна всякая возможность руководства организацией! Поблизости к России — даже в Германии или во Франции — нам не удержаться! Полиция позаботится об этом.

Ульянов наконец усмехнулся:

— Товарищ Григорий... Предмет настолько ясен, что не требует повышенного тона.

— Нет, требует, Владимир Ильич! Требует! Партийная касса пуста, взносы крайне незначительны, деньги бедного Шмита иссякли, Парвусу мы ничего не можем противопоставить, Горький манкирует своими обязанностями перед партией! Надо еще присмотреться к Таратуте! Не слишком ли часто он посещает злачные места!

Ульянов вдруг рассмеялся в три кашля.

— Я предпочитаю тягу к лупанариям тяге к Плеханову...

Смешок этот как будто сбил Зиновьева. Он сказал тихо, даже испуганно:

— Кто оградит нас от необходимости зарабатывать ради существования? Мы еще не развязались как следует с той экспроприацией!

— Не беда,— послышался глухой голос,— не беда... Не развязались с той — свяжемся с новой... Мозг партии будет работать, пока у нее имеются руки...

Юлия узнала голос Кобы.

Мать Крупской Елизавета Васильевна сидела у печи, курила, без интереса разглядывая сплющенными глазами тление длинной египетской папироски.

Значит, вот что главное — им не на что жить! Она не слыхала ни о Шмите, ни о Парвусе, ни об этом — с игрушечной фамилией,— но они, наверно, помогали им. Горький манкирует. Мама говорила — в последнее время он стал плохо писать.

— Надежда Константиновна,— тихо спросила Юлия, покраснев,— сколько нужно денег?

Крупская растерялась:

— Дитя мое... Вы не поняли... Это очень серьезно... Вы — трогательны... Но — забудьте о том, что вы слышали... Это — очень серьезно...

— Вы не доверяете мне?

— Как вы можете так думать?

Значит, им не на что жить! А она с таким легкомыслием тратит деньги на туалеты! На эту суконную юбку с куньим подбоем!

В комнату вошла Злата Зиновьева.

— С Мариацкой брамы играли мазурку. Я сама слышала!

— Наверно, кто-то подпоил трубача? — предположила Елизавета Васильевна.

— Как же можно его подпоить? — возразила Крупская.— Мама, это не так просто... А вы запомнили мотив? Может быть, это вам показалось?

— Почему показалось? Я ведь не глухая! У меня прекрасный слух, и вы это знаете! Послушайте!

Злата охотно напела мотив. Крупская внимательно вслушивалась.

— Это скорее похоже на марш Домбровского, вы не находите?

— Марш Домбровского — тоже мазурка,— удивилась самой себе Злата,— может быть... Это — весьма интересно! Ну-ка проверим!

И запела:

Дал пример нам Бонапарто,
Как добыть победу!

— Похоже,— обрадовалась она,— похоже! Я только теперь поняла! Может быть, это была сознательная акция польских товарищей? — Глаза Златы даже расширились от догадки.— А что вы думаете?! Это вполне на них похоже! Нужно узнать все поточнее...— И повторила уаеренно: — Товарищи! Сейчас с Мариацкого костела трубили польский марш!..

25

Поиски прекрасной дамы вдохновляли Адамского. Он весьма сожалел, что дама эта — не иголка в сене. Русские эмигранты селились за железной дорогой, в Веселом, об этом знали все, кто хотел знать.

Беглянка была обнаружена возле черной брамы Кармелитского монастыря.

Было холодно. Моросил мокрый снежок. Юлия быстро шла в обществе нескольких вполне респектабельных господ.

Адамский строил великие планы похищения и бегства. Бежать надо было через Татры, непременно в Италию и там, разумеется, открыть театр. Павел Кордин не возражал ни против похищения, ни против Татр, ни против театра. Он только просил Адамского не лезть не в свое дело.

Павел Кордин писал Бергу:

«Милостивый государь Семенъ Аркадьевичъ! Я испытываю особенное удовольстаіе сообщить Вашему Превосходительству о томъ, что разыскать бѣглянку не составило труда. Щадя ея деликатность и относясь с глубокимъ почтеніемъ къ ея порыву, я все же счелъ нелишнимъ установить надъ нею незримую опеку, дабы уберечь от обстоятельствъ, могущихъ причинить ей вредъ. Увѣряю Васъ, Семенъ Аркадьеаичъ, она в полной безопасности. Надѣюсь, все это ей скоро наскучитъ, и она в здрааіи и благополучіи вернется въ отчий домъ. Если мнѣ будетъ оказана честь, Ваше Преаосходительство, благоволитѣ писать ко мнѣ въ Кракоа, poste restante. По моему разумѣнью, тревожить письмами Юлію Семеновну не слѣдуетъ, поскольку она пораала с классомъ, къ коему Ваше Преаосходительство имѣетъ несчастье принадлежать. Люди, ея окружающіе, опасны в Россіи, здесь же полиція смотритъ на них сквозь пальцы. Не треаожьтесь, Семенъ Аркадьевичъ. Искренне Ваш Павелъ Кординъ».

26

— Пане Романе? — обольстительно заворковала хозяйка, стукнуа по закрытой белой двери костяшками пальцеа.— До пана, проше пана.

Малиновский открыл даерь, увидел Юлию и пробормотал:

— Прошу... Прошу прощения...

Хозяйка задержалась, оценила гостью и, понимающе глянуа в нетвердые глаза постояльца, нехотя удалилась. Выходя, она обернулась и тихо притаорила за собой дверь.

— Доброе утро, Роман Вацлавович,— сказала Юлия и прошла в комнату. Шаркая туфлями, надетыми на огромные нечеловеческие ступни, Малиновский прошел аслед, плотно закрывая дверь.

Комната была маленькая, меблироаанная. Два венских стула возле комода и многозначительный балдахин, в котором помещалась кровать под сетчатым с нашитыми цветами покрывалом.

Юлия стояла в шубке, сунув руки в муфту.

— Это какой мех? — вяло спросил Малиноаский, протягиаая к муфте длинный несуразный палец.

— Это куница,— сказала Юлия.— Старик просит собраться не в двенадцать, а в два. Скажите Муранову.

— В два? — переспросил Малиновский, гладя муфту.— Почему в два? Зачем в даа?

Юлия ясно посмотрела ему в глаза.

— Затем, что а два.

Малиновский положил ей на плечи ладони.

— Почему это в даа?

Она смотрела на его неподвижное бесстрастное лицо. В небольших неясных глазах появилось вороватое оживление.

— Роман Вацлавович,— ясно улыбнулась Юлия,— вы что, нездоровы?

— Почему это — нездоров? — тихо спросил Малиновский, не отнимая рук.

— Ах да! — стряхнула она его руки и рассмеялась.— Поняла! Это вы ухаживаете?

— А вы не ухаживаете? — еще тише спросил Малиновский, обхватил ее руками и клюнул в шляпку.— Давайте поухаживаем...

И опрокинул ее на кровать. Кровать скрипнула.

Юлия смеялась, не вынимая рук из муфты. Малиновский, принимая ее смех как поддержку, полез задирать юбку, отороченную полоской меха.

Юлия с силою вытащила из муфты теплый маленький маузер.

Малиновский догадался, чем она тычет ему в живот, обмяк и поспешно сполз с нее.

— Вы измяли мой туалет,— сказала Юлия, поднимаясь.

Малиновский стоял перед нею удивленно и испуганно. Кивнув на пистолет, он спросил:

— Номер один?

Юлия встала на ноги. Тяжелая юбка с оторочкой опустилась сама собой.

— Послушайте,— сказала она, пряча руку с пистолетом в муфту,— совещание в два. Когда-нибудь вас повесят, господин депутат, потому что вы — прохвост.

— Я не прохвост,— Малиновский повысил голос,— если хотите знать, я плевать хотел на ваши цирлих-манирлих! А вы — барыня!

— Так вот, запомните, господин депутат, что я — барыня,— холодно перебила Юлия,— а вы — холоп. И останетесь холопом, пока вас не повесят на воротах за конокрадство!

Она толкнула плечом незапертую дверь.

Пани хозяйка отскочила от дверей, ойкнув:

— Матка боска!

Юлия посмотрела на нее участливо.

— Нех пани возьме цось зимне до чола...[1]

— Дзенькуе бардзо,— пробормотала пани хозяйка, держась за лоб...

Юлия бежала по плиточному тротуару, на который налипал ленивый краковский снежок, налипал мокро, стаивая к аккуратным неглубоким канавкам.

Что это было? Почему она была так покойна и холодна? Что это было? Наверно, это и есть насилие. Юлия вспыхнула изнутри, как взорвалась горячим омерзением. Он хотел ее изнасиловать! Но ей было смешно и ни капельки не страшно! И не стыдно! Было гадко — и все. Малиновский не испугал ее, не взволновал, не унизил — он был ничем, он был просто неудобством, которое следовало устранить. Конечно, она не стреляла и не выстрелила бы, но а том-то и состоял эффект обладания оружием, что оно действовало само собою, одним саоим видом, оно опьяняло того, кто держит его, и повергало в прах того, на кого нацелено. Оружие было сильнее приказания, могущество его казалось мистическим, всесокрушающим.

27

— Вам он понравился? — спросила Крупская, глядя, как Юлия стаскивает перчатки.

— Я не понимаю, что а нем нашел Владимир Ильич,— пожала она плечами.

— Вы ошибаетесь, милая Юдифь. Он сумрачен и неприятен на вид, но Володя очень высоко ценит его...

— Возможно, Роман Вацлавович не успел проявить при мне те качества, за которые его ценит Владимир Ильич,— улыбнулась Юлия,— но зато успел проявить другие.

Она удивлялась слоаам, которые произносила. Слова эти звучали сами собою, не отражая ничего, да и не могли ничего отразить. Она гоаорила легко, как забавлялась.

— Вот видите,— оживилась Крупская.

— Он повалил меня на кровать,— спокойно продолжила Юлия, приглаживая волосы перед маленьким круглым зеркалом.

Крупская вспыхнула.

— Что вы такое говорите? — спросила она и смущенно потрогала ладонями свои, вмиг вспыхнувшие щеки.— Может быть, случайно?

— Я думаю, что — случайно,— беспощадно улыбнулась Юлия,— то же самое он, вероятно, сделал бы с другой женщиной, если бы не подвернулась я.

Краснота схлынула со щек Крупской. Она подошла ближе.

— Я вам верю, дитя мое... Но, может быть, вы дали ему повод?

— Разумеется! — отвернулась от зеркала Юлия, чувствуя, что горло ее першит

[1] Пусть пани приложит что-нибудь холодное ко лбу *(польск.)*.

мстительной радостью.— Я сказала ему, что совещание назначается на два часа. Какой мужчина устоит перед таким поводом?

Крупская примирительно улыбнулась:

— Конечно, манеры его ужасны... Но вы так прекрасны... Маркс говорил... Ну, в общем... Сама красота женщины дает повод... Ну, как вам сказать? К несдержанности мужчины...

— Так и говорил?

Крупская смутилась:

— Он сказал крепче... Но — разумеется, к вам это не относится...

— Не понимаю! Я недостаточно хороша или Роман Вацлавович недостаточно сдержан? — Она уже дразнила.

— Дитя мое, вы шутите, и это вам очень идет.

И вдруг Юлии стало жаль Крупскую.

— Надежда Константиновна,— сказала она,— по-моему, он сукин сын. Вы не находите?

— Помилуйте. Нет, Юдифь! Вы должны забыть об этом, я уверена, невольном оскорблении! Он мне самой неприятен... Но мы должны быть выше своих личных ощущений... Мы не станем огорчать Владимира Ильича и ничего ему не скажем...

— О чем?

— Ну об этом... Инциденте... Я надеюсь, он... Вы...

Крупская мелко закачала головой, пытливо вглядываясь в лицо Юлии. Та обняла Крупскую и прижалась щекой к влажной ее щеке.

— Милая моя, добрая Надежда Константиновна!

Неожиданно вошел Ульянов.

— Ах! — всплеснул он руками и беззаботно рассмеялся.— Какой пассаж! Ну-с, беглый сын металлических заводов, вы обошли господ депутатов Государственной думы?

Юлия отпустила Крупскую.

— Да, Владимир Ильич.

— Отлично!

Крупская посмотрела на Юлию выжидательно. Ульянов заметил это:

— Готов биться об заклад — у вас заговор! Ну-с, выкладывайте!

— Нет, нет, Володя,— заторопилась Крупская, умоляюще глядя на Юлию,— просто товарищ Роман показался Юдифи... Как бы тебе сказать... Слишком сумрачным... Да, голубушка?

— Вздор! — как выстрелил Ульянов.— Он просто сдержан, как и полагается революционеру-конспиратору! А вы, милая моя, хотели бы, чтобы он немедленно клюнул на вашу красоту?

— Да,— изображая наивность, опустила ресницы Юлия,— это было бы так приятно...

— А он не клюнул! — ткнул в нее пальцем Ульянов и расхохотался.

Какая-то нехорошая обида обожгла Юлию, но умоляющие глаза Крупской сдержали ее, она тоже попыталась рассмеяться — не получилось. Странно, притворно хохотнула и осеклась: хохоток оказался фальшивым.

— Это за-ме-ча-тель-ный господин,— поднял палец Ульянов и направился было из комнаты, как вдруг круто повернулся на каблучках.

— Малиновский — яркий пример того, что может сделать революционное движение с сознательным пролетарием! Этот человек сотворил сам себя! И вы знаете, милые дамы, его природный ум не самое главное... Нет! Сколько их гибло в пьянстве, в разврате, в каторжном труде — отличных, умных людей из народа! А вот поди ж ты! Они все чаще напоминают о себе! Это — революционный подъем! Рабочий класс все активнее выражает свое самосознание!

Крупская села за стол, не отводя тяжелых глаз от мужа. Юлия тоже присела, потупясь по-монашески. Крупская примирительно погладила ее по плечу.

— Вот видите...

Ульянов откинулся на стул, щурясь на потолок.

— Нам говорят — отсталая Россия, отсталая Россия... Вздор! Многих ли пролетариев, ставших образованными, сознательными революционерами, может назвать Европа?

Он быстро повернул голову к Юлии и заговорщицки зажмурил левый глаз.

— А матушка-Русь? Ась? Пятеро пролетариев — депутаты Думы! И какой Думы! Царской, буржуазно-помещичьей! И — не лезут в карман за словом! И — побивают господ ученых говорунов! И — справляются с господами капиталистами! А? Молодая барышня, что скажете? Погодите, то ли еще будет! Однако где же чай? Скоро пожалуют господа депутаты!

В открытую дверь заглянула Елизавета Васильевна.

Крупская легко, невесомо поплыла из комнаты, оглянувшись на Юлию, которая слушала, опустив голову. Ульянов навалился грудью на стол, прижав к себе руки, и проказливо заглянул в опущенное лицо. Заглянул, убрал отечески с ее лба черные до синевы волосы и спросил, как бы мучаясь вопросом:

— Что же нам делать с красотою в случае победы пролетарской революции? А? Библейская барышня!

— Владимир Ильич,— поднялась Юлия,— я пойду помочь Надежде Константиновне.

— Да, да,— рассеянно кивнул Ульянов,— ступайте! Стойте! Отличная мысль! Мы непременно отпразднуем русский Новый год, а? Непременно! Всей компанией! Вы умеете плясать?

28

За углом, на Арыаньской помещался незаметный кабачок, называемый все же ресторацией. Ресторацию держал молодой задумчивый еврей пан Янкель. Маленькие чиновники из интеллигентных называли его паном Яном, подобно тому пану Яну, который держал на Флорианьской «Яму» — цитадель краковской богемы. Там представлял свои неприличные штучки знаменитый хохэм Бой-Желеньский. Говорят, он сам из евреев, но из тех евреев, которые порвали с законом и кушают трэйф. А как не кушать трэйф, если имеешь дело с комедиантами?

На Любиже, в Веселом, богемы не было. Там жили железнодорожные кондукторы, служащие небогатых заведений и гандлевцы вроде хозяина ресторации. И еще жили вдовы, сдававшие меблирашки всякому люду — кому на время, кому на ночь, а кому и на час-два, сколько потребует чувство.

Жизнь была дешевой, не то что с той стороны колейки, где — сам Краков, с плантами, с богатыми учтивыми отелями, с парижскими лавками на венский лад, с фиакрами на дутых колесах и с появившимися недавно бензиновыми автомобилями «мерседес-лимузин», на которые ходили смотреть.

Пан Янкель плевал на Краков с высокой кармелитской брамы. В его заведении не шумели комедианты и не пили в долг. Он удивлялся, как это пан Михалик сводит концы с концами, имея такую ненадежную клиентуру. Наверно, этот хитрый поляк имеет руку, где нужно и где еврею никогда не иметь.

Сегодня пан Янкель суетился, готовясь к вечеру. Дверь была закрыта, но колокольчик то и дело вздрагивал: пан Янкель не был лишен клиентуры.

— Панове,— прижимал он руку к груди, отказывая своим завсегдатаям,— весьма сожалею, панове... Ресторация закуплена целиком...

— Как?! — удивлялись завсегдатаи.— Пан разорился? Пан продал свое заведение?

— Упаси нас Бог! — ужасался пан Ян.— На сегодняшнюю ночь! Панове, завтра — милости прошу! Завтра я ваш слуга! Как всегда! Как всегда!

Пейсастый лик его тлел испуганной радостью. Ночью в его заведении эти странные люди имеют праздновать своего Сильвестра. Когда молодая дама заказала на вечер ресторацию, пан Янкель смутился и даже ужаснулся:

— Дорогая пани! Общество оказывает бедному еврею небывалую честь! Но я не держу трефного!

Молодая дама смеялась: можно кошерное!

И вот поставлен длинный стол и покрыт длинной скатертью и два длинных блюда с фаршированной щукой уже стоят на столе. Где он взял щуку зимою? А? Где он взял? Взял!

Роман Вацлавович Малиновский был одет в приличный костюм, купленный, несомненно, в Краковской Сукеннице на распродаже. Жесткий воротничок подпирал небольшую костистую голову, Малиновский из-за этого вытягивал шею. В левой глазнице господина депутата торчал монокль на черном шнурке.

Ульянов всплеснул руками:

— Бесподобно!

Малиновский с потугою шевельнул бровями, подставив огромную ладонь,— монокль не выпадал.

— Черт возьми,— вяло пробормотал он и вынул стекло.

Ульянов нетерпеливо протянул руку:

— Дайте-ка!..

Он ловко вставил монокль, будто делал это постоянно, и, сановно набычившись, оглядел сидящих за столом. Шевельнул бровью, поймал стекло, снова вдел, снова выпустил и, задрав голову, расхохотался:

— Каково?

— Вам не идет монокль,— серьезно сказал Зиновьев.

— Вздор! — возразил Ульянов.— Ну-ка вы примерьте!

Зиновьев покачал головою:

— Оставьте. Мне это неприятно.

— Что значит — неприятно? — по-петушиному возразил Ульянов.— А если нужно будет? Кто знает — а вдруг понадобится носить монокли?

— Зачем? — удивилась Крупская.
— Не знаю! — отрезал Ульянов.

Петровский прилежно пристраивал монокль под бровью — стекло не держалось. Петровский, ощерясь, прижимал его щекою, откинув голову на сторону. Доброе лицо Григория Ивановича свирепо перекосилось.

— Я думаю,— серьезно сказал Зиновьев,— никакой Марков не устоит перед вами.

Ульянов вскочил.

— Не так! Смотрите!

Он отобрал у Петровского монокль и снова стал играть им. Новизна занятия подхлестывала его и увлекала. Он вертел головой, монокль послушно сидел на месте и послушно падал в подставленную ладошку. Ульянов гордо выкатил колесом жилетку, откинул полы сюртучка и, уперев руки фертом, даже крутанулся на каблучках, а крутанувшись, уставился через монокль на Зиновьева.

— Ну-с! Товарищ Григорий! Каково? Нет! Вы — не веселый человек!

Лицо его с торчавшей рыжевласой бороденкой было строгим. Привычное лукавство узеньких глаз разрушилось — стекло не только раздвинуло, но непомерно увеличило левое око, сделав его как бы всевидящим.

— Дайте сюда! — ревниво сказал Зиновьев, взял стекло и привычно вставил его в глаз, не пошевелив бровью.

Ульянов удивленно наклонил голову к плечу и полез большими пальцами за проймы жилетки.

Во все время игры Малиновский покорно стоял, подпертый своим воротничком, и безучастно, как городовой, ждал конца забавы.

— Вам не идет! — категорически зачеркнул Зиновьева шустрым указательным пальцем Ульянов.— Благоволите отдать вещь по принадлежности!

Зиновьев невозмутимо выпустил монокль, небрежно поймал его и протянул Малиновскому.

— Возьмите, милейший...

Малиновский подался негнущимся телом вперед, протянул ковшом руку и, принимая стекло, сказал негромко:

— Покорнейше благодарю.

Ульянов одернул его:

— Роман Вацлавович! Вы — барин! Вы не должны так говорить! И непременно научитесь пользоваться этой штукой! Пускай все эти титулованные бездельники поймут наконец, что все их напыщенное пустяковое благородство — это блеф!

Господа депутаты, наблюдавшие забаву, с осуждающим почтением встрепенулись: все-таки Старик шутит-шутит, а дело не забывает. Малиновский спрятал монокль в жилетный карманчик и сел к столу.

— Не прячь! — подзадорил Муранов.— Не прячь! Ты — учись...

Юлия находилась между Бадаевым и Кобой. Бадаев был кругл и незлоблив лицом. Он следил за игрой, как крупный лысеющий ребенок, следил с интересом, но с понятием, что это — игра для взрослых. Бадаев очень хотел примерить стекло, Юлия это понимала.

Кобу не занимала игра. Коба сидел незаметным школяром из реального училища, оказавшимся на вечеринке гимназистов. Это внезапное сравнение заинтересовало Юлию, и она стала отмечать про себя — кто здесь гимназист, а кто реалист. Это было нетрудно. Небольшой, но точный опыт подсказывал безошибочно. Здесь были не только реалисты, здесь были еще и посадские, из тех, кто тянулся к свету образования. Она бывала всего на трех или четырех таких вечеринках (всегда с Лидушей), и первое, что ей бросалось в глаза, была странная, демонстративная дружба, которой снисходили гимназисты к этим парням из народа. Высокомерное заискивание, наигранный восторг нельзя было спрятать, латинские словечки, ввернутые в высокие речи, смущали простых парней.

Вечеринка несла в себе традицию. Гимназисты были староваты, но классическое высокомерие, воспитанное в них еще в те времена, когда на юных личиках едва пробивались усы,— оставалось навсегда. Оно проявлялось во всем — и в стремлении первенствовать друг перед другом, и в чрезмерной внимательности ко всем остальным. Юлия понимала это, ей казалось, что господа депутаты почитают Зиновьева, не говоря уже о Старике, еще и потому, что они, разумеется, старые гимназисты. Во всяком случае, господа депутаты вдоволь посмеялись над своим Малиновским, который не умел пользоваться моноклем, и приняли как должное уменье Старика и товарища Григория.

Но, странное дело, русский Бебель не казался ей теперь гадким. Она даже положила себе вызвать его на вальс, если будут танцы.

Коба сидел тихо. Она уже знала, что он и Константин, в Силин, и Сталин — псевдонимы его были наивны в своей значительности. Поворачиваясь к Кобе, она видела его лицо со следами оспы; ей казалось, что лицо его бледно, как у Надсона. Небольшие глаза Кобы, спрятанные в мешочках век, не излучали поэтического вдохновения. Юлия с удивлением заметила, что глаза эти не имеют бликов, как плохо нарисованные бурой

краской. Усы у Кобы были тоже буроватые, щетинистые, однако нафабренные — он, вероятно, изображал горского франта, гуляку-князя.

Ульянов говорил, что Коба — превосходный конспиратор. Ульянов ценил Кобу, и она понимала за что. Переписывая статейки «К. С.» или «К. Силин» для «Социал-демократа», она ясно увидела, что этот «К. С.» старается подражать неистовым ульяновским смерчеобразным статьям.

Ульянов писал, торопясь выложить вулканическое нагромождение мыслей. Он брызгал кавычками, скобками, восклицательными и вопросительными знаками. Вводные предложения с гиком и свистом догоняли фразу и врезались в нее с налета, расталкивая слова, рассыпая буквы вразрядку, перекашивая их на курсив, заарканивая ее и таща туда, куда она и сама шла, но шла медленнее, чем требовала нетерпеливая ульяновская гонка.

Силин же, или К. С., был чем-то вроде переводчика ульяновской нетерпимости. Он переводил ульяновское громогласие на какой-то не совсем русский, но зато очень понятный язык ограниченного упрямца. И, странное дело, это ей нравилось. Так, должно быть, писал евангелист, выбирая основные положения проповедей своего патрона.

Но Коба занимал ее еще и тем, что все они — и Ульянов, и Григорий, и дамы — относились к нему со знакомым Юлии снисхождением. Конечно, он был не Надсон. Он был Челкаш! Юлия обрадовалась, найдя сравнение. Конечно, Челкаш! Но Челкаш невыдуманный, настоящий, достоверный, живой. Потому что можно ли сравнить бессмысленные проделки литературного Челкаша с продуманными эксами Кобы? Как он это делает? Может ли кто-нибудь из этих благообразных конспираторов прыгнуть, налететь, выстрелить, бежать? Разумеется, нет! И их снисходительный восторг подкрепляется еще и тем, что посадский парень, смело исполняющий непростые конспиративные поручения, лишенный интеллигентской завиральности и теоретических претензий,— что делает его особенно надежным для партийной практики в массах,— ко всему еще и — инородец! Инородец образованный, смелый, избавивший себя от предрассудков, вполне приличный самоучка-марксист!

Таинственный Силин.

И вот таинственный Силин сидит рядом. Он сидит молча, как случайный гость, как прохожий, попавший не в тот дом, в какой шел. Он сидит так, как будто никого из этих людей не знает и меньше всего — Старика; как будто не он его евангелист, как будто не он писал наказ этим людям — как им быть в Государственной думе, как будто не он — экспроприатор экспроприаторов, как будто не с ним связана у них надежда добыть средства, так необходимые для борьбы...

Коба сидел молча. Молча пил светлое мозельское винцо, и нельзя было понять — нравится оно ему или не нравится. Юлии казалось, что и пьет он не за себя, а за кого-то другого, кто ему это поручил.

Три дня она пыталась с ним заговорить и три дня не знала, как это сделать. Он был для нее загадочно-чужим и потому так томительно приковывал ее своей загадочностью.

Ульянов поднял над сверкающей головой стопку старки, как факел. В щелках глаз его горели крошечные, но ослепительные блики.

— Господа депутаты! — раскраснелся Ульянов.— Мы не можем знать, когда история, эта продажная куртизанка, благоволит открыть нам двери своего будуара! По этой причине мы обойдемся без нее! Мы вырастим свою историю, новую, прекрасную, свободную от грязи и мерзостей прошлого! Каждый новый год приближает нас к той эпохе, когда не господа депутаты буржуазно-помещичьей Думы, а граждане депутаты Революционного Конвента провозгласят свободу, равенство и братство избавленных от угнетения пролетариев! Но для этого мы должны с четкостью проводить строгую линию, разделяющую классы, архи-четкую линию, подчеркивающую классового врага, делающую его мишенью пролетариата! Виват!

Он нетерпеливо опрокинул в себя стопку и показал ее всем, повернув кверху донышком.

— Новый год! Новый год! — Все поднялись над столом.

Коба тоже поднялся.

Юлия решилась:

— А каково ваше отношение к врагу, товарищ Коба?

Он будто ждал, когда она заговорит, отпил из рюмки, сел и, не глядя на нее, сказал:

— Отношение к врагу? Это очень красиво сказано, дорогая товарищ Юдифь... Это как в книжках для гимназистов... Если все время думать об отношении к врагу — некогда относиться...

Голос его был ровный, тихий, располагающий к разговору. Юлия, подбодренная не то вином, не то тем, что он назвал ее по имени, спросила, тряхнув головою:

— Но у вас есть враги?

— У меня один враг,— сонно ответил он,— царизм...

— Ну, это слишком обще,— не унималась Юлия,— а впрочем, что бы вы сделали с царем, если бы он попал к вам в руки?

Он наконец повернулся к ней, удивленно шевельнув бровью.

— Вы ставите меня в трудное положение... А вы что бы сделали?
— Не знаю,— так же удивленно ответила она.
— Поэтому,— негромко сказал он,— не нужно брать на себя так много... Сразу вам — царь... Нужно доверять и другим товарищам, которые лучше нас с вами знают, что и с кем делать... Я полагаю, среди революционеров найдутся и специалисты — как быть с царем...
Он не сделал ни единого движения, но она отчетливо поняла, что слова его относятся к той части стола, где находились Петровский, Крупская, Зиновьев и Ульянов. Она оценила его скромность и решилась сама, по праву дамы:
— Товарищ Григорий! Что бы вы сделали с царем, если бы он попал к вам в руки?
Злата удивленно посмотрела на нее, должно быть, вопрос показался ей неуместным, но Зиновьев ответил совершенно серьезно и резко:
— Я бы его расстрелял!
Ульянов расхохотался.
— Можно подумать, вы ему проиграли на бильярде, товарищ Григорий! Бедный Николай Романов!
— А вы бы что сделали? — отпарировал Зиновьев.
За столом все зашумели.
— Ничего смешного не вижу,— тихо сказал Коба Юлии, не глядя на нее. Но Ульянов, должно быть, услышал.
— Дорогой Коба! — отечески подстрекнул Ульянов.— А вы бы что сделали с коронованным беднягой?
Коба невесело посмотрел в хитрющие ульяновские щелки, как бы отыскивая ответ.
— Это не так просто — выстрелить в человека,— сказал он с великой почтительностью.— Тем более в царя...
— Почему же — тем более? — снисходительно спросил Зиновьев.
— Да! — поддержал Ульянов.— Почему — тем более?
Юлии показалось, что Коба смутился.
— Надо представлять себе, что такое царь...
— И вы — представляете? — высоко поднял брови Зиновьев.
— Я представляю,— просто ответил Коба.— Поэтому я целюсь в царизм. А царь — сам упадет, когда царизм рухнет...
— Прекрасно! — взмахнул руками Ульянов.— Не царь, а царизм! Русский человек не решится выстрелить в царя, если он не хлюпик-интеллигент, впавший в анархистскую истерику! Но разрушить царизм он решится! Прекрасно! Какой-то мудрец заметил, что царь — это игрушка, в которую играют его подданные. Наше дело — разучить Россию играть в эту мерзкую затянувшуюся игру! А вы, товарищ Григорий... Я не знал, что вы так жестоки! Стрелять в человека, даже если он царь?..
И весело откинулся на спинку венского стула.
Юлия была ошеломлена. В царя ведь хотел стрелять его бедный брат! Мама произносила имя этого юноши с благоговением, наряду с теми великомучениками, которые были схвачены когда-то на Екатерининском канале.
Она видела в этом Ульянове мстителя за того юношу, который предпочел смерть бесчестью. Так неужели же это просто — анархическая истерика?
Смех Ульянова подогрел застольную смелость. Бадаев встал и шутовским голосом затянул:

Боже, царя храни,
Сильный державный...

— Но, но, но,— брезгливо поморщился Зиновьев,— это вы — в Думе, в Думе...
Ульянов перебил его:
— Я понимаю Бадаева: у нас нет музыки, а дамы хотят плясать...
Бадаев расплылся готовностью, достал гребенку и, обернув ее клочком газеты, стал зудеть непонятный мотив.
— Это вальс,— пояснил он, отведя гребенку от губ.

Ззу, ззу, ззу, ззу,
Ззу, ззу, ззу, ззу...

Бадаев зудел на гребенке, подскакивая самому себе в такт и ободряя взглядом всех вокруг — мол — танцуйте, танцуйте!
Однако никто не спешил танцевать, хотя многие покачивались в лад бадаевскому зуду и — смеялись.
— Будет тебе! — закричал Шагов.— Предлагается спич!
— Послушаем, послушаем! — откликнулись дамы, будто спохватившись, что веселье разлаживается.
Бадаев отнял гребешок от губ.
— За милых дам! — встал Шагов. Он был похож на Бадаева, как близнец.
— Наконец-то! — сказала Злата и вдруг, повязав вокруг головы платочек, проговорила с наигранно-постным лицом: — Мой-то все в политику, в политику, в политику, ровно я и не женщина... Откуда дитя взялось — не пойму!..
Рассмеялись.
И вдруг встал Ульянов.
— И все-таки я поддерживаю господина депутата! За наших милых дам!
А Коба сидел рядом с Юлией, никем не замечаемый, и молча ел, запивая вином из большого бокала. Ей казалось, что ему здесь неуютно.
Коба совел от вина, бычился, скучнел, глаза его желтели. Юлия думала, как бы оживить его, развлечь.
— Товарищ Коба! — тихо позвала она.— Мозельское вино, наверно, не похоже на вино вашей родины?
Слова ее прозвучали книжно, не без влияния восточного орнамента. Коба слабо усмехнулся, и она поняла, что вино не утомляет его, он притворяется скучным и нахохлившимся. Она подумала, что Коба держался сторонки на этом пиру, соблюдая благочестивое расстояние нарочито.
— Вино есть вино,— слабо усмехнулся Коба,— дело в привычке... Немецкий крестьянин привык к светлому вину, грузинский крестьянин предпочитает красное...
— А какое все-таки лучше? — обрадовалась разговору Юлия.
— Не знаю,— посмотрел ей в глаза Коба, и она не выдержала желтого взгляда,— не знаю... В Библии сказано, что красный цвет веселее белого.... Кажется, в Псалтыре...
— Вы хорошо знаете Библию,— подняла глаза Юлия.
— Не лучше моих учителей...
Он снова встретился с нею взглядом и оживился:
— Мой учитель, господин Махатадзе, не верил в Бога. Он служил тому, во что не верил... Ко мне он относился хорошо... Иногда мы с ним беседовали... Он пил кипиани — такое жиденькое деревенское вино. Это вино привозили из подвалов князей Кипиани... Они — глупые князья и очень кичливые, но вино у них делают хорошее...
Юлия раскраснелась — загадочный таинственный Силин наконец заговорил.
И чтобы поддержать нечаянно возникший разговор, поспешно сообщила:
— Наш законоучитель отец Тимофей тоже не верил в Бога!
— Он вам говорил об этом? — снова усмехнулся Коба.
— Как же он мог об этом сказать? Разумеется, нет. Но мы знали, что он — не верит! Мы чувствовали!
— Я не обладаю такой проницательностью,— опустил голову Коба,— господин Махатадзе мне прямо сказал, что Бога нет... Я сначала удивился, но потом поверил — Махатадзе не станет понапрасну болтать...
Юлия сбоку посмотрела на его спокойное, без следа усмешки лицо.
— Господин Махатадзе преподавал вам закон Божий?
Коба повернул к ней голову:
— Я учился в духовной семинарии... Вообразите, какой бы из меня вышел поп...
Она рассмеялась и всплеснула руками, но осеклась: на небольшом рябоватом его лице мелькнуло едва заметное предостережение. Она почувствовала, что смех был неуместен, и хотела исправить свою неловкость, но поняла, что этого не следует делать: Коба преобразился, снова осовел, как будто не он только что так охотно говорил с нею о своем безбожнике-учителе. И еще она почувствовала, будто не существует для него, будто ее нет и не было, и даже не может быть.
Это обескуражило Юлию. Она только сейчас поняла, что, находясь возле Кобы в качестве его дамы, она ощущала неосознанное покровительственное удовлетворение от своей роли. Разумеется, смех ее, вызванный тем, что грузин оказался семинаристом, был бестактен, и поделом ей за ее глупую снисходительность, которую она так ненавидела в себе, но с которой так трудно было совладать.
Бадаев снова зудел на гребешке. Мимолетная неловкость за столом исчезла. Муранов тоже взялся за гребешок.
— Танцы! — кричал Ульянов.— Танцы!
Петровский встал и наклонился к Крупской.
— Проше, дрога пани...
Крупская тоже поднялась.
— Окажите честь, пан рыцарь!
Петровский принял даму бережно, на почтительном расстоянии, и так же бережно поворачивал ее под бадаевский зуд. Ульянов закричал:
— Так танцуют церемониальный полонез, а не вальс!
— Нет музыки,— пояснил Петровский,— Надежда Константиновна! Мы спляшем с вами, когда будет музыка, а не Бадаев!
— Чего — музыка? — отнял Бадаев гребешок от губ.— Плясать надо уметь!
Сказал и смутился: Крупская была болезненно бледна.
— Надя,— строго проговорил Ульянов.
— Ах, Володя,— слабо улыбнулась Крупская,— семь бед — один ответ!

— Сядь, Надя... Друзья! Вы не умеете веселиться! Ну-ка, Григорий! Как это делают на еврейской свадьбе?..

— Вот уж я никогда не танцевал на еврейских свадьбах,— удивился Зиновьев, и в удивлении его звучала некоторая обида,— у меня не было для этого времени.

— Напрасно! Лучше бедняков не танцует никто! Дайте музыку! Я покажу, как пляшут бедняки,— заявил Ульянов и вдруг всплеснул руками.— Товарищ Коба!

Несмотря на старые ботинки,
Мы станцуем танец кабардинки!

Покажите им, как это делается!

— Ботинки здесь ни при чем, Владимир Ильич,— спокойно сказал Коба,— музыканты никуда не годятся! С такой музыкой к Богу в рай едут...

Ульянов вскочил.

— Правильно! А нам совершенно необходимо к черту в ад!

— Та-ра-ра-ра, та-рара, та-рарара, та-рарара,— стал прихлопывать в ладоши Шагов.

— Та-рарара, та-рара! — подхватывал Бадаев.

— Прошу паньство,— застенчиво сказал хозяин, который возник неожиданно и, не зная, к кому обратиться, обратился к Зиновьеву,— дорт штейт а ид мит а фидл...

Зиновьев возмущенно вспыхнул — он не любил, когда в нем признавали еврея.

— Что он сказал? — звонко спросил Ульянов.

— Откуда я знаю?

Но Ульянов уже увидел в дверях старого пейсатого еврея со скрипкой в желтой сухой руке. Скрипач был скорбен, будто явился на похороны.

— Музыка! — закричал Ульянов.— Музыка!

Скрипач ступил в душное зальце и меланхолично засунул скрипку под бороду.

— Кабардинку,— немедленно потребовал Шагов.

Скрипач тихо прошевелил губами, спрятанными в неухоженной рыжей с седыми клочьями бороде.

— Невем...

Шагов вскочил.

— Та-та, тар-ра, та-ра-р-ра, та-та, тара-та, тарара-та...

Скрипач безысходно слушал мотив, покачиваясь бородою, лапсердаком, пейсами, и внезапно резанул смычком скрипку. Скрипка взвизгнула по-поросячьи и резаной болью провизжала что-то не то свадебное, не то похоронное, и вдруг сквозь эту боль чужими, не присущими звуками стала выстраиваться эта самая «тара-та-ра-ра-ра» — странный мотив, воспринятый старым ухом и воспроизведенный старой рукой бродячего скрипача.

— Ну? — с восторгом узнал мотив Ульянов.

Коба отодвинул стул, развел руки и, зло сжав зубы, прошелся припадающей походкой, словно пробуя, крепок ли пол. Места было немного, шагов пять в длину и три шага до стенки.

— Живее! — тихо приказал Коба и стал припрыгивать с пятки на носок.— Еще живее!

Скрипач заиграл живее. Он играл только напетые ему звуки, повторяя их раз за разом.

Гребешки появились у Муранова, у Шагова, Малиновский полез в жилетные карманы, вынул монокль, сунул обратно и достал гребешок. Ульянов так и не садился, удивленно вытянувшись через стол.

— Живее! — торопил Коба.— Асса! Асса! Живее!

Ульянов пробрался между стульев поближе, сколько позволяла тесная ресторация, и стал хлопать в такт, сияя детским любопытством.

Коба носился по крошечному кругу, ударяя себя в грудь и отбрасывая руки, он перебирал ногами, обутыми в тяжелые ботинки, мелко, едва заметно, он одновременно и полз, и летел, не касаясь пола.

— Асса! Асса!

— На заборе мушка сидела и такую песенку пела! — кричал Шагов.— Укусила мушка собачку, за больное место, за хвостик!

Ульянов подмигнул Шагову и продолжал отбивать такт.

— Асса! — неистовствовал Коба.— Асса!

Все уже стояли. Зиновьев, высокомерно молчавший, тоже поднялся и стал снисходительно и несильно касаться ладонью ладони.

— В круг! — закричал Ульянов.— В круг!

И тогда Юлия, которая никогда не танцевала таких диких танцев, этих бурных лезгинок и гопаков, ступила к Кобе и, изумившись тем, что — умеет, заплясала перед ним какую-то непонятную ей самой, радостную пляску, в которой дергались руки, ноги, голова — как будто сами по себе знали, как надо дергаться. Коба с размаху падал на колено, вскакивал, ударял себя в грудь, снова падал и вскакивал, и крик его вонзался в пляску бешеным визгом.

— Асса! Асса!

Пан Янкель с пани Янкелевой стояли в дверях своего заведения.

— Гевалт,— с радостным испугом бормотал пан Янкель,— гевалт... Ду зэст вус титцэх?.. Матка боска...

Старый скрипач высекал из струн неясную чужую музыку, похожую, как все бедняцкие музыки, на фрейлехс.

Юлия металась, как в падучей, как во сне, платье ее хлестало по Кобе, она то протягивала Кобе руку, то отдергивала ее, смутно вспоминая, что, кажется, в лезгинках за руки не берутся. Нет, берутся! Коба с какой-то страстной ненавистью в сверкающих желтых глазах схватил ее за пальцы. Рука его была влажной и горячей. Юлия послушно поддалась, и он завертел ее, как в полонезе, визжа свое дикое «асса!».

— В круг! — закричал Ульянов.— В круг!

Злата было шагнула, но Коба неожиданно присек:

— Назад! Не мешать! Асса! Асса!

И все, кто хотел в круг,— остановились, упиваясь его неистовством.

Ульянов не выдержал. Он сунул пальцы в проймы жилета, потом выдернул их, соображая, как начать, и вдруг запрыгал на месте, звонко по-детски крича:

Несмотря на старые ботинки,
Мы станцуем танец кабардинки!

Он схватил Юлию за руку, они с Кобой дергали ее друг от друга, и она металась между ними, сжав зубы и не улыбаясь, а гневаясь прекрасным лицом.

Бледное лицо Крупской вдруг порозовело, задрожало странной улыбкой.

— И я хочу! — закричала она, ступая в тесноту пляски.

— Не надо,— неожиданно тихо и трезво сказал Ульянов, и пляска вмиг остановилась.

Коба с Юлией добирались до своих стульев. Все вокруг кричали...

— Тост! Тост! — шумел Шагов.— Господа! Товарищи! Наполните бокалы!

Юлия не слышала. Ощущение, которое она только что испытала, не было похоже ни на что. Она дрожала, чувствуя неведомую влажную усталость и тревожную радость колотящегося сердца. Коба сидел рядом, спокойный, будто ничего не было, но желтые глаза его жглись жестоким удовлетворением.

— Вы хорошо пляшете, дорогая Юдифь,— сказал Коба, и она улыбнулась, всхлипнув.

— Надо подкрепиться,— сказал Коба и пододвинул к ней тарелку.

А старый еврей, вынув скрипку из-под бороды, смотрел безразличными розовыми глазами на этих людей, которые должны были ему за музыку всего одну крону. И чудилась ему Хасидская пляска. Они не были евреями, эти люди, хотя среди них были евреи. И не были они гоями, хотя среди них были гои. Не были они бедняками, хотя он видел среди них бедняков, и не были они богачами, хоть и видел он среди них богачей. Он знал, что они бежали оттуда, из России, из крулевства, из империи, натворив чего-то такого, за что им нельзя вернуться назад. Если они — газлоним, так почему им так весело, а если они — ганейвим, так почему они пируют на гроши в заведении бедняка Янкеля? Какой еврей празднует рош-гошоно после хануки? А если это — мишиим, то какой гой допустит на свое ликование жида?

— Так вот,— сказал Коба тихо, когда все откричались,— вы изволили спросить, как быть с врагом...

Юлия удивленно посмотрела на него и осеклась.

— Так вот,— продолжал Коба, не замечая ее осечки,— Махатадзе сказал... Чтобы почувствовать врага, сказал Махатадзе, нужно его долго выслеживать... Нужно дать ему возможность уйти, но — недалеко... Нужно ходить за ним по пятам, но чтобы он не видел... Нужно смотреть ему в глаза, говорил Махатадзе, и знать, что он ничего не знает... Нужно даже подавать ему руку, чтобы он раньше времени не сорвался в горный поток... Но однажды, когда он взберется на самую высокую кручу и оступится,— не подать ему руки... И тогда, говорил Махатадзе, нужно прийти домой и медленно выпить полный рог вина. Медленно, говорил Махатадзе. Полный рог красного вина...

— Кипиани? — спросила Юлия побелевшими губами, чувствуя холодок, прошедшийся по еще теплой от пляски спине.

— Нет,— просто сказал Коба,— что-нибудь погуще... Саперави... Или лучше — кинзмараули... В нем есть некая отдаленная сладость... Так говорил Махатадзе...

— Это похоже,— забормотала Юлия,— на старинную горную легенду... На притчу...

— Да,— спокойно и без улыбки согласился Коба,— это очень похоже на притчу... Махатадзе был доморощенный романтик...

Коба посмотрел в ее глаза твердо и испытующе. Юлия выдержала взгляд. Коба слабо усмехнулся, отворачиваясь.

— Но нам, марксистам, ни к чему заниматься пустой романтикой... Мы — не восторженные барышни или глупые джигиты... Мы не выслеживаем врага. У нас нет отдельных врагов, которые — жди, когда оступятся... Наш враг — царизм, и мы не должны ждать, пока у него выскочит из-под ног камешек, мы сами должны выбить из-под него всю почву.

— И тогда мы медленно выпьем полный рог вина? — повеселела Юлия.

— Зачем? — поморщился Коба.— Мы ничего не выпьем. Мы просто обсудим, что нам делать дальше... Вот за это я предлагаю выпить сейчас это скверное немецкое вино...

А старый скрипач не уходил.

Он снова засунул инструмент под бороду, и новая мелодия скрипливо поползла из-под его смычка.

— На этот раз — вальс! — потребовал Шагов.

Еврей кивнул. Вальс Иоганна Штрауса — Венский вальс, мучительно похожий на то, что он играл, но не такой бешеный — медлительный, печальный, как он сам,— потек в маленькой ресторации пана Янкеля.

Муранов подошел к Юлии.

Она легко вскочила — Муранов навис над нею, улыбаясь по-хмельному. Жестковатые волосы его были причесаны тщательно, как у мастерового на пасху. Он напоминал конторщика, воспитавшего в себе склонность к хорошему обращению. Усы Муранова под длинным крупным носом закручены были щегольски, и под нижнею губою обрита была пучком маленькая бородка, как на известном портрете Мопассана. Бородка эта умиляла Юлию. Она протянула было Муранову руку, но вдруг Коба негромко сказал:

— Иди, сядь на место... Надо спрашивать кавалера.

Муранов по-доброму рассмеялся.

— Ты, что ли, кавалер?

— Конечно! Дорогая Юдифь, подтвердите господину депутату, кто ваш кавалер...

— Вы, товарищ Коба! — воскликнула Юлия и послушно опустилась на стул.

— От ворот поворот! — глянул без улыбки Коба на Муранова снизу вверх.— Но чтобы тебе не было обидно — выпей вина...

Коба взял бутылку, в ней еще был мозельвейн, посмотрел сквозь золотистую жидкость на лампочку, висящую под потолком, и налил в свой бокал.

— Выпей, Муранов! Из моего стакана выпей... Узнай мои мысли!

И вдруг тихо рассмеялся.

Муранов принял вино и тоже рассмеялся.

— Не велика загадка!

И — залпом.

— Ну? — спросил не улыбаясь Коба.— Узнал?

Муранов простодушно вытер рот ладонью.

— А как же? От ворот поворот!

— Догадливый,— кивнул головою Коба,— ступай.

Юлии почему-то стало жаль Муранова, но дикая кабардинка, которую она сейчас отплясывала с этим странным Силиным, накладывала на нее особые обязательства. Подсаженная рядом с приезжим конспиратором, Юлия неожиданно оказалась в центре внимания, и все благодаря Кобе, благодаря его выходке — иначе и нельзя было назвать эти дикие визгливые метания, участие в которых она приняла не просто с удовольствием — с наслаждением! Разумеется, он был ее кавалером!

— Товарищ Коба! Я теперь стану плясать только с вами!

— Много мы не спляшем,— посмотрел он ей в глаза,— у нас нет времени... У нас дела поважнее плясок... Но выпить еще разок мы успеем...

Бутылка была пуста, господин депутат выпил остатки мозельвейна. Но на столе торчал нетронутый штофец старой польской вудки. Старку на этом конце стола почему-то не пили.

Юлия выдержала взгляд и подмигнула, кивнув на штофец.

— Какая вы коварная женщина,— покачал головою Коба.

Юлия взяла посудину и примерилась к бокалу, из которого только что пил Муранов.

— Не надо,— поморщился Коба,— не лей вино новое в мехи старые.

Он пододвинул к ней рюмку на тонкой ножке и удовлетворенно ждал, пока она нальет. Юлия пролила на скатерть. Он усмехнулся, взял у нее штофец и аккуратно налил в ее бокал.

— Что вы! — испуганно шепнула Юлия.— Я не смогу столько!

— Сколько сможешь,— усмехался Коба.

Юлия тряхнула головою, покраснела и, чокнувшись с подставленной Кобой рюмкой, хватила большим глотком и задохнулась от неожиданного огня. Она вскинула брови, ловя воздух ртом. Коба тихо рассмеялся.

Адское зелье жгло, туманило голову, отдаляло звуки, Коба смотрел на нее с удовлетворением. Она протянула руку к тарелке — заесть чем-нибудь — и промахнулась. Коба тихо рассмеялся, но тарелки не пододвинул. Голова кружилась, глупый смех вперемежку с непонятным страхом сотрясал Юлию, она ничего не понимала. И вдруг она почувствовала, как горячая твердая рука легла на колено. Рука лежала на колене плотно, пальцы собирали юбку, подтаскивая кверху. Юлия пришла в себя, вспыхнула и, еще не освободившись от глупого смеха, посмотрела на Кобу. Лицо его было помертвевшим, желтые глаза заволоклись настойчивой жадностью. Юлия отвернулась и опустила голову. Пальцы под столом продолжали подбирать юбку, нащупали чулок и с силой проникли между

колен. Юлия судорожно вздохнула, робко пропустила пальцы и сжала их коленями. Коба вздрогнул, придвинулся и вдруг отдернул руку.

— Товарищ Коба,— услышала Юлия высокий, полный веселья голос Ульянова,— теперь вы должны сказать спич!

Коба послушно встал. Юлия опасливо подняла горячую голову — кто видел? Малиновский. Несомненно видел, он все время следил за нею. Как он мерзок! И еще, кажется, Шагов видел — он встретился с нею взором и улыбнулся. Она чувствовала, что краснеет.

— На большую гору присел орел,— глухо сказал Коба.

— Тише, тише! — закричал Шагов.— Кавказский спич!

— На большую гору,— терпеливо повторил Коба,— сел орел... Он держал в острых когтях большого барана, ему было тяжело лететь, потому что орлам тоже бывает тяжело летать...

— Особенно, если они таскают баранов! — хохотнул Бадаев.

— Помолчи! — перебил Петровский. Коба предостерег толстого Бадаева взглядом:

— Не нужно попадаться орлу...

Ульянов подхватил:

— И поделом! Не надо мешать!

— Итак,— сказал Коба,— орел присел отдохнуть... «Смотри, пожалуйста! — вдруг услышал он.— Оказывается, и орлы питаются падалью!..» Это говорил гриф, а грифы, как известно, питаются падалью. «Это не падаль,— возразил орел,— я его только что убил».— «Как не падаль? — сказал гриф.— Если он мертвый, значит — падаль! Отдай его мне. Тебе не пристало питаться падалью». Орел подумал и отдал барана грифу. Гриф насытился и говорит: «Ты, наверно, голодяный? Доешь, что осталось». Орел стал клевать и думать: «Зачем я с ним разговаривал? Теперь это — в самом деле падаль!»

Ульянов захохотал. Зиновьев тоже рассмеялся. Коба поднял руку:

— Следовательно, выпьем за то, чтобы честные, благородные орлы не разговаривали с коварными лживыми грифами. Иначе орлы постоянно будут голодать, несмотря на мужество и силу!

— Виват! — закричал Ульянов.— Браво! Всему есть предел! В том числе и доверчивости благородных горных орлов! Товарищ Коба! Я воспринимаю ваш тост как наказ господам депутатам!

— Как вам угодно, Владимир Ильич,— тихо сказал Коба и поднял рюмку старки.

Юлия, красная не то от выпитого, не то от того, что только что произошло, тоже подняла рюмку. Она гнала от себя мысль, которая страшила ее и заставляла краснеть. Юлия хотела отдалить — как можно отдалить — момент, когда Коба снова сядет рядом. И страх этот, подбадриваемый томливым влажным любопытством, не давал ей дышать.

Ульянов заметил ее смятение.

Он встал как будто для того, чтобы отдалить опасный момент.

— Пусть на нашем съезде кроме фракций большевиков и меньшевиков появится совершенно новая фракция!

Он сощурился на рюмку, поднес ее ближе к носу и мельком, как бы не отрываясь от тяжелой темной влаги в стекле, покосился на Юлию.

— Пусть на нашем съезде впервые в пятнадцатилетней — заметьте, пятнадцатилетней — истории эрэсдэрпэ появится девичья фракция!

— Какая? — переспросил Зиновьев.

Ульянов резко махнул рукой, не глядя на него.

— И не возражайте, Григорий, нам с вами никогда не проникнуть в ряды этой фракции и — к счастью — не только по возрасту! Уж наших партийных амазонок никому не удастся майоризировать — даже нашему старому волоките! Пусть сам почтенный Игнатий Лойола от виляния[1] заискивает перед нашими прелестницами!

— Ура! — невпопад крикнул Шагов, но Ульянов, подняв к потолку рюмку, продолжал:

— Наоборот! Наша девичья фракция сама майоризирует съезд неотразимым свойством — обаянием!

И уже прямо протянув рюмку к Юлии, вскрикнул высоким радостным голосом:

— За ваш успех, прелестница!

29

Ее удивила загадочная пустота на Любомирской. Если бы не пир, который она помнила до подробностей,— можно было подумать, что никакого пира не было вовсе. Господа депутаты исчезли, как испарились.

Малиновский тоже собирался уезжать. Ульянов увел его в комнату тещи, и там они говорили тихо и долго.

---

[1] Так одно время называли Плеханова.— *Прим. авт.*

— Надя! — позвал вдруг Ульянов.— Где библейская барышня?
— Я здесь! — отозвалась Юлия.
Ульянов показался в дверях.
— С Новым годом,— сказала Юлия и смутилась, потому что Старик никак не был похож на вчерашнего.
— Что? — переспросил он.— Ах, да... Разумеется... С Новым годом... Вам, должно быть, известен этот господин?
Малиновский смотрел мимо нее, но не потому, что отводил глаза, а потому, что как будто не интересовался. Она восприняла вопрос Ульянова как шутку. Но Старик был строг и холоден.
— Известен,— с вызовом сказала она.
— Прекрасно! Не благоволите ли вы прокатиться с этим господином до Вены? Это недалеко...
— До Вены?
— Именно! Ну-с?
— Конечно, Владимир Ильич... Но с какой целью?
— А вот это вопрос совершенно излишний! — не сказал, выстрелил Ульянов.
— Но я ведь должна знать...
— Вы ничего не должны знать, молодая сударыня! Вы должны сопровождать,— он пристально оглядел Малиновского, потом ее,— ну, скажем, дядю.
Юлия осмелела:
— Может быть — папу?
Неожиданно Ульянов рассмеялся:
— Папа — слишком интимно! Впрочем — как хотите...
— Не бойтесь,— лениво вставил Малиновский.
— А и и не боюсь,— глянув в упор, сказала Юлия.
Крупская покраснела.
— Они ведь поедут во втором классе?
— Вздор! Они поедут в купе!
Юлия беспощадно посмотрела в водянистые испуганные глаза Крупской.
— В купе так в купе! Рыцарские склонности моего дяди не оставляют сомнений. Кстати, Роман Вацлавович, какой вы мне дядя? Родной или двоюродный?
— Не болтайте, голубушка,— жалобно попросила Крупская.
— Надежда Константиновна,— невинно расширила очи Юлия,— но я ведь должна знать степень нашего родства!
— Прикусите язычок! — приказал Ульянов.— К делу! Роман Вацлавович останется на вокзале, а вы отправитесь в город. Вам совершенно необходимо купить для дядюшки новый несессер! Вы его возьмете у Бухарина. Проводите дорогого дядюшку! И вернетесь сюда следующим поездом!
— Хорошо.
Малиновский был безучастен.
Ульянов отступил на шажок и всплеснул ладошками:
— Роман и Юлия, превосходно! Совсем — Ромео и Джульетта!
И засмеялся, задирая бородку.

30

— Слушай,— вяло протянул Малиновский, произнося «л» как «в», по-польски,— вытащи свою лапку из муфты! Я знаю, что у тебя там — дудка. Я тебя не трону...
— Вы мне «тыкаете» на правах дядюшки? — тряхнула головою Юлия.
Малиновский отвернулся к окну.
— Ты что — девица?
Юлия вспыхнула и почувствовала слезы. Да — девица! Нет — не девица! Боже мой, какая грязь! А что если она сейчас выстрелит? Ну и что будет? Услышат? Она сойдет на первой же станции! Дядюшка спит! Он старенький! Он уснул под стук колес! И что тогда? Что они положат в несессер? Слезы просохли. Юлия нетерпеливо сжала в муфте рукоятку папиного подарка.
Малиновский покосился на нее:
— Деточка, показать тебе, как надо выбивать из руки дудку? Ну? Направь на меня свой пистолет... Не бойся...
Малиновский смотрел неопасно. Омерзение исчезло. Вместо него появился захватывающий, сбивающий дыхание интерес.
— Я не боюсь! Маузер — на предохранителе...
Малиновский улыбнулся.
— Ты всегда так предупреждаешь? Можешь сдвинуть предохранитель... Ну?
Юлия вытащила маузер и направила его на Малиновского.

— Револьвер заряжен!
Роман Вацлавович изобразил испуг на костистом лице.
— Тетя... Я больше не буду... Не стреляйте...
Внезапный, неуловимый взмах обеих рук Малиновского она почувствовала только сейчас, когда ладонь ее уже была беспомощно пуста. Маузер сам по себе вырвался и отлетел в угол дивана.
— Ты многого еще не знаешь,— тихо сказал Малиновский, подбрасывая подарок Юлиного отца,— первый номер, перламутровая ручка, прекрасная мухобойка для гимназисток и горничных... Детка моя, на — спрячь... Из тебя не выйдет революционерки... Ты предупреждаешь, прежде чем стрелять! Революционеры так не делают. Они сначала стреляют...
Малиновский смеялся негромко, обидно, но Юлия вместо обиды смущенно улыбнулась. Она действительно многого не знает.
— Давай с тобой лучше дружить,— сказал Роман Вацлавович.
— Давайте! — облегченно ответила Юлия.
— Ты ведь — «Берг и сыновья»?
— Да... А почему вы спрашиваете?
— Ну, я же все-таки твой дядя...
— Я и забыла!..
— И хорошо, что забыла... И не вспоминай... Это все — шутки Старика... Конспирация...
— Почему? — удивилась Юлия.— За вами же следят...
— Кто? — спросил Малиновский.— Я — член Государственной думы. Могу же я прокатиться во время вакаций? Я ведь не Коба...— Юлия насторожилась.— С ним бы ты поехала в Вену охотнее... Но ему нельзя, деточка... Его надо беречь... Он — слабенький... Он далеко не уйдет, потому что — хромает...
— Как это — хромает?
— На ножки, милая, на ножки... Боюсь, что фараонам это доподлинно известно...
— Значит, его могут схватить?
— А как же! И даже — хватали... Но он — убегал... Хромые очень быстро бегают... У него, видишь ли, копытце на ноге, как у козлика. Жил-был у бабушки серенький козлик...
— Я вам не верю! — возмутилась Юлия.— То, что вы говорите,— мерзко! Так нельзя о товарищах! Что же, по-вашему, он...
Малиновский приблизил к ней сероватое, бесстрастное лицо:
— У вас — больная фантазия, детка... Ценя товарища Кобу, я прошу вас помнить, когда вы в следующий раз вздумаете плясать с ним танец Шамиля, что у него сросшиеся пальцы на ноге. И ему трудно плясать... Пальцы... Второй и третий. В просторечии это называется копыто дьявола... Такой, знаете, редкий ортопедический дефект... Очень удобный для запоминания в полиции...
— А вы откуда знаете?! — вскрикнула Юлия.
— А мы с ним были в бане, сударыня, простите за подробность...
И вдруг Малиновский сделался необычайно серьезным. Подступившее было в Юлии омерзение пропало, она удивленно посмотрела на него.
— Слушай,— сказал Малиновский тихим, проникновенным голосом, никак не похожим на его прежний тон. Юлия выпрямилась, не узнавая его. Он смотрел ей в глаза и во взгляде его, участливом и даже заботливом, не было и следов оскорбительной вкрадчивости.
— Юдифь,— сказал он покровительственно,— ты сойдешь на следующей станции и поедешь назад... Или куда тебе угодно...
— Я вас не понимаю,— сказала она, отметив, что он впервые назвал ее по имени.
— Ты многого не понимаешь... Я тебе уже говорил... Сойдешь.
— Но — почему?
— Потому! Незачем тебе ехать в Вену.
— Почему?
— Опять — почему! Потому что обратный поезд пойдет только завтра. Что ты станешь делать ночью?
— Спать,— удивилась Юлия.
— Там Коба. Тебе не дадут спать,— вглядывался в нее Малиновский.
— Почему?
— Опять — почему?!
— А как же Бухарин... Несессер... Что я скажу в Кракове? — дернула головою Юлия.
Малиновский улыбнулся.
— Тебе не обязательно ехать в Краков.
— Почему?
Теперь он рассмеялся.

— Ну хорошо, хорошо! Скажешь, что я тебя отослал назад по причине, тебе не известной.

— А какая это причина?

— Ты, однако, любопытна! — испытующе посмотрел он на нее, и в небольших глазах его вновь блеснула оскорбительная вкрадчивость.— Храни тебя Бог, милая племянница...

31

— Меня отослал Роман Вацлавович по причине, мне не известной,— повторила Юлия слова Малиновского.

— Ага,— кивнул Ульянов,— очень хорошо... Надобность отпала...

Они с Зиновьевым читали какие-то листки, извлеченные из конверта без марки и адреса. Такие конверты возили с оказией или за несколько геллеров передавали проводники вагонов.

— У кого он это списал, как вы думаете? — спросил Зиновьев, шурша листками.— Не узнаю... Смотрите — общность людей... исторически сложившаяся... на базе языка... территории... экономической жизни, психического склада... культуры...

— Прочтите, не бормоча! — откликнулся Ульянов.

Зиновьев стал читать внятно:

— Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории...

— Превосходно! — перебил Ульянов.— С подпорками, но — сгодится! У кого бы не списал — лишь бы по зубам бундовским говнам! Дайте-ка я пробегу сам! Вы думаете — списал?

— А вы сами как думаете? Интересно, какой банк он взломал на сей раз?

— Что это вас так тревожит?

— А если — дискуссия... И выяснится...

— Вздор! Никаких дискуссий! Если Бухарин поднатаскает его как следует — это на-ша статья! На-ша! Ша! Невежество тоже может пригодиться! Замечательный грузин! Как его настоящая фамилия? Дж... Дж... Да, Бог с ним! Коба! И — достаточно!

— Он еще и Сосо,— сказал Зиновьев.

— Прекрасно! — воскликнул Ульянов.— Итак, что пишет наш Сосо? По крайней мере, почерк у него разборчив!..

И — углубился в листки.

32

— Знаете что, блудный сын металлических заводов? Пожалуйте мириться с паненькой! Это сейчас — архиважно! «Берг и сыновья» — прекрасная вывеска, под которую не ступит ни один жандарм. И ни один провокатор. Вы меня понимаете?

На глазах Юлии появились слезы. Она опустила колючие черные ресницы. Слеза капнула ей на руку. Юлия, не поднимая головы, рассматривала каплю. Ульянов встревожился. Лицо его вытянулось испугом и даже побледнело.

— Что с вами, милая моя?

— Вы мне не доверяете,— не то сказала, не то спросила она, не поднимая головы.

— Надя! — крикнул Ульянов.

Крупская появилась немедленно. Лицо ее было настороженно — она разбиралась во всех оттенках мужнего голоса.

— Что случилось?

И сразу подошла к Юлии, обняв ее.

— Что с вами?

Юлия всхлипнула. Еще одна слеза упала на руку.

Ульянов заерзал на стуле.

— Слезы, слезы, слезы... Как в гимназии...

— Володя,— укоризненно проговорила Крупская и наклонилась над Юлией,— что с вами, детка?

— Глупости! — вскочил Ульянов.— Ребяческие глупости!

Крупская посмотрела на него строго, но он ответил удивленным взглядом:

— Ну что я такое сказал?

Крупская положила руку на небольшое плечо Юлии:

— Детка! Владимир Ильич вовсе не хотел вас огорчить...

— Глупости! — фыркнул Ульянов.— Именно хотел! С утра я думал о том, как бы вымазать горчицей эту принцессу на горошине!

— Володя,— укоризненно проговорила Крупская.

Ульянов быстро подошел к Юлии, сунул руки в карманы и резко наклонился, не сгибая спины.

— Позвольте вас спросить, товарищ барышня, на каком основании вы бросаете мне столь неслыханное обвинение!

Он сказал это с преувеличенной серьезностью, грозно сдвинув брови. Юлия улыбнулась.

Ульянов выпрямился и выбросил руку:

— Вот! Полюбуйтесь! Теперь уже надо мной смеются!

И снова, сунув руку в карман, наклонился, не сгибая спины.

— Над старостью смеяться грех! — воскликнул он назидательно.

— Что здесь было? — улыбнулась Крупская.

— Мы этого ни за что не скажем! — заявил Ульянов гордо, по-голубиному выкатив грудь перед Крупской.

— Молчу,— улыбнулась Крупская и медленно, посмотрев на мужа и на Юлию, вышла.

Ульянов отвернулся к окну.

— Что же вы думаете,— тихо сказал он,— мы так и проживем в эмиграции? Мы вернемся. Но — куда? Нам нужны надежные явки, связи, люди, на которых можно опереться...

Он посмотрел на нее с печалью и, не смущаясь печали своей, спросил:

— Как вы можете сомневаться в том, что я вам доверяю? Я вам о-очень доверяю... О-очень, понимаете?

Слезы обиды просохли. Явки, связи, литература — все это она может взять под надежную вывеску «Артур Берг и сыновья, металлические заводы».

33

— А скажите, Юлия, не распорядился ли наследством «Артур Берг и сыновья»? — спросил Зиновьев.

— Насколько я знаю, у папы нет никаких претендентов на наследство... Не объясните ли вы причину вашего беспокойства?

Зиновьев махнул рукою:

— Претенденты найдутся! Было бы наследство! Появятся внучатые племянники, троюродные дядюшки, седьмая вода на киселе! Вы не знаете природы собственности! Было бы неплохо заранее пресечь притязания этих возможных грабителей! Вы не находите?

— Как же это сделать? — развеселилась Юлия.

— Лучший способ — сделать полезное употребление из предрассудков! Вам нужно выйти замуж и получить приданое!

Юлия вспыхнула. Зиновьев говорил серьезно.

— За кого? — резко покраснела она.

— Ну, это вы должны выбирать сами,— отвернулся Зиновьев,— кстати, успокойтесь, от вас никто не требует лирики...

— Ну что же,— совсем спокойно сказала Юлия,— ищите мне жениха!

Предложение Зиновьева было настолько деловым, что Юлия даже не ощутила потребности вникнуть в его подробный смысл. Итак, от нее требуется выйти замуж за человека, которого ей подыщут. Папа назначит ей приданое, которое и пойдет на нужды организации.

Однако кого ей подыщут?

Может быть, Кобу? Новогодняя пляска вспыхивала в ней каким-то неведомым прежде ощущением — горделивым стыдом и сбивающим дыхание томлением. Но почему она подумала о Кобе? Малиновский оберегал ее от Кобы. «Тебе не дадут спать, милая племянница. Хромые быстро бегают,— говорил о Кобе Малиновский,— у него пальцы на ноге срослись в копытце». За что Малиновский так не любит Кобу? Как это — копытце? Коба потребует того, что Зиновьев назвал лирикой. И тогда она увидит копытце.

— Господи! — вдруг охватила голову Юлия.— Господи, вразуми!

И кинулась на кровать.

Она рыдала шумно, выплакивая что-то тяжкое, неохватное. Рыдание утомило ее, она из последней силы повернулась на бок и бессмысленно уставилась на след гвоздя в обоях. Зачем здесь понадобился гвоздь? В небольшом, незаметном разрыве синей тисненой бумаги проглядывала штукатурка. Почему она не замечала этого раньше? Но сильнее всего было: «Господи, вразуми...»

— До панны,— услышала она голос хозяйки за дверью и вскочила: сейчас кто-то войдет. Кто?

— Кто? — спросила она сухими губами.

И, изумленная, кинулась к двери: в дверях стоял Павел Кордин.

— Па-вел! — закричала Юлия и затряслась плачем.— Павел! Боже мой! Па-вел!

Она охватила его, вминаясь в него щекою, ухом. Павел Кордин мягкой ладонью заставлял ее поднять лицо. Она послушно посмотрела в его глаза. Он молча, не отпуская ее затылка, осторожно извлек другой рукою платок и стал утирать ее щеки.

— Ю,— сказал он наконец,— я — здесь...

И наклонил голову набок, к плечу, по-собачьи.

Хозяйка стояла в дверях, улыбаясь широким добрым лицом.

— Фрау Слонек,— наконец увидела ее Юлия, ялтая польские и немецкие слова,— дас ист майн Пауль. То ест муй мэнж! Пани Слонек!

— О то добже, о майне киндер! Как это славно, что вы наконец здесь, достойный герр Пауль!

Она выкатилась из комнаты, вздев руки и покачивая седым кренделем забавной своей прически.

34

С Любича тянуло сытым солодом. Пивоваренный завод уткнулся длинной трубою в серенькое краковское небо. Коричневатый дым лениво волокся во влажном воздухе.

Там, в России, в империи, еще был февраль, а здесь уже начался март, первый весенний месяц. Торговки на площади Двожца продавали горные цикламены — свежие, робкие предвестники лета выглядывали из плетеных кошелок на божий свет.

Было тепло.

Старый шарманщик в мятой закопанской шляпе с перепелиным перышком, крутил ручку, напевая нечистым голосом под хлюпающие звуки:

В тым вшяпадку хундоцкем
Згинал Берек пуд Коцкем...

Одноногая шарманка покачивалась от верчения ручки в лад печальному напеву, вздрагивая от пустого сипения на пропущенных, обломанных звуках.

— Зачем вы уезжаете? — печально сказал Адамский.— Там, в России, холодно... Мне кажется, там всегда холодно...

Юлия томилась нетерпением. Холодно? Пустое! Она купила Павлу и себе пуловеры. Что будет в России, она не думала. Нужно ехать. И — поскорее. Павел Кордин старался гнать от себя видения. Адамский развлекал их вспышками актерского веселья.

— Мы — Мариацкий костел, милая панна Юлианна! Одна колокольня выше, другая — ниже! Павел! Обещай мне подрасти! Когда ты вернешься, мы будем изображать Свентого Стефана или саму Нотр дам де Пари!

В светлых глазах Адамского появились веселые слезы.

— Павел! Ты — Чингизхан, татарин! Ты умыкаешь из Кракова совершенство красоты! О, дорогая панна Юлианна! Вы увозите мое сердце! Я не поклонник этого умника Вильяма Шекспира, я слишком длинный для того, чтобы играть его героев. Они все пузатые и коротышки! Но сейчас вы видите перед собою лучшего Ромео, о милая Юлия! Я готов отрубить свои ноги, чтобы вам не приходилось задирать свою прекрасную головку!

— Адамский, вы болтун...

— Еще раз повторите эту истину!

— Охотно. Адамский, вы — болтун.

— Павел! Когда мы выслеживали эту прекрасную даму — я не чувствовал себя соглядатаем! О нет! Мы были поэты!

Пшед кляшторем босых кармелитув
Повстречал я двух израэлитов.

— Повстречал! Русское слово в польской поэме! По-встре-чал! Спот-кал!

А одноногая шарманка хлюпала, сипела, вздрагивала, и старик пел, крутя ручку...

Носильщики вносили вещи, пассажиры занимали места. Перрон опустел.

Адамский вздел над Юлией и Павлом Кординым руки, как епископ:

— Дети! Благословляю вас!

— Адамский! Вы болтун! Наклонитесь! Я вас поцелую!

Адамский рухнул на колени.

— А ты действительно великий актер,— сказал Павел Кордин,— встань.

Юлия чмокнула Адамского в щеку, Адамский поднялся печально. Он не играл, сглотнул и сказал тихо:

— Дети... Счастья... Не убивайте друг друга из-за Плеханова...

Продолжение следует

Александр Солженицын

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

Роман

13

А если честно говорить, была ещё одна причина нынешней его лёгкости. Ему оттого было сейчас так легко и свободно, что он уехал из дому.

Он не сразу поверил этому ощущению в себе, он поразился: никогда прежде не было радости или облегчения от разлуки. Но три недели назад в Москве, когда они в штабе округа получили приказ о всеобщей мобилизации, и во всю же голову, во всю же грудь наполненный только общим,— Воротынцев однако приметил, как между глыбами войны проскользнуло радужной ящеричкой: теперь он естественно надолго отъедет от жены. Как будто станет свободнее или отдохнёт?

Странно. Вот не думал. Отчего и было ему крылатолегко во всей жизни, во всех его движениях и планах,— что он очень удачно и быстро женился. При его острой направленности, захваченности единым Делом, ему скорей должно было не повезти с женитьбой, как многим не везёт,— а ему повезло! Для устройства счастливой семейной жизни люди тратят много внимания и забот, а ему так легко: сразу — удача! превосходная жена.

Когда-то, ещё в последний год прошлого царствования, юнкером первого года, он опоздал в училище с гимназического бала: зацеловался с гимназисткой в Неопалимовском переулке, пришлось перелезать через забор, и всё равно был обнаружен. На утро его вызвал сам начальник училища генерал Левачёв, царство ему небесное. «Ну что ж, Воротынцев? Двое суток гауптвахты?» — «Есть двое суток, ваше превосходительство». Высокий стройный генерал ещё и разговаривал стоя, светлыми насмешливыми, а потом вполне серьёзными глазами глядя на юнкера: «Мне не жалко дать вам эти сутки, а вам не жалко их отсидеть. Но, Воротынцев, с вашими выдающимися способностями, с вашей хваткой,— я слышал, вас дразнят «начальником генерального штаба» — (действительно, кличка такая была, и Воротынцев не считал пустой, внутренне он не исключал такую возможность годам к пятидесяти) — приймите дружеский совет опытного человека. Карты да неумеренное питьё — скольких прекрасных офицеров замотали. Но незаметней того, а больше — сглодали нашего брата дамы. Поверьте, все эти ухаживания, а потом личные потрясения — пустяки, ничто, трата лучших молодых сил и времени. Не рассори́тесь! Успеете. Хоть и говорится «ешь с голоду, люби смолоду», но слишком смолоду человеку талантливому — некогда любить. Семья придёт своим чередом. А в движении к высшим военным должностям должно быть что-то монашеское. Подумайте!»

Воротынцев и подумал. И — принял. Он даже усвоил это внушение генерала Левачёва как прирождённую свою мысль, так хорошо ложилась она в план его жизни.

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1.

Да ещё раньше, ещё в детстве Георгий где-то прочёл, услышал об этом бессмертном выборе — Любовь или Долг? — и уже тогда для себя решил не колеблясь, тотчас и навсегда: Долг! Долг! Долг! И впредь — ухаживания и даже размышления над всеми этими так называемыми любовными вихрями он настолько не принял в свой опыт, что ни от товарищей по службе, ни от случайных встречных даже на досуге не выслушивал любовных историй, отводил, избегал их, не тратил времени. Совет генерала тем прочней лёг в основание его молодой жизни, что от родного отца он никогда ничего ясного на этом пути не слышал.

Отец и вообще никогда никакого своего опыта ему не передал. Единственное, чем он пытался направить жизнь сына — отдачей его в реальное училище, а не в кадетский корпус, как Георгий рвался. Но и за семь лет реального Георгий не остыл, не уклонился, и всё равно поступил в Александровское училище. Он как бы искупал измену деда и отца их родовой традиции: они отвратились от военной службы, и уже от того отец не заслужил полного почтительного внимания сына. Да и семейное вряд ли что отец мог посоветовать, потому что сам он счастлив не был, последние годы они жили с матерью плохо, порознь,— а почему, Георгий не вникал, и не взялись они ему объяснить, а только веяло над ним тоскливым безрадостьем и безвыходьем семейной жизни — может быть и всякой семейной жизни? может быть и не бывает другого развития?

И как бы в тон этому родительскому разладу в юные годы Георгия всегда звучала в их доме фортепьянная игра матери — всегда элегическая, пронзительно-грустная. Сама для себя она много играла, и этими звуками был наполнен их московский дом, Георгий пронизался ими, полюбил их, пристрастился даже. Было жалко маму, но — и не умел её утешить.

А мать не упустила воспитать в сыне — рыцарственное, преклонённое отношение к женщине. Что женщине не достаёт защиты от грубого течения жизни, и мужские руки, от избытка своих сил, должны приподымать её над этой жестокостью. Георгий охотно и прочно это впитал, это согласовалось и с его характером, он и чувствовал в себе этот избыток сил, при котором не унизительно служить слабому существу.

Алину в первый раз Георгий увидел и услышал в тамбовском дворянском собрании — и тоже за роялем, в концерте, и так сразу зажглись и сплавились ему в одно впечатление: и наружность её — вот кажется такой тоненькой, поворотливой, среднего роста, среднего цвета волос, и с такой улыбкой он всегда и ждал встретить свою будущую жену! — и фортепьянная игра, да как раз шопеновские мазурки, которые так часто играла мать. Всё вмиг сплеснулось воедино! — и, кажется, ещё до знакомства, ещё до конца последней мазурки он уже решил: женюсь! нашёл! нечего тут и примерять, сравнивать, оглядываться — вот она, единственная женщина на земле, особо для меня созданная!

Да ещё это было — тотчас после японской войны, в послевоенном восторге бытия: я — уцелел! Теперь я долго буду жить! Теперь — я счастлив быть хочу!

Да ещё и тридцать ему исполнилось.

И как ещё совпало счастливо: никогда до того он в Тамбове не бывал, и после не бывал, всего-то приехал на три дня в мелкую служебную инспекцию. И Алина тоже была — борисоглебская, тоже они с матерью приехали из уезда лишь погостить — и вот так встретились!

Георгий для себя решил мгновенно (он всегда мгновенно знал, чего хотел и что верно), стремительно сделал предложение. Алина была ошеломлена, не сразу готова ответить. Тогда он прогалопировал бурное ухаживание. И когда вскоре всё же повёл это воздушное белое чудо под венец, то ещё опасался, как бы она в последнюю минуту не передумала.

И всё оказалось великолепно! Любовь даётся в жизни раз, и как же счастливо — растратить её безошибочно! Нежно любишь ты, нежно любят тебя, и мир замкнулся в наилучшем виде, приспособленном для твоего движения! (Мелкие размолвки не в счёт.) И всю силу воспитанного рыцарского преклонения перед женщиной, безграничного восхищения — ты знаешь теперь, кому отдаёшь.

Их первые брачные годы были — его академические страдные годы, забиравшие всю протяжённость времени, всю напряжённость ума при немыслимой плотности предметов в году: всех военных, нескольких математик, двух языков, двух прав, трёх историй, и даже славистики, и даже геологии, и потом трёх диссертаций. Да ещё это были и лучшие годы самой Академии, когда расчищали рухлядь (не всю и не надолго...), когда легенду о врождённой русской непобедимости сменяли на терпеливую работу. (Но каждый день ты шагаешь в Академию по Суворовскому проспекту, мимо Суворовской церкви, и гулко звучит в голове это славнейшее имя — какой русский офицер не мечтал о суворовском жребии!)

И при такой захваченности Академией — как счастливо текли их с Алиной тихие вечера в маленьких недорогих комнатках на Костромской улице! (И Костромская родная слышится!) Георгий — за письменным столом, Алина — за стеной у пианино или на кушетке,— покой и устояние, исключающие из мира тревог — тревоги сердечные. При академической восьмидесятирублёвой стипендии чаще и денег не было на театр или концерт, а времени-то — почти никогда, так дома и дома сидели, тем слаще,— и Алина не жаловалась. Пресчастливые годы! Чем бурней общественная и военная жизнь, тем приятнее, чтобы семья и быт текли ровно, традиционно, и не было бы надобности менять привычки. Непробудное, постоянное, повседневное ровное счастье, ни взрывов, ни сотрясений. Произошла неудача с ребёнком, никакого второго потом, но и это не навело облаков: жизнь будет в движеньи, в боях. Алина не слишком тосковала от потери — и в этом Георгию тоже повезло. Согласились они, что им — и не нужно, их любовь и без того предуказана с небес и вечна.

За тремя годами учёбы — три года преподавания в Академии, ещё полнее счастьем. Но когда головинскую группу разогнали — довелось Воротынцеву ехать в глухой гарнизон за Вяткой. Для него-то — почти своя Костромская. Однако и Алина снесла потерю петербургской жизни, не уклонилась отсидеться в Борисоглебске с мамой — но поехала с ним в тот грубый неустроенный быт и глушь, и стойко перенесла эти полтора года ссылки, и не гнушалась кухонной и домашней работы. У него-то всё равно был Шлиффен каждый день на столе — а у неё? что она видела в этом жизненном провале? Так двойным вниманьем, восхищением, двойной нежностью Георгий старался облегчить ей это тёмное время, всегда сознавая размеры её подвига и её любви. Правда, под конец она уже захандрила,— но тут ему удалось вынырнуть — и перевестись в штаб Московского округа.

Это случилось — меньше полугода назад. А вот эти последние комфортные полгода в Москве, когда Алина, напевая, вила новое *гнёздышко*,— странно, Георгий стал понемногу замечать, будто чего-то в их жизни недостаёт, обронено. Что-то не совпадают у них больше ни начала фраз, ни продолжения начатых. Вот укладывается Алина на кушетку, чтоб он сидел рядом и рассказывал о разных офицерах, служебных случаях, и о чём он думает,— но нарастает и фамилий, и новых идей, и прочтённых книг — подвижный огромный ком, он вращается как Земля, и распёртый череп Воротынцева сам едва вмещает его,— а память Алины не держит, она забывает и фамилии, и уже рассказанное, переспрашивает по второму и третьему разу, это скучно, потеря времени, потеря темпа, да ей, чувствуется, и не так уже интересно, а он лучше пошёл бы, позанимался вечерок в штабе. И он уклоняется от рассказов. А она надувает губы.

Справедливо выговаривает ему за холодность, недостаточное внимание к людям, приливы угрюмости, занятость только собой, выговаривает настойчиво, с полнотою прав,— и возразить трудно. А от каждого выговора остаётся осадок.

Да вот что! Переехав в Москву — Алина как-то изменилась, стала требовательна, новый тон, новые желания: после вятской заглуши, после стольких лет терпения и жертв — она хочет, наконец, яркой жизни, когда же??.

А — когда же?.. Георгий — не готов. Он нисколько не разгрузился, всё ещё плотней, все труды, все усилия — всё впереди.

Да и — никогда. Да и — страшно подумать: что б это стала за жизнь?

Да, конечно, он перед ней виноват, виноват...

Но и не в этом только, а — что-то ещё. Случилось что-то с самим Георгием. Как будто кожа окорявела, очерствела, перестаёт ощущать каждый пробежавший волосок. Заметил, что становятся безразличны мягкие, невесомые, пахучие предметы её одежды — лежат себе и лежат, висят себе и висят. И в поцелуе губы перестают быть самыми нужными и нежными, а удобнее — в щёчку. Вообще, весь обряд любви — утомляет, с годами — пресен. И — тянуть его вечно?

Так ты прежде сорока — уже и стар?

Впрочем, и всё растущее, и на каждом дереве так: корявеет, лубенеет. Неизбежно лубенеет и всякая любовь, устаёт и всякое супружество. Очевидно, так и нужно: с годами острота, и потребность любви, и все восторги должны поостывать. На сорок лет остаётся нам и других ощущений довольно: и росное утро воспринимается не черствей, чем в юности, и как в двадцать прыгаешь на коня, и с волнением ставишь пометки на полях у Шлиффена.

И вот — война. И счастье же, что Георгий оставил её в Москве, где будут у неё и общество и концерты. Насколько легче, что нет угрызений, и свободна душа для главного дела.

Лишь не забыть вниманием, часто писать, как просила, хоть полстранички. Успел и в Остроленке опустить несколько слов: люблю, люблю, ни с кем не сравнимая! И правда.

И — свободен, и — на коне. И сразу — как проще, подвижней, беззаботней. И дальше бы так.

Вообще предъявляет всякая женщина слишком много прав на своего мужчину, да не упускает всякий день расширять их, если удаётся. Когда-то для тебя это наслаждение, когда-то сносно, а вот уже и тяжело.

Вообще, прав был генерал Левачёв: все эти проблемы любви, её волнения и переживания, все ничтожные личные драмы вокруг неё — слишком преувеличиваются женщинами, слишком смакуются поэтами. Чувством, достойным мужской груди, может быть только патриотическое, или гражданское, или общечеловеческое.

А может быть — просто засиделся. Семейная жизнь — не для воина. Просвежиться надо.

Он ехал и ехал ночной дорогой. Крепкими переберистыми ногами своего жеребца отмерял, перещупывал эти бесконечные вёрсты между штабом армии и корпусами, эти страшные шесть дневных переходов.

Нет, так не воюют! Воевали, но больше так не дадут...

И — противника нет, провалился!

Да! — кольнуло — и эти незашифрованные искровки! Как можно было посылать?! Уж лучше б и средства такого не было вовсе, чем в руки нашим нерадивым.

Далеко обогнавши всадников с их аллюрами — в неразборную тьму чужой стороны беззащитными невидимыми искорками утекала на обокрад сила Второй русской армии.

14

Этим летом Ярослав Харитонов и должен был кончать Александровское училище, но по порядку: сперва в летние лагеря, потом торжественный выпуск, потом до полка ещё месяц отпуска — домой, в Ростов. В Ростове — ворох радостей, запрыгает Юрик, мамины заботы, родные комнаты, гимназические друзья, но важней всего: с Юриком, уже ему двенадцатый, и с одним другом — садятся в парусную лодку, уже припасённую, снаряженную, и едут вверх по Дону смотреть, как казаки живут, давно собирались, ведь стыдно: родиться и вырасти в Земле Войска Донского, и ничего о казаках не знать, кроме того, что они нагайками разгоняют демонстрации,— а это смелое, подвижное, сильное племя, из самых здоровых русских порослей.

Но не сложился расчисленный вход в армейскую службу, а сразу вихрем, свежим и страшноватым, налетело то, что в армии главное, для чего и есть армия — война! Уже 19-го июля их выпуск надевал заветные погоны со звёздочками, и не то что съездить попрощаться с родными, а даже самим успеть получить из фотографии первый офицерский снимок не пришлось: всех рассылали тут же с готовыми назначениями, Ярослава — в 13-й армейский корпус, в Нарвский полк.

Свой полк он застал в Смоленске, частью на погрузке в эшелоны, а частью ещё даже не собранный. (В Смоленске — овации офицерам на улицах, все кричат о победе, ощущаешь себя как в тёплом урагане.) Хотя четыре полка их дивизии носили самые первые номера во всём российском войске, но состава постоянного у них не оказалось: именно теперь-то и нагнали нижних чинов, по три запасных на одного коренного солдата, сам же Ярослав успел и принимать их — в серочёрном мужичком, с последним домашним припасом в белых узелках, как на Пасху увязывают святить куличи. Он же застал и в баню их водить, переодевать в серо-зелёные шаровары и рубахи, выдавать винтовки, амуницию и грузить в товарные вагоны. Кто остался и в крестьянских шапках. Да не только солдат действительной службы — не хватало почему-то и унтеров, и офицеров не хватало, хотя уж кажется к войне ли может быть не готова Россия, всегда воевавшая и воюющая! На роту приходилось по три-четыре офицера, Харитонову как свежеиспеченцу дали только свой взвод, но офицеры поопытней получали два взвода сразу и на одном держали подпрапорщика.

А всё это хорошо выпало! — и трёхдневная суматоха в Смоленске с переодеванием деревенщины (а Ярослав ходил пружинно, с прямой спиной и вдавливая след), и того более — сама езда, когда Ярослав не пошёл в офицерский вагон, а остался со своими, собственными *своими*, ему доверенными сорока народными лицами в теплушке,— и загудел паровоз через тридцать вагонов, и залязгали, залязгали, перекликаясь, передаваясь, буфера, и натужно заскрипели сцепы, и потянул весь поезд! О любви к народу много говорили, только и говорили в семье Харитоновых, для кого же и жить, как не для народа,— да только видеть народ было негде и нельзя, даже на базар соседний нельзя было отлучиться без спросу, и потом руки надо мыть и рубашку менять, к народу никак было не подойти, ни с какой стороны не заговорить, неизвестно что говорить, стесняешься,— а вот теперь естественно сошлось, что этим мужикам бородатым был 19-летний Ярослав чуть ли не за отца, и сами они искали его — просить, спросить, доложить. А ему оставалось, сверх наилучших действий по службе, только вбирать и вбирать глазами, ушами и памятью — кто как зовётся, кто родом откуда и что у кого дома. Вот охотный рассказчик Вьюшков, его только слушай, проезжает поезд их места — вон уездный город на высокой горе, а тут овраги повсюду, урочище Крутой Верх, и какие тут соловьи и какие выгоны,— ведь нигде ж Ярослав ещё не был, ведь всё это повидать бы самому! До чего ж радостно и желанно — объединиться с ними, отъединиться с ними в одной теплушке, и слушать, как балалайка их треньkает (сколько свободы и поэзии, какой чудный инструмент!), днём стоять с ними, опершись о длинный засов, перегородивший раздвинутую дверь (а внизу ещё сидят, ноги наружу свесив), ночью в темноте не спать под их пение, пересуды, да смотреть на огоньки цыгарок. Хотя не радости ждать на войне — а радостно было ехать! И не одному Ярославу: явно весело было и солдатам, всё время шутили, и даже пританцовывали, и боролись друг с другом,— а на узловых станциях ещё встречали их толпы с оркестрами, флагами, речами и подарками. В этом настроении успел Ярослав написать и первые письма — маме, Юрику и Оксане-печенежке, милой сестрёнке,— настоящей сестре, потому что Женя, ставши замужем и с ребёнком, превратилась в младшую маму, только почужей. Написал он, что вот к этому всю жизнь и стремился, этого и хотел: быть вольно-мужественным и вместе с простым народом.

Но дальше не так было весело, уж очень много суматохи и неразберихи. С железной дороги их внезапно ссадили, хотя поезда шли и дальше,— и, как издеваясь, погнали пешком почти рядом с колеёй — до Остроленки, так шли они несколько дней, и трудно это было уже отвыкшим запасным, в обуви необхоженной, в одежде неприношенной да со всей амуницией. Отчего так? — нельзя было охватить, понять, некого спросить. Наверно, злой номер их корпуса так сработал. Проезжал в автомобиле генерал, сказал: «Это немцам подай железную дорогу, а русские орлы и пешком отхватят! Верно, братцы?» И кричали ему: «Ве́р-на!» (Ярослав тоже кричал.)

Второй офицер их батальона, штабс-капитан Грохолец, с острыми дуговыми наверх усами, маленький, а чёткий, весь военная косточка (Ярослав старался ему подражать),— сам от смеху давясь, кричал на колонну: «Эй, шествие богомольцев! В Иерусалим собрались?» И до чего ж метко было крикнуто, смеялся Ярослав, только военный глаз может так подметить! Запасные тяготились винтовкой как лишней тяжёлой палкой нацепленной, и новыми твёрдыми сапогами

тяготились и, невдогляд офицерам, стягивали их, перекидывали верёвочкой через плечо, а топали босиком. Батальон растягивался на версту, а уж полк не спрашивай, офицеры теряли своих ещё неприглядженных солдат, а из чужих батальонов тянули к себе и пробирали. Между разбродом людей втёсывался обоз, назначенный по той же дороге, и интендантские гурты коров, гонимых на свежую пищу их дивизии.

А 8 августа, на третий день, как перешли немецкую границу, было полное солнечное затмение. Об этом был заранее приказ по дивизии и разъясняли офицеры солдатам: что тут ничего особенного, что так бывает, и только надо будет удерживать лошадей. Однако не верили простаки-мужики — и когда стало среди знойного дня темнеть, наступили зловещие красноватые сумерки, с криками заметались птицы, лошади бились и рвались,— солдаты крестились сплошь и гудели: «Не к добру!.. Ой, неспроста...»

Да если бы поучить, напомнить, боевые стрельбы устроить — ещё в отличных солдат можно было бы вправить этих запасных. Ярослав же видел по своим, хотя бы по Крамчаткину Ивану Феофановичу,— пятнадцать лет из деревни не вылезал, уже с сединой и, как о нём говорили, *старовидный,*— но изумлял он Ярослава своей строевой подготовкой, будто с плаца только что, будто ничего другого в жизни не видел, как подходить-отходить, как в чести тянуться с самозабвением: «Рядовой Крамчаткин по вашему приказанию, ваше благородие, явился!» — и в небо торчали усы, и глаза блюдцами,— а вот стрелять совсем не умел (скрывал, случайно узналось).

Великая война, первая война подпоручика Харитонова, начиналась так на каждом шагу, что в училище можно было бы за эти промахи лепить и лепить гауптвахту: всё, как в насмешку, шло в нарушение всех уставов. Как будто в училище, в их подтянутом молодом строе, с едиными быстрыми ружейными приёмами, чёткими рапортами, отрывистыми командами и лихой песней, им нарочно показывали, как никогда в армии не бывает, не будет и не может быть. Отпало всё, чему учили будущих офицеров: никакой разведки, ничего о соседних частях, и приказы удручающе отменяли, целые бригадные колонны останавливали галопирующими всадниками и заворачивали.

Днёвок не было вторую неделю, с утра батальоны подымались чуть свет и к походу бывали готовы в сносное время, однако садились и ждали на изморчивом утреннем солнцегреве, пока привезут из дивизии, из бригады приказ на дневное перемещение, начальство же иногда и до полудня не управлялось (а привозил ординарец приказ: начать марш не позже восьми утра),— зато уж днём батальоны гнали без передыха, навёрстывали. Потом садились вдруг: разобраться с обозами, забившими дорогу, задержать кухни, а пропустить вперёд отставший авангард. Опять гнали. Шли до заката, до сумерек и в сумерки, а то и до середины ночи. Ночами разбирались, кормились, и всё не просто: то в темноте не находили своих квартирьеров, высланных заранее, и не знали, где располагаться; то спорили между собой высшие начальники, где какой части можно ночевать, а части пока топтались да разводили костры, чай кипятили на сучьях, нимало не заботясь, что выдают противнику своё расположение. Тут же и кухни в темноте суетились при керосиновых факелах, при разбросе искр. А то — отбивались кухни, и так бывало, что в полночь ложились спать голодные (офицеры, как и солдаты, зябли на земле в одних шинельках), а к рассвету будили обедать за вчера. И ночи выходили короткие, не хватало сна.

Солдаты спрашивали: «Когда ж бы печёного хлебца, ваше благородие? Сухари вторую неделю, ажно брюхо скребут!» — и не было разумных слов объяснить: почему в Белостоке, где кругом полно было печёного хлеба, их дивизии уже никак нельзя было хлеба получить — *не то* интендантство; как же так при начале войны, ещё прежде германской границы, ещё ни один снаряд не упал, ни одна пуля не просвистела,— а они восьмой, десятый день получали сухари с лежалым мышиным запахом, давних годов сушки, и соль — перебойно, не в каждом супе, не подвезли.

До Остроленки ещё была одна для всех дорога и перемешения ясные. Но после Остроленки, где не дали им отдохнуть ни дня, они разошлись дивизионными колоннами, после немецкой границы — и бригадными, и тут-то особенно не стало начальство успевать с приказами, а то и путало с ними, какому полку давая

вильнуть лишних десять вёрст,— и всё это пропадало, никому наверх не известное, кроме немецких лётчиков, так и летавших ещё с Польши над русскими колоннами (а наши — не летали; говорили, что держат их *до важной минуты).* После немецкой границы кому доставались твёрдые щебенные дороги — шоссе; но и там от массы сапог и копыт поднимались густые клубы пыли, хрустело на зубах; да те шоссе кончались или не туда поворачивали, или не было их вовсе, а приходилось идти, и повозки тянуть, и орудия — по пыли сплошной, по вязкому песку, всё это в жару, не опадающую ни на день, одним ночным ливнем только и прерванную, и колодцы не везде, по много часов и без воды маршируя. А то наоборот плутали и вязли по болотистым поймам путаных речушек, будто нарочно самыми непрохожими маршрутами. И не оставалось у лошадей, у солдат, у офицеров другого желания, понимания и тяги, как — о т д о х н у т ь! Знамёна давно были скручены и тянулись как лишние дышла, барабаны убраны на телеги, к песням не было команд, роты теряли отсталыми, и только одна мечта их вела, что, может быть, завтра скажут: отдых!

Сгорели с ног.

Но, видно, слишком важный был замысел, чтоб дать им день отдохнуть,— нет! всё с той же поспешностью их слали и гнали — вперёд! Уже по Германии, без единого живого немца.

Штабс-капитан Грохолец, узкоплечий, с фигурой мальчика, а лысоватый,— шутил между офицеров на перекуре:

— Да никакой войны, это — манёвры. Ординарец из штаба армии нас четвёртый день ищет остановить — не найдёт. А мы по ошибке занеслись вот на чужую территорию, теперь Василь Фёдорычу ноту извинения послали.

Василием Фёдорычем все как-то дружно принялись называть Вильгельма, браня. От этого легчало.

От «Хоржелёй», как все говорили в полку,— после Хоржеле, перейдя границу, с первых саженей неприятельской страны ожидали боя, орудийной или ружейной встречи. Но ни в тот день, ни в следующий, ни в черезследующий они не услышали ни выстрела, не увидели ни солдата немецкого, ни гражданского жителя, ни живности никакой. Где протянуты были проволочные заграждения по полю и покинуты, где окопы начаты на окраине деревни и недокопаны, теперь их закидывали для пропуска пулемётной команды на двуколках и прочих конных, а то в самой деревне через улицу сложена баррикада из возов, из мебели, и всё брошено. («Плохи же у немцев дела!» — первый раз повеселел постоянно унылый, ноющий подпоручик Козеко.) В следующей деревне нашли и прикатили велосипед — и вся рота стянулась его смотреть, многие солдаты отроду и не видели такой диковины. Один унтер показывал, как на нём ездят, а толпа шумела, подбодряла.

Распалённым, бессонным, одурённым головам русских воинов странней всего и была: Германия, да ещё пустая!

Германия оказалась настолько необычная, непохожая страна, как Ярослав не мог себе представить по иллюстрированным изданиям. Не только странные крутые крыши в половину высоты дома, сразу очужавшие весь вид,— но деревни из кирпичных двухэтажных домов! но каменные хлевы! но бетонированные колодцы! но электрическое освещение (оно и в Ростове-то лишь на нескольких улицах)! но электричество, проведенное в хозяйство! но телефоны в крестьянских домах! но в знойный день — чистота от навозного запаха и мух! Нигде ничего недоделанного, просыпанного, кой-как брошенного — не ко встрече же русских наводили прусские крестьяне парадный порядок! Толковали бородачи в их роте и дивились: как же немцы хозяйство так уряжают, что следов *работы* никаких не видать, только всё уже готовое стоит? как они в такой чистоте поворачиваться могут, тут же кафтана бросить негде? И как при таком богатстве мог покуситься Вильгельм на русскую нашу дрань?.. Польшу прошли — страна привычная, распущенная, но с немецкой границы словно струной по земле ударило: и посевы, и дороги, и постройки — всё другое, как не с земли.

Почтительный страх вызывало одно только это устройство не русское. А то, что оно было опустошено, грозно брошено мёртвой добычей, вызывало жуть: будто наши войска мальчишками-озорниками ворвались в чужой притаившийся дом, и не могла их за то не ждать расплата.

Но где и было бы чем разживиться — проходящим солдатам не выпадало времени шарить по домам. И котомок не хватило бы — уносить добычу. И, на смерть идучи, не наносишься.

Первые жители, которые не ушли, были не немцы, а немецкие поляки, кое-как изъяснявшиеся ломано. Но не доверие вызывали они, а подозрение, и приказано было взводу Козеки произвести на хуторе тщательный обыск. (Отправляясь на эту операцию, сказал Козеко Харитонову: «Кто-то хочет моей смерти. Там в подвале может быть взвод пруссаков засел».) Сопротивления не встретили, обыскивали тщательно, и нашли: в доме трубу вроде валторны, в сенном сарае — опять велосипед, в бане — два русских ружейных патрона и сапоги со шпорами. Плохо оборачивалось дело поляков: склонялось к тому, что их могут расстрелять. Их отправляли в штаб полка под конвоем, одному было лет пятьдесят, двоим паренькам — по шестнадцать-семнадцать. Проводимые мимо батальона, они молили каждого офицера и унтера: «Подаруйте нам жице!.. Подаруйте нам жице!» Но унтер от Козеки, который их вёл, только покрикивал весело: «Шагай-шагай, Москва слезам не верит!» Солдаты стягивались смотреть: «А что? Вот такие и стреляют из засады. На лисапедах вон там, лесными дорожками, такие и разъезжают, про нас сообщают».

Но проходя мимо первых немецких трупов у дороги — запасники снимали шапки и крестились: «Упокой, Господи!»

Совсем без стрельбы уже не проходило дня. То пролетал над головами немецкий летательный аппарат,— а они летали часто, два раза в день, и все роты принимались усердно в него палить, однако не попадая. (Да ещё, заметил Ярослав, иные запасные палили, закрывая глаза.) То видели сами, как из фольварка убегали в лес трое в мирной одежде, стреляли по ним, одного подстрелили. То прискакал казак, что в четырёх верстах отсюда он был из лесу обстрелян кавалерийским разъездом,— и тотчас отрядили полуроту прочёсывать лес. Кляли солдаты того казака, и судьбу свою, ходили прочёсывали, никого не нашли.

Но Козеко одобрял: «Сейчас для нас главная опасность — это пуля сбоку». Двум подпоручикам не миновать было бесед: ещё от Белостока их свело назначение на соседних взводах в одной роте. С остальными офицерами был Козеко молчалив, батальонного боялся, ротного не любил, а Грохольца избегал, как мог, тот высмеивать был горазд. Всю деятельность своего наблюдения и жажду высказывания вкладывал Козеко в дневник (по отсутствию бумаги — в офицерской полевой книжке), всякую свободную минуту вписывал туда по несколько свежих строк и обязательно время по часам. «Это просто подвиг! — ахал Грохолец.— Истории полка никто не пишет, вот кончится война — мы приказом заберём ваш дневник в штаб и переплетём в золото».— «Никто не имеет права! — тревожился Козеко.— Это — дело моей совести. И моя собственность».— «Нет, подпоручик, это казённая собственность! — вращал глазами Грохолец.— Бланки полевой книжки принадлежат штабу!!»

Козеко был старше Ярослава по возрасту, он уже два года отслужил офицером до начала войны,— но не мог Ярослав принять его влияния.

— По-моему, на войне ни одного дня так жить нельзя. Мы должны стремиться к победе, а не проклинать войну! И как вообще может великий народ избежать больших войн?

— М-м-м,— тянул Козеко, как от зубной боли, и оглядывался, никто ли их не слышит,— как избежать! Да каждый ловчит! Милошевич, вон, в какую-то командировку устроился, а Никодимов — по закупке скота. Умный человек в батальоне не задержится, не беспокойтесь.

— Тогда я не понимаю,— волновался Ярослав,— зачем с такими взглядами становиться кадровым офицером?

Со сморщенно-несчастным сожалением Козеко вздыхал над дневником:

— Это — тайна... Вот когда будет у вас ненаглядное солнышко да любимое гнёздышко... Пусть это непатриотично, но я без жены жить не могу. И потому желаю мира. Я вам скажу: лучше быть не офицером, а конюхом, но подальше от этой войны.

Только добавлял тоски этот Козеко — то умыться ему негде, то немытыми руками кушать нельзя, то на ночь раздеться бы. И без того день ото дня мрачней и безнадёжней становилось в батальоне от беспрепятственного наступления.

Всегда представлял Ярослав наступающее войско весёлым: мы вперёд идём, мы пленных берём, мы землю занимаем, значит мы сильней! Для наступления и создают армии, для наступления и воспитывают офицеров. Но удручало это двухнедельное наступление без единого боя, без единого немца, без единого раненого, а по ночам сопровождаемое то справа, то слева тускло-багровыми пятнами неопознанных пожаров. Куда подевались лёгкость и радость, которые не он же один, но кажется все они, кажется и все солдаты испытывали в пути на фронт в побалтывании теплушки, обвеваемые встречным летним ветерком? Ещё Крамчаткин сохранял самоотверженный служацкий вид, не сутулился, и так же глазами ел своего подпоручика, а Вьюшков и лицо воротил, и уже рассказов охотливых из него было не вытянуть. Не только уже песен никто не пел в батальоне, но даже громко крикнуть избегали бородачи, а лишь сказывали друг другу самое надобное, как бы Бога не гневя пустословием лишний раз.

Да и само пространство — стеснялось, сдвигалось, подступали леса. Сперва посылали взводы и полуроты обшаривать их края, потом и полк уже целиком весь втекал, поглощался лесом. Лес был совсем не как наш: ни сухостоя, ни трухлявины, ни покинутого бурелома — только что не подметен, а кучками сложен хворост и чистыми ровными коридорами содержались просеки. По разным направленьям разрезался лес дорогами, и дороги содержались хорошо, где не были сейчас подпорчены.

Хотя полагалось каждому офицеру иметь в планшетке карту местности, но ни одной не было в роте, лишь у Грохольца одна на батальон, и то спечатанная с немецкой, неясные надписи и не подробная. Ярослав, как никто из взводных, вился около Грохольца, ловя всякий добрый момент заглянуть к нему в карту. А то ведь сожжены были немцами все указатели, и из уст офицерских в уста неточно передавались, неточно вызнавались названья деревень: вот Саддек прошли, вот Кальтенборн, ночуем в Омулефоффене. А весь этот лес с десятисаженными соснами назывался Грюнфлисский.

С половины дня 10 августа по всему лесу слышался слева, с запада, зык артиллерийской стрельбы вёрст за пятнадцать — настоящей упорной стрельбы, первый бой! Но, не обращая на то внимания, полки 13-го корпуса шли и шли себе по лесу на север — туда, где тихо, и не встречая никого. И заночевали в Омулефоффене.

На другое утро, ещё в тумане поднявшись и первый раз не получив даже сухарей, затеяли, как всегда, долгое построение и равнение полковой и даже бригадной колонной, с артиллерией и повозками на своих местах. Строились идти из Омулефоффена опять же на север, надо было обходить ширококрылое озеро Омулёв.

Уже долго строились, и прочли обычную молитву перед выступлением, и готовы были двигаться, уже нарастала позднеутренняя растомляющая жара — как прискакал ординарец из штаба дивизии и передал командиру бригады пакет. И тотчас командир бригады вызвал командиров полков и началось на дорожной тесноте поворачивание и перемешивание Нарвского и Копорского полков: не сразу двигаться, не на месте кругом, а обязательно сохранить построение упорядоченной бригадной колонной, но головой теперь на запад, на другую улицу. Уже в полную силу палило августовское солнце, и забывался рассветный завтрак, не поддержанный сухарями, когда полки тронулись новым направлением, а версты через две попали в затылок Софийскому полку, который туда же шёл. Ещё вскоре увидели на просеке на коне лихого полковника Первушина, всем известного командира Невского полка. Значит, вся дивизия. Вытянулись главной долгой лесной дорогой между колоннадами мачтовых сосен сперва через Кальтенборн, как вчера пришли, а потом — на запад, на Грюнфлисс. Впереди же их опять погромыхивало, но не так громко, как вчера,— потому ли, что в жару слышно хуже, потому ли, что стихало. Идти на стрельбу — бодрей, подобрались: лучше верное дело впереди, чем эта пустота. (Козеко: «Дай Бог, до нашего подхода кончится».)

Был перекресток лесных дорог, с растолоченным песком и ещё с подъёмом, где надо было поворачивать,— и артиллерийские упряжки, тоже истощённые, недокормленные, не могли в том месте вытянуть, зажирали колёса, не хватало сил и прислуги,— и на помощь их фельдфебелю, весёлому шароголовому, позвал

Ярослав своих, и вытолкнули ему два орудия, а на остальные всё равно пришлось фельдфебелю перепрягать вместо шести лошадей по восемь — опять задержка всей колонны.

Шли и шли, а стрельба впереди совсем прекратилась, как накаркал Козеко. И пройдя с утра вёрст пятнадцать, уже спадало солнце от полудня, вся колонна остановилась — прямо на дороге, так из лесу и не выйдя, и в тени разлеглась по приволью.

Озабоченные верховые проскакивали целый час вперёд-назад. Не только до солдат, но и до младших офицеров ничего не доходило. Затем полковой командир собрал старших офицеров — и начался новый скрип, возня, суета, захлёстывание упряжных лошадей,— поворот всей дивизионной колонны — назад, откуда пришли.

Занывали желудки, палили подошвы, упало солнце за лес, и было доброе время разбивать бивак, варить обед. Но нет, снова через тот перекресток и через весь тот лес всё те же вёрсты отмеривала их дивизия назад.

И помрачнели переодетые богомольцы и загудели, что всюду немцы командуют, что немцы и заматывают нас на погибель, так доводят и выморят, даже и без боя.

Не остановились при закате желта солнышка, пророчащего и на завтра такую же ясень, пыль и жару. Не остановились и в сумерки, а все вёрсты отложили честно назад, и в звёздной теми воротились в ту самую деревню Омулефоффен, и на тех же местах разжигали кухни, да только кашу заваривали после полуночи, а спали перед петухами.

Подымались свинцовые и, через нехоть, глотали уже утреннюю кашу, чтоб опять целый день её не видать. Привезли, правда, за два дня сухари. Разбирались, вытягивались и строились на вчерашний северный выход из Омулефоффена. И ворчали, предсказывали солдаты, что опять повернут. Невыспанный Ярослав, сам себя и других бодрил: «Ну уж нет! Уж сегодня — нет!»

Но — как заколдовали предсказатели: стояла колонна, не спала, не отдыхала и вперёд не трогалась. И дождавшись, когда солнце стало крепче палить и размаривать,— невидимые штабные немцы (иначе уж и Ярослав не мог бы объяснить!) скомандовали: опять всею колонною поворачивать и выстраиваться по ещё третьей дороге, выходившей из деревни, между той и этой — средней.

И снова перестраивались полный час.

Тронулись. Такой же был день жаркий. Так же вязли и ноги и колёса в песке. Да глуше и хуже была дорога, а маленькие мостики на ней взорваны, и вся русская силушка уходила на объезд и обтаск, на то, чтоб из вязкого места вытащиться снова на круть, на дорожную насыпь. Ещё новинка была: колодцы, близкие к дороге, немцы засыпали землёй, мусором, обрезками тёса, и взять воды было негде, как в большом озере, а к нему и не подберёшься — топко.

Сегодня ниоткуда уже не доносилось стрельбы. Нигде не видно было немца — ни военного, ни мирного, ни старика, ни бабы. Да и наша вся армия задевалась куда-то, никого не осталось, кроме их дивизии, гонимой по затерянной, пустынной дороге. И не было казаков, хоть вперёд съездить посмотреть, что там.

И последний неграмотный солдат понимал, что начальство закрутилось.

Шёл четырнадцатый день непрерывного марша их, 12-е августа.

* * *

Как и день идёшь, как и ночь бредёшь,
Крест да ладанку на груди несёшь.
А в груди таишь рану жгучую:
Не избыть судьбу неминучую.

15

В Найденбурге, маленьком городке, так мало отнявшем у полей, так много настроившем камня,— это была не единственная площадь, площадушка. Три улицы с неё вели, и несколько было углов. На одном изломе двухэтажный дом

с разбитыми стёклами магазинных окон первого этажа и венецианских второго — дымил изнутри, а ещё гуще что-то дымило во дворе.

Полувзвод солдат, не очень из сил выбиваясь, гасил дым. Из-за угла они таскали воду вёдрами, вносили в ворота (там слышался кряхт отдираемых досок и стук топоров), а другие передавали ручною цепью по наложенному трапу через подоконник первого этажа.

Вся работа их была на солнце, солдаты сбросили верхние рубахи, часто снимали фуражки, вытирали лбы.

Оттого и не торопились, что было знойно, а пожара прямого нет, хотя дым всё валил. Не было и бодрых криков, гула возбуждения, а многие разговаривали о своём, на ходу рассказывали, кто-то и смешное, пересмеивались.

Со всем этим справлялся унтер, а прапорщик с университетским значком, с очень энергичным, чуть запрокинутым лицом, а движеньями вялыми, дела не имел, заботы не выражал. Постояв и походив по мелкому, ровному, скользкому, змейночешуйчатому камню площади, он выбрал себе глубокую тень на каменном крыльце напротив, где в обхват колонны привязана была простыня с красным крестом, а перед домом стояла аптечная двуколка без кучера, лошадь вздрагивала иногда.

Как раз вышел на крыльцо, потирая одуревшую голову и продыхая глубоко, черноусый чернобровый врач, в халате. Стал дышать — и стал зевать, в зевоте то отклоняясь, то наклоняясь. Тут увидел досочку на каменной исполированной ступеньке — и сразу же сел, ноги ещё опустя по ступенькам, руками назад оперся, и так бы и лёг, так бы и откинулся.

Сегодня стрельбы не слышалось, ушла, и весь шум был только от солдат, вся война — в полотнище красного креста, да в немецких высокобоких зданиях, не нашего облика и лишённых жителей.

Прапорщику некуда было иначе и сесть, как на те же ступеньки, только ниже. Решительные черты были прозначены в его лице, даже не по возрасту, а военная форма на нём — мешковата, а выражение, с каким он глядел на своих солдат, не вмешиваясь,— скучающее.

Солдаты таскали воду.

Дымило, но по безветрию всё вверх, сюда не несло.

Врач отдышался, отзевался, поглядел, как тушат, скосился на соседа.

— Прапорщик, не сидите на камне. Вот тут доска.

— Да тёплый.

— Нисколько не тёплый, застудите нерв.

— Подумаешь, нерв! Тут с головой неизвестно.

— А нерв — сам по себе, это вы не болели. Идите, идите.

Прапорщик нехотя поднялся, пересел рядом с врачом. Врач был статный, гладкий мужчина, усы пушистые, и мягкой шёрсткой, как чёрной тенью, баки по всей дуге, а вид — замученный.

— А с вами что?

— А... оперировал. Вчера. Ночь вот. И утро.

— Столько раненых??

— А как вы думали? Ещё и немцы, кроме наших. Всех видов ранения... Шрапнельная рана живота с выпадением желудка, кишок, сальника, а больной в полном сознании, ещё несколько часов живёт, и просит, чтоб мы ему непременно смазали, смазали в животе... Сквозное в черепе, часть мозга вывалилась... По характеру ранений — бой был не лёгкий.

— Разве по характеру ранений можно судить о бое?

— Конечно. Перевес полостных — значит, бой серьёзный.

— Но теперь-то кончились?

— А сколько было!

— Так — спать идите.

— Вот успокоюсь. От работы напряжение,— зевнул врач.— Расслабиться.

— Всё-таки — действует?

— Да ничего не действует, а — расслабиться. На смерть, на раны не реагируешь, иначе б не работа. У него глаза раскрыты, как плошки, одно спрашивает — будет ли жив, а ты холодно себе пульс считаешь, соображаешь план операции... Если был бы хороший транспорт, некоторых полостных ещё можно бы спасти:

оперировать надо в тылу. А у нас какой транспорт? — две линейки да одна фурманка. Немцы свои подводы с лошадьми угоняют. Да и куда везти? за Нарев? Сто вёрст, десять по шоссе, а девяносто по российским дорогам, душегубство. А немцы на автомобилях отправляют, через час — в лучшей операционной.

Прапорщик построжел, посмотрел на врача.

— А изменись обстановка вот сейчас? — отступать? — сетовал тот.— Совершенно не на чем. Со всем лазаретом достанемся немцам... А наступать — так за нами забота трупы хоронить. Ведь там по полю лежат — жара, разлагаются.

— Чем хуже, тем лучше,— сурово сказал прапорщик.

Как? — не понял врач.

Засветилось в глазах, только что лениво-безразличных:

— Частные случаи так называемого милосердия только затемняют и отдаляют общее решение вопроса. В этой войне, и вообще с Россией — чем хуже, тем лучше!

Бровные щётки врача в недоумении поднялись и держались:

— Как же?.. Раненых — пусть трясёт, донимает жар, бред, заражение?.. Наши солдаты пусть страдают и гибнут — и это лучше?

Всё строже, заинтересованней становилось энергичное умное лицо прапорщика:

— Надо иметь точку зрения *обобщающую,* если не хотите попасть впросак. Мало ли кто на Руси страдал, страдает! К страданиям рабочих и крестьян пусть добавляются страдания раненых. Безобразия в деле раненых — тоже хорошо. Ближе конец. Чем хуже, тем лучше!

Оттого что прапорщик держал голову чуть запрокинутой, он как будто имел в виду не только единичного этого собеседника, а оглядывал нескольких: «у кого ещё вопросы?»

Врачу и спать перехотелось, всеми глазами он смотрел на уверенного прапорщика.

— Так тогда — и не оперировать? И повязок не накладывать? Чем больше умрёт — тем ближе освобождение? Вот с вашим черниговским знаменщиком мы сейчас... Повреждение крупных сосудов. Да полсуток на нейтральной пролежал, пока вынесли. Нитевидный пульс. Так зачем с ним возимся, да? Та́к я понял обобщающую мысль?

Коричневым огнём жгнули глаза прапорщика:

— А зачем они попёрли как бараны за нашим полковым, за мракобесом? Развёрнутое зна-амя!! — и обсюсюкивает теперь весь полк. Нашли за что драться — за тряпку! Потом уже — за одну палку. Навалили кучу трупов, это что! Играют нами как оловянными!

Но хирург был в тупике:

— Вы, простите, вы ведь не кадровый, вы — кто?

Прапорщик пожал узкими плечами:

— Какое это имеет значение? Гражданин.

— Нет, но по специальности?

— Юрист, если так вам нужно.

Ах, юри-ист! — понял врач, и покивал, покивал, что так он и думал или мог бы догадаться.— Юри-ист...

— А что вам не нравится? — насторожился прапорщик.

— Да вот именно то. Юрист. Юристов у нас развелось, простите, как нерезаных собак.

— Если страна насквозь беззаконная, так ещё очень мало!

— Юристы — в судах, юристы — в Думе,— не слышал врач,— юристы в партиях, юристы в печати, юристы на митингах, юристы брошюры пишут...— растопырил он большие руки.— А спросить вас,— что это за образование — юрист?

— Высшее. Петербургский университет,— ледяно-любезно пояснил прапорщик.

— Ерундический факультет? Да какое там к чертям высшее! Десять учебников вызубрить да сдать — вот и вся ваша... образование. Знал я студентов-юристов: все четыре года баклуши околачивали, листовки, конференции, будоражить...

— Так низко говорить интеллигенту! — предупредил прапорщик, темнея.— Подумайте, на чью мельницу... Порядочный человек должен сочувствовать левым.

Это верно. Врач почувствовал, что переступил меру, но и прапорщик его ж допёк.

— Я хочу сказать,— исправился врач,— поучились бы вы на медицинском или на инженерном, вы бы узнали, почём каждый экзамен. А с положительными знаниями рук тоже не сложишь — надо работать. России нужны работники, делатели.

— Как не стыдно! — всё с тем же горячим укором смотрел прапорщик.— Ещё эту гнусность достраивать! Ломать её нужно без сожаления! Открывать дорогу к свету!

Достраивать? — врач, кажется, так не говорил, он говорил: лечить.

— Да вы сами не медицинскую ли Академию кончили? — торопился допросить горячеглазый прапорщик.

— Академию.

— В каком году?

— В Девятом.

— Та-ак,— соображал быстро прапорщик, и прямой длинный нос его подрагивал в ноздрях.— Значит, в кризис Академии, в Пятом году, вы были уволены — и сдались, и подали верноподданное заявление?

Затмился врач, поморщился, концы усов вниз отогнул, но они сами вверх выторчнули:

— Как это у вас сразу топориком: верноподданное... А если ты хочешь быть военным врачом, а Академия в стране одна? И хоть бы раздемократическое правительство — в своей военной Академии оно может рассчитывать, что не будет антивоенных митингов? По-моему, это справедливо.

— И ношение формы? И студенты козыряют, как младшие чины?

— В Военной Академии? — ничего страшного.

— Сол-датчина! — всплеснул прапорщик.— Вот так мы всё уступаем, а потом удивляемся...

— А потом — раненых лечим! — сердился уже и врач.— Раненых вы мне оставьте! Солдатчина!.. Смотрите, завтра сами явитесь. С раздробленным плечом.

Прапорщик усмехнулся. Совсем он не был зол, а юноша искренний, с убеждённостью лучших русских студентов:

— Да кто же против гуманности!? Лечите на здоровье! Это можно рассматривать как взаимопомощь. Но не надо теоретических оправданий этой пакостной войны!

— А я — нисколько... Я разве...?

— «Освободительная»!.. Чем-то надо заинтересовать. «На выручку братьям-сербам»! — сербов пожалели! А сами по всем окраинам душим — этих не жалеем!

— Но всё-таки Германия на нас...— терялся врач перед уверенной молодостью, как принято в России теряться.

— Если хотите, очень жаль, что Наполеон не побил нас в Восемьсот Двенадцатом,— всё равно б не надолго, а свобода была бы!

Накатывал, накатывал юрист, переодетый в гадкую военную форму, да мысли отдуманные, так сразу не поспоришь. И, всё больше идя на примирение, посочувствовал врач:

— И как же вас мобилизовали? — ни льгот, ни отсрочки?

— Вот так, застрял... Напра́... отставить, нале́... отставить, ноги на-пле́... отставить, круго́м, бегом! Сдал экзамен на прапорщика запаса.

— Ну, будем знакомы,— врач протянул крупную, мягкую, сильную кисть: — Федонин.

И получил в неё узкие костистые четыре пальца юриста:

— Ленартович.

— Ленартович? Ленартович... Подождите, я эту фамилию в Петербурге где-то слышал. Мог я слышать?

— В зависимости от круга ваших интересов,— сдержанно отвечал Ленартович.— Мой родной дядя был известен в революционных кругах. И казнён.

— А-а, верно-верно! — соглашался врач, тем более виновато, тем более с уважением, что так и осталось у него в голове смутно, побалтываясь: то ли удачный выстрел, то ли невзорванная бомба, то ли военно-морской мятеж.— Да, да, верно, верно... У вас фамилия — отчасти немецкая, да?

— Да был какой-то мой предок, тоже кстати военный врач, при Петре. Потом обрусели.

— И кто ж у вас в Петербурге?

— Родители умерли. Сестра, бестужевка. Как раз сегодня пришло от неё письмо — и что же? Написано на четвёртый день войны, 23-го июля,— а сегодня какое? 12-е августа? Это что? — это почта? На волах? Или в чёрном кабинете моют? — И всё более горячился.— Так и газеты: за 1-е августа! и это почта? Как же жить? Что в России? что в Германии? что в Европе? Нич-чего не известно! Вот видим одно: Найденбург взят, можно сказать, без боя, однако мы его зачем-то бомбардировали, подожгли, а теперь туши, русские Иваны вёдра носи...

— Ну, тут и немцы поджигали...

— Крупные магазины — немцы, а окраины — казаки. Ладно. А на австрийском фронте ничего не знают о нас. А мы ничего не знаем про австрийский,— так можно воевать? Слухи, слухи! Проехал кавалерист, шепнул что-то — вот наши и новости! Кто уважает Действующую армию? Нас — презирают! А вы — Россия, Германия! Солдаты выбили двери в оставленных квартирах, что-то там понесли — так это позор христолюбивого воинства, за это карай, гауптвахта. А подполковник Адамантов набрал серебряных молочников да кувшинчиков — это ничего, это можно. Вот ваша Россия!

Но если б не было этой мерзкой войны — не накинули бы девушки такой белизны, не натягивали бы на лоб, к самым бровям, так строго, чисто, ново. Неведомая, неназванная, неизвестного образования, состояния и цвета волос, в непоказанном платье вышла на порог сестра милосердия.

— Что, Таня?

— Валерьян Акимыч, челюстной беспокоен. Вы не подойдёте?

И — не было тут спора, никто не сидел на ступеньках. Вздохнул врач, ушёл, по праву уводя за собой и лебедино-белую сестру, лишь мельком прошлись по Ленартовичу её печальные потухлые глаза.

Тоже, конечно, и эти халаты, косыночки — игрушки для обеспеченных, опиум для солдатской массы.

И верховой подполковник, вдруг выпятившись на площадь на беспокойном коне, тоже по праву закричал, заревел громогласно:

— Кто-о здесь старший?

Солдаты — быстрей, быстрей с вёдрами, а Ленартович умеренно быстро, стараясь достоинства не терять, сбежал со ступенек, пересек площадь, и не очень вытягиваясь, но всё-таки подбираясь, и руку к козырьку, хоть и криво:

— Прапорщик Ленартович, 29-го Черниговского полка!

— Это вас оставили пожары тушить?

— Да. То есть: так точно.

— Так у вас тут что, прапорщик, святочный базар? Сюда Штаб армии едет, через два дома станет,— а вы третий день тушите-не потушите? Это кур смешить — вёдрами таскать из такой дали, неужели не можете насоса найти?

— Откуда насос, господин подполковник, у нас в батальоне его...

— Так надо ж немного и мозгами шевелить, это вам не университет!!! Что ж вы людей изматываете? Ступайте за мной, я вам и насос покажу, и шланг, надо ж было по сараям пошарить!

И, выступая на знатном коне, подполковник отправился, как триумфатор.

И Ленартович побрёл за ним, как пленник.

16

Полные сутки и ещё ночь добирался Воротынцев до Сольдау. Он мог бы быстрей, он унтера вскоре отправил назад, был налегке, но не хотел изматывать жеребца, не зная, как тот ещё понадобится впереди. На поеном и кормленом он приехал в Сольдау 13-го, утренними часами, ещё до жары.

Сольдау, как и все немецкие городки, не занимал лишнего плодородного места, не опаршивел мёртвым кругом свалок, пустырей и окраин,— но сразу, по какой дороге ни въехать, сомкнуто стояли кирпично-черепичные, даже трёх-четырёхэтажные дома, на полвысоты подобранные под крыши. В таких городках улицы, аккуратные, как коридоры, сплошь мощены ровными гладкими камнями или плитами, каждый дом чем-то особен — тот окнами, тот шпилями. В таких городках на малом пространстве умещается ратуша, церковь, игрушечные площади, кому-нибудь памятник, да не один, все виды магазинов, пивные, почта, банк, а то за узорными решётками и игрушечный парк,— и так же внезапно обрываются улицы, город, и едва шагнуть от крайнего дома — уже потянулось обсаженное шоссе и рассчитанные расчерченные поля.

Сольдау был вовсе покинут жителями, не переполнен и нашими частями. Около магазинов и складов в иных местах выставлены часовые — мера правильная (миновались и разгромленных два). Воротынцев разглядывал город и отдался чувству розыска, оно не должно было обмануть, хотя б и проехать лишнего — не спрашивал встречных о штабе корпуса. Близ малого особнячка, однако с железной решёткой, садиком, фонтаном и двумя колоннами у крыльца, он увидел автомобиль, «русско-балтийскую карету». На штаб это не было похоже: безлюдно. Но по автомобилю подумал Воротынцев, не тот ли здесь человек, которого и надо раньше штаба.

Он соскочил — и всю усталость почувствовал в спине. Рядом с автомобилем привязал коня, чембуром за дерево, шинель оставил при седле — никто на него внимания не обращал. И, косолапо разминая ноги, толкнул решётчатую калитку. Подалась. Вошёл.

В круге фонтана ещё было сыро от недавно утекшей воды. Неповреждённые цветы ещё ровно держались на маленьких высохших клумбах. Обогнув куст у фонтана, только тут заметил Воротынцев сбочь крыльца на каменной скамье со звериными подлокотниками — пожилого грузного офицера, чёрно-небритого, не очень и расчёсанного, с недовольным видом курящего самокрутку, козью ножку. От пояса вниз на нём было офицерское, шаровары казачьи, с лампасами жёлтыми забайкальскими, а наверх простая нижняя сорочка, так что чина нельзя было понять, но лицом и фигурой на штаб-офицера он тянул. И мало пошевелился при подходе полковника.

Не отдавая чести по форме, но к фуражке два пальца несколько приблизив, Воротынцев спросил:

— Скажите, не полковник ли Крымов здесь остановился?

— У-гм,— ещё недовольней кивнул небритый офицер, не шевелясь.

— Это вы?

— Я.

Опять не уставно и без чина — дремлющий Крымов так наводил, приезжий протянул вперёд, как швырнул, правую руку открытой ладонью:

— Воротынцев. Я к вам.

Крымов приподнялся совсем немного, без чего было б вовсе невежливо, и даже по грузности меньше того, круглой жёсткой рукой отметился в рукопожатии, отобрал руку и показал с собою рядом на скамью. И — курил, не проявляя любопытства узнать что-нибудь дальше, хотя полковники генштаба не по каждой улице Сольдау мелькали.

Только и времени, что Воротынцев садился на скамью да лоб отёр, а уже охватил, как с Крымовым разговаривать: слов поменьше, чинов поменьше, и охватил, что сам он Крымову ещё не нравится, но дело у них сейчас пойдёт:

— Я к вам от Алексан' Васильича. Он мне про вас...

— Догадываюсь.

Всё-таки изумился Воротынцев:

— Откуда ж...?

Чуть кивнул Крымов туда, за фонтан:

— Жеребца знаю. Я на нём прошлую неделю... Как вы его довезли?

Теперь Воротынцев рассмеялся:

— Не я его! Он — меня.

Крымов сбычился, недоверчиво:

— В седле? Из Остроленки?

Воротынцев гмыкнул, ничего мол особенного. (Однако крестец ломило, и спина плохо гнулась.)

Подобрел Крымов, но глаза ещё маленькие:

— Ни-че-го. А что ж не поездом?

— В поезде — какая война? — весело возразил Воротынцев, но по легчайшему движению тяжёлой головы перехватил, что вопрос был не так о всаднике — о коне.— Нет, не выбился. И кормил близко.

— Это верно,— уже крупнее кивнул Крымов.— В поезде — не война. Но удобно.— Вытянул из кармана клеёный портсигар: — Листовой, даурский. Добрый табак.

— Я — бросил.

— Зря,— не одобрил Крымов бровями.— Без табака тоже не война. Но не вчера же?

— Да уж года два.

— Из Остроленки,— поправил Крымов.

— А-а... третьего дня вечером.

Моргнул Крымов, утвердил.

— И что ж Александр Васильич? Донесения мои получает?

— Не говорил.

— Три штуки ему послал. Четвёртое собираюсь. А — вы?

— Я...— всё-таки не схватил ещё Воротынцев сокращённую манеру этого бурбона с сонной распущенной физиономией.— Я...— догадался: — Из Ставки.

Худшая рекомендация: значит, проверять, копать, чужой, чего явился, фазан удачливый?

Опять Крымов потемнел:

— Ладно, умываться да завтракать. Я тоже только встал, ночью вернулся. Проснулся вот — и думаю...

— Откуда?

— А-а... Из кавалерийской, от Штемпеля.

— Слушайте, эти две кавалерийские дивизии тут есть или нет? — охотно перебросился Воротынцев.— Что с них толку? Чем они заняты?

— Чем заняты! — траву щиплют. Любомиров вчера горячий бой имел. Брал город. Не взял.

Ну нет, и Воротынцева так не собьёшь:

— У армии — три кавалерийских дивизии, а перед фронтом — ни одной. Наступает вслепую, никакой разведки. У Клюева — даже нет конного полка. У Мартоса казаки — с варшавских улиц, что за разведка? Почему вся конница по бокам?

Ну, и Крымова не собьёшь:

— Почему, почему. Так само сложилось. Думали левым крылом загребать, окружать. А чем прикажете окружать?

Вошли внутрь. В хорошем петербургском доме могла быть такая мебель приглушённого блеска, бронза, мрамор, как здесь, в худеньком Сольдау. Немного, однако, и потрошено: на пол рассыпаны кружева, ленты, булавки с кораллами, гребни, так и не подобрано.

Во всём доме Крымов был с одним казаком, выскочившим из кухни на зычный оклик: «Евстафий!»

Да они уж до кухни и дошли. Евстафий был не молод, высок, но шибко подвижен, очень заинтересованный во множестве фарфоровых, жестяных и деревянных бочоночков и коробок с припасами, с непонятными надписями. Управлялся он и завтрак готовить и нюхать, пробовать все бочоночки сподряд, головой крутя.

Распорядился Крымов, что завтрак — на двоих, и показал Воротынцеву ванную комнату с мрамором и зеркалом. Действовал водопровод! Развешано было женское и мужское, ещё такое мирное, оставленное дня два назад.

— А пожалуй, я и побреюсь! — решил Воротынцев.

Естественно было ему закрыть за собой дверь ванной, но он не сделал так, а снял с оружием пояс, проворно скинул китель, остался, как и хозяин, в нижней сорочке.

И тогда Крымов, вместо того, чтоб уйти, вступил, сел на край ванны и засмолил новую кривую цыгарку (наворачивать её было одно его быстрое движение).

Евстафий принёс кипятку. Воротынцев, управляясь безопасной бритвой, разъяснял Крымову, хотя тот ни слова не спрашивал, свою командировку, и как вышло, что он поехал сюда, в 1-й корпус. Однако видит теперь, что, кажется, ехал лишним.

Он ещё не думал так вполне, как сказал,— но с огорчением склонялся к этому. Ещё на скамье со звериными головами не думал так — а вот здесь, бреясь. Когда предупредили его в штабе армии, что на левом фланге уже есть Крымов, было колебание и надо было послушаться, поехать не сюда, а на правый фланг, к Благовещенскому. Но вилась в Воротынцеве эта несчастная черта — слишком быстрых горячих решений, а потом от них не отступить вовремя. Ещё до Остроленки он наметил, что поедет непременно в 1-й корпус, ибо здесь-то видел весь ключ к операции.

А теперь уже не поможет ни конь, ни поезд — нужны крылья на лопатках, чтоб в один час перелететь к Благовещенскому.

Крымов ему всё больше казался положительным, даже в том положительным, что вот не спешил одеваться, прикрываться погонами, а всё так же в сорочке сидел на краю ванной и пфукал дымом. Что можно тут сделать, при 1-м корпусе, этот обломай сделает и без Воротынцева.

Крымов послушал-послушал гостя, опять попростел:

— Конечно, лишним,— сказал он.— И я тут лишний. Этот святой моляка и командующего армией не признаёт. Он знает, что его корпус сам Верховный бережёт, и надеется: гвардейский от нас изъяли, и его изымут. Он сюда через Вильну ехал, в кафедральном соборе так объявил: «Ничего не бойтесь! Я еду воевать!» Будет стоять, как в магазине на витрине, а там, смотришь, война кончится, уже призы раздают.

Осунулся Крымов, ноги свесил, и ванна под ним была, как лодка без вёсел, без шеста.

Но именно эта косность его и невесёлый смысл слов возвратили Воротынцеву уверенность:

— Так вот, будем сейчас Артамонова брать на испуг. Я ему привёз письменный приказ от Самсонова. Если брыкнёт — тогда по телефону снесёмся со Ставкой. Верней — не прямо по команде, а там есть понимающий человек, он дальше что сможет. Тут надо и Янушкевича обойти, и Данилова, и к великому князю в удобную минуту... В Ставке тоже ни единства, ни ясности. Уж они 1-й корпус как будто восьмого числа передали Самсонову — а вот приказа нет? Опять кто-то мотает. Бессмысленная вещь: в самом остром углу, на переднем краю стоит корпус, никому не подчинённый! Но впрочем, я вижу — Артамонов действует? — и Сольдау занял и дальше продвинулся?

— А чего продвинулся? Да я тоже побреюсь, всё равно уж... Чего продвинулся? Он — врун собачий! — вдруг побурел, рассердился Крымов, до зеркала вразвалку и оттуда оборотясь, а Воротынцев сел на дамский стулик.— Он писал в штаб армии, что в Сольдау будто стоит немецкая дивизия. Это он без разведки, без языка узнал, якобы какой-то телефонный провод перехватили! — тряс Крымов станочком бритвы.— А сам брехал для того только, чтоб не атаковать города. А оказалось в Сольдау два ландверных полка, и сами они ушли. Хочешь не хочешь, пришлось город занимать. Так опять же сбрехал! — снова разгорячился, уже пышно намыленный.— Теперь он доносит, что немцы потому бросили Найденбург, что он, Артамонов, взял Сольдау.

— А Уздау?

— А Уздау кавалерийская дивизия взяла, не он. А ему пришлось, бедняге, опять продвигаться.

— Вот как... Никогда я Артамонова не видел.

— Да кто его видел? Его и Александр Васильевич не видел. Он генералом-то стал и оружие золотое — за голопузых китайцев. Как и Кондратович...

— Кондратовича вы сейчас не встречали?

— Да где! По тылам корпус собирает, и рад. Трус известный.

— А кого эти дни видели?

— Мартоса видел.

— Вот отличный генерал!
— Чего отличный! Сам на ниточках дёргается и своих штабных задёргал.
— Нет, на редкость отчётливый. А как Благовещенский по-вашему?
— Мешок с дерьмом. Да жидким, протекает. А Клюев — тёха-пантёха, не военный человек.
— А начальник штаба здесь, в 1-м, какой?
— Полный остолоп, нечего с ним и разговаривать.
Воротынцев не додержался, рассмеялся.
Пошли завтракать. Евстафий поставил и водки графинчик, Крымов уверенно налил обоим, не спрашивая.
Но Воротынцев отклонил, рискуя разладить откровенный разговор: он не умел пить прежде дела, это была в нём черта не русская. Он пил только, когда уже всё хорошо, облажено, удачно. Да и не утром.
Крымов кулаком рюмку обнял:
— Офицер должен быть смел: перед врагом. Перед начальством. И перед водкой. Без этих трёх — нет офицера.
Выпил один. Насупился. Но об Артамонове всё-таки досказывал. Действительно, в 1-м корпусе не хватает двух полков, так ведь и у всех чего-то не хватает, все некомплектны. Но Артамонов вывел из того, что и вообще воевать не может. Очень гладко болтает, «на наступление я отвечу наступлением»! А главное — врун! Что со вруном делать? Морду набить? На дуэль вызвать? Оттого-то Крымов и ездил к Мартосу, договорился: оттуда взять колонну и наступать на Сольдау с востока. И Мартос — нашёл. Но тут немцы сами Сольдау бросили.
Воротынцев опять кавалерию зацепил: не так используется, сведена на обеспечение да на фланги. Главное, все генералы: Жилинский — от кавалерии, Орановский — от кавалерии, Ренненкампф — от кавалерии, Самсонов — от кавалерии...
— Самсонова — не трогать! — приказал Крымов.— И о кавалерии, не понимая, не рассуждать! Был приказ — отрезать немцев от Вислы. А теперь — конечно уже не переведёшь.
Выпил сам вторую смаху и сердито объяснял, что кавалерия — хорошая, и бои ведёт серьёзные, и потери большие. Скачи на каменные здания да на самокатчиков! А вот — не слаживается. Районы ей меняют, направления переменяют, по три раза через одну речку переправляться, задачи — незахватные, где-то в тылу железнодорожные узлы разваливать, потом не надо...
Но Воротынцев своё:
— Вот, вот! Не умеем мы конницы использовать. А у Ренненкампфа? А что Хан Нахичеванский, знаете?
— А что? — готовно насторожился Крымов.
И последнее, что из Ставки вёз в голове, чем неуместно было расстраивать Самсонова, сейчас тут рассказал. Про позор Хана, про Каушен... Да чтоб и этот не задавался с конницей.
— ...С такими потерями, хоть взяла кавалерия переправы через Инстер. Но на ночь — Хан увёл свою кавалерию на восток для спокойного ночлега. И те переправы тоже отдал.
Крымов супился, как будто его оскорбили.
Но и это не всё. Воротынцев ещё додавал:
— А у немцев — всего одна конная дивизия...
— Да конные полки при корпусах.
— То — другое. И этой одной дивизии Хан не мог рядом с собой просвет закрыть, и она — рядом с ним! — в сталупененском бою, 4-го августа, обошла 20-й корпус сзади, растрепала пехотную дивизию — и так же благополучно ушла.
— Сноб гвардейский! — налился Крымов.— Удушить!
— Для чего ж и конница, если не для таких боёв? Когда ж ей и рейды делать! У Ренненкампфа пять кавалерийских, у Самсонова три — да котлету из Восточной Пруссии можно было сделать! А у нас кавалерия жмётся к линии пехоты. Ренненкампф после Гумбинена не только не преследовал, но не знает, куда немецкие корпуса подевались. Доложил, что корпус Франсуа разбит, а Макензена потрёпан,— что-то мало правдоподобно.

— Но — побил их?
— Я не уверен. Я из Ставки уехал на том, что ничего не понятно: куда корпуса делись?
Нет, русского обряда не обойти — начиная с третьей пришлось пить вместе. Что с Крымовым их объединяло, то поняли они друг во друге: что в этой кампании не для себя лично искали.
От кавалерии — к артиллерии, тоже не обойти.
— Это *мы* в японскую поняли, что будущая война вся будет огнём решаться, что нужна тяжёлая артиллерия, нужно гаубиц много, а сделали — немцы, не мы. У нас на корпус 108 орудий, у них — 160, и каких? Потому что у нас на армию всегда «крайний недостаток средств», на армию денег нет. Они хотят победы и славы, не потратясь.
— Да Дума деньги вроде предлагала,— неожиданно подал Крымов, хотя от него такое не ждалось.— И обвиняла военное министерство, что это оно мало требует средств.
Да может и так, за всей газетной болтовнёй не уследишь. Но этой весной читал Воротынцев и так:
— Дума голосовала против военного бюджета и против большой программы. Есть у них такой... Ш... Шингарёв — он выступал: милитаризация бюджета? а за миллионами потом пойдут миллиарды?.. Пожил бы на офицерское жалованье.
Ну, Крымов — читатель не слишком напряжённый:
— Может и так. У Думы семь пятниц.
— Нет, программу Дума приняла, но — против кадетов. Да ведь считается, что д у х войска решает всё,— и Суворов так считал, и Драгомиров... и Толстой... Зачем же на оружие тратиться?.. А что в крепостях стоит? — чуть не единороги! есть на чёрном порохе стреляют!
Никакого значения и действия не имело — доказывать это всё Крымову. Но были вопросы, где не мог Воротынцев остановиться. Да с этой водкой только вот и начни, и начни. Крымов наливал по следующей:
— Да теперь и сами крепости разбазарили,— пожалел.
Вот уж нисколько горячности ему не передалось: всё такое подобное он знал-перезнал, кивал ему согласно, как закону природы.
Всё больше дружественели они, Александр Михалыч да Георгий Михалыч, дальше и на «ты». (Не спешил бы Воротынцев на «ты», но и тут уклониться не мог, русский обряд.) Не шли к Артамонову, сидели за завтраком лишнее.
Заговорили о солдатском грабеже по Германии. Крымов поставил между тарелками узловатый кулак: военно-полевые суды и показательные расстрелы! Он уже ходатайствовал перед Самсоновым.
И, значит, был он истый военный и последовательный армеец. А Воротынцев прижал обе ладони к столу, и все пальцы разбросал как мог широко:
— Нет. Расстреливать нашего солдата я не могу, как хочешь. За то, что он беден — и мы таким привели его в богатую страну? За то, что мы ему никогда не показали лучшего? За то, что он голоден, а мы неделю его не кормим?
Кулак Крымова не разжался, но напрягся, но пристукнул:
— Да это ж позор России! Это верный развал армии! Тогда нечего было сюда и идти. Армейское решение: правильная реквизиция. Сильное интендантство приходит тут же, с полками. Оно берёт весь скот и выдаёт его полкам. Оно берёт те молотилки, что здесь, и те мельницы, что здесь, молотит, мелет, печёт — и выдаёт полкам! А мы — ничего не берём.
— Но это ж фантазия, Алексан Михалыч! Это бы — немцы, это — не мы, это будем не мы!
Воротынцев говорил «не мы», но с тайной гордостью знал, что отчасти и мы, он знал за собой и немецкую деловитость, и немецкое ровное упорство, что всегда давало ему перевес над такими порывистыми и отходчивыми, как Крымов.
Кончать завтрак, кончать бесцельную беседу — идти толкать Артамонова вперёд и добиваться его полного подчинения Второй армии. Воротынцев изобретал, как бы ему в Ставке вызвать к аппарату своего друга Свечина. А Крымову тяжело было подняться, будто утренним разговором он уже всё главное сделал, теперь бы ему поспать. Но пойдёт, конечно, сейчас и, если вспылит,— Артамонову может прийтись худо.

— А потом не поедешь ты посмотреть, где дивизия Мингина? Сомкнулась она с Мартосом? — спрашивал Воротынцев, будто не направляя.

Промычал Крымов вроде «да», но уклончиво. Кажется, он уже устал за эти дни ездить, кажется, ему проще остаться на месте.

Тут разом услышали они отчётливо-возникшую канонаду.

— Эге.

— Эге.

И вышли наружу.

Били на севере. Вёрст за пятнадцать. Жаркий уже воздух ослаблял далёкую стрельбу. Но артиллерии — изрядно.

Сам Артамонов ни за что не начал бы.

Так немцы?

Проявились. Подтянулись.

— Если б... если б,— загадывал Воротынцев,— узнать бы сейчас, какая тут дивизия у немцев подошла,— многое б мы поняли.

17

Как отстаивали Постовский и Филимонов, штабу армии переезжать на новое место 12 августа нечего было и думать. Целый день ушёл на предварение, на подготовку, а ещё важней — на проверку и согласование со штабом фронта новой линии телеграфной связи с ним, как она будет действовать: Белосток-Варшава-Млава, а дальше, используя немецкие телеграфные линии,— на Найденбург. Не убедясь, что штаб Второй армии останется на конце устойчивого провода, всегда доступный директивам и всегда готовый к донесениям, штаб Северо-Западного не мог отпустить его от себя вперёд. Поэтому назначен был переезд на утро 13 августа.

День 12-го тоже прошёл для Самсонова напряжённо. Вчера на шесть переходов, сегодня корпуса уходили на седьмой. Опять обстоятельно и пространно просили у Жилинского днёвки для центральных корпусов Мартоса и Клюева — и снова было отказано: уйдёт противник, ускользнёт, ведь гонит его Ренненкампф! О Ренненкампфе сами ничего не знали кроме того, что сообщал Жилинский: гонит! Пришли сообщения от разведки левофланговых кавалерийских дивизий, что перед ними — *большое* скопление противника. Опять это подтверждало понимание Самсонова, что с л е в а сгущается враг, но не радостно было подтверждение правоты, а замучили колебания: что же делать? Простейший рассудок подсказывал: поворачивать все корпуса налево, а не гнать их вперёд. Но вчерашнее клеймо *труса* ещё пылало на Самсонове, измучился он препираться с Жилинским, война наверх изнурительнее, чем вперёд; и дорожил он тем компромиссом, который накануне был как будто достигнут; и ещё смягчала первая от Жилинского телеграмма, поздравительная с победой под Орлау; и что-то же знал уверенно штаб фронта, если так твердил, а кавалерийская разведка легко могла и преувеличить противника. Одна дивизия 13-го корпуса накануне ходила налево к Мартосу, по его просьбе, на помощь, под Орлау. Там бы, может, ей и остаться, но она уже успела вернуться к своему корпусу, и уже шла опять на север, и почти немыслимо было психологически снова дёргать её, перемещать опять налево. Да весь такой поворот корпусов был очень сложен, требовал остановки наступления и, может быть, перекрещивания тылов.

Тем временем, к досаде Самсонова, в Остроленку прибыл английский полковник Нокс. Зачем он прибыл — неизвестно, верней — выражать добрые чувства англичан, которые на континент ещё через полгода высадятся. Самсонов и вообще не любил европейских неестественных дежурных улыбок, тем более помехой и отвлечением был этот гость сейчас. Своих-то собственных событий и соображений не успевал Самсонов уложить в растревоженной гудящей голове, а тут ещё надо было озабочиваться вести дипломатический приём.

Вечером 12-го за позднотой Самсонов уклонился от встречи с Ноксом, а не избежать было пригласить его к завтраку 13-го. Но ещё до завтрака пришло беспокойное донесение от Артамонова, что против него сгущаются большие силы.

И тут же, натощак, Самсонов собрал несколько штабных у карты и чуть не принял решения — поворачивать центральные корпуса налево! Но штабные отговорили его: они напомнили, что к Сольдау подходят от железной дороги разгруженные части, нагоняющие 23-й корпус, так вот их всех можно пока и подчинить Артамонову, вот и выход. А центральными продолжать наступление.

Как будто и выход, и довольно просто. Пока так. Написали приказ. Пошли завтракать. Надел Самсонов золотую шашку. Надо было ехать скорей — а тут парадный завтрак с вином, рукопожатия, приветствия, перевод с языка на язык, и всё затягивалось, запозднялось. Нокс, породистый, как в десяти поколениях выведенный, нестарый, а поведеньем и того моложе, очень охотно пил и вообще держался свободно. У них и военная форма располагает так — отложной воротник, свободно шея ходит, и не чувствительны на плече уменьшенные погоны, и ещё Нокс носил форму особенно свободно, высоко-наградный крестик болтался так себе, верхний карман френча был вздут от бумаг, а в нижние карманы он то и дело руки убирал, с совсем другим понятием о выправке.

Самсонов надеялся, что тем завтраком от гостя и отделается, что тут же Нокс вернётся к Жилинскому, к великому князю, в Санкт-Петербург, только от него отстанет. Но нет! — шёл Нокс садиться в автомобиль, нёс плащ в трубке на ремешке, а остальные вещи, объяснил переводчик, повезёт денщик вместе с хозяйством штаба.

Переглядясь со своими, командующий распорядился Филимонову в автомобиль не садиться, вместо него британец с переводчиком, а Постовский послал круговую черезо всё Царство Польское телеграмму в Найденбург, штабс-капитану Дюсиметьеру, чтобы готовили особый обед и сервировку.

И — тронулись, оставляя прочий штаб поспевать за ними на фургонах, шарабанах и верхами. Открытый жёлтый автомобиль командующего с выпученным передом и высоковыставленным рулевым колесом сопровождали восемь казаков, нельзя сказать чтоб отборных: лучших сотен от дивизий не отрывали. Не на полную скорость погнал шофёр, а так, чтоб на рысях не отставали восемь казачьих пик.

Вот теперь-то и нуждался Самсонов — молчать. Молча разглядывать эти вёрсты, пройденные его корпусами, а им самим не виданные ещё никогда: полсотни вёрст до Хоржеле и пятнадцать до Янува, и ещё десяток вдоль германской границы, наконец переезд через неё — и дюжину вёрст по чужой земле, без капли крови и без выстрела завоёванной его корпусами.

День расходился жаркий, душный, как все перед тем, но на ходу обвевало — и думалось хорошо, и может быть хоть сейчас, на этом бегу-лету, могла прийти многожданная ясность в голову командующего. Он сам не понимал, в чём же неясность, приказы разосланы и выполняются,— а неясность была, несдутый туманец, несовмещённые точки, как будто двоилось в глазах. Самсонов чувствовал это непрерывно и мучился.

На коленях у себя утвердил командующий большой аршинный планшет с туго натянутою, но треплемой ветром десятивёрсткой всего театра действий — и так попеременно, то через борт автомобиля, то в карту намеревался он смотреть весь путь.

Но теперь за его спиной на заднем сиденье оказался доведчивый британец и хотел тоже всё понимать, и заглядывал через плечо Самсонова, вот уже и палец тыча в планшет и требуя пояснять себе каждое обстоятельство.

К тарахтению мотора ещё этот шмелиный гул добавился, и отчаялся Самсонов в пути устояться, прояснеть, побыть с самим собой.

Особенно интересовался Нокс правофланговым 6-м корпусом, потому что глубже всех он уже врезался в немецкую территорию, и до Балтийского моря ему оставалось не много больше, чем он прошёл.

Да, должен был 6-й корпус ещё вчера занять Бишофсбург, а сегодня уж он, очевидно, и северней.

Так было отмечено на карте, и так теперь приходилось считать вместе с британцем, потому что нельзя ж было признаться европейскому союзнику, что мы на карте отмечаем, а на деле не знаем; что искровая телеграмма доходит не всякая, а больше нет никакой связи кроме на́рочной, да и то не прикрытой, не охранённой, по чужой стране. Корпус Благовещенского настолько уклонился вправо, что

перестал быть флангом, он уже ничего не прикрывает, он стал одиночный отдельный корпус, жертва спора.

Но, к счастью, упросили штаб фронта, и сегодня утром разрешено было перевести 6-й корпус налево, к центральным. Да, он уже сейчас переходит — вот, мимо озера Дидей — и к Алленштейну.

А там дальше — Ренненкампф? Он наступает? Да, имеем такие сообщения.

А это — кавалерийская дивизия? Да, на обеспечении правого фланга.

Туда же, в ту же прорву забрали и кавалерийскую дивизию Толпыго, так бы нужную сейчас под рукой! Пропала для командующего и она.

Чем было делиться с непрошеным гостем? Что неукомплектованы все части, а 23-й корпус вообще не собран? Что только с виду командуя армией, владел Самсонов по сути лишь двумя с половиной центральными корпусами, к ним и ехал? Но даже и их положения он точно не знал.

Именно о центральных теперь и спрашивал дотошный Нокс: где они?

Крупным пальцем показал Самсонов: 13-й, Клюева, вот здесь... Вот тут примерно, вот... Вот сюда на север он примерно перемещается, между этими озёрами...

Значит, на север?.. Да, он на север пойдёт... Он пойдёт на Алленштейн. И уже сегодня должен его взять. (Вчера должен был, не дошёл.)

А 15-й?.. А 15-й, Мартоса, должен быть ему вровень, тоже на север. Вчера должен был взять Хохенштейн. (Взял ли?..) А сегодня — далеко за него.

А 23-й?

Знал бы командующий сам уверенно — когда 23-й соберёт Кондратович и представит на передовую?.. Дивизия Мингина сбилась с ног, догоняя Мартоса, и сразу в бой.

А 23-й... Да должен быть тоже недалеко... Вот это шоссе от Хохенштейна на северо-запад сегодня перерезать.

Но что бы отвечать Ноксу, если б допытывался о германцах: где *их* корпуса? сколько? куда идут?.. Пустое, незаселенное пространство озёр, лесов, городков, шоссейных и железных дорог — вот были германцы, всё, что видно, известно о них, беззащитная и привлекательная добыча.

Он вот что! Он всем корпусам рассылал точные повседневные приказы — куда идти, что взять, и это согласовывалось с желаньями выше его, но вот что: эти приказы не были спаяны одним ясным планом, *что именно делать*? Углубляться... перерезать пути... не допустить...— *а в чем план операции*? При сегодняшнем (неизвестном) расположении нашем и противника — на что можно рассчитывать?

Только-только стал настигать Самсонов — опять Нокс перебил: а — 1-й корпус? а вот эти две кавалерийские дивизии что?

А, будь ты неладен!.. Они все... обеспечивают операцию с левого фланга... Создают прочный *уступ*.

Сняв с колен планшет, Самсонов поставил его на пол у дверцы, чтоб только кончить разговоры с англичанином через шум мотора. От объяснений этих и нарастающей жары Самсонов почувствовал отлив сил, и ему уже не одумываться хотелось, а вздремнуть бы в мягком сиденье.

Скорость автомобиля придерживали — к казачьим лошадям. Среди пути один раз сменили их подставою. Обгоняя обозы, подвижной госпиталь, шорный ремонт — всякий раз останавливались, и командующий выслушивал рапорты. В Хоржеле и Януве проверили комендантские пункты и от кого оставлены, с какой целью, стоящие там подразделения. Один раз выходили, сидели в тени около речки. Солнце было за полудень, когда, с подтянутым строем казаков, настороже и торжественно, они по польскому склону спустились на деревянный старый мосток и по прусскому склону поднялись на новую землю.

Замелькали кирпичные деревни, в каждом доме сиди, как в крепости,— а без выстрела сданы. Вскоре вывернули на отличное шоссе из Вилленберга в Найденбург, нигде не повреждённое. Шоссе чуть прикоснулось к южным отрожкам обширного грюнфлисского леса, а дальше несло их местностью открытой, ныряя с холма на холм, как будто и невысокие, но с просторным обзором.

Для Нокса особая приятность этого путешествия и этого дня была та, что он — первый англичанин, ступивший на землю врага в этой войне. Он уже в пути

сочинял несколько писем в Англию, которые сегодня вечером, непременно в немецком городе, намеревался написать, а пока вбирал как можно больше впечатлений, ибо хороший стиль требует не повторяться из письма в письмо.

С потягом тяжёлой гари возник перед ними и Найденбург. Ещё издали виднелся в зелёном шпиле крупный белый циферблат с кружевными стрелками, теперь расступались розовые, серые, синеватые дома, все надписи камнем по камню. До боевых действий здесь было очень благоустроено, сейчас же, хотя не виднелся нигде прямой пожар, но много было следов пожаренных: пустые обгуленные проёмы окон, кой-где рухнувшие крыши, очернённые стены, брызги лопнувших стёкол на мостовую, вонючие сизые дымы от недотушенного в разных местах, и общий зной неостывших камней, черепицы, железа, добавленный к зною дня.

На въезде в город командующего встретил офицер из высланных квартирьеров и побежал по улице вперёд, показывая дорогу. За поворотом, на ратушной площади, открылся и выбранный дом — не только сам не горевший, но и окружённый целыми домами, в него попало две русских гранаты, но он не пострадал. Это была приветливая гостиница, маленькая, в три этажа, по углам крыши с двумя как бы шлемами на немецкий лад. С крутых ступенек крыльца сбежал подполковник и, вытянясь перед автомобилем, доложил громогласно о готовности здания, телеграфной линии, обеда, ночлега и о том, что город горит с самого дня взятия, но сейчас усилиями выделенных частей пожары устранены.

Затем доложился комендант, полковник, назначенный здесь Мартосом три дня назад. Представился и вальяжный бургомистр (жители где-то были, но не видны).

Въезжая в город, не сразу заметили, что сюда доносится глуховатая, ослабленная жарою, но обильная дружная толчея как бы во много крупных ступ, и непрерывно. Первый Постовский несколько раз прислушался, покрутил головой: «Близко». Слишком близко к расположению штаба армии. Комендант уверял, что далеко.

И опять-таки — с л е в а. И серьёзный бой. Кто же это? Пока англичанин отвернулся, Самсонов и Постовский сориентировались, глянули на карту. Так получалось, что это левее Мартоса. Скорее всего — Мингин, злополучная половина недособранного корпуса. Но он должен быть дальше!

Поднялись внутрь, в прохладу. Снаружи такое скромное по размерам, здание содержало в себе на втором этаже некий зал с лепными гербами по стенам, с тремя соединёнными полуовальными окнами,— такой просторный зал, что не верилось, как он в это здание вместился. Здесь и был уже сервирован им стол, со старинной серебряной посудой и золотогербыми бокалами, и ничего не оставалось, как сесть обедать, перекрестившись. (Командующий крестился, никого ни к чему не обязывая.) Подавали — немцы, гостиничные кельнеры.

А между кирхой и ратушей по низам тянуло голубо-серым дымом, и так весь обед.

И толкли, толкли далёкие тупые ступы.

Обилие вин располагало ко многим тостам, и, предсмакуя их все, Нокс поднялся на первый. От него совсем не ускользнула озабоченность командующего все эти часы переезда и какая-то покорная печаль его широких глаз вместо дерзкой ярости победителя,— и союзный офицер счёл своим приятным долгом ободрить русских генералов и объяснить им их успехи.

— Это — страницы славы русской армии! — говорил он.— Потомки будут вспоминать имя Самсонова рядом с именем... Зуворова... Ваши корпуса прекрасно идут и вызывают восхищение всей цивилизованной Европы. Вы оказываете высокую услугу общему делу Тройственного Согласия... В роковой момент, когда беззащитная Бельгия разорвана леопардом... когда, по-солдатски говоря, нависла угроза над Парижем,— ваше мужественное наступление заставит дрогнуть врага!!

Действительно, во Франции положение было грозное. Над Парижем нависала немецкая мощь.

С того размочилось и пошло, не уклониться от тостов, как от падающих снарядов: за Его Величество Государя императора! за Его Величество английского короля! за само Тройственное Согласие!

Если б не заморский гость — Самсонов не засиживался б за этим обедом. Он хотел бы своими ногами, пешком обойти этот небольшой городок, осмотреться. Он рад был оказаться наконец в Германии, ближе к делу корпусов и ближе к самой опасности. Он должен был отметить на карте своё новое пребывание и теперь по-новому рассмотреть все расположения: кто как близко оказывался к нему; через какие дороги; с кем была проводная связь и где проходила она. Он должен был истолковать себе этот сильный бой на северо-западе, послать туда, запросить. Тревожный поиск что-то додумать и дорешить всё грыз его, требовал трезвости, и ни одно из этих вин ему в глотку не шло сейчас, не имело вкуса.

Но был обряд гостеприимства и союзнической вежливости. А у вина, хоть и проглоченного безо вкуса,— своё теплящее, кружащее и успокаивающее действие.

И почему, в конце концов, надо было видеть плохое там, где этот неглупый британец видел только хорошее?

И, поднявшись массой тела своего, командующий возгласил короткий тост.

— ...за русского солдата! За святого русского солдата, кому терпенье и страданье — в привычку. Как говорится: русского солдата мало убить, пойди ещё его повали!

Постовский, не преминувший сразу по прибытии доложиться в штаб фронта, а затем и проверивший яства на самих кельнерах отеля, не отравлены ли, тем бы вполне облегчённый, и с веселием расположенный к праздничному обеду, если б не эта слишком близкая канонада, осматривал каждую бутылку придирчиво, прежде чем налить (там были домашние надписи на наклейках, их переводил штабс-капитан Дюсиметьер), и, превзойдя своё обычное скромное малословие, раскрылся похвалам гостя. Да! — германцы наглядно бежали! Да! — победа явная. И если бы Первая армия шла бы с тою же скоростью, что Вторая...

Заговорили в несколько голосов, тут и подъехавший Филимонов. И, без карты, вдруг выяснилось разноречие: все понимали так, что Вторая армия должна охватить и отрезать немцев, но все они, руководившие операцией, поразному понимали, *каким* же для этого она заходит крылом: правым или левым? Казалось бы, нельзя охватить Восточную Пруссию, не заходя крылом *левым*,— но достоверно-то было, что левое у них стоит на месте, а заходит *правое*?

Однако перенимая от Постовского главное и развивая его, англичанин, не поленясь приподняться (да он был очевидный спортсмен), объяснял в следующем тосте: гибель прусской армии будет концом Германии! Ибо все силы её на западе, и скованы там. На востоке она станет обнажена. И сразу же, за Пруссией, форсируя Вислу, русские армии откроют себе прямой, кратчайший и беспрепятственный путь на Б е р л и н!

Эти бокалы только подняты были, ещё не опорожнены, когда в зал вошёл дежурный капитан и ждал случая доложить. Самсонов кивком головы разрешил ему, опустил свой бокал непригубленным.

— Ваше высокопревосходительство! Вас просит к аппарату генерал Артамонов.

Командующий громко отодвинул стул и, забыв извиниться, пошёл, тяжело ступая.

Так и чувствовало вещее сердце...

Начальник штаба, изменясь лицом, посеменил паркетными плитами за ним.

В аппаратной стояла тишина, монотонно постукивали буквопечатающие юзы. В свои большие мягкие белые руки Самсонов принимал невесомую ленточку.

Генерал-от-инфантерии Артамонов приветствует генерала-от-кавалерии Самсонова.

Взаимно.

Генерал Артамонов считает своим долгом поставить в известность генерала Самсонова, что сегодня совместно с генштаба полковником Воротынцевым происходили телеграфные переговоры со Ставкой относительно степени подчинения 1-го армейского корпуса штабу Второй армии. Этот вопрос будет в Ставке выясняться. Окончательное решение Верховного Главнокомандующего пока не известно.

(Опять выясняться! Крутят опять.)

Генерал Самсонов надеется, однако, что генерал Артамонов выполнил

просьбу командования Второй армии прочно *находиться* своим корпусом севернее Сольдау для вернейшего обеспечения...

Да, генерал Артамонов это сделал ещё раньше просьбы. Заняты и удерживаются позиции далее Уздау.

Уздау... (Проверка по карте.)

Встречено ли при этом сопротивление противника?

Нет, вчера не встречено. Однако теми, весьма значительными, силами, о которых было доложено сегодня утром...

— ...Вам приданы дополнительные части...

— ...да, да, получил... Теми значительными силами сегодня корпус атакован, по каковой причине генерал Артамонов и счёл нужным обеспокоить генерала Самсонова.

Как именно значительны силы противника и каков результат боя?

Все атаки отбиты, все части доблестно устояли. Силы же противника, сколько можно предположить, больше армейского корпуса, вероятно — три дивизии. Это подтверждается и лётной разведкой.

Уже много неоторванной ленты сошло с пальцев командующего сперва на пальцы Постовского, потом к офицеру оперативного отделения, потом на пол и путалось кольцами.

Самсонов опустил большую голову, глядел в пол.

При всей пустой Пруссии — откуда столько сил может оказаться там, слева? Значит ли это, что противник уже утёк изо всей Восточной Пруссии, уже ушёл из подготовленного ему мешка — но не за Вислу, не бежал — а начинает напирать слева?

Или это свежие силы, только что подошедшие из самой Германии?

Так что ж, неужели сейчас, вот сию минуту — всем корпусам поворот налево?

В эту минуту дать решение.

В эту минуту.

А может быть — Артамонов и преувеличивает, он очень склонен к перепугу. И скорей всего преувеличивает.

Ему бы н а с т у п а т ь! Так вот — не согласовано со Ставкой...

Но удержаться он обязан! — он и сам теперь — полтора корпуса.

Аппарат работал вхолостую, Постовский и капитан поддерживали и расправляли ленту, чтоб она не запутывалась.

Генерал Самсонов во всяком случае настоятельно просит командира 1-го корпуса твёрдо держать нынешние позиции и не отходить нисколько, ибо это угрожало бы срывом всей армейской операции.

Генерал Артамонов заверяет командующего армией, что его корпус не дрогнет и не отступит ни шагу.

Продолжение следует

Н. В. Юхнёва

ДОГОВОРИМСЯ О ТЕРМИНАХ

В журнале «Диалог» (орган идеологических отделов Ленинградских обкома и горкома КПСС) помещена статья двух кандидатов философских наук, И. Игнатьева и Н. Фатиева, «Дороги „Пятого колеса"» (1989, август, № 22). В ней содержится крайне отрицательная оценка многих передач этого популярного ленинградского видеоканала. Два наиболее резких абзаца отведены моему выступлению (вернее — одной реплике) в передаче, посвященной национальному вопросу. Возмущение авторов вызвали следующие слова: «Многие вполне интеллигентные люди искренне заявляют: я — интернационалист, я одинаково ненавижу антисемитизм и сионизм. А эти понятия не сравнимы не только нравственно, но и логически. Антисемитизм — это ненависть или неприязнь к народу. А сионизм — это политическое течение, политическая доктрина, которая поставила во главу угла создание еврейского государства. С враждой к другим народам это никак не связано». Надо сказать, что в передаче после этих моих слов прозвучал закадровый голос (о чем критики «Пятого колеса» умалчивают), пояснивший, что на этот вопрос есть и другие точки зрения.

С «другими точками зрения» я уже сталкивалась после публикации в таллинском журнале «Радуга» (1989, № 11) моего доклада, прочитанного более года назад в Институте этнографии АН СССР, где я работаю. Во многих случаях разногласия были следствием непонимания или неверного толкования самого слова «сионизм».

В настоящее время у нас происходит переосмысление многих понятий, в том числе и основополагающих. Обсуждается, например, что такое социализм. Общество, построенное при Сталине, — разновидность социализма или разновидность фашизма? — таков разброс мнений. Очень много ложных стереотипов и в национальной проблематике. Целый ряд терминов требует пересмотра и уточнения. Среди них — термин «национализм». Это понятие считается у нас однозначно негативным. Национализм понимается не как любовь к своему народу, а, главным образом, как неприязнь к другим, хотя для этого явления имеется иной, правда, мало распространенный у нас термин — «ксенофобия». А как в таком случае назвать любовь к своему народу, естественное стремление к его благу, к развитию родного языка и национальной культуры, если все это сочетается с признанием прав на такие же чувства и действия всех народов? В советском русском языке такого слова нет. В подобных ситуациях говорят обычно о патриотизме (этому понятию у нас придается исключительно положительное значение), хотя это и не точно. Патриотизм — любовь к стране, отечеству. Если два или несколько народов живут чересполосно на одной территории, то есть имеют одно общее отечество, патриотизм у них общий, а национальные чувства и пристрастия — разные. В такой ситуации возможны и конфликты, и мирное, дружественное сосуществование. Конфликт возникает, если один или каждый из живущих на одной территории народов заявляет о своей исключительной к ней причастности. Мир обеспечивается признанием за всеми народами безусловных и равных прав на национальное развитие в общем отечестве. Таким образом, у нас просто нет слова для обозначения приверженности к своей национальной культуре, не связанной с ксенофобией (во всем мире для этого понятия употребляется термин «национализм»). Выход (хотя бы предварительный) мне видится не в том, чтобы изобретать новые термины (что еще больше удалит нас от мирового сообщества, которому они будут непонятны), а в употреблении имеющихся в качестве абсолютно нейтральных, без придания им оценочного смысла. При этом следует, конечно, помнить, что реальности жизни вовсе не нейтральны, что и патриотизм, и национализм могут быть со знаком «плюс» или со знаком «минус». «Отрицательный» патриотизм связан с враждой к другим странам, в конечном счете — с призывом к войне и ее развязыванию; «отрицательный» национализм — с неприязнью к другим народам, независимо от того, живут ли они в одном или в разных государствах.

К терминам, требующим переосмысления, относится и «сионизм». По широко утвердившемуся у нас представлению само слово воспринимается как оскорбительное, так его понимают и евреи, и неевреи. При этом никто не знает доподлинно, кто такие сионисты. Для одних это — израильтяне (все или худшие из них), для других — евреи (все или только те, кто заражен «русофобией»), для третьих — международная еврейская мафия, стремящаяся к мировому господству. В слово «сионизм» впрессовано столько отрицательного, что преодолеть стереотип восприятия будет, безусловно, нелегко. Тем не менее начавшие появляться в последнее время в нашей печати непредвзятые, доброжелательные публикации об Израиле должны постепенно изменить ситуацию (см. например, выступление Э. А. Шеварднадзе в «Известиях» от 24 февраля, статью В. Коротича в № 33 «Огонька», беседу с М. Агурским и В. Носенко в журнале «Новое время», № 32).

Рассеянные по свету евреи никогда не забывали своей исторической родины. Долгие века в пасхальные дни в еврейских семьях звучали слова: «Следующий год — в Иерусалиме». Никакого реального содержания это пожелание в себе не несло, Иерусалим был стравой мечты, подобно русскому легендарному Беловодью. Но мечта эта, пронесенная через столетия, помогла в конце прошлого века оформиться еврейскому национальному движению, которое возникло как реакция, с одной стороны, на ассимиляцию, с другой — на подъем антисемитизма, но вместе с тем и под сильным влиянием национально-освободительной борьбы народов, среди которых евреи жили, — поляков, венгров, чехов, итальянцев и других. Евреи захотели быть «как все» — жить на своей земле среди своих, иметь собственное государство, в котором они были бы и правителями, и народом. Но — где? Те, кто, опираясь на исторические воспоминания, обратил свои взоры на землю древней Палестины, стали называть себя «сионистами» (Сион — наименование храмовой горы в Иерусалиме и вообще Иерусалима). В Палестину отправились первые переселенцы. Это были в основном бедные выходцы из российской черты оседлости (более богатые слои в России, а также евреи Западной Европы мало думали о Палестине, для них гораздо характернее были ассимиляционные настроения). Сионизм, таким образом, возник как движение за возвращение на историческую родину, освоение там сельскохозяйственных поселений. Политический сионизм при этом имел в виду и создание (в будущем) еврейского государства. Среди евреев было много противников сионизма, которые считали и нереальным, и ненужным собирать народ на исторической родине. Решение «еврейского вопроса» одни видели в ассимиляции, другие — в национально-культурной автономии, третьи — в пролетарской революции и победе социализма. В Палестину ехали немногие. Среди переселенцев нельзя не упомянуть группы социалистически и коммунистически настроенной молодежи, приехавшие в Палестину из Советской России в начале 20-х годов; некоторые основанные ими на коммунистических началах сельскохозяйственные киббуцы существуют до сих пор.

Трагедия, которую пережил еврейский народ в годы второй мировой войны, когда нацистами было уничтожено 6 миллионов евреев, положила конец спорам о том, нужно ли евреям свое государство. По решению ООН, в выработке которого приняли самое активное участие представители СССР, на территории Палестины создавались два государства — еврейское и арабское. Еврейское должно было принять десятки тысяч людей с искалеченными душами, которые не в силах были оставаться жить там, где зверски уничтожили их семьи, их близких, их современников.

14 мая 1948 года было провозглашено создание государства Израиль. На следующий день началась первая арабо-израильская война.

Среди широкой публики у нас бытует представление об Израиле как агрессоре, который бесконечными войнами и захватом палестинских территорий препятствует созданию арабского государства. Мало кто помнит начало арабо-израильского конфликта. В конце ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделении Палестины на два государства — еврейское и арабское. 17 декабря Совет Лиги арабских стран объявил, что силой воспрепятствует осуществлению раздела. Нерегулярные арабские части стали проникать в страну, готовясь к войне. 15 мая, на другой день после провозглашения, Израиль подвергся нападению объеди-

---

Юхнёва Наталия Васильевна. Ведущий научный сотрудник Института этнографии АН СССР. Доктор исторических наук. Живет в Ленинграде.

ненных армий арабских государств. Далее последовало еще несколько войн, в результате которых Израиль занял территорию, значительно превосходившую по площади ту, на которой планировалось создание Палестинского арабского государства. Все это время арабские страны и Организация освобождения Палестины (ООП, создана в 1964 году) не признавали ноябрьскую 1947 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН и стремились к ликвидации Израиля. В настоящее время ООП (но далеко не все арабские государства!) решилась наконец признать эту резолюцию, примирившись с существованием Израиля. Предстоят долгие трудные переговоры по урегулированию положения на Ближнем Востоке.

Мои оппоненты в «Диалоге» в своей оценке сионизма ссылаются на резолюцию ООН от 11 ноября 1975 года, в которой сионизм приравнивается к расизму. Что ж, эта резолюция не является истиной в последней инстанции. Ведь даже осуждая агрессивные или террористические акции Израиля, нельзя связывать их с сионизмом в целом. Сионисты, то есть сторонники еврейской эмиграции в Израиль, есть разного толка — от самых левых до крайне правых.

В антисионистских сочинениях можно прочитать, что в сионизме имеется два течения. Цель одного — переселение евреев в Израиль (с этим течением связан арабо-израильский конфликт, о котором говорилось выше), цель другого — мировое господство. Каждому здравомыслящему человеку понятно, что маленькое государство Израиль, окруженное враждебным ему арабским миром, с которым оно находится в состоянии перманентной войны, не может и мечтать о мировом господстве — самому бы уцелеть! Откуда же взялся и на что опирается миф о стремлении сионистов к мировому господству? Кроме фальшивок вроде «Протоколов сионских мудрецов» есть одна реальность, которая, вероятно, способствует живучести у нас этого мифа. Дело в том, что имеется довольно много международных еврейских организаций. Их разветвленная мировая сеть вызывает, при отсутствии достаточной информации, страх перед ними. Этот психологический феномен является следствием долгой, в течение нескольких поколений, жизни нашего народа за «железным занавесом». Между тем возникновение международных еврейских организаций вполне естественно, поскольку евреи расселены во всех частях света. Цели у таких организаций разные — благотворительные, научные, просветительские; деятельность направлена только на евреев. Среди этих организаций есть несионистские — они стараются помочь евреям, живущим в разных странах, оставаться евреями, сохранить знание языка, культуру, религиозные традиции. Есть и сионистские, их цель — способствовать эмиграции в Израиль. Причем именно сионистские организации в большинстве случаев отрицательно относятся к участию евреев в политической жизни и борьбе в странах, где они живут, проповедуют принцип невмешательства в «чужие», с их точки зрения, дела.

В заключение я хочу отвести от себя предъявленное мне обвинение в сионизме. Пропагандировать сионизм, то есть призывать евреев уезжать в Израиль, для русского человека более чем двусмысленно — очень уж смахивает на черносотенные призывы. Массовая эмиграция евреев из нашей страны отзывается в моем сердце сильной болью, в особенности оттого, что в последнее время она стимулируется ростом общественного антисемитизма, за что я чувствую и свою ответственность.

Исторические чтения «Звезды»

Лев Гумилев

ЭТНОСЫ И АНТИЭТНОСЫ

Главы из книги

Обыкновенная история. Слово «история» имеет огромное количество значений. Можно сказать «военная история» — история сражений и походов, и это будет совершенно другая история, с другим содержанием и с другим подходом к материалу. Может быть история культуры, история государств и юридических институтов, может быть история болезни, в конце концов. И в каждом случае слово «история» должно иметь прибавку — история чего?

Нас должна интересовать история этническая, этногенез — история происхождения и исчезновения этносов. Но так как происхождение и исчезновение этносов, во-первых, процесс, который до нас вскрыт не был, во-вторых, процесс, который мы должны вскрыть, то нам нужно иметь тот материал, тот архив сведений, отталкиваясь от которого, мы подойдем к решению нашей проблемы. А таковым является история событий в их связи и последовательности.

Но тогда что же считать «событием» применительно к этнической истории? На первый взгляд, вопрос не заслуживает ответа. Но вспомним, что так же очевидны такие явления, как свет и тьма, тепло и холод, добро и зло. Обывателю все ясно и без оптики, термодинамики, этики. Но поскольку мы вводим понятие «событие» в научный оборот, то следует дать дефиницию, то есть условиться о значении термина.

Однако здесь таится еще одна трудность: нам надлежит применять термин в том же значении, что и наши источники — древние хронисты, иначе чтение их трудов станет чрезмерно затруднительно, а часто и бесперспективно. Зато, научившись понимать их способ мысли, мы получим великолепную информацию, усваиваемую читателем без малейших затруднений.

Легче всего определить понятие «событие» через понятие «связи». Рост и усложнение этноса представляется современникам нормой, но любая потеря или раскол отмечается как нечто заслуживающее особого внимания, то есть событие. Но коль скоро так, то событием именуется разрыв одной или нескольких связей либо внутри этноса, либо на границе его с другим этносом. Последствия разрыва могут быть любыми, иной раз весьма благоприятными, но для теоретической постановки проблемы это не имеет значения. Так или иначе, событие — это утрата, даже если это то, от чего полезно избавиться.

Значит, этническая история — наука об утратах, а история культуры — это кодификация предметов, уцелевших и сохраняющихся в музеях и частных коллекциях, где они подлежат каталогизации. В этом основная разница этих двух дисциплин, которые мы впредь смешивать не будем.

События истории известны нам с того момента, когда письменные источники стали излагать события связно во всей Ойкумене или по крайней мере в Старом Свете. Если мы будем забираться в более глубокую древность, с этим неизбежно будет связана аберрация дальности, расплывчатость или исчезновение границ событий. Как следствие — мы будем выдумывать, вместо того чтобы изучать. Этого надо избежать, потому что выдумать почти

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1.

никогда нельзя адекватно действительности. Но надо избежать и аберрации близости — некорректируемых ошибок преувеличения. Современные этнические процессы незавершены; сказать, как они пойдут дальше, мы не можем. А устанавливать закономерности, что является нашей целью, мы можем только на законченных процессах.

Поэтому мы возьмем тот самый средний период, где факты известны, соразмерность их очевидна, достоверность их установлена двухтысячелетним изучением первоклассными историками, работавшими до нас, и используем этот средний период как образец, на базе которого мы будем строить все наши соображения и гипотезы.

Хронологические рамки этого периода: примерно с X – XI вв. до н. э. до начала XIX в. н. э., или от падения Трои до капитуляции Наполеона. Между этими датами совершенно достаточно материалв для того, чтобы разобраться во всей сложности проблемы.

Системный подход. Одного материала для понимания проблемы — недостаточно. Необходим инструмент — методика. Что составляет основу нашей методики?

После второй мировой войны появилось одно замечательное открытие, правда, не у нас, а в Америке, но принято оно у нас на вооружение тоже полностью. Это то, что называется системным подходом, или системным анализом. Автор его, Лео фон-Берталанфи, — американец немецкого происхождения, биолог Чикагского университета. В 1937 году на философском семинаре он выступил с докладом о системном подходе для определения понятия «вид». Доклад был совершенно не понят, и автор «сложил все свои бумаги в ящик стола». Потом он поехал воевать. К счастью, его не убили. Вернувшись в Чикаго, он достал свои старые записки, повторил свой доклад и обнаружил совершенно новый интеллектуальный климат.

А что же он предложил? Никто из биологов не знает (Берталанфи был биологом), что такое «вид». Каждый знает, что есть собака, и есть ворона, и есть лещ, фламинго, жук, клоп... Все это знают, но определить, что это такое, никто не пытается, кроме узких специалистов-ученых. И почему животные одного вида в растения одного вида связаны каким-то образом между собой? Берталанфи предложил определение «вида» как «открытой системы».

Системный анализ — это такой метод анализа, когда внимание обращается не на персоны, особи, которые составляют вид, а на отношения между особями.

Условимся о значении терминов и способах их применения на практике. Слишком большое стремление к точности не полезно, а часто бывает помехой в процессе исследования. Ведь рассматривать Гималаи в микроскоп бессмысленно. Поэтому для планетарных явлений следует принять первичные обобщенные категории системных связей, исключив детализацию, которая ничего не даст для понимания целого. Выделим в системных связях четыре типа, которые для применяемой методики необходимы и достаточны. Разделим системы на: открытые и замкнутые (или закрытые), жесткие и корпускулярные, или, как их иначе называют, дискретные. В чем смысл такого деления?

Открытая система — это, допустим, наша планета Земля, которая все время получает солнечные лучи, благодаря им происходит фотосинтез, а излишек энергии выбрасывается в космос. Это и то или иное живое существо, которое получает запас энергии в виде пищи. Животные эту пищу добывают, размножаются, дают потомство, умирают. В итоге возвращают свое тело земле. Словом, открытая система получает энергию извне, обновляется.

Примером закрытой системы может стать печка. Она стоит в комнате, а в ней дрова. Холодно. Затапливаем печку, дров больше не подбрасываем, закрыли ее, дрова сгорают, печка раскаляется, комнатная температура поднимается, уравнивается с печкой, потом они вместе остывают. В данном случае запас энергии в виде дров получен единожды. После этого процесс кончается. Эта система — замкнутая.

Пример жесткой системы — хорошо слаженная машина, где нет ни одной лишней детали, она работает только тогда, когда все винтики на месте; она получает достаточное количество горючего или, наоборот, стоит и служит, как микроскоп, каким-то целям. В чистом виде жесткой системы никогда не может быть. Например, машину все-таки надо красить; но можно ее покрасить и в синий цвет, и в желтый, и в зеленый — цвет как бы не имеет значения. Но в идеале в жесткой системе все должно иметь значение, тогда такая машина эффективнее работает. Но при поломке одной детали она останавливается и выходит из строя.

Корпускулярная система — это система взаимодействия между отдельными частями, не связанными между собой жестко, но тем не менее нуждающимися друг в друге. Биологический вид корпускулярной системы — семья; она основана на том, что муж любит свою жену, жена — мужа. А дети (их может быть пятеро или трое), теща, свекровь, родственники — все они являются хотя и элементами этой системы, но и без них можно обойтись. Важна только ось связующая: любовь мужа к жене и жены к мужу — любовь взаимная или односторонняя. Но как только кончается эта невидимая связь, система разваливается, а ее элементы немедленно входят в какие-то другие системные целостности.

Зато культура — создание рук и ума человека — система жесткая, хотя замкнутая, неспособная к самостоятельному развитию. Любой предмет, будучи создан человеком, обретает форму, которая консервирует материал: камень, металл или слово и музыкальную мелодию. Создание рук человеческих выходит за пределы природного саморазвития. Оно может либо сохраняться, либо разрушаться.

Пирамиды стоят долго; за такое же время горы разрушаются, ибо слагающие их породы от воздействия перепадов температуры и влажности трескаются и превращаются в щебень. Реки меняют свои русла, подмывая берега и образуя террасы. Лес во влажные периоды наступает на степь, а в засушливые отходит обратно. Это и есть торжествующая жизнь планеты, и особенно биосферы, самой пластичной из ее оболочек. А произведения техники и даже искусства взамен жизни обрели вечность. И если закрытые системы превращаются в открытые, то они погибают. Железо окисляется, мрамор крошится, музыка смолкает, стихи забываются. Жестокий старик Хронос пожирает своих детей.

Какой же системой является этнос? По моему мнению, этнос — это замкнутая система дискретного типа — корпускулярная система. Она получает единый заряд энергии и, растратив его, переходит либо к равновесному состоянию со средой, либо распадается на части.

Именно как системы такого типа существуют в биосфере природные коллективы людей с общим стереотипом поведения и своеобразной внутренней структурой, противопоставляющие себя («мы») всем другим коллективам (не «мы»). Это явление противопоставления связывает социальные формы со всеми природными факторами. Это как раз тот механизм, при помощи которого человек влияет на природу, воспринимает ее составляющие и кристаллизует их в свою культуру. Вот тезис, который я буду защищать в дальнейшем и который, как мне кажется, благодаря 20-летнему опыту (20 лет тому назад вышли первые мои работы на эту тему) не был поколеблен.

Теперь зададимся вопросом: как рождаются и созревают такие системы, как этносы?

Условие, без которого нельзя. Ставя проблему первичного возникновения этнической целостности из особей (людей) смешанного происхождения, разного уровня культуры и различных особенностей, мы вправе спросить себя: а что их влечет друг к другу? Очевидно, не принцип сознательного расчета и стремления к выгоде, так как первое поколение сталкивается с огромными трудностями — необходимостью сломить устоявшиеся взаимоотношения, чтобы на их месте установить новые, отвечающие их запросам. Это дело рискованное, и зачинателям редко удается воспользоваться плодами победы. Так же не подходит принцип социальной близости, так как новый этнос уничтожает институты старого. Не означает ли это, что человеку, дабы войти в новый этнос, в момент становления надо дезинтегрироваться по отношению к старому? Нет, все иначе!

Люди объединяются по принципу комплиментарности. Комплиментарность — это неосознанная симпатия к одним людям и антипатия к другим, то есть как бы положительная и отрицательная комплиментарность. Когда создается первоначальный этнос, то инициаторы этого возникающего движения подбирают себе активных людей именно по этому комплиментарному признаку — выбирают тех, кто им просто симпатичен.

«Иди к нам, ты нам подходишь» — так отбирали викинги юношей для своих походов. Они не брали тех, кого считали ненадежным, трусливым, сварливым или недостаточно свирепым. Все это было очень важно, ибо речь шла о том, чтобы взять его к себе в ладью, где на каждого человека должна была пасть максимальная нагрузка и ответственность за собственную жизнь и за жизнь своих товарищей.

Так же Ромул и Рэм отбирали себе в помощь крепких парней, когда они на семи холмах организовали группу, способную терроризировать окрестные народы. Эти ребята, по сути бандиты, потом стали патрициями, основателями мощной социальной системы.

Так же поступали и первые мусульмане; они требовали от всех признания веры ислама, но при этом в свои ряды старались зачислить людей, которые им подходили. Надо сказать, что от этого принципа мусульмане довольно быстро отошли. Арабы стали брать всех и за это заплатили очень дорого, потому что как только к ним попали лицемерные люди, те, которым было в общем абсолютно безразлично — один бог или тысяча, а важнее была выгода, доходы и деньги, то к власти пришли последние — именно эти лицемеры.

Их возглавил Моавия ибн Абу-Суфьян — сын врага Мухаммеда. Он добился власти и объявил примерно так: «Вера ислама должна соблюдаться, а вино я выпью у себя дома, и каждый желающий тоже может выпить. Молиться все обязаны, но если ты пропустил намаз, то я не буду на это обращать внимания, и если ты хапаешь государственную казну, но ты мне симпатичен, на это я тоже не буду обращать внимания». Следовательно, как только принцип отбора по комплиментарности заменился принципом всеобщности, система испытала страшный удар и деформировалась.

Принцип комплиментарности фигурирует и на уровне этноса, причем весьма действенно. Здесь он именуется патриотизмом и находится в компетенции истории, ибо

нельзя любить народ, не уважая его предков. Внутриэтническая комплиментарность, как правило, полезна для этноса, являясь мощной охранительной силой. Но иногда она принимает уродливую, негативную форму ненависти ко всему чужому; тогда она именуется шовинизмом.

Но комплиментарность на уровне культурного типа всегда умозрительна. Обычно она выражается в высокомерии, когда всех чужих и непохожих на себя людей называют «дикарями».

Принцип комплиментарности не относится к числу социальных явлений. Он наблюдается у диких животных, а у домашних известен каждому, как в позитивной (привязанность собаки или лошади к хозяину), так и в негативной форме. Если у вас есть собака, то вы знаете, что она относится к вашим гостям избирательно — почему-то к одним лучше, к другим хуже. На этом принципе основано приручение животных, на этом же принципе основаны семейные связи.

Но когда мы берем этот феномен в исторических, больших масштабах, то эти связи вырастают в очень могучий фактор — на комплиментарности строятся отношения в этнической системе.

Итак, рождению любого социального института предшествует объединение какого-то числа людей, симпатичных друг другу. Начав действовать, они вступают в исторический процесс, сцементированные избранной ими целью и исторической судьбой. Как бы ни сложилось их будущее, общность судьбы — «условие, без которого нельзя».

Такая группа может стать разбойничьей бандой викингов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, буддийской общиной монахов, школой импрессионистов и т. п., но общее, что можно вынести за скобки,— это подсознательное взаимовлечение, пусть даже для того, чтобы вести споры друг с другом. Поэтому эти зародышевые объединения мы назвали консорциями. Не каждая из консорций выживает; большинство при жизни основателей рассыпается, но те, которым удается уцелеть, входят в историю общества и немедленно обрастают социальными формами, часто создавая традицию. Те немногие, чья судьба не обрывается ударами извне, доживают до естественной утраты повышенной активности, но сохраняют инерцию тяги друг к другу, выражающуюся в общих привычках, мироощущении, вкусах и т. п.

Эту фазу комплиментарного объединения мы назвали конвиксией. Она уже не имеет силы воздействия на окружение и подлежит компетенции не социологии, а этнографии, поскольку эту группу объединяет быт. В благоприятных условиях конвиксии устойчивы, но сопротивляемость среде у них стремится к нулю, и тогда они рассыпаются среди окружающих консорций.

Энергия живого вещества. Из всего вышесказанного очевидно, что этносы являются биофизическими реальностями, всегда облеченными в ту или иную социальную оболочку. Следовательно, спор о том, что является первичным — биологическое или социальное,— подобен спору о том, что первично в яйце — белок или скорлупа? Ясно, что одно невозможно без другого, и поэтому диспут на эту тему беспредметен.

Однако существует иная точка зрения: «Социальные факторы, образующие этнос, этническое самосознание в том числе, ведут к появлению сопряженной с ним популяции, то есть перед нами картина прямо противоположная той, которую дает Л. Н. Гумилев». Таким образом, дискуссия идет о том, лежит ли бытие в основе сознания или, напротив, сознание в основе бытия. Действительно, при такой постановке вопроса предмет для спора есть. Разберемся.

Ю. В. Бромлей имеет право выбрать для своего логического построения любой постулат, даже вполне идеалистический, согласно которому реальное бытие этноса не только определяется, но и порождается его сознанием. Правда, он рискует оказаться в положении Тейяра де-Шардена, которого отвергли и французские коммунисты, и католики. Ситуация аналогична. Акт творения материальной реальности приписан человеческому сознанию, поставленному выше Творца мира или на его место. С этим не согласятся католики. А философы-материалисты не примут тезиса о первичности сознания.

Но даже ученые-эмпирики не имеют права на согласие с тезисом Ю. В. Бромлея, ибо он нарушает закон сохранения энергии. Ведь этногенез — это процесс, проявляющийся в работе (в физическом смысле). Совершаются: походы, строительства храмов и дворцов, реконструкция ландшафта, подавление несогласных внутри и вне создающейся системы. А для совершения работы нужна энергия, самая обычная, измеряемая килограммометрами или калориями. Считать же, что сознание, пусть даже этническое, может быть генератором энергии,— это значит допускать реальность телекинеза, что уместно только в фантастике.

Поясняю. Каменные блоки на вершину пирамиды были подняты не этническим самосознанием, а мускульной силой египетских феллахов по принципу: «Раз-два, взяли». И если канат тянули, кроме египтян, ливийцы, нубийцы, хананеяне, то дело не менялось. Роль сознания, и в данном случае не этнического, а личного — инженера-строителя, была

в координации имевшихся в его распоряжении сил, а различие между управлением процессом и энергией, благодаря которой процесс идет, очевидно.

Какая же это форма энергии? Ясно, что это не механическая, хотя она проявляется в механических передвижениях — миграциях, походах, строительстве зданий. Ясно совершенно, что это и не электрическая энергия (электричество ведет себя совершенно иначе, и его можно было бы засечь приборами). Совершенно ясно, что и не тепловая. Какая же?

У нас в Советском Союзе вышла замечательная книга — это посмертная работа В. И. Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», где эта самая форма была описана.

В. И. Вернадский назвал ее биогеохимической энергией живого вещества биосферы. Это та самая энергия, которая получена растениями путем фотосинтеза и затем усвоена животными через пищу. Она заставляет все живое расширяться путем размножения до возможного предела. Один лепесток ряски в большом озере может закрыть при благоприятных условиях все озеро ряской и остановится только там, где есть берега. Одно семечко одуванчика, если не уничтожать его потомства, покроет всю Землю. Медленнее всех размножаются слоны. В. И. Вернадский в своей книге подсчитал, сколько времени потребуется для того, чтобы слоны при нормальном темпе размножения заняли всю сушу Земли,—735 лет.

Земля не переполнена живым только потому, что эта энергия разнонаправлена и одна система живет за счет другой, одна погашает другую. «Убивая и воскрешая, набухать вселенской душой — в этом воля земли святая, непонятная ей самой». Теперь название этой вселенской души мы знаем; это — биогеохимическая энергия живого вещества биосферы.

Но если двигатель событий — энергия, то она должна вести себя согласно всем энергетическим законам. Прежде всего она должна отвечать энергетическому эквиваленту, то есть переходить в другие формы энергии, скажем, в механическую, в тепловую. И она переходит. В электрическую? Вероятно, тоже. Где эта энергия содержится, в каких органах человеческого тела? На это, пожалуй, могут ответить физиологи.

Очевидно, сама живая личность создает вокруг себя какое-то напряжение, обладает каким-то реальным энергетическим полем или сочетанием полей, подобно электромагнитному, состоящему из каких-то силовых линий, которые находятся не в покое, а в ритмическом колебании с разной частотой.

Закономерен вопрос: какое отношение имеет энергетическое поле человека к интересующей нас проблеме этноса и этногенеза? Для ответа на него вспомним, что в основе этнического деления лежит разница поведения особей, составляющих этнос. Поэтому нас интересует прежде всего то влияние, которое оказывает наличие поля особи на ее поведение.

Так как особи нового настроя взаимодействуют друг с другом, то немедленно возникает целостность — однонастройная эмоционально, психологически и поведенчески, что, очевидно, имеет физический смысл. Скорее всего, здесь мы видим одинаковую вибрацию биотоков этих особей, иными словами — единый ритм (частоту колебаний). Именно он воспринимается наблюдателями как нечто новое, непривычное, не свое. Но как только такое пассионарное поле (пассионарность от лат. passio — страсть) возникло, оно тут же оформляется в социальный институт, организующий коллектив пассионариев: общину, философскую школу, дружину, полис и т. д. При этом охватываются особи не пассионарные, но получившие тот же настрой путем пассионарной индукции. Консорция преображается в этнос, который при расширении покоряет (политически или морально) другие этносы и навязывает им свой ритм. Поскольку ритм накладывается на иные ритмы, полной ассимиляции не происходит и возникает суперэтнос.

При сочетании данного ритма с другими теоретически может возникнуть либо гармония, когда фазы колебания идут в унисон, либо дисгармония, своего рода какофония. В первом случае идет этническое слияние, ассимиляция; во втором — нарушение ритма одного из обоих полей, что расшатывает системные связи и ведет к аннигиляции.

Нарушенные структуры не поддаются длительной эволюции. При упрощении они выделяют свободную энергию, рассеивающуюся в пространстве, а сами аннигилируются. Значит, лимит эволюций этнических структур — некрогенез.

В социальной форме движения материи таких ограничений нет. Лимит прогресса неизвестен и вряд ли существует. Лишь сопряженность обоих типов эволюции в процессе линейного времени ограничивает возможности спонтанного движения, направленного в сторону усложнения структур. Но эта проблема лежит за пределами не только географии и этнической истории, но и вообще природоведения. Ее могут решить только философы.

...Остановимся на вопросе взаимовлиянии культуры (творения рук человеческих и разума) и этногенеза (феномена природы). Надо сказать, что культура для этнолога — не предмет, а инструмент исследования, но инструмент крайне необходимый. Ведь культура — это как раз то, что мы можем изучить, это то, что лежит на поверхности.

Очень сильно сказывается на культуре временной момент, момент памяти — памяти генетической, памяти традиционной — памяти прежних культур, то есть наличия в новой культуре рудиментов, которые были для созданной заново культурной системы субстратами, исходными элементами. Этот тезис звучит довольно маловразумительно, когда его формулируешь абстрактно, но сейчас мы перейдем к конкретным примерам и увидим, что все это реально.

...В древнем мире известны 4 культуры, относящиеся к VI—V вв. до н. э. Акматические фазы этносов, создавших эти культуры, изучены достаточно хорошо. Местообитания этих этносов расположены по 30 параллели и охватывают Грецию, Северную Персию, Индию и Средний Китай. Очевидно, на этой полосе где-то на рубеже IX—VIII вв. до н. э. был пассионарный толчок. Что происходило тогда в этих странах, никто толком не знает. Есть догадки, отрывочные сведения, легенды. А вот что касается VI—V вв. до н. э., то тут мы знаем уже много. Если мы возьмем четыре основных очага — Элладу с областями ионийской культуры; Иран с Мидией и прилегающими областями Бактрии; Бенгалию, которая лежит, правда, немножко южнее, чем Иран, но, с другой стороны, в пределах допуска; и Центральный Китай,— то мы увидим, что здесь в одно и то же время (в VI—V вв. до н. э.), существуют четыре большие, хорошо изученные культуры. Это — классическая Греция с ее классической философией; Ахэменидская монархия с ее новым культурным достижением — маздеизмом, антагонистическим дуализмом; в Индии это — эпоха Будды и его проповеди; в Китае, в пределах допуска, это — Конфуций и Лао-цзы. Все четыре перечисленные региона отличаются одной общей чертой — здесь возникают философские системы настолько остроумные, настолько логичные, настолько увлекательные, что влияние их в той или иной степени доходит до нашего времени. Все авторы тоже хорошо известны. Им уделяют огромное внимание. Их изучают, с ними спорят. Но как они не похожи друг на друга!

Эллада. Когда древние эллины заинтересовались проблемами мироздания, бытия и места человека в нем, они обратили внимание прежде всего на природу (это были натурфилософы, которых интересовало, как устроен мир).

Первый из греческих мудрецов Фалес Милетский считал, что вода — источник всего живого и что «все полно демонов», то есть мир — это не косная материя, а живые существа, которые между собой взаимодействуют. Остроумная система, увлекательная: и Земля — живой организм, и скалы, и утесы, и моря, и горы, и долины — все полно жизнью, но непохожей на нашу, которую мы просто не можем распознать.

Его младший современник Анаксимандр объявил, что в основе всего лежит апейрон — беспредельность; Анаксагор, тоже их современник, предположил, что в основе всего лежит эфир — очень тонкий газ.

Гераклит сделал еще шаг. Он предположил, что вообще нет никаких вещей — это все обман чувств, обман зрения, на самом деле есть только процессы: «Никто не может вступить дважды в один и тот же поток. И к смертной сущности никто не прикоснется дважды». Это, пожалуй, близко к нашему современному диалектическому подходу, хотя другой тезис Гераклита, логически вытекающий из предыдущего, воспринимается в наше время без симпатии: «Война — отец и царь всего живущего; война сделала одних людей ботами, других смертными и рабами». В самом деле, если мир — живой процесс, то естественно, что столкновение и пересечение потоков жизни должно выявляться как борьба, война. Так что с его, с гераклитовской, точки зрения это вывод логичный.

Иная концепция мироздания была разработана Пифагором, жившим на западе, в Сиракузах. Пифагор предположил, что в основе мира лежит абстракция — число. Но как ни отличны эти учения, важно, что для всех греков было характерно стремление узнать — а что же такое мир, который нас окружает? Им в голову не приходило, что можно интересоваться чем-нибудь другим.

Иран и Туран. В отличие от греков, персов мало интересовала натурфилософия, им интересно было другое — где друзья и где враги, что считать добром, а что — злом, извечна ли вражда? Здесь Зердушт (я произношу по-новоперсидски, по-древнеперсидски будет Заратуштра), уроженец города Бальха (это на самом востоке Ирана) объявил, что дело не в том, чтобы разобраться, из чего состоит мир — это каждый сам видит: есть реки, горы, леса, пустыни, скот, храбрые воины; дело в разнице между днем и ночью — светом и мраком. Облек он это в замечательную философскую концепцию, ставшую основой многих видов дуализма.

По древнеарийским воззрениям, характерным и для персов, и для индусов, и для эллинов, и для скандинавов, и для славян — для всех древних арийцев,— было три поколения богов, то есть три эпохи космического становления.

Первое поколение — это Уран, то есть космос — стабильное пространство, заполненное вещами. В эпоху Урана все было в полном порядке; никто никуда не двигался, ибо не было времени, не было и движения.

Движение пришло на смену этой эпохе в «век Сатурна», или Хроноса, то есть когда появилось время. Сатурн, как известно, изуродовал своего отца Урана, заключил его в темницу и начал свирепствовать, все изменяя. Мир превратился в вертящийся калейдоскоп, в котором ничто не может удержаться надолго; тогда стали появляться чудовищные изменчивые формы — гиганты.

Греки и индусы считали гигантов чем-то омерзительным, а вот Зердушт решил, что те, которых индусы называли асуры, а греки гигантами или титанами, это и есть амешаспента — лучшие помощники Светлого Божества. И на этом он остановился.

Это был переворот в мировоззрении. Ведь греки, например, тоже верили в гигантов, но поклонялись они третьему началу, персонифицированному в виде Зевса, то есть Бога (Зеус и Деус — это одно и то же; «з» в «д» переходит). Сила Зевса была в электричестве — молнии. Зевс победил Сатурна, заключил его в какую-то пещеру и навел порядок. Он установил власть олимпийских богов, которые с тех пор постоянно воюют с гигантами, так как гиганты все время нападают на них.

Точно такая же мифологема существует и в Индии, где тоже уважают Дэва (Дэва, Деус — это одно и то же). Боги воюют с асурами, а асуры стремятся победить богов, но все время терпят поражения, однако, потерпев поражение, немедленно реорганизуются и опять бросаются на богов, и так — бесконечно. Нам важно отметить здесь то, что и эллины, и древние индусы стояли на стороне богов, а Зердушт предложил стать на сторону гигантов и, следовательно, считать богов дьяволами, хотя по-персидски они называются так же: Дэва — на староперсидском и Див — на новоперсидском. Таким образом, Бог превратился в дьявола; Див, как это все знают теперь, просто черт.

Так вот, в V в. до н. э. Зердушту удалось победить своих противников. Он уговорил Ксеркса издать «антидэвовскую надпись» и запретить почитание Дэвов в своем государстве. Исключение было сделано только для двух бывших богов: для прекрасной Анахиты (уж очень ее полюбили персы и поэтому поклоняться ей разрешили — это богиня любви и плодородия) и для Митры.

О Митре надо сказать особо. Митра считался братом Урана (Варуны — по-индийски, то есть Космоса). Митра — тоже космическое божество. Солнце — это только глаз Митры, однако Митра имел узкое назначение. Так как в древние времена война была постоянным занятием, которое изредка прерывалось периодами мира, то мир скреплялся клятвой. Во время войны обман и всякого рода дезинформация противника считались разрешенными — на то и война, не будь лопухом,— а вот клятву надо было беречь, и раз мир заключен, то уж, извините, никого обманывать и убивать нельзя. А так как клятвы, случалось, нарушали и в те времена, то Митра получил узкую специализацию — охранять клятвы и наказывать клятвопреступников, то есть он боролся против предателей. И дело это было весьма актуальным по тем временам, да и для более поздних времен тоже, поэтому культ Митры уцелел даже после реформ Зердушта. Уж очень важно было иметь гарантию спокойного существования, подтвержденного договором, и знать, что договор будет соблюдаться. Митра не требовал специального поклонения, он был «для верных и неверных». Он охранял любые клятвы, наказывал любых клятвопреступников. И Зердушт тоже в основу нового мировоззрения положил дуализм, борьбу света и тьмы, светлого Ормузда и темного Аримана, но Ормузд был богом только персов, которые были допущены к таинствам поклонения огню, солнцу и всем видам света, в аримановцами считались все остальные, в том числе почти все наши азиаты и парфяне. И если у иранцев священным животным была собака, то туранцы почитали змей.

А Митра был «для всех». Хотя и митраизм был системой строго дуалистической и только в этом смысле сходен с зороастризмом.

Тибет. Митраистическая система распространилась по Тибету, Монголии, Восточной Сибири, по всей Центральной Азии. Врагом Митры (его другое название — Бог Белый Свет) был демон Длинные Руки — в персидских текстах названия этого демона не сохранилось, это тибетское название. Демон Длинные Руки, вождь целого полчища демонов,— это обман. Обман — это то противоестественное, чего нет и не должно быть в мире. Животные не обманывают друг друга. Они смело убивают, охотятся друг на друга, едят друг друга, но они никогда не предают и не обманывают. Они не злоупотребляют доверием. Обман — это то, что приходит через человека, это то зло, с которым борется Митра.

Таким образом, мы видим вторую систему дуализма, распространившуюся за предела-

ми Ирана. В Иране восторжествовал зороастризм, за его пределами — религия, почитавшая Бога Белого Света, сохранившаяся в Тибете до XX в. под названием религии Бон. Последние бонцы бежали из Тибета в 1949 году, сначала в Индию, потом в Норвегию, а сейчас живут даже в Швейцарии. В Индии им показалось жарко: они привыкли там, где горы. Так как это были интеллигенты, работать грузчиками им было тяжело, то они начали издавать и продаввть свои бонские древние книги тибетологам. На это существовали, хотя и скудно. А западные тибетологи покупали эти книги и меняли на наши советские издания. Так концепция Бона получила известность в советской литературе [2].

Как мы видим, и задачи и постановка вопросов в ирано-туранском и в эллинском культурных мирах были диаметрально противоположны. Их интересовали разные вещи.

Индия. Если мы обратимся теперь к Индии, то увидим, что в ту пору их мало интересовало устройство мира, почти не занимало, кто их друг, а кто враг (свет — тьма); они смирились с тем, что какие-нибудь враги все равно придут и их убьют, сопротивляться они в это время уже не умели. Поэтому их больше всего интересовало спасение своей души и обеспечение ей приличного воплощения после неизбежной близкой смерти: здесь верили в переселение душ; считали, что душа хорошего человека после смерти воплотится в человеческом теле, а если он был грешным, его душа воплотится в теле крокодила, что, конечно, уже менее приятно, или в теле асура, или дева — это лучше, а если в теле воздушного беса (бирита) или подземного демона, то это совсем плохо. Так вот и вопрос: какие принять меры, чтобы обеспечить себе перерождение в тело человека? И имеет ли это смысл? В это время здесь уже были йоги, брамины, отшельники-аскеты, и всем этим очень заинтересовался гениальный мальчик — сын княжеского (кшатрия) рода Шакья. Звали его Сиддарта, или Шидарта. Он обошел всех мудрецов-учителей, не удовлетворился их учениями и создал свое собственное. Учение его было до крайности простым вначале и стало невероятно сложным через 2000 лет.

Заключалось оно в том, что у людей есть желвния, которые порождают при неудовлетворенности страдания, а страдания ведут к смерти, к новым воплощениям и новым страданиям. Следовательно, для того чтобы избавиться от страданий, надо ничего не желать, и тогда избегнешь страданий и смерти. Он сложил ноги калачиком, сел под пальму и стал ничего не желать. Но это оказалось дьявольски трудно. Говорят, что ему это все-таки удалось, и тогда он начал других учить, как это делать, и сотворил двенадцать чудес, потому что демон Мара (не демон Длинные Руки, а демон Мара, то есть иллюзия) насылал на него всяких чудовищ, например, бешеного слона, блудницу, и т. п. Но он с этим справился и стал «Буддой», то есть освещенным!

Гораздо труднее ему было спрввиться со своими ближайшими учениками. Один из них, Девадатта, усвоив учение, решил сделать больше. Он ввел, наряду с отречением от желаний, строгий вскетизм. Сам Будда считал, что человек должен для спасения не страдать ни в коем случае, то есть получать достаточно пищи, и у него была чашечка, куда ему клали рис или овощи, заправленные постным маслом. Он питался одной такой чашечкой в день; если с постным маслом, да еще хорошим, то это действительно достаточно. Будда запрещал прикасаться к золоту, серебру и женщинам, ибо это соблазны, распаляющие желания.

А Девадатта сказал: «Нет, мы еще и поголодать можем», и это было уже искушение; это было уже ни к чему. Хоть ты и можешь перенести голод, но зачем? Это же влечет страдания! Аскетизм категорически противопоказан идее Будды. И поэтому община Будды раскололась еще при его жизни, но многие все-таки слушали, что он говорит. Дамы знатные его приглашали к себе из любопытства. «Ладно, не прикасайся,— говорили они,— но ты и нам хоть что-нибудь расскажи»; давали ему взносы на общину. Сам он ни к чему не прикасался, но ученики брали и использовали на благо дела.

Учил Будда многих, так что после него осталась довольно большая память, но ни одного записанного текста — не публиковвли его при жизни! Кончилось все это для него печально, потому что хотя он и построил свою систему вбсолютно логически и, казалось бы, непререкаемо и действительно не впадал, видимо, ни в какие соблазны, тем не менее судьба уготовила ему такое искушение, от которого он не мог удержаться,— сострадание. Пока он сидел под пальмой и пользовался уважением всей Бенгалии, соседнее племя напало на княжество Шакья и перебило всех его родственников. Ему об этом сообщили. И восьмидесятилетний старик, самый уважаемый в Индии человек, пошел с палочкой по саду, в котором играл ребенком, по дворцу, где его воспитывали, и везде лежали его родственники, его слуги, его друзья, разрубленные пополам, искалеченные, изувеченные. Все было залито кровью. Он мимо всего этого прошел, но не смог остаться равнодушным и вошел в Нирвану.

Что такое Нирвана? Нирвана — это понятие, которое невозможно на Западе, вследствие логического закона исключенного третьего. У нас три закона логики: закон тождества, закон противоречия и закон исключенного третьего, основной. Согласно последнему закону, нет ничего такого, что могло бы быть одновременно и «а» и не «а», например: любая данная вещь либо существует, либо не существует, третьего не дано. Так вот, Нирвана исключает этот закон. Нвхождение в Нирване означает одновременно и существование, и несуществование. У индусов своя логика. По-нашему: вошел в Нирвану — значит скончался, но по буддийским учениям Будда не умер, в только переменил место своего обитания, модус своего состояния, из Сансвры — вечно двигающегося мира, он перешел в Нирвану и там сейчас обитает. Это значит, что он ничего не знает, ничего не видит, ничего не слышит, ничего не хочет. Он находится в вечном покое. Он не счастлив, и он не несчастлив, потому что счастье и несчастье — понятия относительные, а ничего относительного в Нирване нет. В общем, что он есть, что его нет — совершенно одинаково, сохранилось только его учение и память. Потом его учение восстанавливалось по памяти, три века спустя. Передача шла из уст в уста, наконец все это было записано, и получился первый источник, называемый Трипитака — три корзины текста, то есть три корзины мемувров.

Я читал мемуары, которые писали по поводу моей покойной матери, и могу оценить, как врут мемуаристы. Я думаю, что Будда не исключение. Про него тоже врали, но тем не менее три корзины мемуароа — это первичный источник, датируемый III в. до н. э. Сам Будда скончался в V веке, то есть примерно за двести пятьдесят лет до того, как эти мемуары были опубликованы. Факт тот, что буддизм широко распространялся в Индии. Как видим, там сама поствновка вопросов, цели, задачи — все было совершенно отличным и от персидского, и от эллинского направления развития культуры.

Сказать, что Будда был религиозным человеком или антирелигиозным,— нельзя, хотя он, конечно, признавал, что есть дэва — боги. Это, мол, каждый понимает, но молиться он им не рекомендовал, потому что они существа хотя и не вечные, но долговечные, довольно могущественные. А чего им, собственно, молиться?

Однажды какая-то старушка спросила его: «Учитель, я привыкла молиться Индре, могу я этим путем добиться спасения?» Он говорит: «Да, бабушка, молись Индре, этим путем ты тоже придешь к спасению». Словом, ему это было в общем-то безразлично. Когда же его спрашивали, как устроен мир, то он отвечал вопросом на вопрос: «А какого цвета волосы ребенка нерожавшей женщины?» Ему говорили: «Учитель, что ты глупости спрашиваешь, раз она не родилв, значит, нет ребенка, нет волос и нет цвета».— «Так вот,— говорит,— и мира нет, что же вы глупости спрашиваете? То, что вам кажется,— это обман чувств».— «А что же есть?» Что он тут отвечал, этого я вам не могу сказать, да и никто не знает, но впоследствии выяснилось, по трудам последующих буддистов, что есть поток дарм.

Дарма — это слово, имеющее 47 значений, но в данном случае нужно предпочесть одно из них, один из нюансов. Дарма — квант закономерности. Это не материальный атом. Это не платоновская идея, нет. В мире существуют причинно-следственные связи, которые квантуются. Каким образом? Я объяснить не могу, я сообщаю, что так в учении. Квант закономерности называется дармой.

Еще дарма значит закон. И вот дврмы сталкиваются, иногда образуют сканды, а сканды, в сочетании по нескольку сканд, образуют душу человека, и душа эта может либо достичь Нирваны, либо не достичь, потому что если она сильно нагрешила, то она разваливается на свои составные части и теряет индивидуальность. Индивидуальность души — это сочетание сканд, а если нет сочетания, тогда нет и души. Душа нагрешившего человека рассыпается, как у Пер Гюнта, которому сообщили, что его душу пустят на переплавку, потому что он очень подло себя вел. Поэтому важно достигнуть совершенства, а совершенства можно достигнуть только одним способом — через человеческое существование, ибо дэвы (боги) не могут достигнуть совершенства, им и без того хорошо, они долго живут и поэтому не эволюционируют. Совершенства не могут достичь и асуры, которые слишком заняты тем, что готовятся к войне с богами, а после очередного поражения опять готовятся, так что им просто некогда заниматься совершенствованием. Животные? Они не рвзумны и не знают, что нужно стремиться к совершенству. Демоны, живущие в преддверии ада — прета или бириты,— все время голодны; их изобрвжают так: большущая голова и маленький ротик диаметром с булавку, тонкая шея, огромное пузище, крохотные ножки и ручки. Конечно, твкой демон не может нвсытить свое брюхо через столь маленький рот, поэтому он страдает от голода, а если сосет что-нибудь питательное, кровь своих жертв, например, то она из него выходит огнем, и поэтому он очень недоволен. Но и это еще ничего, а в подземельях ада живут таму. Про тех ничего сказать нельзя, разве лишь то, что им уже совсем плохо, еще хуже, чем биритам, и если они так страдают, где ж им совершенствоваться!

Совершенствоваться может только человек. Смысл жизни в том, чтобы совершенствоваться через ряд перерождений, стать святым и наконец попасть в Нирвану — чрезвычайно трудно достижимую цель. Но если бы эллину, или персу, или нам с вами предложили попасть в Нирвану, чтобы там мы ничего не желали, ничего не делали, не имели возможности ничего предпринять, никому помочь и вообще не могли бы даже услышать просьбы о помощи... так мы бы, пожалуй, не пожелали такого величественного конца. А индусам это почему-то нравилось, китайцам же нет.

Китай. Китайцы создали два учения, совершенно не похожие на три, мной перечисленные. Китай в VIII и VII вв. до н. э. был расколот на большое количество государств. Нельзя сказать, на какое точно, потому что в каждом столетии и даже десятилетии будет свое деление. Они все время воевали, беспощадно уничтожали друг друга, стремясь овладеть землями и богатством соседей. Причем они стремились не покорить людей, нет, они убивали их и заселяли освобожденные земли своими потомками. Это безобразие продолжалось у них с VIII по III в. до н. э., и даже слово было — «вырезать город», то есть убить всех, включая детей, а потом своими детьми населить страну. Детей у китайцев женщины рожали ежегодно, и каждая женщина производила следовательно 15—20 детей, а в благодатном климате кормить их было чем. Болезней особых тоже не возникало, и интенсивное размножение невольно стимулировало и массовое уничтожение соседей.

Но жить в таком кошмаре было все-таки трудно, поэтому стали обсуждаться идеи выхода из такой постоянной тотальной братоубийственной войны. И в VII—VI вв. до н. э. появились два идеолога. Один из них — Кун-цзы, которого стали называть Конфуцзы (фу — это выражение уважения к нему) — Конфуций. Другой — его младший современник Лао-цзы, который был у князя библиотекарем, а потом ушел в пустыню.

Конфуций сказал, что кругом делается много безобразий. Но это потому, что люди необразованны, надо их обучить. Надо ввести просвещение, научить людей чувству долга, и тогда они будут вести себя прилично. Конфуций ввел три категории долга: высший долг — по отношению к родственникам; второй долг, ниже рангом,— по отношению к общине; третий, еще ниже,— по отношению к государству, то есть интересы родственников надо ставить выше интересов и общины, и государства.

Например, рассказывают, что какой-то старикан занялся кражей не то овец, не то ослов, а сын на него донес. Так Конфуций его за это осудил, он сказал: «Конечно, нехорошо, что старик крал у своих соседей, у своей общины, но сын должен был уговорить старика, чтобы тот вернул краденое и вообще перестал бы этим заниматься, но нельзя доносить на отца».

А если община страдала от какого-нибудь князя или вана, то надо было интересами общины руководствоваться в первую очередь.

Главной своей задачей Конфуций считал научить ванов, как правильно себя вести, как соблюдать церемониалы и обычаи, как управлять государством и как отражать иноземцев, которых было очень много и которые китайцам тоже жизни не давали. Как это воспринимали ваны (среднее между царем и князем) — можно понять. Каждый человек, особенно начальник, терпеть не может, чтобы его учили, и поэтому Конфуцию все время приходилось бегать от одного князя к другому. Но бегал он вместе со своими учениками, везде оставлял свои труды, рассеивая их по Китаю в огромном количестве, создал школу. И конфуцианство просуществовало вплоть до середины XX в., пока Мао его совсем не запретил. Но теперь этот запрет снят.

А Лао-цзы пошел совсем по другому пути; он считал, что все установления человеческие — дрянь, что надо подражать природе. Надо идти в горы (а гор там было много, и все они были лесистые, и климат теплый — снег южнее хребта Цинь-лин не выпадает вообще) и жить там, подражая животным и вольным птицам, изучать законы Вселенной. Надо стараться понять, как меняется погода и как вызывать дождь, когда нужно (магия); надо понять, как будущее сменяет прошедшее, то есть научиться гадать; надо изучить человеческий организм, чтобы уметь лечить его; надо наблюдать, как растут растения, изучать животных, то есть Лао-цзы горячо рекомендовал заняться естественными науками. А мир он представлял как «Дао» — то, что существует, и то, что не существует. Откровенно говоря, я долгое время, сколько ни читал всякую литературу, не мог понять: что такое «Дао». Но когда стал общаться с китайцами, то все-таки кое-что понял (они мне объяснили, и я нутром почувствовал). Дао — это вселенная с диаметром в бесконечность, которая то сокращается до точки, то опять расширяется. И все существа, и все люди, через ряд перерождений, согласно даосской системе, существуют, а потом исчезают, а потом, при новом расширении, возникают заново. Вот такая пульсирующая вселенная и есть «Дао». Понятнее объяснить не могу.

А у Конфуция все понятно. Когда его спрашивали, есть ли бог или бессмертие, он говорил: «А это неважно, это несущественно, и не о том надо думать, не тем надо заниматься».— «А как устроен мир и природа?» — «Тоже неважно, важно знать, как себя вести в данной жизни».

Окончание следует

К столетию Б.Л. Пастернака

Исайя Берлин

ВСТРЕЧИ С РУССКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ В 1945 И 1956 ГОДАХ

Всякая попытка связных мемуаров это — фальшивка. Ни одна человеческая память не устроена так, чтобы помнить все подряд. Письма и дневники часто оказываются плохими помощниками.

Анна Ахматова[1]

I

Летом 1945 года, когда я занимал пост временного поверенного в Британском посольстве в Вашингтоне, мне сообщили, что меня на несколько месяцев командируют в наше посольство в Москве; причина выдвигалась следующая: штат там неукомплектован, а поскольку я владею русским языком и мне удалось узнать во время конференции в Сан-Франциско (и задолго до нее) кое-какие стороны официального и неофициального отношения Америки к Советскому Союзу, то я вполне могу ликвидировать прорыв до наступления Нового года, пока не освободится более профессионально образованный человек, который мог бы сменить меня в Москве. Война была окончена. Потсдамская конференция не привела к явному расколу между союзниками-победителями. Несмотря на мрачные предчувствия у некоторых лиц на Западе, общее настроение в официальных кругах Вашингтона и Лондона было оптимистическим, хотя и настороженным; у широкой публики и у прессы оно было куда более радужным и даже восторженным: выдающаяся храбрость советских людей, страшные потери, которые они понесли в войне против Гитлера, вызвали огромную волну симпатии к их стране, что в течение второй половины 1945 года заставило замолчать многих критиков советской системы и ее методов; наблюдалось горячее стремление к взаимопониманию и сотрудничеству на всех уровнях. Во время этого периода доброжелательства, которое, как говорили, царило в равной степени в Советском Союзе и в Великобритании, я и отправился в Москву.

Я не был в России с тех пор, как моя семья покинула ее в 1919 году (мне было тогда десять лет), и я никогда не видел Москвы. Приехал я ранней осенью, вступил во владение столом в посольской канцелярии и принялся выполнять те эпизодические задания, которые мне поручали. Хотя я являлся в посольство каждое утро, работа моя (единственная, которую с меня спрашивали), а именно — чтение, обобщение и комментирование советской прессы — не требовала, в сущности, особого труда: периодическая печать, по сравне-

[1] Цитируется по: Л. А. Мандрыкина. Ненаписанная книга: «Листки из дневника» А. А. Ахматовой. // Книги. Архивы. Автографы. М., 1973. С. 75.

Сэр Исайя Берлин (род. в 1909 г.) — английский исследователь философии истории, литературовед, автор известных книг «Историческая неизбежность», «Четыре эссе о свободе», «Русские мыслители», «Еж и лиса» и др. Публикуемый перевод сделан по изданию: Berlin Isaiah. Personal Impressions. Oxford University Press, 1982.

нию с западной, была здесь однообразной, скучной, заранее предсказуемой, а изложение фактов и пропаганда, в общем, совпадали во всех газетах. Поэтому у меня оставалась уйма свободного времени, и я тратил его на посещение музеев, исторических мест и зданий, театров, книжных магазинов, на прогулки по улицам и тому подобное; но, кроме того, на мою долю выпало необыкновенное счастье, которого были лишены многие иностранцы, во всяком случае, некоммунистические визитеры с Запада, а именно: встретиться с рядом русских писателей и среди них с двумя гениальными[1]. Но прежде чем описать мои встречи с ними, я должен немного рассказать о том фоне, на котором протекала литературная и художественная жизнь Москвы и Ленинграда, которую я наблюдал в течение пятнадцати недель, проведенных мною в Советском Союзе.

Пышный расцвет русской поэзии, начавшийся в 90-х годах прошлого века, смелые, плодотворные, многочисленные, имеющие широкий резонанс эксперименты в искусстве и литературе начала XX столетия, главные течения внутри новых движений: символизм, пост-импрессионизм, кубизм, абстракционизм, экспрессионизм, футуризм, супрематизм и конструктивизм в живописи и скульптуре; их различные ответвления в литературе,— кроме того: акмеизм, эго- и кубо-футуризм, имажинизм, *«заумь»* в поэзии; реализм и антиреализм в драме и балете — этот обширный слой, ничуть не остановленный ни войной, ни революцией, продолжал черпать энергию и вдохновение из образов нового мира. Несмотря на консервативные художественные вкусы большинства большевистских лидеров, все, что могло быть истолковано как «пощечина» буржуазному вкусу, в принципе одобрялось и поощрялось, а это открывало путь обильному выпуску пылких манифестов и проведению дерзких, спорных, но зачастую высокоталантливых экспериментов во всех видах искусства, литературы и критики, что, в свою очередь, оказывало влияние на Запад. Наиболее оригинальные поэты из тех, чье творчество пережило революцию: Александр Блок, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Валерий Брюсов, из следующего поколения — Маяковский, Пастернак, Велимир Хлебников, Осип Мандельштам, Анна Ахматова; художники Бенуа, Рерих, Сомов, Бакст, Ларионов, Гончарова, Кандинский, Шагал, Сутин, Клюн, Малевич, Татлин, Лисицкий; скульпторы — Архипенко, Габо, Певзнер, Липшиц, Цадкин; режиссеры — Мейерхольд, Вахтангов, Таиров, Эйзенштейн, Пудовкин; прозаики — Алексей Толстой, Бабель, Пильняк — пользовались широкой популярностью на Западе. Это не были одинокие вершины, у их подножия высились холмы. Россия 20-х годов переживала подлинный ренессанс — в других странах ничего похожего не было. В России прозаики, поэты, художники, критики, историки, ученые взаимно обогащали друг друга, что привело к созданию культуры, отличающейся необычайной жизнеспособностью и достижениями; это был замечательный взлет европейской цивилизации.

Ясно, что все это долго продолжаться не могло. Политические последствия опустошений во время мировой, а затем гражданской войн, голод, систематическое истребление людей, установление диктатуры покончили с условиями, в которых поэты и художники могли свободно творить. После относительно спокойного периода нэпа «правоверный» марксизм достаточно окреп, чтобы бросить вызов всей этой неорганизованной революционной активности и уничтожить ее. Было выдвинуто требование коллективистского пролетарского искусства; критик Авербах повел группу марксистов-фанатиков на борьбу против того, что называлось разнузданным произволом индивидуализма в литературе,— то есть против формализма, декадентства, эстетизма, низкопоклонства перед Западом, оппозиции социалистическому коллективизму. Начались преследования и террор, но так как не всегда можно было предвидеть, чья сторона возьмет верх, уже это на время внесло в литературную жизнь некое мрачное возбуждение. В итоге, в начале 30-х годов Сталин решил покончить со всеми этими политико-литературными склоками, которые он искренно считал пустой тратой времени и сил. Были ликвидированы лефовцы, уже и не слыхать было ни о пролетарской культуре, ни о коллективном творчестве и критике, ни тем более о нонконформистской оппозиции им. В 1934 г. партия (через только что созданный Союз писателей) взяла на себя обязанность осуществлять непосредственный надзор за деятельностью литераторов. С этим было связано усиление унылой, контролируемой государством «правоверности»: не устраивать дискуссий, не вносить сумятицу в людские умы, преследовать чисто экономические, технологические, воспитательные цели — догнать и перегнать вражеский капиталистический мир в области материальных достижений. Раз уж надо сплотить темную массу неграмотных крестьян и рабочих для создания непобедимого ни в военном, ни в техническом отношении современного общества, то нельзя терять ни минуты; новый революционный строй находился в окружении враждебного мира, стремящегося его разрушить; бдительность на политическом фронте не позволяла тратить время на высокий уровень культуры и на полемику, или на защиту гражданских свобод и основных прав человека. Власти задавали тон, а писатели и художники — важность их влияния никогда не отрицалась и не игнорировалась — обязаны были под этот тон подлаживаться. Одни из них в большей или меньшей степени приспособились, другие — нет; третьи считали опеку со стороны государства деспотической, четвертые принимали и даже приветствовали ее — они говорили сами себе и друг другу, что эта опека дарует им статус, в котором мещанский, равнодушный Запад художнику всегда отказывал. В 1932 году заметны были некоторые признаки наступающего послабления, но оно так и не наступило. Затем подошел трагический финал: жесточайший террор, начавшийся с репрессий, которые последовали за убийством Кирова в 1934 г., и печально известных показательных политических процессов и завершившийся ежовщиной 1937—38 годов — варварским, беспорядочным истреблением отдельных людей и целых групп, а позднее — целых народов. Пока Горький, пользовавшийся огромным уважением у партии и народа, был жив, уже сам факт его существования служил, по-видимому, сдерживающим началом. Поэт Маяковский, чьи слава и репутация гласа революции были почти равны горьковским, покончил жизнь самоубийством в 1930 году. Горький умер шестью годами позже. Вскоре после этого были арестованы и преданы смерти Мейерхольд, Мандельштам, Бабель, Пильняк, Клюев[1], критик Д. С. Мирский, грузинские поэты Яшвили и Табидзе — я называю лишь наиболее известных. Несколькими годами позднее, в 1941 году, покончила с собою поэтесса Марина Цветаева, незадолго до того вернувшаяся из Парижа на родину. Активность осведомителей и лжесвидетелей перешла все известные доселе границы; возведение на себя напраслины, лживые, нелепейшие признания, заискивание перед властями или активное сотрудничество с ними — ничто, как правило, не спасало от гибели тех, кто уже был в списках. А живым это время оставило мучительные и унизительные воспоминания, от которых кое-кто из переживших террор так никогда и не избавился.

Наиболее достоверные и душераздирающие свидетельства о жизни интеллигенции в тот кровавый период — не первый, а возможно, и не последний в русской истории — содержатся в воспоминаниях Надежды Мандельштам и Лидии Чуковской, а также — в несколько ином плане — в поэме Ахматовой «Реквием». Число арестованных и убитых писателей и художников было столь велико, что в 1939 году русская мысль, литература и искусство казались территорией, подвергшейся жесточайшей бомбардировке — уцелело всего несколько великолепных зданий, но стояли они в сиротливом одиночестве посреди разрушенных пустынных улиц. Наконец Сталин распорядился приостановить расправу: наступила мирная передышка, к классикам XIX века вновь стали относиться с уважением, улицам вернули их старые названия взамен революционных. Но в области искусств и критики период выздоровления оказался фактически бесплодным.

Затем произошло вторжение фашистских войск, и картина снова переменилась. Выдающиеся писатели, пережившие террор и сумевшие сохранить при этом человеческий облик, горячо откликнулись на высокую волну патриотизма. Литература вновь обрела известную правдивость: стихи о войне — не только у Пастернака и Ахматовой — были порождены глубоким чувством. В дни, когда все русские были подхвачены мощной волной национального единства, в ужасы репрессий сменились трагическим, но вдохновляющим порывом патриотического сопротивления врагу, героизма и мученичества, писателей, независимо от возраста,— всех, кто выразил это всеобщее ощущение, особенно тех, в ком бился нерв подлинно поэтического таланта,— боготворили теперь, как никогда прежде. И вот что удивительно: поэты, чьи произведения осуждались властями и кого, следовательно, печатали редко и весьма ограниченными тиражами, начали получать письма от солдат с фронта, в которых чаще всего цитировались не политические, а лирические строки. Мне рассказывали, что солдаты, офицеры и даже политруки читали стихи Блока, Брюсова, Сологуба, Есенина, Цветаевой, Маяковского, заучивали их наизусть и цитировали. Ахматова и Пастернак, долгое время жившие в своеобразной внутренней эмиграции, тоже получали с фронта огромное количество писем, где цитировались их опубликованные и неопубликованные стихи, большей частью имевшие хождение в списках. Письма содержали просьбу прислать автограф, подтвердить подлинность текста, высказать мнение по поводу того или иного вопроса. В конце концов это не могло не произвести впечатления на некоторых партийных лидеров: бюрократы от литературы стали понимать, что когда-нибудь государство сможет гордиться такими писателями как патриотическими голосами своего времени. В результате положение поэтов изменилось

[1] Я никогда не вел дневника, и этот рассказ основывается на том, что я еще помню сейчас, или же на тех воспоминаниях, которыми я делился с друзьями на протяжении последних тридцати или более лет. Одно я знаю твердо: память, во всяком случае моя память,— не всегда надежный свидетель фактов или событий, особенно когда дело касается бесед, которые я время от времени цитирую. Могу лишь сказать, что описал факты с той точностью, с какой их помню. Если существуют документальные или иные свидетельства, в свете которых этот рассказ следует дополнить или исправить, я буду рад узнать о них.

[1] Н. А. Клюев арестован и сослан раньше — в 1934 г.— *Ред.*

к лучшему, окрепла их личная безопасность.

В первые послевоенные годы и, пожалуй, до конца своих дней наиболее известные писатели старшего поколения чувствовали себя в довольно странном положении: с одной стороны, они были предметом поклонения читателей, с другой — власти проявляли к ним почтительную, смешанную с подозрительностью терпимость — это был маленький, все сокращающийся Парнас, который поддерживали только любовь и восхищение молодежи. Публичные чтения поэтами своих стихов, равно как и декламация их в частных собраниях и на различных вечерах были широко распространены еще в дореволюционной России; новым же был факт, услышанный мною и от Пастернака, и от Ахматовой: если, читая свои стихи перед огромной аудиторией, в зале, набитом до отказа, им случалось запнуться, забыть слово, то всегда находились десятки слушателей, сразу подсказывавших целые куски из произведений как опубликованных, так и не опубликованных (во всяком случае, не доступных широкой публике). Ни один писатель не может остаться равнодушным к этой наиболее искренней форме почитания или не получить от нее моральной поддержки; они знали, что их положение уникально, что поэтам на Западе остается только завидовать такому исключительному вниманию; и все-таки, несмотря на контраст, который большинство русских ощущает между тем, что они называют открытой, горячей, непосредственной, «широкой» русской натурой, и сухим, расчетливым, цивилизованным, заторможенным, лишенным простоты подходом к жизни, обычно приписываемым Западу (что было необычайно раздуто славянофилами и народниками), довольно многие из них все еще верили в существование некой неисчерпаемой западной культуры, отличающейся разнообразием и свободой творческой индивидуальности, — культуры, столь не похожей на серую, будничную жизнь в Советском Союзе, нарушаемую лишь внезапными актами репрессий; можно сказать, ничто — я говорю о картине тридцатилетней давности — не могло поколебать это глубокое убеждение.

Что бы там ни было, а прославленные поэты были в то время в Советском Союзе фигурами героическими. Весьма вероятно, что и сейчас ситуация не изменилась. О чем можно сказать с уверенностью, так это об огромном росте грамотности наряду с широким распространением хорошо известных русских и зарубежных классиков, особенно благодаря их переводам на языки народов Советского Союза; в итоге появился читатель с такой восприимчивостью к печатному слову, какая была, а может быть, и теперь еще остается уникальной. Можно привести множество свидетельств тому, что публика, жадно читавшая иностранные шедевры, склонна была думать, что современные англичане и французы живут так же, как это было описано у Диккенса или Бальзака; но глубина восприятия советскими читателями мира этих романистов, их эмоциональная и нравственная заинтересованность, их зачастую детская увлеченность судьбами персонажей иных романов, казались мне более непосредственными, свежими, не затертыми, гораздо более яркими, нежели у средних читателей художественной литературы, скажем, в Англии, Франции или США. Это связано с культом писателя как героической личности, сложившегося у русских еще в начале XIX столетия. Я не знаю, как обстоит дело сейчас: может быть, все коренным образом изменилось; я же могу лишь засвидетельствовать, что осенью 1945 года книжные магазины с полупустыми полками были полны народа, что продавцы в этих магазинах работали с огромным интересом к литературе, пожалуй, чуть ли не с энтузиазмом, и даже газеты — «Правда» и «Известия» раскупались в течение нескольких минут после их поступления в киоски,— все это доказывает высокую степень интеллектуального голода, какой не встретишь больше нигде. Строгая цензура, запрещавшая, наряду со всем прочим, порнографию, всякую халтуру, низкопробные детективы — то, что заполняет стойки с книгами на вокзалах у нас на Западе,— способствовала тому, что восприятие советских читателей и театральных зрителей оказалось более чистым, непосредственным и наивным, чем у нас; я заметил, что на спектаклях — будь то Шекспир, Шеридан или Грибоедов — зрители,— а кое-кто из них приехал явно из деревни — на поворотах действия или на слова, произносимые актерами, например, на стихотворные строки из «Горя от ума», реагировали громкими возгласами одобрения или неодобрения. Порой возбуждение в зале достигало сильного накала, что для человека западного мира было непривычно, но в то же время трогало. Эти зрители, вероятно, не так уж далеко ушли от тех, для кого писали Еврипид или Шекспир; из разговора с некоторыми из них я сделал вывод, что они следят за развитием действия зоркими неиспорченными глазами умных подростков — идеальной публики классических драматургов, романистов и поэтов. Возможно, что отсутствие со стороны большей части зрителей реакции подобного рода и привело к тому, что авангардное искусство на Западе кажется временами вычурным, надуманным и темным, — в свете этого осуждение Толстым самой современной литературы и искусства, пусть огульное, догматичное, ошибочное, становится более понятным. Меня повергает в изумление контраст между необычайной восприимчивостью и интересом, критическим и некритическим, советской публики к тому, что кажется настоящим, новым или хотя бы правдивым, и низким уровнем продукции, которую поставляют находящиеся под контролем правительства литераторы. Я ожидал встретить значительно бо́льшую степень однообразной, удручающей «правоверности» на всех уровнях. И на официальном уровне, включающем в себя критиков и обозревателей, так оно и было; но не среди тех, с кем я беседовал в театрах и кино, на трибунах стадиона, в поездах, трамваях и книжных магазинах.

Когда перед моим отъездом в Москву меня инструктировали английские дипломаты, работавшие там, они предупреждали, что встречаться с советскими гражданами будет чрезвычайно трудно. Мне сказали, что на официальных дипломатических приемах можно будет увидеть определенное число тщательно отобранных высокопоставленных чиновников и что они, в общем, стремятся излагать партийную линию и сторонятся подлинного контакта с иностранцами, во всяком случае с теми, кто приехал с Запада; что артистам балета и актерам иногда разрешают присутствовать на таких приемах, поскольку они считаются самыми простодушными и наименее интеллектуальными среди деятелей искусства, а потому менее восприимчивыми к неортодоксальным идеям и менее способными проболтаться о чем-нибудь непозволительном. Короче говоря, у меня создалось впечатление, что, помимо языкового барьера, всеобщий страх перед контактами с иностранцами, особенно с теми, кто прибыл из капиталистических стран, наряду с особыми инструкциями для членов коммунистической партии, запрещающими подобные контакты, привел все западные посольства к некой культурной изоляции — их сотрудники (и большинство журналистов и других иностранцев) жили в своего рода зоопарке, в сообщающихся между собою клетках, но отделенные от внешнего мира высокой оградой. По приезде я обнаружил, что это было во многом справедливо, но все же не в такой мере, как я предполагал. В течение моего короткого пребывания в Советском Союзе я встретил не только ту самую хорошо подобранную группу артистов балета и бюрократов от литературы, которая присутствовала на всех приемах, но такое же количество истинно одаренных писателей, музыкантов и режиссеров, а среди них — двух гениальных поэтов. Одного из них я желал увидеть более всего — это был Борис Леонидович Пастернак, чьей поэзией и прозой я глубоко восхищался. Я не мог самостоятельно, без всякого предлога, пусть прозрачного, искать с ним знакомства. К счастью, в Оксфорде я познакомился с его сестрами, которые там жили (и я рад сообщить, что живут до сих пор); одна из них попросила меня передать пару ботинок ее брату — поэту. Это был тот предлог, в котором я так нуждался, и я был чрезвычайно благодарен за него.

Вскоре после моего приезда в Москву Британское посольство устраивало обед по случаю годовщины русскоязычного издания — еженедельника «Британский союзник», и на этот обед были приглашены советские писатели. Почетным гостем являлся Дж. Б. Пристли, которого советские власти считали тогда своим верным другом; его книги широко переводились на русский язык, и, кажется, две его пьесы шли на московских сценах. В тот вечер Пристли был явно не в духе: я думаю, он был измучен посещением огромного числа колхозов и заводов — он признался мне, что хотя его везде прекрасно принимали, но такое количество официальных визитов — вещь немыслимо скучная; к тому же выплата гонораров задерживалась, разговоры через переводчиков невыносимо утомляли, короче, он скверно провел время, устал и хотел одного: поскорей добраться до кровати. Последнее сообщил мне шепотом сопровождающий его переводчик из Британского посольства; он намеревался проводить почетного гостя в гостиницу и попросил меня как-то сгладить неловкость, которую вызовет ранний уход мистера Пристли. Я охотно согласился, и вскоре меня усадили между знаменитым театральным режиссером Таировым и столь же знаменитым литературоведом, критиком, переводчиком и талантливым автором стихов для детей — Корнеем Чуковским. Напротив меня сидел самый выдающийся советский кинорежиссер — Сергей Эйзенштейн. Он, казалось, был чем-то расстроен. Причину я узнал позднее — за разъяснением далеко не надо было ходить[1]. Я спросил Эйзенштейна, о каких годах своей жизни он вспоминает с наибольшей радостью. Он ответил, что период, последовавший непосредственно за революцией, был, несомненно, лучшим для него самого как творческой личности, да и для многих других. Это было время, сказал он с тоской, когда легко сходили с рук самые дикие и фантастические вещи. С особым удовольствием вспомнил он случай, происшедший в двадцатых годах, когда в зал одного из московских

[1] Незадолго до того Сталин устроил ему форменный разнос: ему показали вторую серию фильма «Иван Грозный», поставленного Эйзенштейном, и она вызвала у Сталина неудовольствие, главным образом оттого, как мне рассказывали, что царь Иван (с которым Сталин, по-видимому, до известной степени себя отождествлял) представал там как весьма неуравновешенный молодой правитель, потрясенный открытием измены и заговора бояр, стоящий перед мучительной необходимостью принять жестокие меры, если ему дороги судьбы государства и собственная жизнь, и после такого опыта превратившийся в одинокого, мрачного деспота, подозрительного до болезненности, хотя он и вел свою страну к вершинам славы.

театров были впущены свиньи, намазанные салом, и зрители в испуге повскакивали на свои кресла. Люди кричали, свиньи хрюкали. «Такого эффекта требовал наш сюрреалистический спектакль. Большинство из нас, тех, чья деятельность пришлась на те дни, счастливо жили и работали. Мы были молоды, дерзки и полны идей; кто мы — художники, писатели, музыканты; марксисты, формалисты или же футуристы,— не имело ни малейшего значения, мы встречались, ссорились — иногда очень сильно, и стимулировали друг друга: мы по-настоящему радовались и, к тому же, кое-что делали в искусстве». Таиров высказался в том же духе. Он с тоской поведал мне об экспериментальном театре двадцатых годов, о талантливых режиссерах — Вахтангове и Мейерхольде, о смелости и энергичном напоре недолговечного русского модернизма, который, по его словам, представлял собой куда более любопытное явление, чем все, достигнутое на сцене Пискатором или Брехтом или Гордоном Крэгом. Я спросил, в чем причина того, что это движение угасло. «Все меняется,— ответил он,— но это был замечательный период. Абсолютно замечательный, хотя и не по вкусу Станиславскому или Немировичу». Актеры Московского Художественного театра не настолько образованны, продолжал он, чтобы понимать, каковы же были на самом деле герои чеховских пьес. Их общественное положение, их осанка, манеры, произношение, их внутренняя культура, облик, привычки — все это закрытая книга для современных начинающих актеров и актрис; никто не понимает этого лучше, чем вдова Чехова, Ольга Книппер, и, конечно, сам Станиславский. Величайший актер, доживший до наших дней, это бесподобный, но быстро стареющий Качалов; он скоро уйдет из театра, и тогда, при том, что модернизма уже не существует, а натурализм — в упадке, может ли возникнуть нечто новое? Он сильно в этом сомневается. «Несколько минут назад я вам сказал: «Все меняется». Но это не так. Ничего не меняется — что гораздо хуже»,— и он погрузился в мрачное молчание. Таиров оказался абсолютно прав. Конечно, Качалов превосходил мастерством всех виденных мною прежде актеров. Когда он появился на сцене в роли Гаева в чеховском «Вишневом саде» (в первой постановке он играл студента), то буквально заворожил зрителей, и даже другие актеры на сцене не сводили с него глаз: красота его голоса, очарование и выразительность движений были таковы, что хотелось смотреть на него и слушать его бесконечно; возможно, от этого акценты в пьесе сместились, но игра Качалова в тот вечер, равно как Уланова — Золушка в балете Прокофьева, который я увидел месяцем позже (и Шаляпин — Борис Годунов — в далеком прошлом), останутся в моей памяти непревзойденной вершиной, точкой отсчета в суждениях о тех спектаклях, которые мне случилось видеть впоследствии. Если говорить о сценической выразительности, то мне по-прежнему кажется, что эти русские в XX веке не имеют себе равных.

Мой сосед справа, критик Корней Чуковский, на редкость остроумно и увлекательно рассказывал о писателях — русских и английских. Столь быстрое исчезновение почетного гостя, заметил он, напомнило ему приезд в Россию американской журналистки Дороти Томпсон. Она прибыла со своим мужем — писателем Синклером Льюисом, который в 30-е годы пользовался в России огромной известностью. «Кое-кто из нас явился к нему в гостиницу, чтобы сказать, как много значат для нас его романы. Он сидел к нам спиной, печатал на машинке и ни разу не повернул голову в нашу сторону; не произнес ни звука. В этом было что-то величественное». Я постарался заверить Чуковского, что его сочинения читают и очень ценят преподаватели русского языка в англоязычных странах, к примеру, Морис Баура (который в своих мемуарах приводит рассказ о встрече с Чуковским во время первой мировой войны) или Оливер Элтон — единственные английские писатели, интересующиеся русской литературой, которых я в то время знал лично. Чуковский рассказал мне о двух своих поездках в Англию, о первой — в начале века, когда он был очень беден и зарабатывал себе на жизнь случайной работой. Тогда он изучал английский, читая «Прошлое и настоящее» и «Sartor Resartus» Карлейля — эту вторую книгу он купил за один пенни, сейчас он вытащил ее, чтобы показать мне, из кармана своего пиджака. Он был в те дни завсегдатаем «Поэтической лавки», чей знаменитый владелец, поэт Гарольд Монро, отнесся к нему дружески и представил его разным английским писателям, в том числе другу Оскара Уайльда — Роберту Россу, о котором он сохранил приятные воспоминания. Единственное место в Англии, сказал Чуковский, где он чувствовал себя легко, была «Поэтическая лавка»; ему, как Герцену в свое время, нравились общественное устройство и правила поведения англичан, но, так же как и Герцен, он ни с кем не свел дружбы. Он любил Троллопа. «Что за прелесть — эти попы у него в романах! Обаятельные, эксцентричные! Ничего подобного нельзя было встретить в старой России! Наши попы погрязли в лени, скудоумии и стяжательстве — довольно жалкая компания. Зато нынешние — перенесшие тяжкие времена, начиная с революции,— значительно лучше прежних, они хотя бы умеют читать и писать, а некоторые из них — порядочные и достойные люди. Впрочем, вы никогда не встретитесь с нашими священниками, да и к чему это вам? Я же убежден, что английские священники — по-прежнему очаровательнейшие люди на свете». Затем он рассказал мне о своем втором посещении Англии — во время первой мировой войны; он поехал туда с группой русских журналистов, чтобы написать репортаж о военных усилиях Англии как члена Антанты. Их принял лорд Дерби, с которым у Чуковского оказалось мало общего, это было на уик-энде в Ноузли — об этом он поведал необычайно смешно, хотя и не слишком уважительно.

Чуковский был выдающийся писатель, получивший известность еще до революции. Это был человек левых убеждений, он приветствовал революционный переворот; подобно всем интеллектуалам с независимым образом мыслей, он вызывал у властей раздражение. Есть несколько способов сохранить свою жизнь в условиях деспотизма. Чуковский избрал для себя ироническую отстраненность, осторожное поведение и большой стоицизм. Решив ограничиться сравнительно тихой заводью русской и английской поэзии минувшего века, стихами для детей, переводами, он, возможно, тем самым уберег себя и свою семью, если только это так, от страшной участи некоторых своих близких друзей. Он признался, что у него есть одно непреодолимое желание и если я исполню его, он, в свою очередь, сделает для меня чуть ли не все, о чем я его ни попрошу. Ему хотелось прочесть биографию Троллопа. Его друг, Айви Литвинова, жена Максима Литвинова, бывшего советского министра иностранных дел, а позднее — посла в Соединенных Штатах, жившая в Москве, не могла найти у себя экземпляр, а заказать еще один в Англии считала небезопасным ввиду страшной подозрительности, касавшейся любых аспектов отношений с западными странами; так не мог ли бы я, спросил Чуковский, помочь раздобыть книгу? Я обещал ему и, действительно, спустя несколько месяцев выполнил его просьбу, тем самым доставив ему большую радость. Тогда же, на обеде, я сказал, что больше всего хочу познакомиться с Борисом Пастернаком, жившим в писательском поселке Переделкине, где у Чуковского также была дача. Чуковский сказал, что он восхищается стихами Пастернака. Но хотя он и любил его как поэта, все же отношения у них были неровные: интерес Чуковского к гражданской поэзии Некрасова, к писателям-народникам конца XIX века всегда раздражал Пастернака, который был истинным поэтом, не имеющим ничего общего с советским режимом, и особенно ненавидел идейную — engagé[1] — литературу любого рода; несмотря на это, в настоящее время Чуковский находился в добрых отношениях с ним и потому обещал устроить встречу. Он также любезно пригласил меня посетить его собственный дом в тот день, когда я окажусь в Переделкине.

Это был, как я вскоре выяснил, смелый, если не сказать отчаянно смелый, поступок: контакты с иностранцами, особенно с работниками западных посольств, которых всех до единого советские власти и, в частности, сам Сталин считали шпионами, мягко говоря, весьма не приветствовались. Осознание этого обстоятельства привело меня позднее — в отдельных случаях слишком поздно — к необходимости соблюдать осторожность при неофициальных встречах с советскими гражданами: ведь это создавало для них угрозу, которую не все из желающих увидеться со мной отчетливо понимали. Одни знали, что, встречаясь со мной, они рискуют, но все-таки шли на это, потому что в них побеждало желание соприкоснуться с западной жизнью. Другие не были столь безрассудны; я, принимая во внимание этот обоснованный страх, отказался от встреч с советскими гражданами, особенно с теми, кто не был защищен известностью за границей в той мере, как мне бы того хотелось, из боязни скомпрометировать их. При всем том я, вероятно, неумышленно повредил невинным людям, встреченным мною случайно, или же, в отдельных случаях, потому, что они уверяли меня, часто ошибочно, что это им ничем не грозит. Слыша о дальнейшей судьбе некоторых из них, я чувствую угрызения совести и корю себя за то, что не удержался от искушения познакомиться с этими самыми неиспорченными, обаятельными, отзывчивыми, трогательными людьми из всех, с кем мне приходилось когда-либо встречаться,— людьми остроумными и веселыми, что было удивительно, если учесть обстоятельства их жизни; людьми, снедаемыми большей частью огромным любопытством к жизни за пределами их страны, жаждущими установить чисто человеческие отношения с представителем внешнего мира, который говорит на их языке и, как им казалось, понимает их и может быть понят ими. Мне не известен ни один случай ареста или чего похуже, но отдельных людей беспокоили и преследовали, вполне возможно, из-за встреч со мною. Трудно сказать, так как жертвы зачастую сами не знали, что́ им вменяется в вину. Хочется надеяться, что те, кто пережил это, не держат зла на нас, иностранцев, за те беды, причиной которых — нисколько о том не подозревая — мы могли стать.

Визит в Переделкино был назначен через неделю после обеда, на котором я познакомился с Корнеем Чуковским. За это время, на другом приеме в честь Пристли (которому я до сих пор благодарен за то, что его присутствие открыло мне многие двери), меня представили мадам Афиногеновой — американской венгерке, балерине, вдове драматурга, обретшего почетную смерть во

[1] Engagé — доброволец *(фр.)*. Здесь — «завербованную».— *Ред.*

время вражеского налета на Москву в 1941 году. Эта дама была уполномочена открыть *салон* для иностранцев, интересующихся русской культурой, и проинструктирована, как это организовать. Во всяком случае, она пригласила меня посетить этот салон, что я и не преминул сделать. Там я встретил много писателей. Наиболее известным среди них был Илья Сельвинский («У Сельвинского был свой звездный час, но это, слава Богу, в далеком прошлом»,— сказал мне позднее Пастернак), имевший смелость предположить, что если социалистический реализм есть правильный творческий метод, так не будет ли равным образом совместим с коммунистической идеологией и социалистический романтизм — то есть нельзя ли более свободно использовать воображение, оплодотворенное всеобщей преданностью советской системе. Его недавно подвергли за это жестокой проработке, и, когда я повстречался с ним, он, это было заметно, находился во взвинченном, нервном состоянии. Он спросил, согласен ли я, что к числу пяти величайших английских писателей относятся Шекспир, Байрон, Диккенс, Уайльд и Шоу, ну, может быть, еще Мильтон и Бернс. Я ответил, что Шекспир и Диккенс — несомненно, но, прежде чем я смог продолжить свою мысль, он перебил меня, спросив о Гринвуде и Олдридже — о наших новых писателях, которыми интересуются русские. Что о них слышно? Я понял, что речь идет о современных писателях, но вынужден был признаться, что ничего о них не слышал — возможно, оттого, что во время войны большей частью жил за границей,— а что они написали? Мне явно не поверили. Позднее я выяснил, что Олдридж — австралийский писатель-коммунист, а Гринвуд — автор популярного романа «Любовь на пособие по безработице», что их произведения были переведены на русский язык и изданы большим тиражом. Рядовой советский читатель не имеет ни малейшего понятия о шкале ценностей, принятой в других обществах или же в каких-то их слоях; официальный комитет по делам литературы, под руководством отдела культуры Центрального Комитета партии, решает, что именно следует переводить и каким тиражом издавать, поэтому современная английская литература в те годы в России была представлена главным образом «Замком Броуди» А. Дж. Кронина, несколькими пьесами Сомерсета Моэма и Пристли и, по-видимому, романами Гринвуда и Олдриджа (время Грэма Грина, Ч. П. Сноу, Айрис Мердок и «сердитых молодых людей», которых позже стали много переводить, еще не наступило). У меня сложилось впечатление, что присутствующие на вечере решили, что я покривил душой, заявив, что упомянутые здесь писатели мне неизвестны,— очевидно, в их глазах я был агентом капиталистической державы и потому мне полагалось игнорировать достоинства писателей левого крыла,— ведь они сами должны были игнорировать — по-настоящему или только делать вид — большинство русских писателей и композиторов, живущих в эмиграции. «Я знаю,— громко, с большим пафосом сказал Сельвинский, словно обращался к более широкой аудитории,— я знаю, что на Западе нас называют конформистами. Да, мы таковые и есть. Мы — конформисты, потому что видим, что всякий раз, когда мы уклоняемся в сторону от партийных директив, оказывается, что партия была права, а мы — неправы. Так было всегда. И не только потому, что они говорят, будто лучше нашего знают — они-таки знают лучше, видят дальше, глаза у них зорче, горизонты шире, чем у нас!» Гостям было не по себе: эта речь явно предназначалась для скрытых в зале микрофонов, без которых мы вряд ли смогли бы все здесь собраться. В условиях диктатуры публичные и частные высказывания могли разниться между собою; выпад Сельвинского был таким утрированным и грубым, вероятно, потому, что он чувствовал шаткость своего положения.

Среди собравшихся воцарилось неловкое молчание. Я тогда ничего не понял и стал доказывать, что свободная дискуссия, даже по политическим вопросам, не представляет никакой угрозы для демократических институтов. «Мы представляем собой научно управляемое общество,— объявила красивая дама, когда-то работавшая секретарем у Ленина и вышедшая замуж за одного известного советского писателя,— и если для вольнодумства в области физики нет места,— человек, сомневающийся в законах движения, либо невежда, либо сумасшедший,— почему должны мы, марксисты, открывшие законы истории и общества, допускать вольнодумство в социальной сфере? Свобода заблуждаться — не есть свобода. Вы, кажется, думаете, что у нас нет свободы политических дискуссий. Я просто не понимаю, что вы имеете в виду. Правда освобождает: мы свободнее, чем вы у себя на Западе!» За сим последовали цитаты из Ленина и Луначарского. Когда я сказал, что читал заявления подобного рода в трудах Огюста Конта, что это — тезис французских позитивистов XIX столетия, чьи взгляды, конечно, не разделяли ни Маркс, ни Энгельс, по залу прошел холодок, и мы занялись безвредными литературными сплетнями.

Я получил урок. Затеять спор об идеях, пока у власти находился Сталин, значило услышать от одних заранее известные ответы, а тех, кто хранил молчание, подвергнуть риску. Я больше никогда не встречал ни мадам Афиногенову, ни кого-либо из ее гостей. Я проявил тогда столь явную бестактность, что их реакция была совершенно понятна.

II

Через несколько дней я в сопровождении Лины Ивановны Прокофьевой (бывшей жены композитора) сел в поезд, следовавший в Переделкино. Как мне рассказывали, Горький основал эту писательскую колонию с целью создать писателям условия для спокойной творческой работы. Однако в силу различия в характерах творческих людей, этот план, основанный на благих намерениях, гармонически осуществлялся не всегда; даже неискушенный иностранец вроде меня ощущал некоторую натянутость как в личных отношениях между ними, так и в том, что касалось политики. Я шел по обсаженной деревьями дороге, ведущей к писательским дачам. Вдруг нас остановил человек, копавший канаву; он вылез из нее, представился: «Язвицкий», спросил, кто мы такие, и стал подробно рассказывать о замечательном романе под названием «Костры инквизиции» [1], который он написал. Он горячо рекомендовал нам прочесть его, а также еще один, более интересный,— он пишет его сейчас — об Иване III и средневековой России. Он пожелал нам счастливого пути и вернулся в свою канаву. Моя спутница сочла выходку неуместной, а я был очарован этим неожиданным, откровенным, сердечным и совершенно обезоруживающим монологом; простота и непосредственность, пусть даже наивная, отсутствие формальностей и разговор накоротке, который, как мне казалось, был нормой общения везде, кроме официальных кругов, остается до сих пор в памяти, как на редкость привлекательный.

Был теплый солнечный день ранней осени. Пастернак, его жена и сын Леонид сидели за грубым деревянным столом в маленьком саду позади дачи. Поэт тепло с нами поздоровался. Его друг, поэтесса Марина Цветаева, когда-то сказала, что он похож и на араба, и на его коня. Действительно, у него было смуглое, печальное, выразительное, очень racé [2] лицо, знакомое теперь по многим фотографиям и по рисункам его отца; говорил он медленно, негромким монотонным тенором, с постоянным — не то гуденьем, не то вибрированьем, которое люди при встрече с ним всегда отмечали; каждый гласный тянулся, как в грустной лирической арии из опер Чайковского, но с большей напряженностью и сосредоточенной силой. Неловким жестом я протянул ему сверток, который держал в руках, и пояснил, что Лидия, его сестра, просила меня передать ему пару обуви. «Нет, нет!.. Что вы, что вы! — забормотал он, явно смутившись, словно я вручал ему благотворительный подарок.— Тут какая-то ошибка. Это, вероятно, для моего брата...» Я тоже чувствовал себя страшно неловко. Жена Пастернака, Зинаида Николаевна, постаралась меня выручить: она спросила, оправляется ли Англия от военных потерь и разрушений. Прежде чем я ответил, Пастернак заговорил: «Я был в Лондоне в тридцатых — точнее, в 1935 году, на пути домой с антифашистского Конгресса в Париже. Позвольте рассказать вам все по порядку. Стояло лето, я жил в деревне, когда неожиданно явились двое, вероятно, из НКВД, — нет, скорее из Союза писателей — в ту пору такие визиты нас не очень пугали. И вот один из них говорит: «Борис Леонидович, в Париже заседает антифашистский Конгресс. Вы приглашены на него. Надо бы вам выехать завтра. Поедете через Берлин, там можете задержаться на несколько часов, встретиться, с кем пожелаете,— в Париже вы будете на следующий день и сможете выступить на вечернем заседании». Я сказал, что на такой случай у меня нет подходящего костюма. Они ответили, что обо всем позаботятся. Мне вручили визитку и брюки в полоску, белую рубашку с твердыми манжетами и таким же твердым воротничком с загнутыми уголками и великолепную пару лакированных туфель, которые пришлись как раз впору. Впрочем, я все же умудрился уехать в своей обычной одежде. Позднее я узнал, что этой поездкой в Париж я обязан Андре Мальро — одному из главных устроителей Конгресса, который в последнюю минуту оказал решающее давление на наше начальство, объяснив, что если на Конгрессе не будет меня и Бабеля, это вызовет нежелательную реакцию,— ведь нас хорошо знают на Западе, да в те времена было не так уж много советских писателей, которых европейские и американские либералы готовы были слушать. Итак, хотя мое имя не числилось в первом списке советских делегатов,— да и что в этом удивительного? — начальство согласилось».

Он отправился в Берлин, как было договорено, и там увиделся с сестрой Жозефиной и ее мужем. На Конгрессе же он встретил многих влиятельных, известных людей, среди них были такие знаменитости, как Драйзер, Жид, Мальро, Форстер, Арагон, Оден, Спендер, Розамонд Леман и другие. «Я выступил. Понимаю, сказал я, что писатели собрались здесь, чтобы организовать сопротивление фашизму. Мне хочется вот что сказать вам по этому поводу: не организовывайте ничего! Организация — это смерть для искусства. Значение имеет только личная независимость. В 1789-м, в 1848-м, в 1917-м писатели не были организованы и не голосовали ни за, ни против. Я призываю вас: не организовывайте ничего! Полагаю, присутствующие были весьма удивлены. А что иное мог я сказать? Я думал, что по возвращении

[1] Видимо, речь идет о романе В. И. Язвицкого (1883—1957) «Сквозь дым костров» (1943).— *Ред.*

[2] Породистое *(фр.).— Ред.*

меня ждут неприятности, но никто не сказал мне ни слова, ни тогда, ни потом [1]. Из Парижа я отправился в Лондон, где повидал моего друга Ломоносова, очаровательнейшего человека; он, как и его однофамилец, своего рода ученый — инженер. Потом на одном из наших пароходов я отплыл в Ленинград; в каюте моим спутником оказался Щербаков, впоследствии секретарь Союза писателей, человек необычайно влиятельный [2]. Я говорил день и ночь не умолкая. Он просил меня остановиться и дать ему уснуть. Но это не возымело действия. Париж и Лондон так меня взбудоражили, что я не знал удержу. Он умолял сжалиться над ним, но я был беспощаден. Он, видимо, решил, что я — не в себе,— возможно, что своим положением я до известной степени обязан его диагнозу». Пастернак не сказал прямо, что его приняли за слегка помешанного или, во всяком случае, за весьма эксцентричную личность, и это как раз и помогло ему спастись во время террора. Но другие, присутствовавшие при этом разговоре, это отлично поняли и позже объяснили мне, в чем дело.

Пастернак поинтересовался, читал ли я его прозу — в частности, «Детство Люверс» — произведение, весьма любимое мною. Я ответил, что читал. «По выражению вашего лица видно,— начал он, и то, что последовало дальше, было абсолютно несправедливо,— что вы считаете эти сочинения надуманными, неуклюжими, вывернутыми, ужасно модернистскими — нет-нет, не отрицайте, вы в самом деле так считаете, и вы совершенно правы. Я их стыжусь — не моих стихов, нет, а прозы — на нее повлияло то, что было самым слабым и самым путаным в символизме, очень модном в те годы, полные мистического хаоса — конечно, Андрей Белый — гений, в «Петербурге», в «Котике Летаеве» много замечательного — я знаю это, вы можете ничего не говорить,— но влияние Белого было роковым — Джойс другое дело — все, что я тогда писал,— вымученное, насильственное, исковерканное, искусственное, *негодное;* зато теперь я пишу нечто совершенно иное: новое, совсем новое, ясное, изящное, гармоничное, *стройное*, классически чистое и простое — то, к чему призывали Винкельман, да, Винкельман, и Гёте. Это будет моим последним словом, и самым важным словом,— всему миру. Я хочу остаться в людской памяти именно благодаря этому, да, этому. Этому я посвящу остаток моих дней».

Я не поручусь за точность этих слов, но так мне помнятся и они, и его манера говорить. Задуманной работой, о которой шла речь, был, как выяснилось позже, роман «Доктор Живаго». В 1945 году Пастернак закончил вчерне несколько начальных глав, он просил меня их прочесть и передать его сестрам в Оксфорде; я выполнил эту просьбу, однако план всего романа стал известен мне гораздо позднее. А тогда, после приведенных выше слов, он некоторое время молчал. Никто из присутствующих тоже не произнес ни слова.

Затем Пастернак заговорил о том, как сильно любит он Грузию, грузинских писателей — Яшвили, Табидзе — и грузинские вина, как прекрасно его всегда там принимают. После чего вежливо осведомился, что происходит сейчас на Западе, знаком ли я с Гербертом Ридом и его доктриной персонализма? Тут он пояснил, что доктрина персонализма — в частности, идея индивидуальной свободы — проистекает из нравственной философии Канта и его интерпретатора Германа Когена, которого Пастернак хорошо знал и весьма почитал — перед первой мировой войной он учился у него в Марбурге. Кантианский индивидуализм — Блок совершенно неверно истолковал его, сделав из Канта мистика в своем стихотворении «Кант» — знакомо ли мне оно? Знаю ли я Стефана Шиманского, персоналиста, который издал перевод кое-каких произведений его, Пастернака? Здесь, в России, нет ничего, о чем стоило бы рассказывать. Я должен осознать, что время в России (я заметил, что ни Пастернак, ни другие писатели, с которыми я здесь беседовал, не употребляли слов «Советский Союз») остановилось в 1928 году или около того, когда отношения с внешним миром фактически прекратились; что сведения о нем и его произведениях, указанные, в частности, в Советской энциклопедии, не несут никакой информации о его последующей жизни или работе. Его прервала Лидия Сейфуллина — пожилая женщина, известная писательница, пришедшая в то время, как Пастернак говорил. «У меня точно такая же судьба,— сказала она.— В последних строчках статьи обо мне в Энциклопедии сказано: «Сейфуллина в настоящее время переживает психологический и творческий кризис», и эта формулировка за последние двадцать лет изменений не претерпела. Так что советский читатель считает, что я пребываю в состоянии кризиса или бесчувствия. Мы с вами, Борис Леонидович, похожи на жителей Помпеи, внезапно засыпанных пеплом, с оборванной фразой на устах. И мы так мало знаем! Метерлинк и Киплинг, как мне известно, умерли, но Уэллс, Синклер Льюис, Джойс, Бунин, Ходасевич — они живы?» Пастернаку стало неловко, он переменил тему, заговорил о французских писателях. Он читал Пруста давно — французские друзья-коммунисты прислали ему весь шедевр, недавно он перечел его. Он ничего не

[1] Много лет спустя я спросил об этом случае Андре Мальро. Он ответил, что не помнит эту речь Пастернака.

[2] Позднее Щербаков сделался видной фигурой в сталинском Политбюро. Он умер в 1945 г.

слышал о Сартре и Камю [1], а о Хемингуэе был невысокого мнения («Не могу понять, почему он так нравится Анне Андреевне Ахматовой»,— попутно заметил он). Он просил меня непременно навестить его на его московской квартире, куда он вернется в октябре.

Его речь состояла из великолепных, неторопливых периодов, порою переходивших в неукротимый словесный поток; и этот поток часто затоплял берега грамматической структуры — ясные пассажи сменялись дикими, но всегда поразительно живыми и конкретными образами, а за ними могли идти слова, значение которых было так темно, что трудно было за ними следить,— и вдруг речь становилась вновь совершенно ясной. Это всегда была речь поэта — как и все его произведения. Кто-то однажды сказал, что есть поэты, которые только тогда поэты, когда сочиняют стихи, а когда пишут прозу, они — прозаики. Другие же — поэты, что бы они ни писали. Пастернак был гениальным поэтом во всем, что бы он ни делал и кем бы он ни был. Его повседневный язык был тот же, что язык его произведений. Я не смогу описать его. Вторым человеком, говорившим, по моим представлениям, так, как он, была Вирджиния Вулф, которая, насколько я мог судить по моим редким встречам с нею, точно так же, как Пастернак, заставляла ум собеседника нестись во весь опор и тем же бодрящим, а порой и устрашающим образом стирала привычное восприятие действительности. Я употребляю слово «гениальный» намеренно. Меня иногда спрашивают, что я подразумеваю под этим выспренним, но неточным определением. В ответ я могу лишь привести один пример: когда танцовщика Нижинского однажды спросили, как это ему удается так высоко прыгать, он ответил, что не видит тут ничего особенного: большинство людей, когда прыгают, сразу же опускаются вниз. Зачем же сразу опускаться? Почему бы чуточку не задержаться в воздухе? — вот что, как уверяют, он ответил. Одним из критериев гениальности мне представляется способность одного человека сделать что-нибудь удивительно простое и очевидное,— то, чего обычные люди не могут и при этом знают, что не могут,— они не понимают, как это делается, не умеют к этому подступиться. Речь Пастернака, напоминающая скачки, отличалась удивительной образностью — раньше мне не приходилось встречать подобной; она была стремительной и очень впечатляющей. Такие гениальные писатели, как Элиот, Джойс, Йейтс, Оден, Рассел,— я имел случай в этом убедиться — сравниться с ним не могли.

Не желая злоупотреблять гостеприимством поэта, я простился и вышел, взволнованный, ошеломленный его словами и его личностью. Я отправился на соседнюю дачу, к Чуковскому, но, хотя хозяин дачи был обаятельным, любезным, на редкость остроумным человеком и блестящим, великолепным рассказчиком, думал я только о поэте, с которым расстался час назад. В доме Чуковского я познакомился с Самуилом Маршаком, переводчиком Бернса и автором стихов для детей, который, стоя в стороне от главного идеологического течения и политических бурь, сумел остаться невредимым в самые мрачные времена. А может быть, ему помогло покровительство Максима Горького. Маршаку — одному из немногих писателей — дозволялось встречаться с иностранцами. За время моего пребывания в Москве он неизменно проявлял ко мне дружеские чувства и был действительно одним из милейших и сердечнейших представителей московской интеллигенции — из числа тех, кого я имел счастье встретить; он с болью, откровенно рассказывал об ужасах минувших лет, мало верил в будущее и предпочитал рассуждать об английской и шотландской литературах — их он знал и понимал, но в то же время, как мне показалось, не мог сообщить о них ничего особо интересного. Были в тот день у Чуковского и другие гости, и среди них — писатель, чьего имени, если его и называли, я не расслышал. Я спросил его об обстановке в советской литературе сегодня, о наиболее выдающихся писателях. Он назвал несколько имен, в том числе Льва Кассиля. «Это — автор «Швамбрании» (приключенческой повести для подростков)?» — спросил я. «Да,— ответил он,— автор „Швамбрании“».— «Но это очень слабая повесть,— возразил я,— я прочел ее несколько лет назад и считаю, что она лишена воображения, скучна и наивна. Неужели она вам нравится?» — «Пожалуй, да,— отвечал он,— по-моему, вещь искренняя и неплохо написанная». Я с ним не согласился. Через несколько часов, когда стемнело и я сказал, что боюсь заплутать, он вызвался проводить меня на станцию. Когда мы прощались, я сказал: «Вы были так добры ко мне сегодня — простите, я не расслышал вашего имени».— «Лев Кассиль»,— ответил он. У меня ноги приросли к земле от стыда и угрызений совести. Вот ведь попал впросак! «Но отчего вы мне раньше не сказали? «Швамбрания»...» — «Вы сказали то, что думаете, а нам, писателям, редко доводится услышать правду. Я вас за это уважаю». Я продолжал извиняться, пока не подошел поезд. На моей памяти никто так превосходно себя не вел; ни прежде, ни потом не приходилось мне встречать писателя, настолько лишенного тщеславия и малейшего amour propre [1].

[1] К 1956 г. он прочел одну или две пьесы Сартра, но ничего — из Камю, который был объявлен реакционным, профашистски настроенным писателем.

[1] Себялюбия *(фр.)*.— *Ред.*

Пока я дожидался поезда, стал накрапывать дождь. На платформе находились еще двое — юноша и девушка, и мы все сбились в кучку под единственным укрытием, какое удалось найти,— под досками, торчавшими над старым, ветхим забором. Мы обменялись несколькими фразами — выяснилось, что они — студенты: юноша изучал химию, а девушка — историк, занимается русской историей прошлого века, в частности, революционными движениями. Мы стояли в полной темноте — станция не была освещена — и с трудом различали лица друг друга; поэтому молодые люди чувствовали себя в безопасности и свободно беседовали со мной — очевидным иностранцем. Девушка рассказала: их учат, что в XIX веке русская империя была гигантской тюрьмой, где отсутствовала свобода мысли или выражения чувств; но, хотя студенты считали, что это в общем-то так и было, русские радикалы прошлого века, тем не менее, делали свое дело безнаказанно, а инакомыслие, если только оно не сопровождалось явным терроризмом, как правило, не приводило к пыткам и казням; даже террористам удавалось спастись. «Почему,— спросил я, и должен сознаться, не без некоторого умысла,— в наши дни люди не могут выразить свое мнение по общественным проблемам?» — «Если кто и пытается,— сказал юноша,— его словно метлой выметают, так что его дальнейшая судьба никому не известна, о нем больше — ни слуху, ни духу». Мы переменили тему, и они рассказали, что русская молодежь с жадностью читает романы и рассказы, написанные в прошлом веке, но не Чехова, как выяснилось, и не Тургенева, который казался им старомодным, ставившим проблемы, для них вовсе не интересные, и не Толстого — возможно, оттого (так они объяснили), что во время войны их слишком упорно воспитывали на «Войне и мире» — великой национальной патриотической эпопее; они читают, когда удается раздобыть, Достоевского, Лескова, Гаршина и наиболее доступных из иностранных мастеров — Стендаля, Флобера (не Бальзака и не Диккенса), Хемингуэя и — совсем для меня неожиданно — О'Генри. «А советские писатели? Что вы думаете о Шолохове, Федине, Фадееве? О Гладкове, Фурманове?» — я перечислял первые пришедшие мне на ум имена. «А *вам* они нравятся?» — спросила девушка. «Горького иногда интересно почитать,— заметил юноша.— И Ромена Роллана я люблю. Наверное, у вас в стране есть замечательные писатели?» — «Нет, замечательных нет»,— ответил я, но они вряд ли поверили, а может быть, подумали, что у меня предубеждение против английских писателей или еще: что я — коммунист, не замечающий никаких буржуазных художников. Подошел поезд, и мы сели в разные вагоны: продолжать разговор в присутствии других было небезопасно.

Подобно этим студентам, многие русские (во всяком случае тогда) были, казалось, убеждены, что на Западе — в Англии, Франции, Италии — происходит небывалый расцвет искусства и литературы, для них недоступный. Если я высказывал сомнения по этому поводу, мне ни за что не верили, приписывали их, в лучшем случае, моей вежливости или же разочарованности и скуке пресытившегося капиталиста. Даже Пастернак и его друзья твердо верили, что существует золотой Запад, где гениальные писатели и критики создали и создают шедевры, которые здесь, в России, советское правительство тщательно скрывает. Эта вера была широко распространена. Большинство писателей, с которыми я познакомился в 1945 и 1956 годах,— Зощенко, Маршак, Сейфуллина, Чуковский, Вера Инбер, Сельвинский, Кассиль и ряд других, и не только писатели, но и музыканты — Прокофьев, Нейгауз, Самосуд, режиссеры — Эйзенштейн и Таиров, художники и критики — я их встречал в общественных местах, на официальных приемах, устраиваемых ВОКС'ом (Всесоюзное общество культурных связей с заграницей), и очень редко — у них дома, философы, которых я видел на сессии Академии наук, куда меня пригласили выступить по инициативе самого Лазари Кагановича, незадолго до его падения с пьедестала могущества и власти,— все эти люди не только любопытствовали — даже попросту жаждали услышать новости о том, как развиваются искусство и литература в Европе (гораздо меньше — в Америке): они были твердо убеждены, что там непрерывно появляются изумительные шедевры, которые от них скрывает суровая советская цензура. Omne ignotum pro magnifico [1]. У меня не было ни малейшего желания принижать западные достижения, но я старался подчеркнуть, что наше культурное развитие носит не такой уж неопровержимо триумфальный характер, как они великодушно полагали. Возможно, что некоторые из тех, кто эмигрировал на Запад, все еще ищут эту богатую культурную жизнь или, напротив, испытывают разочарование. Ясно, что кампания против «безродных космополитов» была направлена частично и против этого необычайного увлечения Западом, возникшего прежде всего благодаря слухам о тамошней жизни, которые принесли с собою, вернувшись домой, советские солдаты, как бывшие пленные, так и воины-победители, а кроме того, это увлечение явилось неизбежной реакцией на упорно проводящуюся в советской прессе и на радио кампанию поношения западной культуры. Русский национализм, использованный как противоядие против нездорового интереса со стороны части, во всяком

[1] Все неизвестное представляется величественным (*лат.*).— *Ред*

случае, образованной части населения, и взлелеянный, как это зачастую водится, злобной пропагандой антисемитизма, породил, в свой черед, сильные проеврейские и прозападные настроения, которые, как мне кажется, глубоко укоренились среди интеллигенции. В 1956 году в России неосведомленности касательно Запада значительно поубавилось и, возможно, соответственно снизилась увлеченность, но все же ее было больше, чем Запад того заслуживал.

После переезда Пастернака в Москву я почти каждую неделю бывал у него и близко с ним познакомился. Речь его всегда отличалась особой энергичностью и гениальными полетами воображения, которые никому из слушавших его не удалось передать; я и не надеюсь, что смогу описать преобразующее воздействие его присутствия, его голоса и жестикуляции. Он говорил о книгах и о писателях (ах, если б я догадался тогда делать подробные записи!). Спустя столько лет я лишь припоминаю, что из современных западных авторов он более всего любил Пруста и был увлечен его многотомным романом, а также «Улисса» (он еще не читал более поздних произведений Джойса). Когда через несколько лет я привез с собою в Москву несколько томиков Кафки по-английски, он не проявил к нему никакого интереса и потом, как сам признался, отдал книги Ахматовой, которую они привели в восторг. Он говорил о французских символистах, о Верхарне и Рильке—с обоими он был знаком, а вторым восхищался как человеком и как писателем. Он был увлечен Шекспиром. Его не удовлетворяли собственные переводы, особенно «Гамлет» и «Ромео и Джульетта». «Я попытался заставить Шекспира работать на меня,— сказал он мне в начале нашего разговора,— но из этого ничего не вышло». И он процитировал несколько мест из своего перевода, с его точки зрения особенно неудачных,— я, к несчастью, их не запомнил. Он рассказал, как однажды вечером, во время войны, он слушал передачу Би-Би-Си. Диктор читал стихи. Пастернак плохо воспринимал на слух английскую речь, но на сей раз стихи показались ему восхитительными. «Чьи они? — спросил он самого себя — текст казался ему знакомым. И ответил: „Да это же мои!"». Но затем выяснилось, что это был отрывок из «Освобожденного Прометея» Шелли. Он вырос, как он выразился, под сенью Толстого, с которым был хорошо знаком его отец, и Толстой был для него несравненный гений, писатель, более великий, чем Диккенс и Достоевский, стоящий в одном ряду с Шекспиром, Гёте и Пушкиным. В 1910 г. его отец — художник — взял сына с собою в Астапово — взглянуть на Толстого, лежавшего на смертном одре. Он считал, что Толстого нельзя критиковать: Россия и Толстой — одно. Что касается русских поэтов, то Блок, по его мнению, превосходил гениальностью всех своих современников, но его эмоциональные свойства не вызывали у Пастернака симпатии. Однако он не хотел об этом распространяться. Ему ближе был Белый с его удивительной, неслыханной интуицией, волшебник и блаженный юродивый в традиции русского православия. Брюсова он считал механической музыкальной шкатулкой-самоделкой, умным, расчетливым дельцом, но отнюдь не поэтом. О Мандельштаме при мне не упоминалось. Особую нежность испытывал он к Марине Цветаевой, с которой был связан многими годами дружбы. Его отношение к Маяковскому было скорее двойственным: он хорошо его знал, они дружили, и Пастернак у него учился; конечно, Маяковский был титаном — ниспровергателем старых форм, но, добавил Пастернак, в отличие от прочих коммунистов, он всегда оставался человеком; поэт он был не великий, не бессмертный бог, подобно Тютчеву и Блоку, и даже не полубог, вроде Фета или Белого; время принизило его; в нем нуждались, он был в какой-то период незаменим; есть поэты, для которых настает их счастливая пора — время их призывает, таковы Асеев, бедный Клюев (впоследствии уничтоженный), Сельвинский и даже Есенин,— они выполняют насущную потребность момента, их талант имеет решающее значение для развития поэзии на их родине, а затем они исчезают. Маяковский намного превосходил их: «Облако в штанах» — поэма огромного исторического масштаба, но его крики стали невыносимы: он напрягал и насиловал свой талант, пока тот не лопнул — жалкие обрывки разноцветного воздушного шарика все еще встречаются на пути всякого русского; Маяковский был талантлив, значителен, но груб и незрел и кончил он как рисовальщик плакатов; его любовные истории были пагубны для него как для человека, так и для поэта. Как человека Пастернак его любил, и день самоубийства Маяковского был для Пастернака одним из самых черных дней в его жизни.

Пастернак был русским патриотом, он очень глубоко чувствовал свою историческую связь с родиной. Он не уставал повторять, как ему нравится проводить летнюю пору в писательской деревне, в Переделкине — ведь она была когда-то частью имения известного славянофила Юрия Самарина. Подлинные линии традиции протягивались от легендарного Садко к Строгановым и Кочубеям, к Державину, Жуковскому, Тютчеву, Пушкину, Баратынскому, Лермонтову, от них — к Аксакову, Толстому, Фету, Бунину, Анненскому и скорее к славянофилам, чем к либеральной интеллигенции, которая, говоря словами Толстого, понятия не имеет, чем люди живы. Это страстное, почти всепоглощающее желание считаться русским писателем, чьи корни ушли глу-

боко в русскую почву, было особенно заметно в его отрицательном отношении к своему еврейскому происхождению. Он не желал обсуждать этот вопрос — не то чтобы он смущался, нет, он просто этого не любил, ему хотелось, чтобы евреи ассимилировались и как народ исчезли бы. За исключением ближайших членов семьи, никакие родственники его не интересовали — ни в прошлом, ни в настоящем. Он говорил со мной как верующий (хотя и на свой лад) христианин. Из писателей, осознавших свою принадлежность к евреям, он восхищался Гейне, Германом Когеном — нео-кантианцем, преподавателем философии в Марбурге, у которого Пастернак учился и чьи идеи, в частности философию истории, считал глубокими и убедительными. Всякое мое упоминание о евреях или Палестине, как я заметил, причиняло ему боль; тут он не был похож на своего отца — художника. Однажды я спросил Ахматову, как относились к этому вопросу ее близкие друзья-евреи — Мандельштам, Жирмунский, Эмма Герштейн. Она ответила, что традиционная еврейская буржуазия, из которой они выросли, была для них мало привлекательна, но они никогда намеренно не избегали говорить на эту тему, как это склонен был делать Пастернак.

Художественный вкус Пастернака сформировался еще в юности, и он остался верным мастерам того времени. Воспоминание о Скрябине — он одно время сам думал стать композитором — было для него священно; я вряд ли забуду хвалебные речи, произнесенные Пастернаком и Нейгаузом — прославленным музыкантом, бывшим мужем жены Пастернака, Зинаиды Николаевны, в честь Скрябина, под влиянием музыки которого оба они находились, и в честь художника-символиста Врубеля — его, а также Николая Рериха, они ставили на самое высокое место среди современных художников. Пикассо и Матисс, Брак и Боннар, Клее и Мондриан, казалось, значили столь же мало для них, как и Кандинский или Малевич. В определенном смысле Ахматова, Гумилев и Марина Цветаева — это последние великие голоса XIX века (а Пастернак и сильно отличавшийся от всех Мандельштам — голоса рубежа столетий), и таковыми они пребудут, эти последние представители того, что называют вторым русским ренессансом, несмотря на то, что акмеисты стремились отнести символизм к XIX веку, а себя объявляли поэтами нового времени. Казалось, что модернизм и его представители — Пикассо, Стравинский, Элиот, Джойс — совсем их не затронули, даже если и нравились им; модернизм, подобно многим другим направлениям, был вытеснен в России политическими событиями. Пастернак любил все русское и готов был простить своей родине все ее недостатки — все, за исключением варварского сталинского режима; и даже этот режим в 1945 году он расценивал как мрак перед рассветом и напрягал зрение, чтобы различить признаки наступающей зари — ведь в последних главах «Доктора Живаго» есть место надежде. Он верил, что связан с внутренней, глубинной жизнью русского народа, что разделяет его надежды, страхи и чаяния, что он — его голос, каким каждый на свой лад были Тютчев, Толстой, Достоевский, Чехов и Блок (в то время, когда я знал его, он никогда не допускал в это общество Некрасова). В разговорах со мной в его московской квартире, когда мы были совершенно одни и сидели перед его гладким рабочим столом, на котором не видно было ни книг, ни клочка бумаги, он вновь и вновь выражал уверенность в том, что живет рядом с сердцем своей родины, и упорно отказывал в этой роли Горькому и Маяковскому, особенно первому; он чувствовал, что может многое сказать правителям России, вещи необычайной важности, какие только он один способен высказать, хотя что это конкретно представляло собой,— а говорил он об этом часто,— было для меня темным и непонятным. Может быть, я не разобрался — впрочем, Анна Ахматова рассказывала мне, что когда он говорил с таким пророческим напряжением, она тоже не могла его понять.

Он находился в одном из таких состояний экстаза, когда поведал мне о своем телефонном разговоре со Сталиным относительно ареста Мандельштама, о том знаменитом разговоре, различные варианты которого ходили и все еще ходят по свету. Я лишь по памяти воспроизвожу рассказ Пастернака в 1945 году. Итак, он находился в московской квартире вместе с женою и сыном, гостей никаких не было, когда раздался телефонный звонок и чей-то голос объявил, что звонят из Кремля и что товарищ Сталин хочет говорить с ним. Пастернак решил, что это — идиотский розыгрыш, и положил трубку. Звонок повторился, и тот же голос заверил его, что с ним хочет говорить Сталин. Затем раздался голос Сталина, он спросил, действительно ли у телефона Борис Леонидович Пастернак. Пастернак ответил, что да, это он. Тогда Сталин спросил, присутствовал ли он на вечере, где Мандельштам читал сатиру на него, Сталина [1]. Пастернак ответил, что это не имеет никакого значения, но что он необычайно рад поговорить со Сталиным, он всегда знал, что это произойдет — они должны встретиться и поговорить о предметах крайне важных. Сталин спросил, на самом ли деле Мандельштам — большой мастер; на это Пастернак ответил, что как поэты они очень разнятся друг от друга, что

[1] См.: Nadezhda Mandelstam. Hope against Hope. Trans. Max Hayward. London, 1971. P. 13. Chapter 32.

он восхищается стихами Мандельштама, но не чувствует с ними органического родства. Но в общем-то это тоже не имеет никакого значения. Рассказывая мне этот эпизод, Пастернак, по обыкновению, пустился в далекий метафизический полет, говоря о космических поворотных моментах в мировой истории, которые он собирался обсудить со Сталиным — это чрезвычайно важно, в этом видит он свой долг — я ясно представляю себе, что и со Сталиным он говорил в таком же точно тоне. Как бы то ни было, а Сталин вновь спросил, присутствовал ли он, Пастернак, на чтении Мандельштамом своей сатиры. Пастернак повторил, что наиважнейшее значение имеет лишь его непременная встреча со Сталиным, что она должна произойти как можно скорее, что от нее зависит всё; что они будут говорить об основах основ, о жизни и смерти. «Если б я был другом Мандельштама, я бы лучше сумел его защитить»,— произнес Сталин и положил трубку. Пастернак пытался звонить ему, но, что не удивительно, не смог пробиться к вождю. Этот случай явно растравил ему душу, он повторил мне версию, которую я только что изложил, по крайней мере, еще дважды — уже позднее; да и другим посетителям рассказывал эту же историю, хотя, наверно, в несколько измененном виде. Его попытка спасти Мандельштама, в частности, его обращение к Бухарину, все же помогли Мандельштаму некоторое время продержаться — он был уничтожен спустя несколько лет, но Пастернак отчетливо ощущал, возможно, и беспричинно,— но как должен это ощущать любой человек, не ослепленный себялюбием или глупостью,— что ответь он тогда Сталину иначе, он сослужил бы бóльшую службу осужденному поэту [1].

Он рассказал мне о других жертвах, например, о Пильняке, с трепетом поджидавшем («он постоянно выглядывал из окошка») агента, который предложит ему подписать донос на одного из тех, кто был в 1936 году обвинен в измене родине, а поскольку никто так и не явился, Пильняк понял, что сам он тоже осужден. Рассказывал Пастернак и об обстоятельствах, приведших в 1941 году Цветаеву к самоубийству, которое, по его мнению, можно было предотвратить, не прояви к ней бюрократы от литературы столь чудовищной бессердечности. Говорил он мне и о человеке, просившем его подписать открытое письмо, осуждающее маршала Тухачевского; когда же Пастернак отказался и объяснил причины своего отказа, человек этот разрыдался, сказал, что поэт — благороднейший, чистейший человек, которого он когда-либо встречал, горячо обнял его, а потом прямехонько направился в органы и донес на него. Далее Пастернак сказал, что, несмотря на положительную роль, которую коммунистическая партия сыграла в период войны в России, и не только в ней одной, он считал любое сотрудничество с нею, в чем бы оно ни выражалось, все более и более отталкивающим. Россию можно уподобить галере, сказал он, где на веслах сидят рабы, которых избивают плетьми надсмотрщики. Так почему, хотел бы он знать, дипломат из далекой британской «территории», переведенный в Москву, с которым я был, разумеется, знаком, человек, знавший немного русский язык и претендовавший на то, чтобы называться поэтом, случайно пришедший к нему в дом,— почему этот господин настаивает, при всяком удобном и неудобном случае, что он, Пастернак, должен быть ближе к партии? Ему, Пастернаку, нет нужды общаться с джентльменом, явившимся с другого конца света для того, чтобы указывать, что ему делать,— так не могу ли я передать, что его визиты нежелательны? Я обещал выполнить его просьбу, но не сделал этого, отчасти из страха осложнить его положение, и так не вполне безопасное. Дипломатический представитель Британского содружества, о котором только что шла речь, вскоре после этого покинул Советский Союз и, как мне говорили его друзья, впоследствии переменил свои взгляды.

Упрекал Пастернак и меня — но, разумеется, не в том, что я будто бы навязываю ему мои политические или иные взгляды. Он укорял за то, что́ в его глазах выглядело почти так же скверно, а именно, что мы оба находимся в России, но одному из нас окружающее представляется отвратительным, ужасным, гнусным свинарником, а другой — то бишь я — явно восхищен и смотрит на все затуманенным от восторга взором, то есть в этом случае чем я лучше прочих иностранцев, которые не замечают, что подвергаются нелепому обману, приводя этим в исступление жалкий, несчастный народ.

Пастернак ужасно боялся, что его могут обвинить в приспособленчестве к требованиям партии или государства,— он боялся, что самый факт того, что он выжил, мог быть приписан недостойной попытке ублажить власти, какой-либо низменной сделке с собственной совестью во имя спасения от репрессий. Он постоянно возвращался к этой теме и тратил до нелепости много слов, доказывая, что он не способен на поведение, в котором ни одному из знавших его и в голову бы не пришло его упрекать. Раз он спросил, читал ли я его стихотворный сборник «На ранних поездах», изданный во время войны, и не слышал ли я отзывов об этой книге как об уступке торжествующей ортодоксии. Я честно признался, что ничего подобного не слышал и что его предпо-

[1] Ахматова и Надежда Мандельштам (по свидетельству Лидии Чуковской) считали, что он заслужил четыре из пяти баллов за свое поведение в этой ситуации.

ложение кажется мне смехотворным. Анна Ахматова, связанная с Пастернаком узами глубокой дружбы и нежности, рассказала мне, что она, по дороге в Ленинград из Ташкента, куда она была эвакуирована в 1941 году, остановилась в Москве и посетила Переделкино. Через несколько часов после ее прибытия ей пришла записка от Пастернака, в которой сообщалось, что он не может с нею встретиться — у него высокая температура, он лежит в постели, так что их встреча абсолютно невозможна. На следующий день она получила аналогичную записку. На третий день он сам явился к ней, вид у него был совершенно здоровый, без всяких следов болезни. Прежде всего он спросил, читала ли она последнюю книгу его стихов. При этом на лице его было такое страдальческое выражение, что она почла за лучшее ответить, что нет, еще не успела. После чего лицо его посветлело, он с облегчением вздохнул, и дальше они разговаривали уже спокойно. Он напрасно стыдился этих стихов,— на самом деле они не были хорошо приняты официальной критикой. Они казались ему некой робкой попыткой попробовать себя в гражданской поэзии — а это был как раз тот жанр, который он не терпел больше всего на свете. Но еще в 1945 году он надеялся на великое обновление русской жизни в результате той очистительной бури, какой виделась ему война,— такая же преобразующая на свой устрашающий лад сила, как и сама революция — гигантский катаклизм, который невозможно оценить с помощью наших мелких нравственных категорий. Такие громадные перемены, утверждал он, не поддаются обсуждению; о них следует постоянно думать и стараться по мере сил в течение всей жизни их понять; они — за пределами добра и зла, приятия или отрицания, сомнения или согласия; их следует воспринимать как стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, явления, преобразующие мир, которые лежат по ту сторону всех нравственных и исторических категорий. Ведь и страшные кошмары предательств, террора, убийства невинных людей, и чудовищная война казались ему необходимой прелюдией к неизбежной, доселе неслыханной победе духа.

После этого я не видел его одиннадцать лет. В 1956 году он полностью обособился от политического порядка на своей родине. Он не мог без содрогания говорить ни о нем, ни о его представителях. В то время его друг, Ольга Ивинская, была арестована, подвергнута унизительным допросам, а затем сослана в лагерь на пять лет. «Ваш Борис ненавидит нас, не так ли?» — спросил ее министр госбезопасности Абакумов. «Они были правы,— сказал мне Пастернак,— она не могла и не стала этого отрицать». Я отправился в Переделкино с Нейгаузом и с одним из его сыновей от первой жены — Зинаиды Николаевны, которая была теперь замужем за Пастернаком. Нейгауз твердил, что Пастернак — святой, не от мира сего,— он уповает на то, что власти разрешат ему публикацию «Доктора Живаго», а это чистейший вздор — гораздо вероятней, что автору романа грозят чудовищные неприятности; Пастернак — величайший русский писатель последних десятилетий, а государство его уничтожит, как уже уничтожило многих — таково наследие царского режима — как бы ни отличалась новая Россия от старой, подозрительность к писателям и расправы над ними свойственны обеим. От своей бывшей жены Нейгауз узнал, что Пастернак полон решимости где-нибудь, все равно где, опубликовать роман, что он, Нейгауз, пытался отговорить его, но тщетно. Если Пастернак заведет разговор об этом со мною, не попытаюсь ли я — а это важно, чрезвычайно важно, может быть, вопрос жизни и смерти, кто знает, даже сейчас,— так не попытаюсь ли я удержать его от такого безрассудного поступка? Нейгауз, как мне показалось, был прав: вероятно, Пастернака нужно было спасать от самого себя.

Тут мы подошли к даче Пастернака. Он стоял у калитки и сперва пропустил Нейгауза, потом крепко обнял меня и сказал, что за одиннадцать лет, пока мы не виделись, произошло многое, но большей части очень худое; тут он остановился и спросил: «Может быть, вы хотите что-то сказать мне?» И я с идиотской бестактностью, чтобы не сказать — непростительной глупостью, произнес: «Борис Леонидович, я рад видеть вас в добром здравии, но главное — что вы остались живы, некоторым из нас это кажется чудом» (я-то имел в виду преследования евреев в последние годы жизни Сталина). Его лицо потемнело, он гневно взглянул на меня и сказал: «Я знаю, что́ вы имеете в виду».— «Что, Борис Леонидович?» — «Знаю, знаю, точно знаю, что́ у вас на уме,— ответил он прерывающимся голосом — это было очень страшно,— не увиливайте, я так же ясно вижу, что́ происходит в вашем мозгу, как в своем собственном».— «Что же такое у меня на уме?» — спросил я. Тревога овладевала мной все сильней и сильней. «Вы думаете — я знаю, это так,— что я кое-что сделал для *них*».— «Уверяю вас, Борис Леонидович, что мне такая мысль и в голову не приходила, я никогда не слыхал, чтобы кто-то высказывал нечто подобное, даже в шутку». В конце концов он мне поверил. Но был явно угнетен. Только после того как я убедил его, что перед ним — не только как перед писателем, но как перед свободным и независимым человеком — преклоняется весь цивилизованный мир, он стал приходить в обычное расположение духа. «На худой конец,— сказал он,— я могу повторить слова Гейне: „Если я не заслужил того, чтобы обо мне помнили как о поэте, то уж как о солдате, боровшемся за человеческую свободу,— помнить будут непременно“».

Он провел меня в свой кабинет. Там он вручил мне толстый сверток. «Это — моя книга,— сказал он,— здесь — все. Это мое последнее слово. Пожалуйста, прочтите». Вернувшись в Москву, я сразу принялся за чтение «Доктора Живаго» и закончил его читать на следующий день. В отличие от некоторых читателей, как в Советском Союзе, так и на Западе, я увидел в этом романе творение гения. Роман, как показалось мне тогда, да и теперь кажется, передает все области человеческого опыта, творит мир, пусть даже и для одного настоящего обитателя, языком беспримерной художественной силы. Когда я вновь увидел Пастернака, я как-то постеснялся высказать ему это, я лишь спросил, что он намерен делать со своим романом. Он ответил, что отдал его одному итальянскому коммунисту, сотруднику итальянского отдела советского радио, который одновременно является агентом миланского издателя-коммуниста Фельтринелли; он передал Фельтринелли и свои авторские права — ему хотелось, чтобы этот роман — его завещание, наиболее законченное, подлинное из всех его сочинений — его поэзия ничто по сравнению с этим романом (хотя, как он считал, стихи в романе, может быть, лучшее из написанного им) — ему хотелось, чтобы этот роман обошел весь мир, чтобы «жечь сердца людей!» (тут он процитировал знаменитое стихотворение Пушкина «Пророк»)[1].

В какой-то момент в течение того же дня, пока знаменитый мастер слова Андроников потчевал собравшихся своим тщательно отделанным рассказом об итальянском актере Сальвини, Зинаида Николаевна отвела меня в сторону и со слезами на глазах стала упрашивать, чтобы я отговорил Пастернака от публикации «Доктора Живаго» за границей без официального разрешения: она боялась за судьбу детей — мне ведь известно, на что «они» способны. Тронутый ее просьбой, я при первой возможности переговорил с поэтом. Я обещал снять его роман на микропленку и устроить так, чтобы пленки были зарыты в разных районах земного шара — в Оксфорде, в Вальпараисо, на Тасмании, на Гаити, в Ванкувере, Кейптауне, в Японии,— так что текст переживет даже ядерную войну. Твердо ли он решил бросить вызов советской власти, обдумал ли он последствия?

Вторично за эту неделю он обрушил на меня свой гнев. Он сказал, что все, что я ему здесь излагаю, вызвано, несомненно, добрыми намерениями, что он тронут моей заботой о безопасности — его собственной и его семьи (это было произнесено с легкой иронией), но он знает, что́ делает; что я — гораздо хуже того дипломата — представителя Британского содружества,— который одиннадцать лет назад пытался обратить его в коммунистическую веру; что он переговорил с сыновьями — они готовы пострадать за отца; поэтому я больше не должен поднимать этот вопрос — книгу я прочел и, конечно, понял, что́ она, помимо факта ее распространения на Западе, для него значит. Пристыженный, я замолчал.

Через минуту, возможно, для того, чтобы разрядить атмосферу, он сказал: «А знаете, мое теперешнее положение не так уж непрочно, как вы, наверное, полагаете. Мои переводы Шекспира, например, с успехом идут на сцене. Я сейчас расскажу вам одну занимательную историю». И он напомнил, как когда-то познакомил меня с одним из наиболее знаменитых советских актеров — Ливановым (чья настоящая фамилия, добавил он, была Поливанов). Ливанов восхищался пастернаковским переводом «Гамлета» и несколько лет назад вознамерился поставить трагедию и сыграть в ней. Официальное разрешение было получено, начались репетиции. В это время он был приглашен в Кремль, на один из непременных банкетов, где председательствовал Сталин. У Сталина была привычка во время вечера ходить от стола к столу, обмениваться приветствиями с гостями и предлагать тосты. Когда он подошел к столу, за которым сидел Ливанов, тот спросил его: «Иосиф Виссарионович, а как нужно играть "Гамлета"?» Ему хотелось, чтобы Сталин сказал что-нибудь — все равно что. Тогда он, Ливанов, возьмет это себе на заметку и использует в своих целях. Как пояснил Пастернак, если б Сталин сказал: «Вы должны играть в розово-лиловом стиле», Ливанов мог бы указать актерам, что их игра недостаточно розовая, что вождь высказался вполне определенно — пьеса должна быть розовой, и он, Ливанов, один уловил мысль вождя, так что тут и директор, и любой другой театральный начальник должны были бы подчиниться. Но Сталин остановился и спросил: «Вы — актер? Из МХАТ'а? Тогда адресуйте свой вопрос художественному руководителю, я не специалист в театральных делах». И, после некоторого молчания, добавил: «Впрочем, раз уж вы поставили этот вопрос передо мною, я вам отвечу: «Гамлет» — декадентская пьеса, ее вообще не нужно ставить». На следующий же день репетиции были отменены. И «Гамлет» был поставлен только после смерти Сталина. «Вот видите,— сказал Пастернак,— перемены произошли. Они происходят постоянно». Я все еще молчал.

Затем, как часто бывало раньше, он заговорил о французской литературе. Со времени нашей последней встречи ему удалось

---

[1] «Глаголом жги сердца людей!» Я слегка изменил перевод Мориса Беринга (Maurice Bering. Russian Lyrics. London, 1943. P. 2).

прочесть «La Nausée» [1] Сартра, и он нашел роман нечитабельным, полным отвратительных непристойностей. После четырехсотлетнего взлета творческого гения эта великая нация могла бы и прекратить дальнейшее производство литературы. Арагон — конъюнктурщик, Дюамель, Гено — невообразимо скучны, а Мальро...— он еще пишет? Прежде чем я ответил, одна гостья — с удивительно чистым и прелестным лицом, такой тип гораздо чаще встречается в России, чем на Западе,— учительница, недавно возвратившаяся после пятнадцати лет лагерей, куда ее отправили только за то, что она преподавала английский язык, застенчиво спросила, написал ли что-нибудь Олдос Хаксли после своего «Контрапункта» и продолжает ли писать Вирджиния Вулф? Она никогда не читала книг этой писательницы, но из статьи в одной старой французской газете, которая каким-то таинственным образом попала в лагерь, где она находилась, она сделала вывод, что книги Вирджинии Вулф ей понравились бы.

Трудно передать радость от сознания того, что можешь сообщить новости искусства и литературы иного мира людям, так искренно желающим узнать их и лишенным другого источника информации. Я рассказал этой женщине и прочим собравшимся все, что знал о ситуации в английской, американской и французской литературах; я говорил словно перед жертвами кораблекрушения, оказавшимися на необитаемом острове, на десятилетия отрезанными от цивилизации,— все, что они сейчас услышали, было для них новым, волнующим и восхитительным. Грузинский поэт Тициан Табидзе, большой друг Пастернака, погиб во время террора; его вдове, Нине Табидзе, бывшей в числе гостей, хотелось знать, по-прежнему ли Шекспир, Ибсен и Шоу не сходят со сцен западных театров. Я ответил, что интерес к Шоу угас, зато Чехова очень любят и часто ставят, и добавил, что Ахматова сказала, будто не понимает такого преклонения перед Чеховым: его вселенная однообразна и скучна, солнце в ней никогда не светит, мечи не сверкают, все покрыто ужасающим серым туманом; мир Чехова — это море грязи, в котором беспомощно барахтаются несчастные человеческие существа, это пародия на жизнь (я раз слышал, как Йейтс говорил нечто подобное: «Чехов ничего не знает о жизни и смерти,— сказал он,— он не знает, что небесная твердь полнится звоном мечей»). Пастернак считал, что Ахматова целиком заблуждается. «Передайте ей, когда встретитесь,— сказал он,— мы ведь не можем, как вы, например, сесть в поезд и отправиться в Ленинград,— передайте ей от всех нас, что все русские писатели воспитывали читателя, и даже Тургенев говорит ему, что время — лучший лекарь, и тому подобное. Один Чехов этого не делает. Он — чистый художник — у него все растворяется в искусстве — он есть наш ответ Флоберу». Затем он сказал, что Ахматова, конечно, заведет со мною речь о Достоевском и начнет нападать на Толстого. Но Толстой же был прав в отношении Достоевского. «Романы последнего — чудовищное месиво, где шовинизм сочетается с истерической верой в Бога, в то время как Чехов...— передайте Анне Андреевне и это от меня также! Я глубоко люблю ее, но мне никогда не удавалось ее хоть в чем-либо убедить». Когда же я вновь встретился с Ахматовой — это было в 1965 году в Оксфорде, то почел за лучшее не передавать ей его слова: ей, возможно, захотелось бы ответить ему, а он уже лежал в могиле. Она и впрямь отзывалась при мне о Достоевском с самым искренним восторгом.

Но позвольте вернуться к 1945 году и описать мои встречи с поэтом (она ненавидела слово «поэтесса») в Ленинграде. Это произошло следующим образом: я услышал, что книги в Ленинграде — в так называемых «букинистических» магазинах — значительно дешевле, чем в Москве; колоссальная смертность во время блокады города и возможность выменять книги на продукты привели к тому, что в книжные магазины устремился целый поток книг, особенно тех, что принадлежали старой интеллигенции. Говорили, что некоторым ленинградцам, больным и голодающим, не под силу было нести в магазин тяжелые тома, и они вырывали оттуда связные фрагменты или подборки стихов; как целые книги, так и разрозненные их части распродавались букинистическими магазинами по дешевке. Я бы в любом случае постарался посетить Ленинград, так как мне очень хотелось вновь увидеть город, где прошли четыре года моего детства; соблазн приобрести интересные книги усугубил это желание. После обычных проволочек я наконец получил разрешение провести две ночи в старой «Астории» и в обществе представителя Британского Совета в Советском Союзе — мисс Бренды Трип — в высшей степени умной и симпатичной особы, специалиста по органической химии, прибыл в Ленинград. Был серый день конца ноября.

III

Я не видел город с 1919 года — с той поры, когда мне было десять лет. Моим родителям вместе со мною было разрешено вернуться в нашу родную Ригу — тогда столицу независимой республики. Теперь в Ленинграде детские впечатления необычайно оживились во мне — я был необычайно взволнован видом улиц, домов, памятников, набережных, площадей, и вдруг — знакомые сломанные перила в крошечной мастерской, где чинили самовары,— в подвале дома, в котором жила наша семья. Наш дворик имел тот же заброшенный, убогий вид, что и в первые годы после революции. Сейчас меня отделяли от действительности воспоминания о характерных эпизодах, событиях, случаях, мне казалось, будто я брожу по легендарному городу, сам вдруг став частью живой, полузабытой легенды, и в то же самое время смотрю на этот город с какой-то привлекательной точки извне. Город был основательно разрушен, но и в 1945 году все еще оставался неописуемо прекрасным (когда я вновь через одиннадцать лет увидел его, он был полностью восстановлен). Я направился к цели моего путешествия — к «Лавке писателей» на Невском проспекте, о которой мне рассказывали. В некоторых книжных магазинах тогда были — думаю, и теперь еще остались — два отдела: первый — для обычных покупателей, продавец там стоял за прилавком, и второй, внутренний отдел — со свободным доступом к книжным полкам — для известных писателей, журналистов и прочей привилегированной публики. Так как мы — мисс Трип и я — были иностранцы, то нас допустили в «святилище». Рассматривая книги, я случайно разговорился с человеком, листавшим страницы поэтического сборника. Он оказался известным критиком и историком литературы. Мы поговорили о недавних событиях, он поведал мне об ужасных испытаниях, выпавших на долю ленинградцев во время блокады, о муках и героизме многих жителей города, и сказал, что часть их погибла от холода и голода, другие — главным образом молодежь — выжили, потому что успели эвакуироваться. Я поинтересовался судьбой ленинградских писателей. «Вы имеете в виду Зощенко и Ахматову?» — спросил он. Ахматова была для меня фигурой из далекого прошлого; Морис Баура, переведший несколько ее стихотворений, говорил, что о ней ничего не было слышно со времен первой мировой войны. «А что, Ахматова еще жива?» — в свою очередь спросил я. «Ахматова, Анна Андреевна? — удивился он.— Разумеется! Она живет недалеко отсюда, на Фонтанке, в Фонтанном доме. Вы хотели бы с нею встретиться?» Это прозвучало для меня так, как если б мне предложили встретиться с мисс Кристиной Россетти. Я с трудом пробормотал в ответ, что, конечно, мне бы очень хотелось познакомиться с нею. «Я ей сейчас позвоню»,— сказал мой новый знакомый. Вернувшись, он объявил, что она ждет нас к себе в три часа. Условились, что около трех я подойду к «Лавке писателей», и мы вместе отправимся в Фонтанный дом. Вернувшись в «Асторию» с мисс Трип, я спросил, не желает ли она пойти к Ахматовой, но она сказала, что будет в это время занята.

В условленный час я был на месте, и мы с критиком вышли из «Лавки», повернули налево, перешли Аничков мост и снова повернули налево, вдоль набережной Фонтанки. Фонтанный дом — дворец графов Шереметевых — представляет собою величественное здание в стиле позднего барокко, с чугунными воротами изысканной красоты — Ленинград славится своим чугунным литьем. Дворец имеет просторный внутренний двор, чем-то напоминающий квадратные дворы больших колледжей Оксфорда и Кембриджа. По крутой, темной лестнице мы взобрались на верхний этаж, и нас ввели в комнату Ахматовой, бедно обставленную,— я подумал, что, видимо, все из нее было вынесено во время блокады — украдено или же продано; там оставались только маленький стол, три-четыре стула, деревянный сундук, софа и возле нетопящейся печи — рисунок Модильяни. Величественная седая дама с белой шалью на плечах медленно поднялась нам навстречу.

Анну Андреевну Ахматову отличало необыкновенное достоинство, движения ее были неторопливы, на красивом, благородном лице с несколько суровыми чертами — выражение глубокой печали. Я поклонился — мне это показалось здесь уместным, так как жестами и взглядом она походила на королеву из трагедии. Я поблагодарил ее за то, что она согласилась меня принять, и сказал, что на Западе будут рады узнать, что она находится в добром здравии — ведь о ней многие годы ничего не было слышно. «О, в «Даблин ревью» напечатана обо мне статья,— сказала она,— и, говорят, кто-то в Болонье пишет диссертацию о моем творчестве». В комнате присутствовала ее приятельница, дама академического вида, и несколько минут длилась общая учтивая беседа. Затем Ахматова поинтересовалась, сильно ли пострадал Лондон от бомбардировок. Я ответил то, что мне было известно, испытывая при этом большое смущение и неловкость от ее холодноватой, чуть ли не царственной манеры держаться. Вдруг мне послышалось, будто кто-то окликает меня со двора по имени. Сначала я не придал этому значения, но крики становились все громче, и слово «Исайя» было явственно различимо. Я подошел к окну, взглянул вниз и увидел человека, в котором узнал Рэндольфа Черчилля. Он стоял посредине огромного двора и, как подвыпивший старшекурсник, выкрикивал мое имя. На несколько секунд я прирос к полу. Затем, овладев собой, пробормотал какие-то извинения и опрометью ринулся вниз. Моей единственной мыслью было не допустить его в комнату. Мой спутник, критик, в тревоге последовал за мною. Когда мы очутились во дворе, Черчилль бросился ко мне с шумными приветствиями. «Мистер ***,—

[1] «Тошноту» *(фр.)*.— *Ред.*

сказал я машинально,— вы, очевидно, не знакомы с мистером Рэндольфом Черчиллем?» Критик похолодел, выражение смятения на его лице сменилось ужасом, он бросился бежать со всех ног. Я больше его никогда не видел, но так как его работы продолжают печататься в Советском Союзе, я делаю вывод, что эта случайная встреча не принесла ему вреда. Понятия не имею, следили ли за мною агенты КГБ, но за Рэндольфом Черчиллем они, конечно, следили, и эта злополучная история породила в Ленинграде нелепые слухи о том, что сюда явилась иностранная делегация — уговаривать Ахматову покинуть Россию, что Уинстон Черчилль — давнишний почитатель ее творчества — выслал специальный самолет, чтобы увезти Ахматову в Англию, и тому подобное.

Я не видел Рэндольфа со времен нашей совместной учебы на последнем курсе Оксфордского университета. Поспешив вывести его из Фонтанного дома, я спросил, что все это означает. Он объяснил, что находится в Москве в качестве журналиста по линии Северо-Американской газетной ассоциации, в Ленинград приехал в командировку, остановился в «Астории», где первой его задачей было поместить в холодильник только что купленную банку черной икры; но, поскольку русского он не знает, а переводчик куда-то испарился, Рэндольф стал звать на помощь, и в конце концов крики его были услышаны мисс Брендой Трип. Она позаботилась об икре и в ходе непринужденной беседы сообщила ему о том, что я здесь, в Ленинграде. Он объявил, что мы с ним знакомы и я с блеском смогу заменить его исчезнувшего переводчика; на беду, мисс Трип рассказала ему о моем визите в Шереметевский дворец. Остальное произошло следующим образом: точно не зная, где именно я нахожусь, он использовал метод, испытанный им в Крайст-Чёрч [1] и, я полагаю, в других местах тоже, и, признался он мне с обезоруживающей улыбкой, метод сработал. Я отделался от него так быстро, как только мог, узнал у книжного продавца номер телефона Ахматовой, позвонил ей, чтобы объяснить мое поспешное бегство и извиниться. Я спросил, не мог ли бы я еще раз к ней зайти. «Я жду вас сегодня в девять часов вечера»,— ответила она.

Я явился к девяти часам. Приятельница Ахматовой — как выяснилось, ученица ассириолога Шилейко, второго мужа Ахматовой, дама образованная,— забросала меня вопросами об английских университетах и принципах их устройства. Ахматова не проявляла к этому никакого интереса и большей частью молчала. Ассириологическая дама ушла перед самой полуночью, и тогда Ахматова стала расспрашивать меня о своих старинных друзьях, которые эмигрировали,— кого-то из них, я, возможно, знаю? Она была в этом убеждена, сказала она мне потом; в личных отношениях ее интуиция, уверяла она,— почти второе зрение, и никогда ее не подводит. Я и в самом деле знал кое-кого из названных ею лиц: мы поговорили о композиторе Артуре Лурье — во время войны я встречал его в Америке,— это был ее близкий друг, он переложил на музыку некоторые из ее стихов и стихов Мандельштама; о поэте Георгии Адамовиче; о Борисе Анрепе, художнике-мозаичисте (с ним я не был знаком и знал о нем мало — только то, что пол вестибюля Национальной галереи украшают его мозаики: изображения знаменитых людей — Бертрана Рассела, Вирджинии Вулф, Греты Гарбо, Клайва Белла, Лидии Лопуховой и прочих). Через двадцать лет я мог рассказать Ахматовой, что за это время Анреп добавил к своим мозаикам еще одну — «Сострадание», на ней была изображена она сама. Это ей не было известно, и мое сообщение глубоко ее тронуло, она показала мне кольцо с черным камнем — Анреп подарил его ей в 1917 году [1]. Она спросила меня о Саломее Гальперн, урожденной Андрониковой (она, к счастью, еще жива), которую Ахматова хорошо знала в Петербурге до первой мировой войны,— это была знаменитая светская красавица того времени, остроумная и обворожительная, дружившая со многими русскими поэтами и художниками. Ахматова сказала мне — о чем я, разумеется, уже знал,— что Мандельштам, который был влюблен в Саломею, посвятил ей одно из самых прекрасных своих стихотворений; я был хорошо знаком с Саломеей Николаевной (и ее мужем — Александром Яковлевичем Гальперном) и смог рассказать Ахматовой об их жизни, связях и воззрениях. Она осведомилась о Вере Стравинской, жене композитора, с которой я тогда не был знаком. На этот вопрос я ответил лишь в 1965 году, в Оксфорде. Она рассказала о своих давних поездках в Париж, о дружбе с Амедео Модильяни, чей рисунок, изображавший ее, висит на стене в ее комнате — один из многих (остальные погибли во время блокады), о своем детстве, прошедшем на берегу Черного моря, на земле язычников-нехристей, где чувствуешь себя ближе к древней, полу-греческой, полу-варварской, очень нерусской культуре; о своем первом муже — знаменитом Гумилеве, который очень помог ей сформироваться как поэту — его смешило то, что

---

[1] Название колледжа в Оксфордском университете.— *Ред.*

[1] Очень странное утверждение: на самом деле кольцо с черным камнем было подарено Анной Андреевной Борису Анрепу (а не наоборот) — 13 февраля 1917 г. См. об этом: Борис Анреп. «О черном кольце», «Звезда», 1989, № 6.— *Ред.*

поэт женился на поэте, и при случае он жестоко критиковал ее стихи, хотя никогда не унижал ее в присутствии посторонних. Раз, когда он возвращался из одного из своих путешествий по Абиссинии (эта страна послужила объектом его наиболее экзотических и великолепных стихов), она пришла встречать его на вокзал в Санкт-Петербурге (спустя много лет, в Оксфорде, Ахматова рассказала, в тех же выражениях, эту историю Димитрию Оболенскому и мне). Вид у Гумилева был очень строгий, первый вопрос, который он ей задал, был: «Писала стихи?» — «Да».— «Прочти!» Она прочла. «Ну, хорошо, хорошо»,— сказал он, перестал хмуриться, и они мирно отправились домой; с этой минуты он признал ее как поэта. Она была убеждена, что Гумилев не принимал участия в монархическом заговоре, по обвинению в котором его затем расстреляли. Горький не любил Гумилева и, как рассказывают [1], не вступился за него, несмотря на просьбы многих писателей. Какое-то время до ареста она не виделась с Гумилевым — они развелись за несколько лет до того; в ее глазах стояли слезы, когда она описывала мне ужасные обстоятельства его гибели.

Помолчав, она спросила меня, не хочу ли я послушать ее стихи, но, прежде чем начать, предупредила, что сперва прочтет две песни из байроновского «Дон Жуана», так как они соотносятся с тем, что воспоследует за ними. Даже если б я хорошо знал поэму, и то вряд ли бы назвал выбранные ею песни: хотя читала она по-английски, но произносила она так, что невозможно было понять больше одного-двух слов. Закрыв глаза, она читала по памяти, с большим чувством; я встал и выглянул в окно, чтобы скрыть замешательство. Может быть, думал я позднее, мы так же читаем теперь на древнегреческом и латыни, и нас глубоко трогают слова, которые в том виде, как мы их произносим, вряд ли были бы понятны их авторам и первоначальным слушателям. Потом она прочла свои стихи из сборников «Anno Domini», «Белая стая», «Из шести книг». «Стихи вроде этих, но гораздо лучше, явились причиной гибели самого прекрасного поэта нашего времени, которого я любила и который любил меня...» — слезы не дали ей возможности продолжать. Затем она прочла тогда еще не законченную «Поэму без героя». Есть записи чтения ею своих стихов, и я не буду пытаться это описывать. Даже тогда было ясно, что я слушаю творение гения. Не думаю, что я понял эту многогранную и в высшей степени магическую поэму и ее глубоко личные аллюзии лучше, чем когда я читаю ее теперь. Ахматоаа не скрывала того, что поэма замышлялась ею, как своеобразный памятник всей ее жизни как поэта, памятник прошлому Санкт-Петербурга — города, который был частью ее самой и — в виде карнавального шествия из «Двенадцатой ночи» с пародийными фигурами в масках (en travesti) — памятник ее друзьям, их жизням и судьбам, включая ее собственную, род художественного nunc dimittis [1] перед неизбежным концом, который уже не за горами. Тогда еще не были написаны ни строки «Гостя из Будущего», ни третье посвящение. Эта поэма — сочинение таинственное, вызывающее к жизни глубокие пласты былого. Груда ученых комментариев неумолимо растет, грозя похоронить под своей тяжестью саму поэму.

Потом она читала по рукописи «Реквием». Внезапно прервав чтение, заговорила о тридцать седьмом — тридцать восьмом годах, когда ее муж и сын были арестованы и отправлены в лагеря (это должно было вновь случиться), об очередях женщин, день и ночь, неделю за неделей, месяц за месяцем ждавших известий о своих мужьях, братьях, отцах, сыновьях и разрешения послать продукты, письмо; но известий так и не было, и письма не доходили — пелена смерти, окутав живущих, нависла над городами Советского Союза, пока длились истязания и убийства миллионов невинных людей. Ахматова говорила сухим, обыденным тоном. «Нет, я не могу,— одернула вдруг она себя,— это нехорошо. Вы приехали оттуда, где живут люди, а мы здесь делимся на людей и на...» Наступило долгое молчание. «И даже теперь...» Я спросил о Мандельштаме. Она не ответила, глаза ее были полны слез. Затем она попросила меня не говорить о нем. «После того, как он ударил по лицу Алексея Толстого, все было кончено...» Через несколько минут ей удалось овладеть собой, и уже совсем иным тоном она продолжала: «Алексей Толстой хорошо ко мне относился. Когда мы жили в Ташкенте, он носил сиреневые рубашки à la russe [2] и любил говорить о том чудесном времени, которое ждет нас обоих, когда мы вернемся домой. Это был очень талантливый, интересный писатель, обаятельный искатель приключений, человек бурного темперамента; его больше нет на свете; от него всего можно было ждать; страшный антисемит, неважный друг, он любил лишь молодость, власть, жизненную силу, он не кончил своего «Петра I» потому, что, как он говорил, он мог писать только о молодом Петре, а что ему было делать со всеми этими людьми, когда они состарятся? Он был похож на Долохова, звал меня Аннушкой, от чего меня передергивало, но мне он нравился...»

Было, я думаю, уже около трех часов ночи. Но я не замечал, чтобы ей хотелось со

---

[1] См., например: Nadezhda Mandelstam. Hope Abandoned. Trans. Max Hayward. London, 1974. P. 88.

[1] Ныне отпущаеши (*лат.*).—*Ред.*

[2] В русском стиле (*фр.*).—*Ред.*

мной проститься. Я же был так взволнован и захвачен всем услышанным, что не мог пошевелиться. Открылась дверь, и в комнату вошел ее сын — Лев Гумилев (он теперь профессор истории в Ленинграде); было очевидно, что мать и сын относятся друг к другу с величайшей нежностью. Он рассказал, что учился у знаменитого ленинградского историка Евгения Тарле и что теперь сферой его научных занятий является история древних племен центральной Азии (он умолчал о том, что в тех краях находился лагерь, где он сидел), что его заинтересовала история хазар, казахов и других древних народов; он получил разрешение вступить в армию — служил в одной из частей мелкокалиберной зенитной артиллерии и недавно вернулся из Германии. Вид у него был бодрый, он верил, что вновь сможет жить и работать в Ленинграде. Он предложил мне вареной картошки — больше у них ничего не было. Ахматова начала извиняться за убожество приема. Я попросил у нее позволения переписать «Поэму без героя» и «Реквием»[1]. «Не стоит,— ответила она,— в феврале будущего года должен выйти из печати сборник моих стихов — наиболее полный, он уже в наборе, я вам пришлю книжку в Оксфорд». Но партия, как мы знаем, распорядилась иначе, Жданов назвал ее «полумонахиней, полублудницей»[2] (фраза, которая ему вовсе не принадлежала) — опала распространялась и на других «формалистов» и «декадентов», а также на два журнала, в которых публиковались их произведения. После того, как Лев Гумилев вышел, она спросила, что я читаю, и прежде чем я ответил, стала бранить Чехова за то, что мир его выкрашен в грязные тона, что пьесы его скучны, в них отсутствуют героизм и жертвенность, глубина, мрачность и величие. Это была страстная обвинительная речь, о которой я позднее рассказал Пастернаку: Ахматова действительно считала, что в пьесах Чехова «не сверкают мечи». Я пробормотал, что Чехова любил Толстой. «А ему-то зачем было убивать Анну Каренину? — воскликнула она.— Как только Анна бросает Каренина, все меняется: она в глазах Толстого становится падшей женщиной, traviata[3], проституткой. Конечно, в романе есть гениальные страницы, но главная мораль отвратительна. Кто наказывает Анну? Бог? Нет, общество, то самое общество, чье лицемерие Толстой никогда не уставал порицать. В конце он говорит, что Анна становится противна даже Вронскому. Толстой лжет: он знал все это гораздо лучше. Мораль «Анны Карениной» — это мораль жены Толстого, его московских тетушек; он знал правду и все-таки заставил себя постыдно приспособиться к мещанским условностям. Мораль Толстого — это зеркальное отражение его личной жизни, превратностей его собственной судьбы. Женившись и будучи счастлив в браке, он написал «Войну и мир», роман, воспевающий семейную жизнь. Возненавидев Софью Андреевну, но пока не решившись развестись с нею,— ибо общество, а возможно, и крестьяне осуждали развод, он написал «Анну Каренину», где осудил героиню за то, что она бросила мужа. Когда же он состарился и уже не мог с прежним пылом гоняться за крестьянскими девушками, появилась «Крейцерова соната», запрещающая секс вообще».

Возможно, эта оценка не отличалась большой глубиной, но неприязнь Ахматовой к проповедям Толстого была искренней. Она считала его тщеславным эгоцентриком, противником любви и свободы. Достоевского она обожала (и, как и он, не выносила Тургенева); на второе место после Достоевского она ставила Кафку. («Он писал для меня и обо мне,— сказала она в 1965 году в Оксфорде.— Джойс и Элиот — замечательные поэты, но они ниже этого глубочайшего и правдивейшего из современных авторов».) Пушкина она считала человеком, который все понимал. «Как это, откуда мог он так все знать? Этот кудрявый отрок, бродящий по Царскому Селу с томом Парни под мышкой?» Она прочла мне свои заметки о пушкинских «Египетских ночах» и заговорила о бледном чужеземце, таинственном поэте, который импровизировал на темы, предложенные публикой. Этим виртуозом — так она считала — был польский поэт Адам Мицкевич. Отношение к нему Пушкина было двойственным — их разделял польский вопрос, но Пушкин умел распознавать гениев среди своих современников. Блок, с его безумными глазами и гениальностью, тоже мог быть improvisateur[1]. Она сказала, что Блоку, когда-то похвалившему ее стихи, она сама никогда не нравилась, хотя каждая учительница в России была уверена и продолжает верить, что у Ахматовой с Блоком был роман — «и историки литературы также в это поверят». Основанием к тому, возможно, послужило стихотворение «Я пришла к поэту в гости...», написанное ею в 1914 году и посвященное ему, и, может быть, стихотворение о смерти

---

[1] «Реквием» как законченное произведение в то время еще не существовал.— *Ред.*

[2] Подобную формулировку, в совершенно ином контексте, дал критик Борис Эйхенбаум в лекции, изданной в 1923 г.; там она была нужна, чтобы охарактеризовать сочетание эротических и религиозных мотивов в ранней поэзии Ахматовой. Она вновь появилась в недоброжелательно написанной статье о ней в Советской литературной энциклопедии, откуда, уже в карикатурной форме, перекочевала в ждановскую «анафему».

[3] Развратницей *(ит.).— Ред.*

[1] Импровизатором *(фр.).—Ред.*

«Сероглазого короля», хотя оно написано за десять лет до смерти Блока; были и другие стихи, «но он не любил никого из нас»,— она имела в виду акмеистов — Мандельштама, Гумилева и саму себя. Затем добавила, что Блок не любил и Пастернака.

Разговор перешел к Пастернаку, которого Ахматова обожала. Она сказала, что, только когда Пастернак попадал в неприятные ситуации, ему хотелось быть с нею; он приходил, расстроенный и измученный,— обычно после какой-нибудь запутанной любовной истории, но тут быстренько являлась его жена и уводила его домой. Оба они — и Пастернак и Ахматова — были влюбчивы. Время от времени он делал ей предложение, но она не относилась к этому серьезно; действительно же, хотя влюбленности между ними не было, они любили и обожали друг друга и после гибели Мандельштама и Цветаевой чувствовали себя сиротливо. Мысль о том, что другой жив и работает, служила источником бесконечного утешения для обоих; сами они критиковали один другого. Но больше никому не позволяли это делать. Ее восхищала Цветаева. «Марина — лучше меня как поэт»,— сказала она мне. Но теперь, когда Мандельштам и Цветаева умерли, она и Пастернак жили, словно в пустыне, в одиночестве, хотя и были окружены любовью и пылким обожанием бесчисленных советских читателей, которые знали их стихи наизусть, переписывали их, распространяли и читали вслух; это вселяло в них радость и гордость, и все-таки они оставались в изгнании. Их глубокий патриотизм не был окрашен национализмом, мысль об эмиграции была равно ненавистна обоим. Пастернаку очень хотелось побывать на Западе, но он боялся, что его могут не пустить обратно. Ахматова сказала мне, что она не двинется с места, что готова умереть на родине; независимо от того, какие ужасы ее ожидают, она никогда не покинет Россию. Оба они относились к тем людям, кто твердо верил в расцвет интеллектуальной и художественной культуры на Западе — им она представлялась волшебным миром, полным творческого горения, обоим хотелось собственными глазами увидеть этот мир и прикоснуться к нему.

По мере того как ночь шла на убыль, Ахматова все больше оживлялась. Она стала расспрашивать меня о моей личной жизни. Я с непринужденностью давал ей исчерпывающие ответы, как будто у нее было полное право все знать, а она, в свою очередь, наградила меня чудесным рассказом о своем детстве у Черного моря, о браке с Гумилевым, а затем — с Шилейко и Пуниным, о взаимоотношениях с товарищами ее юности и о Санкт-Петербурге перед первой мировой войной. Лишь в свете этих воспоминаний можно понять череду образов и символов, игру масок, весь bal masqué[1] «Поэмы без героя», с его отголосками из «Don Giovanni»[2] и commedia del'arte[3]. Она опять вспомнила Саломею Андроникову (Гальперн) — ее красоту, обаяние, острый ум, вспомнила, как Саломея всегда правильно угадывала второ- и третьестепенных поэтов («сейчас они — на ступеньку ниже»), о вечерах в кабаре «Бродячая собака», о спектаклях театра «Кривое зеркало», о своем отрицательном отношении к поддельным мистериям символизма, несмотря на Бодлера, Верлена, Рембо и Верхарна,— которых все тогда знали наизусть. Вячеслав Иванов был человеком в высшей степени образованным и культурным, с безупречным вкусом и суждениями, с поразительно развитым критическим даром, но его поэзия оставляла ее холодной и равнодушной; таков был и Андрей Белый; а вот Бальмонта презирали несправедливо — конечно, это был до смешного напыщенный, с большим самомнением господин, но очень талантливый; Сологуб — интересный, самобытный поэт, хотя и неровный; но крупнее их всех был строгий, требовательный директор Царскосельской гимназии Иннокентий Анненский, ее лучший учитель, даже лучше Гумилева, тоже его ученика; и умер этот великий мастер почти не замеченный ни издательствами, ни критиками. А без него не было бы ни Гумилева, ни Мандельштама, ни Лозинского, ни Пастернака, ни Ахматовой. Она долго говорила о музыке — о величии и красоте трех последних фортепианных сонат Бетховена — Пастернак ценил их выше его последних квартетов, и она с ним согласна, ее натуре импонировала бурная смена настроений в каждой из их частей. Параллель, которую проводил Пастернак между Бахом и Шопеном, показалась ей необычной и привлекательной. Она находила, что с ним легче говорить о музыке, чем о поэзии.

Она пожаловалась на свое одиночество и отгороженность от мира — в личном и в культурном плане. Послевоенный Ленинград был для нее не чем иным, как огромным кладбищем, где в могилах лежат ее друзья — это похоже на лес после пожара: несколько обугленных стволов придают гареву еще более пустынный и мрачный вид. У нее были преданные друзья — Лозинский, Жирмунский, Харджиев, Ардовы, Ольга Берггольц, Лидия Чуковская, Эмма Герштейн (она не упомянула ни Гаршина, ни Надежду Мандельштам, о существовании которых я тогда не подозревал); но ее питало не общение с ними, а литература и образы минувших дней: пушкинский Санкт-Петербург, «Дон Жуан» Байрона, Пушкина, Моцарта, Мольера; и об-

---

[1] Бал-маскарад *(фр.).— Ред.*

[2] «Дон Жуан» *(ит.).—Ред.*

[3] Комедия дель'арте *(ит.).— Ред.*

ширная панорама Ренессанса. Она зарабатывала на жизнь переводами. Так, она обратилась с просьбой заказать ей перевести письма Рубенса, а не Ромена Роллана — в конце концов заказ был получен. Видел ли я ее перевод? Я спросил, что для нее значит Ренессанс — реальное историческое прошлое, населенное несовершенными людьми, или же идеализированный образ воображаемого мира. Она ответила, что как раз второе, что поэзия и искусство для нее — тут она употребила выражение, сказанное раз Мандельштамом,— это форма ностальгии, страстное стремление к вселенской культуре, какой мыслили ее себе Гёте и Шлегель, культуре, которая преобразуется в искусство и мысль, то есть в природу, любовь, смерть, отчаяние, мученике, в действительность, у которой нет истории, нет ничего вне ее самой. Она снова стала рассказывать о предреволюционном Петербурге, о городе, где она сформировалась, о долгой мрачной ночи, покрывшей ее с того времени. В ее голосе не было и следа жалости к себе — она походила на принцессу в изгнании — гордую, несчастную, неприступную; голос ее звучал сухо, бесстрастно, лишь временами слова ее казались трогательно-высокопарными.

Рассказ о непрекращающейся трагедии ее жизни выходил далеко за пределы того, что мне когда-либо доводилось слышать. Воспоминания об этом все еще живы во мне и причиняют боль. Я спросил, не собирается ли она составить хронологию своей литературной жизни. Она ответила, что такой хронологией является ее поэзия, в особенности «Поэма без героя», и вновь прочла мне ее. И я опять попросил позволения переписать поэму. И она снова отказала. Наш разговор, отклонившись от литературы и искусства, затронул частные подробности ее и моей жизни и продолжался до позднего утра. Я увиделся с нею еще раз, когда, покидая Советский Союз, возвращался домой через Ленинград и Хельсинки. Я пришел к ней проститься 5 января 1946 года, днем, и она подарила мне один из своих стихотворных сборников, с новым стихотворением, написанным на титульном листе — тем, что потом стало вторым в цикле, озаглавленном «Cinque» [1]. Я догадался, что в этом, первом, варианте на него непосредственно повлияла наша первая встреча. Впрочем, ссылки и аллюзии на наши встречи имеются не только в «Cinque», но и в других стихах.

Аллюзии эти были мне понятны уже тогда, когда я впервые прочел их, а близкий друг Ахматовой академик Виктор Жирмунский, выдающийся литературовед и один из редакторов посмертного советского издания ее стихов, посетивший Оксфорд через год или два после смерти Ахматовой, просмотрев со мной весь текст, подкрепил мои впечатления точными ссылками. Он читал эти тексты с их автором, она говорила ему как о трех посвящениях, их датировке и значимости, так и о «Госте из Будущего». С некоторым замешательством Жирмунский объяснил мне, почему последнее посвящение к поэме, то, что адресовано мне,— а тот факт, что оно существует, сообщил он, широко известен читателям поэзии в России — все-таки было опущено в официальном издании. Я слишком хорошо понимал и понимаю причину этого. Жирмунский был исключительно добросовестным ученым, храбрым и честным человеком, пострадавшим за свои убеждения. Он признался мне, как он мучился, будучи вынужден пренебречь особыми указаниями Ахмвтовой на этот счет, но политическая обстановка вынудила его поступить именно таким образом. Я постарался убедить его в том, что это не имеет большого значения; что поэзия Ахматовой и впрямь в высшей степени автобиографична, а потому обстоятельства ее жизни проясняют смысл ее стихов больше, нежели это бывает у многих других поэтов; вряд ли эти обстоятельства будут полностью забыты: как в прочих странах, живущих в условиях жестокой цензуры, устная традиция, вероятно, их сохранит. Широко разветвленная традиция не может быть свободна от легенды и вымысла, но если он желает увериться, что правда будет известна узкому кружку заинтересованных лиц, пусть в таком случае напишет обо всем этом и передаст эту запись мне, либо другому лицу на Западе, чтобы опубликовать ее, когда это станет безопасно. Сомневаюсь, что он последовал моему совету; но как редактор, вынужденный подчиниться цензуре, он был безутешен и всякий раз, когда мы встречались во время его визитов в Англию, извинялся передо мной.

Причиной того, что мой визит произвел на Ахматову столь сильное впечатление, послужил, как мне кажется, тот случайный факт, что я оказался всего лишь вторым иностранцем, которого она встретила со времен первой мировой войны [1]. Я был, пожалуй, первым человеком из другого мира, кто говорил на ее родном языке и мог рассказать ей о том мире, от которого она много лет была отрезана. Казалось, что ее критический ум и окрашенный иронией юмор сосуществуют с драматическим, временами визионерским, пророческим восприятием действительности; очевидно, я был для нее роковым посланцем, несущим весть о конце света — трагическим знаком будущего, который произвел на нее такое глубокое впечатление, а возможно, сыграл известную роль в новом всплеске ее творческой энергии.

В 1956 году, во время моего следующего приезда в Советский Союз, мы не встретились с нею. Пастернак сказал, что, хотя Анна Андреевна и хотела бы меня увидеть, ее сын, который был вновь арестован вскоре после нашего знакомства, лишь совсем недавно освобожден из заключения, и она боится встречаться с иностранцем, тем более, что ужасный удар, нанесенный ей партийными органами, она приписывает — по крайней мере, частично — моему визиту к ней в 1945 году. Пастернак добавил, что, по его мнению, этот визит вряд ли причинил ей какие-либо неприятности, но поскольку она твердо верит, что причинил, а к тому же ей посоветовали избегать компрометирующих знакомств, она не может видеть меня, но ей хочется, чтобы я ей позвонил — это безопасно, поскольку все ее телефонные разговоры, разумеется, прослушиваются, как, впрочем, и его собственные. Он сообщил ей, когда был в Москве, что встретил меня вместе с женой, которую нашел очаровательной, и выразил сожаление, что Ахматова не может познакомиться с нею. Анна Андреевна пробудет в Москве недолго, добавил он, поэтому следует не откладывая позвонить ей. «Где вы остановились?» — спросил он. «В Британском посольстве».— «Вы ни под каким видом не должны звонить ей оттуда. Моим телефоном тоже не пользуйтесь. Звоните из автомата».

В тот же день я поговорил с нею по телефону. «Да, Пастернак сказал мне, что вы в Москве, вместе с женой. Я не могу увидеться с вами по причинам, вам отлично известным. Мы можем разговаривать, как сейчас, потому что *они* знают. Давно ли вы женаты?» — «Недавно».— «А если точнее, то с каких пор?» — «Я женился в феврале нынешнего года».— «Она — англичанка или, быть может, американка?» — «Нет, она — полуфранцуженка, полурусская».— «Понятно...» — Она долго молчала, потом сказала: «Сожалею, что мы не можем встретиться. Пастернак говорит, что жена ваша очаровательна».— Вновь молчание. «Видели ли вы сборник корейских стихов, которые я перевела? С предисловием Суркова? Можете себе представить, как хорошо я знаю корейский язык, это избранные стихи, и, конечно, состав делала не я. Я пошлю их вам».

После этого она рассказала мне, каково приходится опальному писателю, как от тебя отворачиваются вчерашние преданные друзья, а другие проявляют благородство и смелость; она перечла Чехова, которого когда-то так строго осудила, и нашла, что, по крайней мере, в «Палате № 6» он точно описал положение, в котором оказалась она, да и многие другие. «Пастернак (в разговоре со мною она называла его по фамилии — по распространенной среди русских привычке — и никогда «Борис Леонидович»), вероятно, уже объяснил вам, отчего мы не можем увидеться. Да, он пережил тяжелые времена, но не такие мучительные, как я. Кто знает, может, мы еще встретимся в этой жизни... Вы позвоните мне еще раз?» Я обещал это сделать, но когда позвонил, мне сказали, что она уехала из Москвы, а Пастернак решительно отсоветовал мне звонить ей в Ленинград.

Во время нашей встречи в 1965 году в Оксфорде Ахматова подробно рассказала мне, каким нападкам подверглась она со стороны властей. Оказывается, Сталин пришел в ярость от того, что она, писательница, не имеющая ничего общего с политикой, мало издающаяся, своей безопасностью обязанная главным образом тому, что умудрилась прожить относительно незаметно первые годы революции, когда сражения в сфере литературы и искусства часто оканчивались для их участников заключением в лагеря или же смертью, совершила такой проступок — встретилась с иностранцем без формального на то разрешения, и не просто с иностранцем, а с человеком, находившимся на службе капиталистического государства! «А, так нашу монашку теперь навещают иностранные шпионы...» — как утверждают, заметил Сталин и сопроводил эти слова столь непристойной бранью, что она никак не могла заставить себя повторить ее мне. Тот факт, что я никогда не состоял ни в одной разведке, во внимание не принимался: для Сталина все сотрудники иностранных посольств или миссий являлись шпионами. «Конечно,— продолжала она,— старик к тому времени потерял рассудок. Люди, которые находились там во время его гневного выпада в мой адрес (один из них мне все и рассказал), ни минуты не сомневались, что имеют дело с человеком, находящимся во власти патологической, неотвязной мании преследования». На следующий день после моего отъезда из Ленинграда, то есть 6 января 1946 года, при входе на ее лестницу поставили человека в форме, а в потолок ее комнаты был вставлен микрофон,— конечно, не с разведывательными целями, а чтобы ее напугать. Она знала, что обречена, и хотя официально опала наступила через несколько месяцев — после «анафемы», произнесенной над нею и Зощенко Ждановым, все свои несчастья она приписывала сталинской паранойе. Поведав мне обо всем этом в Оксфорде, она добавила, что, по ее мнению, мы, то есть она и я, непреднамеренно, простым фактом нашей встречи, начали холодную войну, а следовательно, повлияли на ход мировой истории. Она полагала это совершенно серьезно и, как свидетельствует в своей книге Аманда

[1] Пять (пятерка) *(ит.).— Ред.*

[1] До меня она познакомилась еще с одним иностранным подданным — графом Юзефом Чапским, известным польским критиком; его она встретила во время войны в Ташкенте.

Хейт [1], была абсолютно в этом убеждена и видела в нас обоих персонажей мировой истории, избранных судьбой для того, чтобы начать космическое столкновение (эта мысль действительно присутствует в одном из ее стихотворений). Я не мог, возражая ей, заявить, что она, вероятно,— даже если принять на веру неистовый взрыв ярости у Сталина и его возможные последствия,— несколько переоценила влияние нашей встречи на судьбы мира, так как она восприняла бы мои слова как оскорбление, наносимое трагическому образу ее самой, как Кассандры, тому историко-метафизическому образу, который столь верно отражает ее поэзию. Я промолчал.

Потом она вспомнила свою прошлогоднюю поездку в Италию, когда ее наградили литературной премией в Таормине. По возвращении,— рассказала она,— к ней пришли несколько сотрудников КГБ — они интересовались ее впечатлениями о Риме, спросили, не наблюдала ли она антисоветских настроений со стороны писателей, не встречалась ли с русскими эмигрантами. Она ответила, что Рим показался ей городом, где язычество все еще воюет с христианством. «Какую войну вы имеете в виду? — спросили ее.— Упоминались ли в связи с ней США?» Что может она ответить на подобные вопросы, когда ей зададут их,— а это случится непременно — относительно Англии? Лондона и Оксфорда? Имеет ли поэт Зигфрид Сассун, которого вместе с нею чествовали в Шелдонском театре, какую-нибудь политическую репутацию? А другие награжденные? В этой ситуации не лучше ли будет ограничиться упоминанием о том, с каким интересом рассматривала она великолепную чашу, подаренную Александром I Мёртон-колледжу, когда, по окончании войны с Наполеоном, он удостоился такой же награды в университете? Она — русский человек и вернется в Россию, независимо от того, что там ее ожидает: как бы то ни было, а советский режим — это упрочившийся порядок на ее родине, при нем она жила и при нем умрет — вот что означает быть русским человеком.

Мы вернулись к русской литературе. Ахматова сказала, что нескончаемые испытания, пережитые ее родиной, свидетельницей которых она была, породили поэзию удивительной глубины и красоты, поэзию, которая, начиная с 30-х годов, осталась большей частью ненапечатанной. Она предпочитает не говорить о современных советских поэтах, сейчас широко издающихся. Один из самых известных — он как раз в это время находился в Англии — прислал ей поздравительную телеграмму по случаю присуждения ей степени доктора Оксфордского университета. Я был у нее, когда пришла эта телеграмма. Ахматова прочла ее и сердито швырнула в корзину для мусора со словами: «Все они — мелкие бандиты, торгующие своим талантом и приспосабливающиеся ко вкусам публики. На них роковым образом повлиял Маяковский». Она добавила, что Маяковский, конечно, гений, но вовсе не великий поэт, а великий новатор в литературе, террорист, своими бомбами взрывавший старые здания; крупная фигура, чей темперамент обгонял его талант, это был разрушитель, взрывающий все и вся, что само по себе было ко времени. Маяковский кричал во весь голос — это было для него естественно, он не мог иначе, а его подражатели — тут она назвала несколько имен ныне здравствующих поэтов — восприняли его манеру читать стихи как жанр и являются лишь вульгарными декламаторами, в чьих стихах нет и искры подлинной поэзии, краснобаями, лицедеями, а русская публика вопит от восторга, слушая этих «мастеров поэтического слова», как они себя называют.

Единственная из ныне живущих поэтов старого поколения, о ком она отзывалась одобрительно, была Мария Петровых; но сейчас в России есть много одаренных молодых людей, лучшим она считает Иосифа Бродского, которого, по ее собственному выражению, она «сама выпестовала»,— его стихи частично были изданы, но сейчас этот превосходный поэт находится в опале, со всеми вытекающими последствиями. Есть и другие, столь же поразительно одаренные — их имена мне ничего не скажут — поэты, чьи стихи не могут быть напечатаны; само существование их является доказательством неистребимой жизни воображения в России. «Они затмят всех нас,— сказала она,— поверьте мне — и Пастернака, и меня, и Мандельштама, и Цветаеву. Мы все — поэты конца долгого периода совершенствования, который начался в девятнадцатом веке. Мои друзья, и я в том числе, считали, что мы говорим голосом двадцатого столетия. А эти новые поэты созидают еще одно новое начало — они пока за решеткой, но они спасутся и удивят мир». Она довольно долго говорила все в том же пророческом тоне, а потом вернулась к Маяковскому, загнанному, отчаявшемуся, преданному друзьями, но бывшему на какое-то время истинным гласом, рупором своего народа, хотя и ставшему фатальным примером для других; Маяковскому она не была обязана ничем, зато многим — Анненскому — чистейшему, превосходнейшему из поэтов, стоявшему в стороне от водоворота литературной политики, отвергнутому авангардными журналами, умершему, к счастью, вовремя. При жизни его читали мало, но это было в порядке вещей, зато нынешнее поколение гораздо больше, чем то, к которому принадлежала она, интересуется поэзией — кого в десятые годы по-настоящему занимали стихи Блока, Белого и Вячеслава Иванова? Или, коли на то пошло, ее собственные, а также стихи поэтов ее группы? Сегодняшняя молодежь знает их наизусть — она все еще получает письма от читателей, многие — от глупых, восторженных девчонок, но само их обилие о чем-то, конечно, говорит. Пастернак получал писем еще больше, и ему это больше, чем ей, нравилось. Знаком ли я с его другом — Ольгой Ивинской? Нет, не знаком. Она находила обеих — и жену Пастернака, Зинаиду, и его возлюбленную — одинаково несносными, но сам Борис Леонидович — волшебный поэт, один из величайших поэтов России: каждая написанная им фраза — в стихах ли, в прозе — говорит его собственным голосом, не похожим ни на один из слышанных ею. Блок и Пастернак — божественные поэты, ни одному французу или англичанину — ни Валери, ни Элиоту — с ними не сравниться. Бодлер, Шелли, Леопарди — вот родственные им души; подобно всем великим поэтам, они не умели судить о других — Пастернак часто слушал скверных критиков, открывал воображаемые таланты, поддерживал второстепенных авторов — порядочных, но бездарных; он обладал мифологическим восприятием истории, у него никчемные персонажи порой играют таинственную, важную роль — например, Евграф в «Докторе Живаго» (она решительно отвергала версию о том, что этот таинственный образ в известной степени списан со Сталина. Она попросту не находила возможным это обсуждать). На самом деле Пастернак не читал современных авторов, хотя готов был их хвалить,— ни Багрицкого, ни Асеева, ни Марию Петровых, ни даже Мандельштама (который его не привлекал ни как человек, ни как поэт, хотя, конечно, он сделал что мог для него, когда Мандельштам попал в беду), ни ее собственные сочинения — он писал ей удивительные письма о ее стихах, но эти письма на самом деле были о нем самом, а не о ней — она знала, что эти грандиозные фантазии ничего общего не имеют с ее поэзией: «Наверное, таковы все великие поэты».

Похвалы, расточаемые Пастернаком, естественно, осчастливливали тех, к кому они относились, но это было заблуждение. Щедрый даритель, Пастернак ничуть не интересовался трудами других; он, конечно, интересовался Шекспиром, Гёте, французскими символистами, Рильке, возможно, Прустом, но «ни одним из нас». Она призналась, что ей постоянно не хватает Пастернака, что они никогда не были влюблены друг в друга, но глубоко друг друга любили, а это сердило его жену. Затем она заговорила о «пустых» годах — с середины 20-х до конца 30-х, в течение которых она не пользовалась в Советском Союзе официальным признанием; сказала, что в свободных от переводов время она тогда читала русских поэтов: конечно, Пушкина — постоянно, а кроме него Одоевского, Лермонтова, Баратынского — по ее мнению, «Осень» Баратынского — произведение гениальное; а недавно ей случилось перечесть Велимира Хлебникова — безумного, но изумительного.

Я спросил, не собирается ли она когда-нибудь прокомментировать «Поэму без героя»: ведь аллюзии в ней могут быть не поняты теми, кто не знал жизни, о которой идет речь в поэме. Разве ей хочется, чтобы будущие читатели блуждали в потемках? Она ответила: когда те, кому знаком мир, изображенный в поэме, превратятся в развалины или же умрут, умрет и сама поэма — ее похоронят вместе с нею, Ахматовой, и ее веком; поэма не предназначается ни вечности, ни потомкам: для поэтов значение имеет лишь прошлое, особенно детство — они стремятся воссоздать и вновь пережить чувства, испытанные когда-то. Пророчества, оды будущему, даже замечательное послание Пушкина Чаадаеву — всего лишь трескучая риторика, стремление принять величественную позу, сделать вид, что глаз поэта проникает в смутно различимое будущее,— эту роль она презирает.

Она знает, сказала она, что жить ей осталось недолго: врачи ясно дали понять, что у нее слабое сердце, и она терпеливо ждет конца; ей ненавистна мысль, что ее могут пожалеть; она пережила ужасные, трагические события, и ей ведомы самые страшные глубины горя, потому-то она взяла со своих друзей слово, что они не выкажут к ней никакой жалости, а если все же это чувство прорвется, немедленно его подавят; но кое-кто не удержался, и она была вынуждена расстаться с ними; ненависть, оскорбления, презрение, непонимание, преследования — она в силах вынести все, только не сочувствие, да еще смешанное с жалостью. Дам ли я ей свое честное слово? Я дал слово и сдержал его. Она обладала поистине великой гордостью и достоинством.

Потом она рассказала о своей встрече с Корнеем Чуковским во время войны, когда их обоих эвакуировали в Узбекистан. В течение ряда лет у нее сохранялось к нему двойственное отношение. Она уважала его как исключительно одаренного и умного литератора, его честность и независимость неизменно ее восхищали, но ей не нравился его холодный скептицизм, а его интерес к романам русских писателей-народников, к идейной литературе XIX века, особенно к гражданской поэзии, ее отталкивал; это, в сочетании с недружелюбной насмешливостью, с какой он отзывался о ней в 20-х годах, образовали между ними пропасть; но теперь их объединяло то, что оба они — жертвы сталинской тирании. Он был особенно любезен с нею, когда

[1] Amanda Haight. Anna Akhmatowa: A Poetic Pilgrimage. Oxford, 1976. P. 146.

они ехали в Ташкент, и она уже была готова великодушно простить ему все грехи, как вдруг он воскликнул: «Ах, Анна Андреевна, вспомните двадцатые годы — вот было время! Какой изумительный период русской культуры — Горький, Маяковский, молодой Алеша Толстой! Как мы тогда жили!» И прощение, которое она собралась даровать, замерло на губах.

В отличие от тех, кто прошел через бурные годы послереволюционного экспериментаторства, Ахматова глядела на подобные начинания с глубоким отвращением; для нее это был взбаламученный, богемный хаос, начало опошления русской культурной жизни, когда истинные художники должны были отсиживаться в убежищах, если только могли их найти, а стоило им показаться на свет Божий, их тут же убивали.

Анна Андреевна рассказывала мне о своей жизни с бесстрастием, даже с отрешенностью, которые лишь частично скрывали горячую убежденность и нравственные суждения, против которых нечего было возразить. В ее рассказах о чужих индивидуальностях и поступках, проникновение в глубину нравственной сути как характеров, так и ситуаций — тут она не щадила и своих друзей — сочеталось с категоричностью и упрямством, когда она приписывала кому-то определенные побуждения и намерения, особенно, если эти побуждения и намерения касались ее самой, а это даже мне, часто не знавшему обстоятельств, казалось неправдоподобным, а временами — фантастическим; но допускаю, что я недостаточно понимал иррациональный, а порой буйный и капризный нрав сталинского деспотизма, к которому даже теперь с трудом приложимы обычные мерки того, во что можно или нельзя поверить. Мне показалось, что на этих категорически выдвинутых предпосылках Ахматова строит теории и гипотезы, которые затем развивает с замечательной последовательностью и ясностью. Ее твердое убеждение, что наша встреча имела важные исторические последствия, одна из таких idées fixes [1]; она также полагала, что Сталин отдал приказ ее медленно отравить, а затем отменил его; что уверенность Мандельштама перед самой смертью в том, что пища, получаемая им в лагере, отравлена, имеет под собой основания; что поэт Георгий Иванов (которого она обвиняла в том, что в эмиграции он написал лживые мемуары) был одно время платным агентом царской охранки; что Некрасов, поэт XIX века, вероятно, тоже был агентом; что враги до смерти затравили Иннокентия Анненского, и тому подобное. Эти убеждения не имели под собой реальных оснований — они были продиктованы интуицией, однако бессмысленными либо фантастическими назвать их было нельзя; они являлись элементами связной концепции ее собственной жизни и судьбы, а также жизни и судьбы ее народа, теми главными темами, которые Пастернаку хотелось обсудить со Сталиным, видением мира, поддерживавшим и формировавшим ее воображение и ее искусство. Пророчицей она не была, она обладала весьма сильным ощущением реальности. Она описала литературную и общественную жизнь Санкт-Петербурга и свое место в ней перед первой мировой войной с четким и трезвым реализмом, который делает этот рассказ абсолютно правдоподобным. Я страшно виню себя за то, что не записал в подробностях ее мнения о разных людях, движениях и бедах.

[1] Навязчивых идей *(фр.).—Ред.*

Ахматова жила в страшное время и держалась она — об этом пишет Надежда Мандельштам — героически. Тому — тысяча доказательств. Никогда — ни публично, ни, разумеется, в частной беседе со мной — не произнесла она ни единого слова против советского режима, однако вся ее жизнь была — как Герцен однажды сказал фактически обо всей русской литературе — одним непрерывным обвинительным актом против русской действительности. В наши дни в Советском Союзе размеры почитания ее памяти — как художника и как человека несгибаемой воли — насколько я могу судить, не имеют себе равных. Легенда о ее жизни и упорном пассивном сопротивлении тому, что она считала недостойным своей родины и себя, превратила ее в особое явление (как однажды Белинский предсказал Герцену) не только в русской литературе, но в русской истории нашего века.

Но вернемся к началу этого повествования: в 1945 году в своем отчете министерству иностранных дел [1] я написал, что каковы бы ни были причины — прирожденная ли чистота вкуса или же намеренное исключение из круга чтения скверной, низкопробной литературы, могущей этот вкус испортить, а только факт состоит в том, что в настоящее время, вероятно, нет такой страны, где бы поэзия — старая и новая — продавалась бы в таких количествах и читалась бы так жадно, как в Советском Союзе, и что это не может не играть роль мощного стимула как для критиков, так и для поэтов. Далее я писал, что это породило читателей, чьей отзывчивости западные романисты, поэты и драматурги могут только позавидовать, и что если вдруг случится чудо и там, наверху, ослабнет политический контроль и будет допущена бо́льшая свобода художественного выражения, то я не вижу причины, почему бы в обществе с такой жаждой плодотворной активности, в народе, по-прежнему стремящемся к эксперименту, все еще молодом и способном увлечься всем, что кажется ему необычным или хотя бы правдивым; более того, в обществе, обладающем такой жизненной силой, что она помогла ему пройти сквозь все ошибки, нелепости, преступления и несчастья, роковые для культуры более бедной, почему бы в этом обществе не осуществиться великолепному взлету творческих искусств; и что самым поразительным феноменом советской культуры тех дней является контраст между стремлением ко всему, в чем есть хоть малейший признак жизни, и мертвой продукцией, производимой большинством признанных писателей и композиторов.

[1] «A Note on Literature and the Arts in the Russian Soviet Federated Socialist Republic in the Closing Months of 1945», in Public Record Office F. O. 371/56725. (Заметка о литературе и искусстве в РСФСР в последние месяцы 1945 г. Публ. архив F. O. 371/56725) *(англ.). — Ред.*

Я написал это в 1945 году, но мне кажется, что все осталось по-прежнему; фальшивых рассветов было много, но для русской интеллигенции солнце все еще не взошло. Даже самый омерзительный деспотизм иногда невольно способствует спасению всего лучшего от коррупции, содействует героической защите человеческих ценностей. В России при всех режимах это частенько сочетается с необычайным и подчас тонким и деликатным восприятием смешного, которое обнаруживается повсюду в русской литературе, иногда даже в самой сердцевине наиболее душераздирающих пассажей у Гоголя и Достоевского; оно имеет в себе нечто прямое, стихийное, неудержимое, отличное от остроумия и сатиры и тщательно продуманных изобретений Запада. Это, писал я далее, очень характерно для русских писателей, даже для верных слуг режима, когда они немного расслабляются, что и делает их разговоры и манеру держаться столь привлекательными для иностранца. Это, как мне кажется, можно в полной мере отнести и к нашему времени.

Мои встречи и беседы с Борисом Пастернаком и Анной Ахматовой; осознание условий, едва ли поддающихся описанию, в которых они жили и работали; то обращение, которому они подвергались, и тот факт, что мне довелось познакомиться, даже подружиться с ними обоими, произвели на меня глубочайшее впечатление и постепенно изменили мои взгляды. Когда я вижу их имена в печати, когда при мне упоминают о них, я живо представляю себе выражение их лиц, их жесты и слова. Когда я читаю написанное ими, я могу даже теперь услышать звук их голосов.

Перевод с английского ***Н. И. Толстой***

Ел. В. Пастернак

ЛЕТО 1917 ГОДА

«Сестра моя — жизнь» и «Доктор Живаго»

Светлой памяти Е. А. Дородновой

«Я видел лето на земле, как бы не узнававшее себя, естественное и доисторическое, как в откровенье. Я оставил о нем книгу. В ней я выразил все, что можно узнать о революции самого небывалого и неуловимого», — писал Пастернак в Послесловье к «Охранной грамоте». Речь идет о «Сестре моей — жизни», подзаголовком которой и одновременно датировкой служат слова: «лето 1917 года».

Послесловье написано в форме посмертного письма к Рильке. Оно не предназначалось к печати и осталось неоконченным. Исповедь обрывается рассказом о самом важном событии в жизни: о книге «Сестра моя — жизнь».

Действительно, по известности, которую она принесла Пастернаку, ее значение может быть сопоставлено только со славой «Доктора Живаго». Но и внутренне, душевно, ее значение в жизни автора было огромно. «Сила, давшая книгу, — писал он в «Охранной грамоте», — была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали».

«Сестре моей — жизни» посвящены восторженные отклики самых различных поэтов, о ней писали статьи многие критики. Ее появление выдвинуло Пастернака в число первых литературных имен, освободило его от групповой принадлежности, предало забвению его предыдущие сборники. На ее опыте Пастернак понял «чудо становления книги», когда стихи писались одно за другим день за днем, слагаясь в циклы и главы единого по духу и настроению лирического целого.

Это о ней он писал: «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего». В ней была осуществлена мечта о лирике как определенном типе сознания и особом мировосприятии, свободном от описательности, сюжетной заданности и тематизма.

Этим объясняется особая авторская любовь к этой книге и недовольство последующими. Он говорил потом, что всегда хотел писать так, как писал «Сестру мою — жизнь».

Цельность и единство звучания книги достигнуты скупым отбором, которому подверглось написанное летом 1917 года. Многое осталось за пределами книги. Стихи разлада и боли, диссонирующие с общим ее тоном, были включены потом в «Темы и вариации». «Высевки и опилки» назвал их Пастернак в дарственной надписи Цветаевой. Очень точно определяет отношение «Тем и вариаций» к «Сестре моей — жизни» предполагавшееся название «Оборотная сторона медали».

По общепризнанному мнению революционное лето отразилось в «Сестре моей — жизни» общим настроением книги, стихотворными ритмами и взвихренным синтаксисом ее любовной лирики. Отмечалось отсутствие в ней реальных событий и революционных тем. Предпосланный книге эпиграф из Ленау оставался без внимания.

> Es braust der Wald, am Himmel zieh'n
> Des Sturmes Donnerflüge.
> Da mal'ich in die Wetter hin,
> O, Mädchen, deine Züge [1].

Героиня книги Елена Александровна Виноград, в замужестве Дороднова, во время наших с нею встреч тоже неизменно повторяла, что ее самой в книге нет и никаких ее черт, — все только сам Пастернак и поэтическая щедрость его романтического вдохновенья.

Между тем этот эпиграф, как представляется нам теперь, с удивительной точностью передает замысел книги о революционной буре 1917 года, в которую автор *врисовывает черты своей любимой* [2]. Разговоры с Еленой Александровной, углубленные чтением «Доктора Живаго» и его сохранившихся черновых редакций, дали нам для такого вывода некоторые доказательства. Главным материалом, конечно, была глава романа «Прощание со старым», посвященная тому «далекому лету в Мелюзееве, когда революция была тогдашним с неба на землю сошедшим богом, богом того лета».

Внимательное сопоставление текстов вскрывает происхождение основных тем и образов романа «Доктор Живаго», сложную структуру преломления в нем автобиографических моментов.

Явная перекличка образов и словесных формул в «Сестре моей — жизни» и «Докторе Живаго» — никак не автоцитация, как принято в современном литературоведении обозначать такого рода совпадения, а незамутненная временем цепкая память о пережитом, верность впечатлениям, пронесенным через десятилетия и перетекающим из одной книги в другую; Пастернак называл это письмом с натуры и считал основой своего творческого метода. В его письме к Ю. Кайдену это свойство на примере Лермонтова названо субъективно-биографическим реализмом.

«Вы подумайте, какое сейчас время! И мы с вами живем в эти дни! Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте: со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом, — говорит Юрий Живаго. — ...Сдвинулась Русь-матушка, не стоится ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то, чтобы говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? «Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования...» Можно было бы сказать: с каждым случилось по две революции, одна своя, личная, а другая общая. Мне кажется, социализм — это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои, отдельные революции, море жизни, море самобытности. *Море жизни*, сказал я, той жизни, которую можно видеть на картинах, *жизни гениализированной, жизни творчески обогащенной*».

В этих словах Юрия Живаго дается содержание и основная тональность книги «Сестра моя — жизнь», а в последней фразе — объяснение ее названию и вложенному в него смыслу.

О происшедшей в Петербурге революции Пастернак узнал, находясь в Тихих Горах на Каме. Он сразу приехал в Москву. Из его последнего письма А. Л. Штиху с Урала — в феврале 1917 года — известно, что он собирался писать Елене Александровне, но не написал, просил ей рассказать об этом. Вернувшись в Москву, он вскоре увиделся с нею. В 1917 году ей было 20 лет.

На фоне всеобщего вдохновенного подъема и оживления он увидел ее «загадочно невеселый взгляд, блуждающий неведомо где, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Что бы я дал за то, — говорит Юрий Живаго о своей встрече с Ларисой Антиповой, — чтобы его не было, чтобы на вашем лице было написано, что вы довольны судьбой и вам ничего ни от кого не надо».

Пастернак был знаком с Еленой Виноград с 1909 года, еще в «Близнеце в тучах» есть посвященное ей стихотворение. Но теперь ее было не узнать: «...никого ни в чем не укоряющая и почти жалующаяся своей безгласностью, загадочно немногословная и такая сильная своим молчанием» (это опять из «Доктора Живаго»).

Недавно Елена потеряла жениха, его убили на войне. «На этой земле нет Сережи, — писала она Пастернаку, — и мне ничего больше не нужно от нее».

Желание утешить ее в горе и чем-нибудь развлечь толкало на частые встречи, прогулки, поездки в загородные парки, описанные в стихах «Воробьевы горы», «Свистки милиционеров», «Нескучный сад», «В лесу».

О своем приходе к Пастернаку в его маленькую «каморку» в Лебяжьем переулке Елена Александровна еще хорошо помнила в 1979 году: «даже помню платье, в котором была».

> Наряд щебечет, как подснежник,
> Апрелю: «Здравствуй».

Об этой встрече и внезапно вспыхнувшем чувстве Пастернак сказал:

> Как с полки жизнь мою достала
> И пыль обдула.

И об этих же встречах — в «Докторе Живаго»: «Как поразительно они встречались. Как все благоприятствовало им, и все удавалось. Как соединялись в их пользу обстоятельства, точно случайности сговаривались между собою. Точно действительность знала их мысли и была *их сестрою*. Точно существование было их братом». Эти фразы, откровенно обнажающие свое происхождение, были вычеркнуты автором из окончательного текста романа.

В «Сестре моей — жизни» самое частое слово по частотному словарю — «ночь». Эта книга в большей своей части — история ночных прогулок. «Милый душе твоей мрак», — читаем в одном стихотворении; «Осанна тьме египетской» — в другом.

Удивительно описание ночи в Мелюзееве:

«Восхищение жизнью, как тихий ветер, широкой волной шло, не разбирая куда, по земле и городу, через стены и заборы, через древесину и тело, охватывая трепетом все по дороге. Чтобы заглушить действие этого тока, доктор пошел на плац послушать разговоры на митинге».

[1] Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи, тогда в движении бури мне видятся, девочка, твои черты *(нем.)*.

[2] Здесь и всюду далее курсив Ел. В. Пастернак.

Пастернак Елена Владимировна. Автор научных статей о творчестве Бориса Пастернака, составитель «Избранных произведений» Б. Пастернака в 2-х томах (М., 1985), составитель и комментатор переписки Б. Пастернака и О. М. Фрейденберг и переписки Пастернак — Рильке — Цветаева. Живет в Москве.

Ночной митинг перед Большим театром по поводу приезда в Москву Керенского 26 мая 1917 года, на который попали Пастернак с Еленой Виноград, стал содержанием стихотворения «Весенний дождь»:

Под луною на выкате гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!..
Впервые луна эти цепи и *трепет*
Платьев и власть восхищенных уст
Гипсовою эпопеею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

«Луна стояла уже высоко на небе. Все было залито ее густым, как пролитые белила, светом.

У порогов казенных каменных зданий с колоннами, окружавших площадь, черными коврами лежали на земле их широкие тени».

Рельефная скульптурность, которую придает густой лунный свет, и даже колонны Большого театра перенесены автором в провинциальный Мелюзеев.

Елена Виноград училась на Высших женских курсах («Ты на курсах» — в стихотворении Юрия Живаго «Белая ночь»). В июне 1917 года она уехала в Саратовскую губернию «вводить земство» в Романовке и других местах Балашовского уезда, как писал Пастернак в стихотворении «Лето»:

Вводили земство в волостях
С другими вы,— не так ли?
Дни висли, кислицей блестя,
И винной пробкой пахли.

Лариса Федоровна в «Докторе Живаго» тоже ездит по окрестным селам. «Земство, прежде существовавшее только в губерниях и уездах, теперь вводят в более мелких единицах, в волостях. Антипова уехала помогать своей знакомой, которая работает инструкторшей как раз по этим законодательным нововведениям»,— писал Юрий Андреевич жене.

«С земством долго будет мука. Инструкции неприложимы, в волости не с кем работать. Крестьян в данную минуту интересует только вопрос о земле»,— рассказывает Лариса Федоровна, вернувшись из такой поездки.

Еще одна параллель:

«Городок назывался Мелюзеевым. Он стоял на черноземе. Тучей саранчи висела над его крышами черная пыль, которую поднимали валившие через него войска и обозы. Они двигались с утра до вечера в обоих направлениях, с войны и на войну, и нельзя было толком сказать, продолжается ли она или уже кончилась».

Аналогичная картина дана в стихотворении «Еще более душный рассвет»:

Но — моросило, и топчась
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, по утру.
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».

Стихотворение «Гроза, моментальная навек» первоначально называлось «Прощальная гроза» и было вдвое больше окончательного текста. Гроза разразилась в ночь перед отъездом Пастернака из Романовки:

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

В «Докторе Живаго» то же:

«Ночью перед его отъездом в Мелюзееве была страшная буря». Живаго будит повторяющийся стук в окно, оказалось — это оторванный ставень («Всю ночь в окошко торкался И ставень дребезжал»).

Стук пробуждал в Живаго надежду увидеть уехавшую накануне Ларису, «так хорошо им знакомую женщину, она будет сушить волосы и смеяться».

«Шум урагана сливался с шумом ливня, который то отвесно обрушивался на крыши, то под напором изменившегося ветра двигался вдоль улицы, как бы отвоевывая шаг за шагом своими хлещущими потоками. Раскаты грома следовали один за другим без перерыва, переходя в ровное рокотание. При сверкании частых молний показывалась убегающая в глубь улица с нагнувшимися и бегущими в ту же сторону деревьями. [За движущеюся пеленою дождя она производила впечатление реки, через которую строили мост, которую снизу озаряли электрическими лампами расхаживающие по дну водолазы]».

Вычеркнутый из окончательного текста пассаж соотносится с магниевыми вспышками стихотворения «Гроза, моментальная навек» (ранний вариант):

Как фантом в фата-моргане,
Тьму пропаж во тьме находок,
Море — в море эпилепсий
Утопив, тонул циклон.
Молньи комкало морганье.
Так глотает жадный кодак
Солнце — так трясется штепсель,
Так теряет глаз циклоп.

Лето было жарким, засушливым. Стихотворение «Распад» рисует широкую перспективу, увиденную из окна вагона во время растянувшейся на несколько дней поездки Пастернака из Москвы в Романовку. Символические слова Гоголя стали эпиграфом к стихотворению: «Вдруг стало видимо далеко во все концы света». Горящие в степи торфяные болота, воздух, пропитанный гарью, гул солдатских бунтов, горящая скирда, как зарево революции:

И где привык сдаваться глаз
На милость засухи степной,
Она, туманная, взвилась
Революционною копной.

В стихах Юрия Живаго — это Звезды Рождества:

Она разгоралась горящей скирдой
Соломы и сена,
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Отголосок этих впечатлений находим и в тексте «Доктора Живаго». По высохшим торфяным болотам проложена дорога, идущая от Мелюзеева в Бирючи (в раннем варианте Грабари, за которыми горят леса). Солдатский бунт в Зыбушине — один из центральных сюжетных узлов романа.

В первоначальной рукописи было: «Главной силой, соперничавшей со всеми политическими, было в Мелюзееве *владычество лета*. Его присутствие чувствовалось в тот год с чудовищной небывалой осязательностью».

Это место непосредственно соотносится с летним «майным, мятным» воздухом «Сестры моей — жизни».

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь.
В природе лип, в природе плит,
В *природе лета было жечь.*

(«Балашов»)

Жаркие, любовные стихи составляют основную тональность, по которой выстраивается цельность книги «Сестра моя — жизнь». Осенние стихи вынесены в «Темы и вариации».

В черновых набросках к «Доктору Живаго» «пробуждение творческой жилки, новая мысль» приравнены к «чувству общности товарища, брата, загорающегося недозволенной *страстью к сестре своей*». Такое сопоставление добавляет особый оттенок к символическому духу «Сестры моей — жизни».

В тексте ее различных стихотворений поразному обыгрывается весь спектр словарных значений слова «сестра».

Душевное родство:

Родная, громадная, с сад, а характером —
Сестра! Второе трюмо

(«Девочка»)

Народное обращение к девушке:

Как хрип: «Испить, сестрица».

(«Душный рассвет»)

Обозначение невыделенного лица:

Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

(«Любимая — жуть!..»)

Само название книги «Сестра моя — жизнь» использует форму обращения Святого Франциска Ассизского.

В «Докторе Живаго» в главе «Прощание со старым» Лариса Федоровна называется «сестра Антипова», она — медицинская сестра — сестра милосердия.

Стихотворение «Любимая — жуть! Когда любит поэт...» стоит особняком в книге своей обнаженно-романтической концепцией. По определению, данному романтизму в «Охранной грамоте», здесь рисуется яркая в своей наглядности зрительная эмблема поэта на резко очерченном фоне, противопоставленном ему. Стихотворение это близко по своей направленности романтизму Маяковского и, по воспоминаниям Лили Брик, особенно было им любимо.

Он видит, как свадьбы справляют вокруг,
Как спаивают, просыпаются,
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее,— паюсной.

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,

Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт,
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

В этом стихотворении видна символика будущего противопоставления возвышающей любви Юрия Живаго и коверкающей жизнь, унижающей человека любви Комаровского.

В «Охранной грамоте» в главах о Маяковском есть очень важное место о его последней любви к Веронике Полонской: «Но одинаковой полностью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего».

Не будучи достаточно близко знаком с Полонской, Пастернак ориентировал ее душевный опыт на знакомый ему пример Елены Виноград, наполняя его новым чувством своего увлечения Зинаидой Николаевной Нейгауз. В «Охранной грамоте» он пишет:

«Она с детства стеснена в движениях. Она хороша собой и рано это узнает... Она подростком выходит за ворота... Навстречу — человек по дороге, тот самый, которого естественно было встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права».

Для героини «Сестры моей — жизни» Елены Виноград таким человеком, «которого естественно было встретить», оказался Александр Штих, друг Пастернака с гимназических времен и двоюродный брат Елены.

В «Близнеце» есть такое стихотворение, ему посвященное:

Вчера, как бога статуэтка,
Нагой ребенок был разбит.
Плачь! Этот дождь за ветхой веткой
Еще слезой твоей не сыт.

Сегодня с первым светом встанут
Детьми усавшие вчера,

Мечом призывов новых стяпут
Изгиб застывшего бедра...

К стихотворению — эпиграф из Сафо: «Παρθεμία, παρθεμία, ποί με λίποισ ο'ἰχη» [1].

Стихотворение о страшных потерях, которые несет раннее познание мира физической чувственности, нарушение создаваемых природой барьеров.

Лене Виноград было тогда 16 лет.

«Ты спрашиваешь, какая я. Я — надломленная, я с трещиной на всю жизнь. Меня преждевременно, преступно рано сделали женщиной, посвятив в жизнь с наихудшей стороны, в ложном, бульварном толковании»,— говорит Лариса Федоровна в романе «Доктор Живаго».

«Легко представить себе твою недетскую боль того времени, страх напуганной неопытности, первую обиду невзрослой девушки»,— отвечает ей Юрий Живаго.

В «Сестре моей — жизни» есть очень странное стихотворение «Наша гроза»:

К малине липнут комары.

Однако ж *хобот* малярийный,
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовей?
Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить *стрекало* озорства,
Где кровь, где мокрая листва?

Возмущение, гнев, обличительный пафос, обилие вопросительных знаков и риторических вопросов могут быть объяснены тем, что фамилия «Штих» переводится с немецкого как *укол*, *«стрекало озорства»*. Эротический подтекст позволяет вывести отсюда происхождение фамилии женского победителя в романе «Доктор Живаго» Виктора Комаровского.

В книге «Сестра моя — жизнь» легко прослеживается противопоставление живого, веселого, смеющегося, творчески одаренного характера Елены-девочки, которую Пастернак знал раньше, и трудной для себя и других, несчастной, сломанной женщины, какой была она теперь,— с ясным сознанием того, «что любая радость, сужденная ей впредь, неминуемо обернется для нее несчастьем».

Зарисовки ее прежнего счастливого и открытого характера даны в «Охранной грамоте»:

«Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха сжалось сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить. ⟨...⟩ Но она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желанья. Ни о чем таком она не думает. На то есть в мире у нее далекий человек огромного обыкновенья, чтобы знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе».

Свою любовь к Елене Виноград Пастернак видел в том, чтобы, понимая и зная ее «лучше ее самой», попытаться возвратить ей истинную сущность ее смелого, веселого и открытого счастью характера.

В стихотворении «Девочка» она — сиреневая ветвь и свежесть смарагда:

Из сада, с качелей, с бухты-барахта,
Вбегает ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.

Стихотворение «Заместительница» рисует ее танцующей:

Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый,
Зачаженный бутоя заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.
Чтобы комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной
Зал, испариной вальса запахший опять.

Естественно возникает параллель с «Елкой у Свентицких» и мандарином, холодящие дольки которого глотает там Тоня Громеко.

Этот вальс к славе напоминает автору оставленная ему в качестве «заместительницы» карточка Елены Виноград, та, «что хохочет».

Хохот, смех — устойчивый мотив характеристики Елены Виноград. В феврале 1917 года Пастернак писал о ней Штиху: «Когда я смотрю на нее и говорю с ней, я на прощанье не могу не пообещать ей писать... Расскажи это ей, это ведь смешно. Она будет смеяться».

«Она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желания»,— читаем в «Охранной грамоте».

Веселый смех Елены Виноград звучит в стихах «Сестры моей — жизни». «Смеются и вырваться силятся» целующиеся дождевые капли. Смеясь и «от души смеша, и до упаду, в лоск», летит она в такт смерчу своего танца в стихотворении «Заместительница». В «Болезнях земли» ее хохот вырастает до размеров космических явлений:

О еще! Раздастся ль только хохот
Перламутром, Иматрой бацилл,
Мокрым гулом, тьмой стафялококков,
И блеснут при молниях резцы.

Эта способность характеризует и Ларису Федоровну в «Докторе Живаго». Вспомним цитированное выше место о грозе, когда Юрий Андреевич представляет себе, как она, вернувшись, «будет сушить волосы и смеяться».

Самым дорогим воспоминанием для ее мужа, Павла Антипова, оказывается сцена, когда, вытрихивая ковер, «она откидывалась, высоко взмахивая руками, как на качелях, и отворачивалась от летевшей пыли, жмурилась и хохотала». При этом невольно возникает воспоминание о качелях «Сестры моей — жизни», на которых качается Елена-девочка в Спасском в 1909 году, в полном согласии с жизнью и природой, твердо уверенная во «взаимности вселенной».

В 1959 году Пастернак писал своей двоюродной сестре М. А. Марковой, что все, кто ему нравились и разделяли с ним «жизнь, судьбу, мир души», «были женщинами этого сияющего, смеющегося, счастливого и высокого рода».

Юрий Живаго вспоминает в Варыкине, какое неизгладимое впечатление произвела в его душе Лара гимназисткой, девочкой в школьном кофейного цвета платье.

Самые грустные стихотворения о романе с Еленой Виноград, перенесенные в «Темы и вариации», рисуют ее в прошлом.

Мне в сумерки ты все — пансионеркою,
Все — школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося.
И вот — айда! Аукаемся, кличем...

Мне в сумерки ты будто все с экзамена,
Все — с выпуска. Чижи, мигрень, учебник.
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
Глаза капсюль и пузырьков лечебных!

Стрельников: «Она была девочкой, ребенком, а настороженную мысль, тревогу века уже можно было прочесть на ее лице, в ее глазах. Все темы времени, все его слезы и обиды, все его побуждения, вся его накопленная месть и гордость были написаны на ее лице и в ее осанке, в смеси ее девической стыдливости и ее смелой стройности».

Юрий Живаго: «Я думаю, я не любил бы тебя так сильно, если бы тебе не на что было жаловаться и не о чем сожалеть. Я не люблю правых, не падавших, не оступавшихся. Их добродетель мертва и малоценна. Красота жизни не открывалась им».

«Я рано в детстве стала мечтать о чистоте. Он был ее осуществлением»,— говорит Лариса Федоровна об Антипове.

Таким образцом и воплощением мечты о чистоте был в жизни Елены Сергей Львович Листопад — незаконный сын Льва Шестова и украинской крестьянки. Он учился в реальном училище вместе с братом Лены — Валей. Отец не помогал ему — бедность, чистота, аккуратность,— он сам зарабатывал на свое обучение, давая уроки.

«Я была его детским увлечением... Мы дружили... Я решила соединить жизнь с этим чудесным мальчиком, чуть только мы оба выйдем в люди...— говорит Лара об Антипове.— И подумай, каких он способностей! Необычайных!.. Одною своей одаренностью и упорством труда достиг... вершин современного университетского знания».

Взволнованно, со слезами в голосе рассказывала нам Елена Александровна в 1980 году об удивительном этом мальчике, чья гибель на войне в 1916-м была крушением всех ее надежд на новую, чистую, достойную любви жизнь.

Летом 1917 года в Мелюзееве сестра Антипова, удостоверясь в смерти мужа и в том, что война проиграна, думает:

«Вдруг все переменилось, тон, воздух, неизвестно, как думать и кого слушаться. Словно водили всю жизнь за руку, как маленькую, и вдруг выпустили, учись ходить сама. И никого кругом, ни близких, ни авторитетов».

В стихах «Сестры моей — жизни» кое-где видны отражения тяжелого душевного состояния героини, отрешенности и загадочности ее поведения.

В первых числах июля Пастернак навещает ее в Романовке. После вдохновенной ночной прогулки в степи вдруг:

Если бровь резьбою
Потный лоб украсила,
Значит, и разбойник?
Значит, за дверь засветло...

Ты молчала. Ни за кем
Не рвался с такой тугой.
Если губы на замке,
Вешай с улицы другой.

Нет, не нá дверь, не в пробой,
Если на сердце запрет,
Но на весь одной тобой
Немутимо белый свет.

«Непроглядная тоска» в ее глазах становится загадкой, которую он должен разгадать:

Здесь прошелся загадки
таинственный ноготь.
— Поздно, высплюсь, чем свет перечту
и пойму.

«Ее далекий брат», который знает ее «лучше ее самой» и должен «быть за нее в последнем ответе», он просит ее: «Не вводи души в обман», порою даже сердится:

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.

Вторая поездка к Елене в начале сентября позволила понять общий ход лета и развитие их отношений во всей страшной откровенности:

Весна была просто тобой,
И лето — с грехом пополам.
Но осень, но этот позор голубой
Обоев, и войлок и хлам.

Разбитую клячу ведут на махан..

Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распахивать настежь
Окна, где в беспамятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,
Расплавливал стекла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,
Которые ныне на брачных
Брусах — мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.

[1] Девственность, девственность, куда ты от меня уходишь *(греч.)*.

Заговоренность, заколдованность ее судьбы, через которую он не может пробиться к ней самой, вырастают в символ сказочного зла:

Онемев, добычей
Чудища стою —

было в первом варианте стихотворения «Сказка» из тетради Юрия Живаго.

Елена, лишившись опоры, не зная, «как думать и кого слушаться», и не в силах более выносить это состояние, решилась найти спасение в браке, который обеспечил бы ей положение и успокоил семью. Ни Пастернак, ни Штих не удовлетворяли условиям, выбор пал на наследника мануфактуры под Ярославлем Н. А. Дороднова. Самый обыкновенный, распространенный ход ложных общественных представлений — равнозначный душевному самоубийству, но успокаивающий семью.

Злой моей недолей
Баюшки-баю —
Выкупили волю
Люди в том краю.

Это слова пленницы из первого варианта «Сказки». В этом стихотворении Святой Георгий, рыцарь и защитник жизни, пробирается *степью по репью*, той самой, по которой Пастернак с Еленой гуляли ночью в Романовке:

Неловко нетронутой степью брестн,
Как против морского теченья.
Репье пробирает сквозь ткань до кости,
Хватает ковыль за колени.

«Часто *жизнь* рядом со мной была революционизирующе, возмущающе мрачна и несправедлива, это делало меня чем-то вроде мстителя за нее или *защитником ее чести, воинствующе* усердным и проницательным, и приносило мне имя и делало меня счастливым, хотя, в сущности говоря, я *только страдал* за них, расплачивался за них»,— писал Пастернак О. М. Фрейденберг в 1948 году.

Это в первую очередь относится к лету 1917 года и «Сестре моей — жизни», которая принесла Пастернаку успех и создала ему имя. Кроме того, такая интерпретация вносит дополнительный аспект в содержание книги и ее название.

Представление о жизни как о попранной сказке, жизни, искаженной ложью так называемого «здравого смысла», сквозит в разбившемся стихотворении «Любимая — жуть!..». Но главные обвинения злу «общелягушечьей этой икры», которое коверкает душу, перенесены в книгу «Темы и вариации». Подобно Юрию Живаго, вычеркивавшему все «кровное, дымящееся, не остывшее и болезнетворное» из стихов о Ларе, Пастернак руководился «внушениями внутренней сдержанности, не позволявшей обнажать слишком откровенно лично испытанное и невымышленно бывшее, чтобы не ранить и не задевать непосредственных участников написанного».

Но страшные и откровенные прорывы были:

И, когда изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя
Повалилась без сил амазонка в бору.

И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заломила, где лег,
Где застрял, где повис ее шлем теневой,
Разрывая кусты на себе, как силок.

Но гнев Пастернака всегда обращен на тех, кто способствовал или вынуждал Елену пойти на гибельный шаг, кто был причиной ее душевного слома. По отношению к ней самой — только жалость и страдание. Она вспоминала, как прибегала к нему за сочувствием, как плакала, а он утешал ее:

О ангел залгавшийся, сразу бы,сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так — я не смею, но так — зуб за зуб!
О скорбь, зараженная ложью в начале,
О горе, о горе в проказе!

Желание помочь ей и все объяснить, расколдовать ее запутанную судьбу вызвало к жизни книгу о Жене Люверс, «в которой про все прописано, ну просто-таки про нсе, про нсе», выражаясь словами проститутки Сашки из пастернаковской «Понести» 1929 года.

Роман о Люверс писался осенью и зимой 1917 года, когда можно было еще что-то изменить, на что-то повлиять. Пастернак мечтал о сочетании в нем стихов и прозы,— может быть, как раз стихов «Сестры моей — жизни», которые он прятал и не показывал никому в течение трех лет:

Я скажу до свиданья стихам, моя мания —
Я назначил вам встречу со мною в романе.

Брак Елены Александровны весной 1918 года был для Пастернака, говоря его стихами, «тяжелей дознаний трибунала». Он и оборвал работу над романом. Намерения продолжить его не сбылись.

Так во всей грубой реальности предстала Пастернаку его главная тема — тема женской судьбы, и его идеалистическое отношение к революции всегда определялось надеждами на ее нравственно-очищающее действие, освобождающее общественные представления из плена предрассудков. О политической ее стороне он судить отказывался, говоря, что это не его специальность.

Истоки зарождения в нем «пугающей до замирания жалости к женщине» Пастернак относил к своему младенчеству:

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта — только след
Ее путей, не боле...

То весь я рад сойти на нет
В революцьонной воле.

Летом 1917 года эта жалость становится темой его творчества, получившей окончательное воплощение в «Докторе Живаго».

В статье «Patior» Жозефина Пастернак вспоминает свой разговор с братом весной 1917 года, в предвечерний час, в столовой московской квартиры на Волхонке.

«Мы с братом то присаживались на диван, то прогуливались — от окна до голландской печки в дальнем углу комнаты и обратно. Мы разговаривали,— быть может, разговор начался с предстоящих выборов,— о нашей великой бескровной революции, как мы, русские, называли тогда мартовские дни 1917 года.

Постепенно разговор перешел на другие темы. Я сказала, что для меня непредставимо, чтобы революция, которая бесспорно может служить основным двигателем повествования в прозе, могла бы стать источником поэзии. Вдохновения, естественно, надо искать в другом, в более устоявшихся, уже внедрившихся слоях человеческого опыта. Состояние революции в противоположность строю устойчивому, по самой природе должно быть свободно от любых привязанностей, быть трезвым, ничем не обремененным, готовым к восприятию новых явлений и в силу этого еще не наполненным никаким содержанием. Оно может способствовать развитию деятельности, красноречия, быть может, мысли,— но не искусства. Искусство возникает вместе с языком сердца и в свою очередь связано с миром детства, окружающей человека природы и традиции. Новизна же по сути поэзии не близка. И так далее в тому подобное.

Борис от всего сердца согласился со мною:

— Да, да, это так, конечно! То, что устоялось, что нас окружало, наше прошлое со всеми своими сложностями пробуждало поэтическое чувство и давало рост искусству.

И тут как бы в связи с нашим разговором Борис заговорил о женской красоте. Я изумилась — так это было неожиданно. Он сказал:

— Существуют два типа красоты — благородная, невызывающая — и совсем другая, обладающая неотразимо влекущей силой. Между этими двумя типами существует коренное различие, они взаимно исключают друг друга и определяют будущее женщины с самого начала.

Я не запомнила точно самих слов брата... В его голосе слышался тот самый особый призвук волнения и печали, который появлялся у него, когда он говорил со мной о самых близких его сердцу вещах».

Кажущаяся непоследовательность разговора слилась в нерасторжимое единство зарождавшейся в это время книги «Сестра моя — жизнь», в которой, по словам автора, «нашли выражение совсем несовременные стороны поэзии», открывшиеся ему революционным летом.

Весенняя встреча с Еленой Виноград, «законы внешности» которой определяли склад ее характера и судьбу, стала для него решающим событием и моментом формирования пожизненной темы. Можно с полной уверенностью говорить, что роман о Люверс 1917—1918 годов был посвящен этой же теме, недаром Е. Г. Лундберг, читавший его осенью, еще до октябрьских дней, говорил о чрезмерной тенденциозности его прозы.

Знакомство в 1930 году с З. Н. Нейгауз наполнило живой краской глубокие впечатления 1917 года. Пастернак услышал в ее судьбе звуки знакомой темы. О символической силе этого сцепления говорит цитированное выше стихотворение из «Второго рождения»:

О том ведь и веков рассказ,
Как, с красотой не справясь,
Пошли топтать, не осмотрясь,
Ее живую завязь...

Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.

В Послесловье к «Охранной грамоте» Пастернак развивает на новых примерах старое противопоставление двух типов красоты. Оно обрывается словами «о тех вечно первых днях всех революций, когда Демулены вскакивают на стол и зажигают прохожих тостом за воздух... Действительность, как побочная дочь, выбежала полуодетой из затвора и законной истории противопоставила всю себя, с головы до ног незаконную и бесприданную».

В романе «Доктор Живаго» революция предстает как акт мщения обществу и обеспеченности за искалеченную женскую судьбу. Выразителем гнева становится воскресший Павел Антипов.

«Сейчас страшный суд на земле, милостивый государь, существа из апокалипсиса с мечами и крылатые звери»,— говорит он Юрию Живаго.

После в Москве мотоцикл тараторил,
Громкий до звезд, как второе пришествие.
Это был мор. Это был мораторий
Страшных судов, не съезжавшихся
к сессии,—

писал Пастернак в «Темах и вариациях» под непосредственным впечатлением реальной стороны этих символов: судов, трибуналов и расстрелов, заглушаемых ревом моторов.

Анатолий Пикач

ФРАГМЕНТЫ О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ

Из книги «Просроченные дневники»

В 1912 году Россию преобразили юбилейные торжества. Помпезно отмечалось столетие Отечественной войны. Над зданиями развевались флаги. Станции срочно побелили. Сторожей при колоколах одели в чистые рубахи, а дорогу из Брестской переименовали в Александровскую. Вот по этой дороге и возвращался на родину из-за границы в душном купе молодой человек, изучавший в Марбурге философию, переживший тогда же сильнейшую влюбленность и столь же ослепляющую встречу со своим поэтическим призванием.

«Воспоминаний о празднуемых событиях,— запишет впоследствии, в 1930 году, молодой человек,— это в едущих не вызвало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствования — равнодушием к родной истории. И если торжества на чем отражались, то не на ходе мыслей, а на ходе поезда, потому что его дольше положенного задерживали на станциях и чаще обычного останавливали в поле семафором».

Юбилейная пышность не могла скрыть стоящей за ней пустоты. Была имитация истории, исчерпавшей себя на тот момент, как бы приостановившейся. Так тогда показалось. Кто же мог знать, что замерла она перед прыжком через пропасть.

Позже будет признание: «Наконец, что касается сторожей, станций и флагов, то и они, разумеется, предвещали серьезную драму, а вовсе не были тем невинным водевилем, который видел в них мой легкомысленный аполитизм».

По существу, тогда на станциях бок о бок происходило два события разного порядка. Одно мнимое, маскарадное, разыгранное — «водевиль». Оно было у всех на виду. Другое, скрытое ото всех, в душе безвестного молодого человека, о котором Валерий Брюсов всего спустя десяток лет напишет: никто со времен Пушкина не привлек к себе такого внимания.

Что касается «легкомысленного аполитизма», то хотелось хотя бы субъективно выскользнуть из плена истории:

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили, с сердца замираньем,
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.

Хотелось обдать и ошеломить себя лавиной запахов, красок, впечатлений. Да что там хотелось! Это ошеломление (любимое словечко молодого человека) овладевало всем его существом без спроса.

Когда же делал я эти выписки и комментарии к ним, которые сейчас листаю, чувствуя, как они обросли временем и новым его комментарием? В год другого юбилея другой Отечественной войны. Пожалуй, это тридцатилетие победы над германским фашизмом. Пик брежневского запустенья, ряженого в мнимые одежды пышного величия. Помнится, меня поразило тогда сходство двух празднеств, паразитирующих на великих событиях нашей истории.

Мой собственный аполитизм той поры перекликался с цитированным. Я не скажу, что он был присущ каждому. Были люди бойцовской непримиримости, высказанной прямо или до поры затаившейся, но куда больше было побратавшихся без заковык с порядком вещей.

Описываемый аполитизм был чужд и тому и другому. Если он и был легкомысленным, то не был легковесным. Скорее в нем была молодая беспечность презрения к «ряженым» истории. Пусть тешатся. Пусть затевают срочную побелку станционных зданий. Всего государственного фасада. Пусть вешают яркие и победные транспаранты. Вешают с неутолимым обжорством себе на грудь все новые награды. Мнимость остается величиной мнимой, да не унизимся до спора с ней как с некой реальностью.

Под пленкой мнимости, мнится такому мироощущению, неистребима живая жизнь. В своей обиходности и вековечных устоях. В ошеломляющей новизне для новичка. Так припадем же к ней жадными устами...

Пикач Анатолий Николаевич, р. 1940. Автор статей и очерков об А. Ахматовой, Б. Пастернаке, А. Кушнере, Г. Горбовском, Н. Рубцове, Л. Мартынове, В. Шефнере, В. Сосноре, А. Битове и др. Живет в Ленинграде.

Мне давно нравилась мимоходная фраза молодого человека в его суждениях о чреде веков — «По прошествии века, пустынного, как зевок людоеда...» Значит и впрямь есть в истории пустóты, зевки огромных зияний, но и внутри зияющей паузы можно жить в согласии с любовью и сокровенным духом самой жизни.

Так ощущалось. В 1912 году, когда до бурь и потрясений мировой войны и революции оставалось два года. И в 1975 году, когда мое внимание остановили приведенные здесь соображения, я не мог предугадать лето 1989-го, весь наш закипающий котел. Да и кто из нас предугадывал?

Что это — историческая близорукость? Куда все сложнее. Каждый в свой черед расставался с молодостью. С милым сердцу ранним аполитизмом. Все увиделось с поправкой на историю, но столь же существенно, что сама история открылась духовному взору с поправкой на тот ни с чем не сравнимый мир, который явил в своих созданиях мой герой:

Всю жизнь я быть хотел, как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я...

Отчего меня потянуло начать полузагадочно, в детективно-сентиментальном ключе литературных или музыкальных радиовикторин? Там просто необходимо напустить туману вокруг высоких чувств и невероятных обстоятельств, в которых подан герой. Заинтриговать фигурой, дабы побудить разгадать инкогнито.

Но нам ведь и разгадывать нечего. Заранее известно, кто такой молодой человек. И все-таки это не поблажка моей проклятой склонности к загадочным ореолам и сентиментальным причудам души. Разве ж сама жизнь не обнаруживает то и дело ту же склонность? И мой герой, Борис Леонидович Пастернак, любил ее подлавливать на этой склонности. Или она его?

«Что же вы это, матушка, затеяли? Кому нужны эти мелодрамы?» — говорят Ларисе, главной героине романа, после ее неудачного покушения на своего растлителя Комаровского. Ждут читателя в романе и роковые выстрелы, и совершенно головоломный, детективный каскад фабульных превратностей, случайных встреч и совпадений.

Все оказывается повязано в этом романе друг другом. Еще в пору детства Юрия Андреевича Живаго адвокат Комаровский был совиновником гибели его отца, выбросившегося из поезда. Мальчик, по случайности бывший свидетелем этой сцены, в будущем окажется другом доктора и расскажет ему о том, как все было.

По случайности и маленький Юра видит тогда из имения, издали, непонятную остановку поезда, ничего не ведая об отце. Еще полюбит эти места, Дуплянку, и Лариса, пока неведомая Юрию. В своем кругу он обвенчается с Тоней, а Лара в своем с Пашей Антиповым, преданно влюбленным в нее.

Для Юры же и Тони, как окажется позже, это будут нити глубокой человеческой привязанности, но не предназначенной любви. Предначертана же Лара, и облик незнакомой девушки дважды поразит Юрия, но только на фронте в начале 1917, где Лариса ищет пропавшего без вести Пашу, случай столкнет их и познакомит. Случай закинет на тот же самый фронт и выходца из Пашиной заводской слободы Юсупа Галлиулина, чтобы столкнуть всех со всеми, а еще раз сделать то же самое в гражданскую войну на Урале.

Паша под нымышленной фамилией Стрельников будет сражаться здесь с бывшим своим фронтовым товарищем Галлиулиным, под командой которого — белые, а Ларису случайно встретит в юрятинской библиотеке доктор, подавшийся с семейством из голодающей Москвы в бывшее Тонино имение. В верховых разъездах между Варыкиным и Юрятиным он мучается раздвоением между домом и Ларисой, но именно случай разрубает мучительный узел — пленение партизанами, у которых нужда во враче.

Превратности судьбы выбросят семью доктора за границу, навсегда разлучив их. Будут еще последние дни с Ларой в Варыкине, похожие на пир во время чумы, но во имя ее спасения увезет ее с дипломатической миссией вездесущий Комаровский. Еще застрелится на пороге варыкинского дома Стрельников, поведав на прощанье доктору последние муки своей души.

Роль случая, власть случая в романе так неумолима, что и в эпилоге, уже на фронтах нашей Отечественной, друзья погибшего доктора угадают в безвестной бельевщице Тане кровную наследницу его и Ларисы...

Недруги романа могли бы его легко пародировать по схеме давнего скетча: вот случайно идет навстречу герой нашей передачи, кажется, музицирующий на досуге. Вот при нем случайно скрипка, не сыграет ли он нам и т. д.

Мы, разумеется, делать этого не станем, но и мгновенные опровержения не годятся. Похоже, в нашем непростом случае, как в детективном расследовании, тоже раскручивается своя пружина, и раскручивается далеко не сразу.

...Детективная интрига «Доктора Живаго» сбивает с толку. Просто обескураживает. Ее иногда списывают на полное невладение романной техникой. Если бы это была только критика справа. Но такие суж-

дения исходят нередко и от людей, знающих цену поэтическому гению Пастернака. Вспомним Ахматову. Лидия Яковлевна Гинзбург (вспоминаю давние с ней беседы) любила повторять изумленно:

— Это черт знает что, «желтый роман», бульварное чтиво...

— Полуудача,— смягчают ныне некоторые ценители поэта, мол, культура движима и такого рода полуудачами. Это нормально. Не легче от пилюли, подслащенной таким образом.

Ведь сам Пастернак считал роман главным детищем своей жизни, чуть ли не подменившим собой все прежде написанное. Ведь сам он порой безжалостно топил это прежнее. В минутном ослеплении, конечно. Во имя возвышения романа.

Если в такой ситуации принять версию, что великий поэт оказался никудышным романистом, то придется констатировать внутреннюю творческую драму, никак не связанную с историей травли, так сказать, внешней драмы, разыгравшейся вокруг романа.

Во искупление этой травли вроде бы неловко говорить об этой внутренней драме. Хотя отчего же? Духовные драмы великих людей нам не в диковинку. Возможно, это закон существования культуры.

Второй том «Мертвых душ» мог и не получаться, но величие единого замысла не дробится на отдельности. Бесконечные наброски ранней прозы и стихи как бы устремлены к роману как конечной своей цели. Но точно так же роман распускается «на пряжу». На тысячи прежних нитей. Молниевидных лирических нитей. И так ему свободнее, в духе самого Пастернака, не любившего закованности формой.

Вероятно, в попытке замкнуть лирическое множественность в единый архитектонический круг Пастернак вступил в противоречие со своим бродильным, импровизационным духом. Но это замечательное противоречие, ибо все должно выворачиваться наизнанку и переходить в свое *другое*.

Стихи и проза, проза и письма, раннее и позднее замечательно перетолковывают друг друга, и это тоже тот единый мир, та художественная вселенная, которая лишь условно дробится, кроится на жанровые или хронологические отдельности:

Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.

Единый мир Пастернака в своей величайшей уникальности никогда не будет потеснен в задние ряды из литерного. И роман никак не изымается из общей лирической стихии. И здесь есть другая версия. Роман Пастернака нельзя мерить привычным романным алгоритмом. Его надо читать по законам этой стихии.

Сменить угол зрения, и вещь заиграет, преобразится. Тогда и о полуудаче говорить будет кощунственно.

Поздний роман, как и стихи этой поры,— это роман-переводчик и стихи-переводчики. Они во многом перевели прежние ассоциативные сгущения и излюбленные мотивы поэта на язык прозрачно простой, замечательно сохранив неповторимость пастернаковского виденья мира.

И у этого мира оказалась двойная перспектива. Можно сквозь Юрия Живаго и Лару взглянуть на повествование о Сереже Спекторском или девочке-подростке Жене Люверс, их предтечах, еще разведенных по разным книгам. Но я свыкся с этими обаятельными героями, прежде чем явились для меня Юрий Андреевич и Лара.

И, в отличие от многих нынешних читателей, открывающих Пастернака с романа, для меня большей давней реальностью обладают Женя и Сережа. Сквозь них я смотрю на героев романа. Впрочем, вот так стареет и меняется в течение жизни человек. Необычное чувство я испытал, читая «Начало прозы 1936 года», возникшей на полпути между прошлым и будущим.

В ней, как после многолетней разлуки, мы встречаемся с Женей, уже взрослой женщиной с горькой загадкой в судьбе, павшей на годы этой разлуки. Но как в ней стремительно прорезываются черты будущей Лары. Так скульптор работает с «живой» глиной, перелепляя образ:

Он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелен
Все явственней рождаться.

Герои Пастернака существуют в разных версиях и градациях — от автобиографизма писем и «Охранной грамоты» до множества слепков ранней и поздней поры. Так с кого начнем? С Лары или Жени? Сережи или Юрия Живаго? Или с самого автора в цепи этого лирического двойничества, тройничества и т. д.?

Им есть о чем поговорить. Можно даже представить так. Они всю жизнь находились в интенсивной, бурной переписке. «Разбег тех рощ ракитовых, куда я письма слал...» — Пастернак с юности забросал будущее письмами. «Надорви ж его вширь, как письмо, с горизонтом вступи в переписку»,— он чувствовал себя «эхом, посланным вдогонку» за убегающей его чертой.

Эхо минувшего, образ традиционно понятный, невероятный пастернаковский образ, как обратное изображение в зеркале, эхо будущего в том мгновенно настоящем, которому еще стать минувшим. В подвижной точке пересечения эха с эхом и являются большей частью эти мои записки. Прощаясь с жизнью, он все еще писал о будущем, главном своем будущем, никогда не сбывающемся до конца:

За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.

...Совершенно необычайно в романе два встречных течения укрощают друг друга. Авантюрный сюжетный вихрь укрощается в каждой сюжетной ячейке поэтическим раздольем. Мы это помним по стихам:

И дольше века длится день,
И не кончается объятье.

Таковы исконные неторопливые ритмы циклического времени, подслушанные Юрием Андреевичем в Варыкине, ритмы труда на земле, ритмы огорода и вечернего чаепития, которым неспроста аккомпанирует семейное чтение не имеющей предвидимого конца «Войны и мира».

Ритмы неторопливых дневниковых выписок и записей:

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

Человек как бы настраивает себя на ритмы, подслушанные у природы: «Первые предвестья весны, оттепель... Природа зевает, потягивается, переворачивается на другой бок и снова засыпает...»

Сельских трудовых идиллий было в литературе невпроворот, здесь же идиллия в самом эпицентре взорванного времени. Вихрь корежит, ломает, разбрасывает и уносит человеческие судьбы, и недаром мы еще раз окажемся в Варыкине, и уже Лариса увидит горестно в дочке обреченный на гибель «инстинкт домовитости», но прежде вот это ощущение Юрия Андреевича от русской песни:

«Русская песня, как вода в запруде. Кажется, она остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из вешняков, и спокойствие ее поверхности обманчиво.

Всеми способами, повторениями, параллелизмами она задерживает ход постепенно развивающегося содержания. У какого-то предела она вдруг сразу открывается и разом поражает нас...»

В романе «остановленное время» невидимо подмывается, пока вдруг в какой-то момент не срывается с места крутящимся вихрем интриги. Как стихия революции в «Лейтенанте Шмидте»:

О, вихрь, обрывающий фразы,
Как клены и вязы...

Еще в ранних стихах Пастернака столкнулась с этим вихрем плавность устоявшихся обычаев и движений, отстоявшихся за века:

Просевáя полдень. Тройцын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков...

В этих стихах нет предпочтения одних ритмов другим. Ему доступно обаяние тех и этих: «Ветер, за руки схватив дерева, гонит лестницей с квартир по дрова...» Собственно, и те и другие ритмы дарованы самой природой, и революция сродни ей, но звучат и тревожные ноты: «Мы были людьми. Мы эпохи. Нас сбило и мчит в караване...»

Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим...

Разные эпохи потворствуют разным ритмам и разным человеческим типам. Блистательный Берковский сравнивал Байрона и любимого им особо Флобера. Легендарный ореол Байрона был для его современников существеннее его стихов. В отличие от Байрона Флобер был фигурой биографически бесфабульной, «сидячей».

Пастернак написал уже на переломе к тридцатым:

Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнию сидячей,—
И по такой, грущу по ней...

В такой бесфабульности открывается редчайшая возможность расщепить мгновение, рассмотреть его под лупой или даже микроскопом. Дробное, проглатываемое фабулой, тут оно раскрывает свое малое эпическое пространство. Причем у Пастернака редкостный дар уже в нем обнаруживать свою микрофабулу. Вот девочка Женя из повести «Детство Люверс» забирает с поленниц книгу и возвращается в дом

«...Доставая книжку, Женя потревожила поленницу. Сажень пробудилась и задвигалась, как живая. Несколько поленьев съехало вниз и упало на дерн с легким стуком. Это послужило знаком, как сторожев удар в колотушку. Родился вечер. Родилось множество звуков, тихих, туманных. Воздух принялся насвистывать что-то старинное, заречное.

Двор был пуст. Прохор отработал. Он вышел за ворота. Там низко-низко, над самой травой, струнчато и грустно стлалось бренчанье солдатской балалайки. Над ней вился и плясал, обрывался и падал, и замирал, и потом, не достигнув земли, подымался ввысь тонкий рой тихой мошкары. Но бренчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле и, не запылясь, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, с припаданьями, не спеша.

Женя возвращалась в дом...»

Эта повесть 1918 года была началом уже тогда задуманного романа, продолжение которого было утеряно (попутно, не детективна ли и фабула создания «Доктора Живаго»?). Как просторно в повести мгновению внутри самого себя! И как в то же

время тесно: какая-то ассоциативная эссенция! В романе много сходных ощущений, но словам свободнее дышать, а при этом чаще формулируется сокровенная мысль о назначении жизни и порожденного с ней творчества.

В романе Лара, считайте, повзрослевшая Женя, летом 1911 года едет в последний раз с Кологривовыми в их имение в Дуплянку, которую любит до самозабвения. И в отношении нее был неписаный уговор. Пока перегружались с поезда на телегу, выслушивая от кучера местные новости, Лара, лишившись дара речи, шла в имение пешком, одна:

«Лара шла вдоль полотна по тропинке, протоптанной странниками и богомольцами, и сворачивала на боковую стежку, ведущую к лесу. Там она останавливалась и, зажмурив глаза, втягивала в себя путанопахучий воздух окрестной шири. Он был роднее отца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги. На одно мгновение смысл существования опять раскрывался Ларе. Она тут, — постигала она, — для того, чтобы разобраться в сумасшедшей прелести земли и все назвать по имени, а если это будет ей не по силам, то из любви к жизни родить себе преемников, которые это сделают вместо нее».

У Пастернака есть раннее стихотворение о мельницах, которые «бездонно» перемалывают ширь земную. Нет, не дробится роман на отдельные лирические фрагменты, как твердят иные критики, но каждым фрагментом все более заглатывает воздуха в свои бездонные легкие и наполняется единым лиро-эпическим дыханием.

Роман, подобно Ларе, попадающей в Дуплянку, то и дело готов свернуть на боковую стежку, где можно идти пешком и в любой миг остановиться, вбирая в себя мир. Но эти боковые стежки и есть сердцевина романа.

Наша критика в духе времени идеологизирует его. В спорах о нем она вцепилась в центральные, как ей кажется, идеологические рассуждения политического или религиозного характера. Наш любимец, депутат Собчак, говорит даже так: «Редкий случай: художественное произведение я читал с таким же удовольствием, как научный труд! В романе потрясающе точны характеристики классовых процессов в жизни общества, значения государственного аппарата и места человека в этой системе. Научные формулы ученого. Если бы это было в моих силах, я присудил бы Пастернаку почетное звание доктора наук — социологии и права или, допустим, социологии и политики...»

Суждение столь же верное, сколь курьезное. Иначе он не поставил бы тут же роман Гроссмана головой выше пастернаковского романа. В силу своеобычая он не годится для таких иерархических игр. Идеологического резюмирования в романе и мы коснемся, но в свой черед.

Чтобы вжиться в существо романа, нужно вместе с Ларой и автором вдосталь побродить по магистральной, осевой линии его «боковых стежек». В их ошеломлении, лишающемся дара речи, художественная идея высказывается с наибольшей полнотой, недоступной, как всегда подчеркивал Пастернак, прямому суждению. Недаром же для Лары, наделенной умом и знаниями, воздух окрестной шири предпочтительно «умнее книги».

Но каким-то необъяснимым и чудодейственным образом эта ширь, это неторопливое течение жизни подцепляется стремительной фабулой, уносящей нас в «даль свободного романа». Идя пешком по шпалам, видишь каждую в отдельности. Но если поезд на всей скорости рассекает ширь? «Уносятся шпалы, рыдая...» — излюбленный образ Пастернака!

Он как-то ухитрялся знать, что «жизнь, как тишина осенняя, — подробна», а при этом совмещать такое знание с упоением скоростью. В самой невероятной книге лирики «Сестра моя — жизнь», явившейся в лето 1917-го, есть стремительное стихотворение «Возвращение». Если бы Пастернак был знаком с импровизационной культурой джаза, можно было бы счесть, что он сознательно перевоплотил ее в слова.

Но он сам по себе импровизатор и совпал с этой стихией нечаянно. Как джазовая импровизация и стремительно летящий состав, эти стихи несутся так, что только рябит в глазах «переплет, цепной обвал балок, ребер, рельс и шпал». Они набирают скорость, захлебываются в скороговорке, даже обрывают себя, как на этом перегоне поэтического заклинания:

Под Киевом — пески
И выплеснутый чай,
Присохший к жарким лбам,
Пылающий по классам.
Под Киевом, в числе
Песков, как кипяток,
Как смытый пресный след
Компресса, как отек...

Оборванные фразы уносит скоростью, но как-то цепляются за зрение оборванные картины — «Базары, озаренья ночных эспри и мглы... Идешь, и с запасных доносится, как всхлып...» Стоп-кадр! Так мчишься или идешь, слыша за спиной детский всхлып паровоза. Почти нежный образ, впору залюбоваться, как в другом стихотворении книги — «Юность в счастье плавала, как в тихом детском храпе наспанная наволока».

Но так и нужно Пастернаку. Он разом идет пёхом вдоль линии и мчит на всех парах, не замечая, к счастью для объемности впечатления, некоторого логического противоречия. Да в суммарном мысленном впечатлении от долгой поездки с посадками, остановками и высадками его и впрямь нет.

В стихах свои секреты, в романе они иные. Но эти стихи — развернутое сравнение или «свернутая» модель к прозе, в которой спокойное, обиходное величие жизни подхватывается всплеском взволнованности, а этот всплеск — стремительной фабулой, почти авантюрной.

Подумаем вот о чем. В сущности, из любого произведения при желании можно выжать авантюрный сгусток. Из «Тихого Дона» и «Войны и мира». Из любой жизни. Самой «сидячей». Такой она была у Толстого — автора девяноста томов, но она была и иной, ко всему увенчанной немыслимым побегом из дома. Причем «цепной обвал» авантюрного сюжета как бы продолжается за пределами жизни Толстого.

Пастернак хорошо чувствовал такие невероятные потенции жизни и умел проявлять их до полной и даже режущей глаз отчетливости в самой заурядной обыденности, возводя, если угодно, эти невероятности в квадрат или куб.

В свою очередь, в самой невероятной жизни, исполненной превратностей или авантюризма, можно потопить интригу в глубине жизненных подробностей и описании уклада или нравственно-психологических борений. В «Замечаниях к переводам из Шекспира» Пастернак отмечает у него, равно как и у Достоевского, «двойной, повышенный реализм детектива или уголовного романа».

Из одного и того же подножного жизненного материала можно извлечь тот или иной эффект в зависимости от художественной установки. В ее сдвоенности особый эффект Пастернака, который многих ставит в тупик. Тривиально у нас сравнение чего угодно с замедленной или ускоренной съемкой. Но невероятно у Пастернака их совмещение, идущее наперерез друг другу, с попеременным приоритетом одной из них в разных частях, но с непременным присутствием в каждой.

Если вернуться к аналогии с поездом, то ведь в купе люди разговаривают, гоняют чаи, маятся духотой, время до изнурения замедляется, убаюкивается монотонным перестуком, но это бешено мчится состав. Попробуйте высунуть голову в тамбуре, и вас обдаст ветром скорости. Мчится состав в манящее, неведомое, но, случается, и навстречу катастрофе. Так совмещаются эти движения.

...Жизнь иногда, в какие-то моменты, сама склонна к мелодраматической аффектации, детективной непредсказуемости. Пастернак подлавливает ее то и дело на этом. Так это происходит в романе.

Но не чаще ли, чем в самой жизни? Это донимает меня мой оппонент, который на всякий случай просыпается иногда и во мне самом. Гораздо чаще, но это прием, парирую я. Вернее, это больше чем прием, это мироощущение. Пастернак верит в знамения и предзнаменования. Верит в случай в ореоле такого знамения. Ведь им и была Ларисина свеча в отогретом глазке замерзшего окна.

Но не чаще ли работает услужливый прием, чем могли бы являться знаменья при известном чувстве художественной меры? У Кушнера есть давнее стихотворение, не унимается мой собеседник. Про прозаика, который в угоду сюжету ловко сталкивает своих героев. Кончает он весьма иронически и даже саркастически: «Не верю в эти совпаденья! Сиди, прозаик, тих и нем. Никто не встретился ни с кем».

А у Пастернака: нужно — пожалуйста. Правда, он иногда сам стесняется, как это у него хорошо выходит. Встречает Лариса на фронте Галлиулина, рассказывающего ей о пленении Павла. Какая неожиданность, вырывается у него. Какая поразительная случайность, вторит она ему, у которого, тем не менее, вещи, оставшиеся от Паши, давно для нее наготове.

Не девальвируется ли при частом употреблении сама идея знамения, превращаясь в лихо раскручиваемую детективную пружину? О пружине думал сам Пастернак. Как переводчик Шекспира, изнутри переживший его творческую кухню. Четыре пятых Шекспира, считает он, составляют его гениальные начала и концы. В средних же актах, увы, нередко срабатывает пресловутая пружина — «вот несколькими поворотами ключа Яго в средней части заводит, как будильник, доверчивость своей жертвы, и явление ревности с хрипом и подрагиванием, как устаревший механизм, начинает раскручиваться перед нами с излишней простотой...»

Тем, кто восторгается гамлетовой «Мышеловкой», он подсказывает: «Восторгаться надо бы не «Мышеловкой», а тем, что Шекспир бессмертен и в местах искусственных... Он живет не благодаря им, а вопреки им». Если мы предварительно условимся на таком компромиссе, то зададимся главным вопросом, о самом знамении в естественном его проявлении.

Что это такое? Верите ли вы в такие вещи, колеблетесь ли?.. Или не относитесь всерьез? Но об этом после. Сам Пастернак верил. Вернемся к стихам, где эта вера высказывается непринужденнее. Вот совсем раннее, пробное еще стихотворение 1913 года — мысли о любимой:

Снова ты о ней?
Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки?
Кто навел на след?

Вы чувствуете, что уже здесь в любви

есть оттенок предначертания, интригующей тайны нападения на след, но не в буквальном житейском плане, а в более высоком, неизреченном. Но эта высокая тайна готова обрести осязаемые черты — с топотом погони, захватывающей интригой, мелодикой старых романов.

Поэт или просто глашатай,
Герольд или просто поэт,
В груди твоей топот лошадный
И сжатость огней и ночных эстафет.

Это упование на случай в ореоле тайны и рока влечет Пастернака в женской натуре, которая этим ему сродни, и вот это ощущение подхватывается другими стихами:

Где-то с шумом падает вода.
Где-то, где-то, раздувая ноздри,
Скачут случай, тайна и беда,
За собой погоню заподозрив.

Где-то ночь, весь ливень расструив,
На двоих наскакивает в чайной.
Где же третья? А из них троих
Больше всех она гналась за тайной...

По законам поэзии не надо знать, кто гонится за кем, при чем тут чайная и кто эта третья. Так еще таинственней, чем в каждом отдельном романе. Это хоровой романный слепок. Гимн сквозному ощущению интриги. Гимн сквозной носительнице его духа:

Что сравнится с женскою силой?
Как она безумно смела!
Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла.

Я опасаюсь, небеса,
Как их, ведут меня к тем самым
Жилым и скользким корпусам,
Где стены — с тенью Мопассана.

Где за болтами жив Бальзак,
Где стали предсказаньем шкапа...

Когда вещи вмешиваются в дело, когда и они прорицатели, то это уже сущая фантастика, никем неповторимый «лирический авантюризм» Пастернака, который тем не менее бредит романным мышлением — вперемежку чужим и своим. Вот так, уверен я, в далеком 1916 году еще молодой человек, переместившийся из Марбурга на Урал, слышит уже в себе завязь будущего романа, и как не очутиться в свой черед в тех же краях и Жене Люверс, и Сереже Спекторскому, и их старшим близнецам, если бы такое было мыслимо, Юрию Живаго и Ларе.

Вот так из поэтического бутона, по известной формуле Баратынского, распускается соцветье прозы. Стихи лишь эскизы, твердит он упорно последние годы, эскизы к главному, к роману, где множество, охваченное единой рамой события.

Только эскизы, твердит он и венчает ими роман, не замечая, слава богу, противоречия. И прежний поэтический сколок, с погонями, послан вослед роману:

О, если бы я только мог,
Хотя б отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях...

Восемь строк? Но это не моление о романе. Это моление о стихах. Смотрите, как строфа задыхается на этих «ах»-«ях». Как запыхавшаяся в погонях. Это непреднамеренно. Этого не подделать. Это и есть чудо, только поэзии доступное.

Но, конечно, есть и манившее всю жизнь чудо прозы.

Но ведь и чудо прозы бывает разное. Хотя всем это ясно, мало кто умеет примеряться к этому положению в читательской практике. Роман Пастернака читают по привычным меркам, для него абсолютно негодным. Многое Пастернака роднит с Толстым, но еще больше толстовской меркой заслоняется.

«Искусство,— писал Дидро,— состоит в умении вводить обычные обстоятельства в вещи самые чудесные, и наоборот: вводить чудесные обстоятельства в самые обычные вещи». Но это то, в чем без конца объясняется пастернаковский роман. Мерка к нему запрятана в нем самом, но аналоги к ней в литературе дотолстовского типа.

Мы все-таки жуткие догматики. Если есть высшее достижение психологического анализа, такое, как «диалектика души», то как же можно без нее. Но, представьте, часто нужно совсем другое. Вот четырнадцатилетний сын террориста Ника Дудоров в кологривовской Дуплянке.

«Как хорошо на свете! — подумал он.— Но почему от этого всегда больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он это я. Вот я велю ей,— подумал он, взглянув на осину... и в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» — и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку».

Пока он купался, перевернулся в лодке с Надей, впервые испытав волшебное, еще неведомое волнение от одного ее присутствия, критик Дмитрий Урнов взял да перенес слова о безумном превышении сил на Пастернака, дерзнувшего написать роман, в поэтическом финале которого есть и такие строки:

Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятенье, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно врасплох.

В пору, когда я еще полагал себя безоговорочным атеистом, я все-таки заметил для себя, что жизнь допускает порой необъяснимые сбои, которые определил как мистические опечатки. Жизнь может быть скупа или щедра на эти опечатки, но с ней они случаются, пока не успели «вмешаться законы природы».

Что уж там у Ники с осиной было? Не знаю, но так бывает. Мистическая опечатка? Случайное совпадение? Но, «чем случайней, тем вернее», убедился Пастернак: «Тогда, как вечная случайность, подкрадывается зима», «Весна позднее, чем всегда, но и зато нечаянней», «Скачут случай, тайна и беда...», «случаем подаренная допущенность к делам истории...»

Божий промысел, космические сгущения энергии, парапсихологические казусы или ее величество закономерность, рождающаяся, как известно, в цепи случайностей, да еще какой цепи! Сплошные, как очевидно, ляпы, кляксы, описки и опечатки... Вот какой синонимический ряд объяснений! Выбирайте любой, любой не во вред художественной мотивированности.

В одном из очерков тридцатых годов Берковский интересно интерпретирует прозу дотолстовского, даже добальзаковского склада, для которой характерно изображение «случайных сцеплений как самого важного для судьбы героев», «фабульная феерия». Проза, в которой встречи подыгрываются старанием «промысла», некой провиденциальной силой.

Конечно, Пастернак тяготеет к этому корню. Берковскому, увлеченному в ту пору чрезмерным историзмом, кажется, что этот тип миросозерцания изживается в реализме высшего типа. Где все изъясняется из самого себя, без иллюзорных надстроек. Как у Бальзака. Пастернака тоже очень влекла эта могучая фигура:

А их заложник и должник,
Куда он скрылся? Ах, алхимик!
Он, как над книгами, поник
Над переулками глухими.

Вот откуда позднее, всем известное — «вечности заложник у времени в плену». Он совсем иначе видит Бальзака и тот город, который, пересоздавая, «ткет.... как паук». Берковскому кажется, что жизнь нашла ключ сама к себе и сама себя объяснила. Это верно, как верно и противоположное:

О город! О сборник задач без ответов,
О шифр без решенья и шифр без ключа.

Это так, ибо в любом объяснении остается сверхсмысловой остаток, и в этом остатке «скачут случай, тайна и беда». Бальзак, конечно, многое объяснил и даже помог объяснить Марксу. В его романах нет надстроечного «провидения». Это верно, но в глубине картины брезжит тождественная ей самой провиденциальная сила.

У Пастернака, в другом стихотворении, Бальзаку

...Подумалось на миг такое что-то,
что трудно передать. В горящий мозг
Вошли слова: любовь, несчастье, счастье,
Судьба, событье, похожденье, рок,
Случайность, фарс и фальш...

Пастернак любил городское скопище как раз за то, что оно будоражило своей глубинной неизреченностью. В природе человек на виду, но именно в толпе затеряна человеческая тайна, тайна каждой жизни, манящая безвестностью участь:

Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек...

Конечно, есть история и исторические объяснения, и Пастернак с ними, как верно заметил Собчак, блистательно справился, но он любит город, эту скученную модель человеческого общежития, «алиповатую наглядность миров» еще и за то, что в нее «случайности вставлен огарок».

Он с гор разбросал фонари,
Чтоб капать, и теплить, и плавить
Историю, как стеарин
Какой-то свечи без заглавья.

Так было в стихах, посланных в будущее из 1927 года.

Свеча горела на столе,
Свеча горела...—

Отозвалось позднее эхо.

...Видим ли мы героев Пастернака в их психологической неповторимости? Умеет ли он лепить характеры? Вопиющий пример: сводный брат Евграф Живаго. Это же, приходится слышать, просто палочка-выручалочка в необходимых узлах сюжета. Чистейший алгебраический знак, упакованный в самый нехитрый набор внешних примет. А что там внутри?

Но, нравится вам или нет, Пастернаку только так и нужно, чтобы он отмалчивался и загадочно улыбался, непременно оставаясь алгебраическим знаком: «Вот уже второй раз вторгается он в мою жизнь добрым гением, избавителем, разрешающим все затруднения. Может быть, состав всякой биографии наряду со встречающимися в ней действующими лицами требует еще и участия тайной неведомой силы, лица почти символического...»

Ну, а остальные герои? У Толстого не спутаешь Пьера с Андреем Болконским, а Наташу с Анной Карениной и даже с Кити. Легко поймать главных героев Пастернака на примерно одинаковом говорении при выяснении отношений в желании «переблагородничать» друг друга.

Нет, в алгебраической форме есть диалектика чувств и отношений. Кто-то роняет фразу, что Лариса не по любви вышла за Павла, «головой». Паша мучается одна уло-

вимым несоответствием их отношений, в которых он всегда останется младшим, ребенком, заглядевшимся на чудо. В порыве освободить от себя Ларису и Катеньку он и подается из Юрятина на фронт.

Лариса тоже мучается, но некоторым несоответствием ее провинциально-природного склада, которому по душе в Юрятине, с его городской натурой, естественно-математической склонностью ума. В отношении же его мучений ее озарило по-своему: «Он не оценил материнского чувства, которое она всю жизнь подмешивает в свою нежность к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской».

В сущности, она и сейчас думает о нем так же, как когда-то в годы первой революции: «Хорошие, честные мальчики,— думала она.— Хорошие, оттого и стреляют». Такой взгляд ему надобно пересилить. И чтобы не мальчиком, но мужем героическим вернуться, он пошел... опять стрелять.

Но диалектика нужна Пастернаку лишь в такой конспективной типологии. Здесь тонкий момент. Герои находятся в разных отношениях друг с другом. Как, например, и Анна Каренина находится для Вронского в каких-то иных отношениях с ним, чем он с ней. Но такая ситуация Пастернака никогда не привлекает. Герои форсируют ее, обретая единство хотя бы в нравственных постулатах, разъясняющих их отношения. Коли уж не в строе чувств.

Не легко заметить, что и в строе чувств, во всплесках благодарения жизни они схожи, все они спеты в этом случае с голоса самого автора. В особенности схожи Живаго и Лара. Пастернак не умел изображать отдельного от себя характера. Это верно, но он и не хотел. Именно так возникает момент доверительности. В родстве ощущений. Он есть или его нет.

Он есть в прикосновении к стихии, к высшей истине, в которой лица смешиваются. «В ряду чувств,— уточняет он в шекспировских заметках,— любовь занимает место притворно смирившейся космической стихии». В ней важны не «притворные» обыденные оболочки характеров, а общее состояние души любящих, потому что это даже «не состояние души, а первооснова мира». Вот почему душевные драмы для Пастернака являются в мелодраматическом пределе, лечит от которого освободительный порыв шири:

Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован...

И тут же иной тип любви, которой изначально ведомо такое высвобождение:

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Во всем этом есть и биографические отголоски, которые в нынешних публикациях приоткрываются, но мы сейчас их сознательно не касаемся.

Пастернаковский психологизм с неумолимостью соскальзывает в иной регистр, в котором мы не видим характеров, но видим состояния героев, переживаем их с доскональной осязательностью.

Но ведь в некие состояния, как в раствор, погружен каждый. Они меняются, но нельзя вынырнуть из их череды вовне. Пастернак возводит их до высокого лиризма и одаривает нас этим лиризмом ежеминутно. Мы редко застаем его героя в творческий момент, в момент записи, но ежеминутное творчество восприятия мира преследует его и нас в этом романе неумолимо, как бы сгорая задаром.

И это самое удивительное. Будь то ощущение, что «местность возникла только что благодаря остановке» поезда, а так ее с церковью на высоком берегу и не было бы вовсе. Будь это ощущение Ларисы после отъезда Павла на фронт, «что стало тихо во всем городе и даже в меньшем количестве стали летать по небу вороны».

Будь это такой метафорический аккорд: «В час седьмой по церковному, а по общему исчислению в час ночи, от самого грузного, чуть шевельнувшегося колокола у Воздвиженья отделилась и поплыла, смешиваясь с темною влагой дождя, волна тихого, темного и сладкого гудения. Она оттолкнулась от колокола, как отрывается от берега и тонет, и растворяется в реке отмытая половодьем земляная глыба...»

Но так революционным половодьем отрывается неповоротливая глыба народного сюжета в романе, страшная, темная, но величаво-колокольная. И это уже неотвязный музыкальный ключ к сюжету, в котором столько жанровой пестроты, бытового простонародного колорита, перекрытого с головой этой колокольной волной.

Все это пришло из стихов, и, кажется, можно было бы выписывать эти жемчужины из романа как стихотворения в прозе, иного, не тургеневского образца. И тогда бы явилась на месте романа еще одна удивительная книга стихов поэта.

Правда, пришлось бы пустить на чудные выписки две трети романа, но стоит ли? Здесь они на новых ролях с режиссурой общего замысла, хотя и в прежнем поэтическом духе. Например, как любит Пастернак предвкушение или предощущение события, едва ли не больше его самого — «У людей пред праздником уборка...»

Вот так же по пути к Ларе, когда сердце

учащенно бьется, его герой любит домишки, как ее живое преддверие и продолжение: «Домишки пригорода мелькают, проносятся мимо, как страницы быстро перелистываемой книги, не так, как когда их переворачиваешь указательным пальцем, а как когда мякишем большого по их обрезу с треском прогоняешь их все. Дух захватывает! Вот там живет она...»

Если фабула напоминает алгебраическую или шахматную головоломку, если она раскручивается, как шекспировская, вспомним, пружина, то вот ведь что случилось с пружиной еще в раннем стихотворении:

Будто в этот час пора
Разлететься всем пружинам,
И жужжа, трясясь, спираль
Тополь бурей окружила...

Как и веер стремительно пролистанных домишек, летящих навстречу. Не сочтите это за бурю душевного импрессионизма, аккомпанирующего фабульному кружению темы. Она сама потерялась в кружении этой бури, целиком ею охваченная. По исходной формуле Пастернака «импрессионизм вечного» в одном кружении с космической стихией.

Микропсихологический анализ у Пастернака решительно отказывается идти в подмастерья «макроанализу», а идет в корни к нему, идет в первотолкователи. В раннем детстве, врезалось в память Ларисе, Комаровский принес им с матерью на новоселье непомерной величины арбуз. Такой ошеломляющей величины, что маленькой девочке внушали страх его лоснящиеся красные ломти. Это как-то придавило ее. «И ведь эта робость,— осознает вдруг повзрослевшая Лариса,— перед дорогим кушаньем и ночною столицей потом так повторилась в ее робости перед Комаровским — главная разгадка всего происшедшего».

«О детство, ковш душевной глуби...» — писал Пастернак в раннем стихотворении, дающем ключ к ранней прозе о девочке Жене Люверс и ко многим повадкам позднего романа.

Интересно было бы сравнить как-нибудь Пастернака с Марселем Прустом. Сходство разительное в поэтической ассоциативности прозы, преломленной на грани сознания и бессознательных импульсов, запахов, осязаний. В тончайших психологических нюансах. У Пруста мировое признание. У Пастернака в мире реноме автора политического романа. С этой же стороны он не осознан, не оценен. Прусту никак не уступая.

Но это сходство в микросюжете сцепляется у Пастернака с интригой, которую Пруст как раз с неслыханной смелостью сводит на нет. С отчаянной предельностью они от точки сходства движутся в противоположных направлениях. У Пруста апофеоз исторической бессюжетности жизни. У Пастернака тонкости внутренней жизни включены в изначальный импульс движения, прирожденный жизни.

...Новелла уповает на случай. Она дитя Ренессанса, живущего ощущением открытой исторической перспективы. В авантюрном романе уже цепная игра превратностей, юношеская необузданность фантазии. В зрелом романе повзрослевшего человечества случайность укрощена основательно логикой жизни, постигаемой из самое себя.

У Чехова занятная фабула используется иной раз лишь для того, чтобы доказательством от противного вывести на чистую воду бесфабульность самой жизни. Ее фатальный застой. «В Москву, в Москву...» — твердят у него сестры, но жизнь скользит по невидимым рельсам и спрягает человеческие судьбы по собственной грамматике.

Так образно видит меняющуюся историческую ситуацию Наум Берковский. Роман Чехову писать уже незачем. Историческая перспектива замкнулась. Творческая инициатива в созидании своей судьбы уплыла из рук человека. Примерно так же объяснял «конец романа» Осип Мандельштам, пророчески написавший в 1912 году о себе:

Чужие люди, верно, знают,
Куда они везут меня.

Между тем, справедливо замечает Александр Кушнер, трагические превратности подобных судеб глядятся сегодня неслыханной прозой. И на глазах у Пастернака самой жизнью разыгрывались черновые наброски романа, разбросанные, развеянные в беспорядке по свету ветром истории:

Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней.

Любимый образ писем и стихов поэта, и он принялся тут же, еще в молодости, искать клееной состав. Как алхимик в своей келье. Для Пруста действительна лишь ретроспектива «утраченного времени». Он весь «в поисках утраченного времени». Пастернак весь в поисках утраченной перспективы. Обрывочность ранней прозы Пастернака копирует время, которое рвет нити и наново связывает узлы.

Пастернак ищет эти связи и склейки, которые к моменту позднего романа тоже ведь стали ретроспекцией. Содержательный корм тот же, но ранняя проза еще порывается в неизведанное,

Где горизонт, как Рубикон,
Где сквозь агонию громленой
Рябины, в дождь бегут бегом
Свистки и тучи, и вагоны.

В поздней прозе Пастернак нагнал-таки убегающий горизонт, перешел Рубикон, огляделся... Да, нити судеб рвались, но узлы связывались по-своему. Фабулу оказалось

хоронить рано. Рано хоронить роман, но каким ему стать?

Да, инициатива созидания фабулы из рук самого человека выпала, но конец ли это романа? Фабулу эту волочат за собой обстоятельства, независимые от воли героя, но тем независимее от них созидание его внутреннего мира, интеллигента живаговской складки. Он знает нечто, чего не знают «чужие люди», самозваные возчики истории. Как окажется, они еще меньше ведали, куда она их волочила.

Духовную силу герой романа обретает в этой внутренней независимости и в этом потайном родстве с духом истории, понятой как христианство, или в христианстве, понятом как необозримая ширь исторического движения.

Роман Пастернака не был одной лишь необходимой данью моменту. Он был поиском содержательности жанра, адекватного истории. В таком поиске нужен риск забегания назад, которое иногда равно забеганию вперед. Необходимы самые несообразные по привычным меркам смешения. Продукт может показаться причудливым гибридом, но и его издержки в этом случае будут результативным следствием необходимого поиска.

Не знаю, есть ли прогресс в искусстве, о котором пекутся ретивые теоретики. Поступательный импульс есть, но черпающий, как ни странно, в импульсе возвратном. Разъять их нельзя. Это челночный процесс. Искусство живо такой циркуляцией, омоложением глубин, из которых черпает.

А как захватывает дух момент предугадывания. Вот чеховское описание степной грозы: «Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо...» Дождь, который шлепает по крышам босиком, гром, который в изумлении замирает перед подводами... Да это ж «не слишком отдаленные предки дождям и грозам в стихах Пастернака»,— радуется Берковский. Как Чехов «повторяет» Пастернака! Как на неповторимый пастернаковский манер все вокруг зажило, заговорило почеловечьи: «Это был дождь. Он и рогожа как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро...»

Что делает Пастернак? Момент восприятия он делает постоянным и органическим свойством этого восприятия, его волшебным преломлением... Он дерзко вводит в это преломление такую экспрессию, на которую еще не решается Чехов. Гроза у него не прохаживается босиком, но ликует, как босые дети в грозу, бежит, рвет синтаксис в ликующих восклицаниях. Рает его, как комментатор в азарте футбольного репортажа, типа: «Мяч в штрафной площадке! Удар! Удар! Еще удар! Гол! Мяч в воротах...»

Гроза в воротах! На дворе!
Преображаясь и дурея,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.
По лестнице. И на крыльцо.
Ступень, ступень, ступень.— Повязку!
Со всех пяти зеркал лицо
Грозы, с себя сорвавшей маску.

Правда, репортажей тогда еще не было, и это — упреждающая синтаксическая модель Вадиму Синявскому и далее... Модель обгоняющего самого себя мгновения. Но футбол, хотя и в диковинку, уже был, и Григорий Петников, хлебниковский друг и сопредседатель земшара, тоже ликовал, подсмотрев, как «в облачную стежку забило солнце первый гол». Такой образный прорыв в «штрафную площадку» искусства был общей чертой нового поэтического сознания.

Но вот к вопросу о челночной диалектике традиции и новаций. Многое, как оказалось, в авангардном прорыве попало в «положение вне игры». Многие мячи не засчитались. Много было дерзновений, не подкрепленных озарением большого таланта и личности. Оказалось, многие, кто дерзали, всего лишь дерзили...

Между тем истинная творческая дерзость входит в формулу искусства для Пастернака и в переломные в его творческом принципе тридцатые годы:

Искусство — дерзость глазомера,
Влеченье, сила и захват.

Вероятно, такой захват, кочевой набег в далекое будущее у художника истинного тоже драматичен, хотя иначе, чем просто у радикальных манифестантов в искусстве. В результате такого набега большие художники начала века, в частности Пастернак, «ограбили» своих будущих небездарных последователей.

Они «наговорили» в конспективных, щедрых сгустках далеко вперед, обрекая их на варьированье, договаривание, детализацию, что, впрочем, тоже необходимо. У ствола должна быть ветвистая крона.

С другой стороны, откатываясь назад с «награбленным», художник не всегда знает, что с ним делать в своем времени, с точки зрения самовыражения этого времени.

Еще в 1916 году Пастернак мучается, что «вертикальные насыщения» в его прозе мешают ее «горизонтальной стремительности», с которой связан исторический охват эпохи. В тридцатые годы он с неумолимостью видит, что эту «густоту» своего письма, своего виденья придется перетолковывать, истолковывать самого себя на общепринятом языке эпохи, «на фоне общераспространенных представлений». Конечно, сохраняя себя.

Лидия Гинзбург подмечает, перечитывая раннюю прозу Пастернака, как все-таки неорганичны в ней ассоциативные сгущения, органичные в стихах поэта, как все-таки неумолим язык жанра. Доля правды, хотя и противоречивая сама в себе, в таком впечатлении есть.

Но Пастернак идет дальше установления жанровых границ своих великих поэтических открытий. В конце романа звучит неутоленная жалоба по простоте, распространяемая и на стихи: «Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной... Всю жизнь он мечтал о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала».

Вот драматический разрыв Пастернака с самим собой, со своими ранними открытиями, передоверенный Юрию Живаго в его последних варыкинских озарениях: «Разбирая эту мазню, доктор испытал обычное разочарование. Ночью эти черновые куски вызывали у него слезы и ошеломляли неожиданностью некоторых удач. Теперь эти как раз мнимые удачи остановили и огорчили его...» И это Пастернак, открывавший, насколько черновые состояния души шире и своей первоначальности белового «фильтрата»...

Но потери равновелики обретениям, как обретения потерям. Если в прозе Чехова предугаданы пастернаковские стихи, то ему в позднюю пору по душе «осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана». Такова челночная логика «оклассичиванья» ранних дерзостей.

Впрочем, а движение Толстого вспять от «диалектики души»? Не то что к изумлению простотой пушкинской прозы, но аж к народным рассказам. А при этом какие забегания вперед!

Это Толстой довел «диалектику души» до такой нюансировки, предсказавшей Пруста, которая перехватила инициативу психологического толкования, взяла его на свой лад.

Это в девяностотомном «кладезе» Толстого затеряны от большинства «френологические записи», которые в желании расщепить мгновенность впечатления при наблюдении природы и обихода рвут во имя этого желания синтаксис, ломают речь, предвосхищая самые темные, самые «комканые» страницы пастернаковского «светового ливня».

Точно бы Чехов нащупывал для Пастернака «внутренний образ», а Толстой — эту комканость речи, изумление «хохочущими» струями, захлебнувшееся восклицаниями:

— Ночь в полдень, ливень — гребень ей!
На щебне, взмок — возьми!
И — целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин!

Осанна тьме египетской!
Хохочут, сшиблись,— ниц!
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц...

Конечно, сам Пастернак мог не осознавать «черновых подсказок» предшественников, о других же вовсе не иметь понятия. Суть в том общем воздухе искусства, в котором носятся эти предвестья, чаще неведомые.

Пастернак, утративший некоторые рукописи, даже утверждал, что иногда терять полезнее, чем приобретать. Утерянное как бы уходит в ту безымянную стихию, из которой явилось. Юрий Живаго у него то делает записи, то радуется, как мгновение улетучилось непойманным такой записью.

И здесь замечательное противоречие между духом неизреченности, которому был предан Пастернак, и профессиональным и творческим долгом. Это противоречие современный ему философ Ф. Степун определял так: «Это значит, быть может, что религиозный человек не может проявить себя ни в какой сфере культурного строительства... Религиозность мыслима, значит, только как форма переживания, как ценность состояния, не ведающая объективирующего жеста...»

Но такова религиозность Пастернака, что она с самого начала смешивается с логикой такого «объективирующего жеста», равно как с «языческим» доверием к земному обиходу. От самых первых строк:

И как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу...

И до самых поздних:

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.

«В чем чудо?» — спрашивает Пастернак в ранних заметках (стихах в прозе) «Несколько положений». В том, что однажды в октябре, сидя у окошка, семнадцатилетняя девочка Мери Стюарт написала непритязательные французские стихи. В том, далее, что под пером англичанина Суинберна, когда за его окном также «кутежничал» октябрь, «тихая жалоба пяти Марииных строф вздулась жутким гуденьем пяти трагических актов».

В том, наконец (Пастернак переводил Суинберна), «что, когда как-то раз, тому назад лет пять, переводчик взглянул в окно, он не знал, чему удивляться больше.

Тому ли, что елабужская вьюга знает пошотландски и, как в оный день, все еще тревожится о семнадцатилетней девочке, или же тому, что девочка и ее печальник,

английский поэт, так хорошо, так задушевно хорошо сумели рассказать ему по-русски про то, что продолжает волновать обоих...»

Продолжает их волновать... Мысль о культурной преемственности упраздняется в едином настоящем времени, ибо каждый из троих в своем веке и при мгновенном взгляде в окно испытал одно и то же волнение.

«Вот в чем чудо. В единстве и тожественности жизни этих троих и целого множества прочих (свидетелей и очевидцев трех эпох, лиц биографии, читателей) в заправдашнем октябре неизвестно какого года...» — и вот откуда:

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Так со сна, сбившись, спрашивают про текущее число. Так изначальна новизна жизни. «Эти дни, как дневник, в них читаешь, открыв наугад...» — любимое пастернаковское ощущение. Так христианская символика не витает в облаках, но возобновляется в каждой безымянной жизни от рождения до смерти. Утаиваясь в обиходной оболочке.

Так человеческий род в своем продолжении подобен единой общине. Так и Библия для Пастернака «есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества...» И история культуры — книга без нумерации, которая листается наугад каждым, явившимся жить.

Конечно, есть нумерация и классификация в специальной истории культуры, но дух ее существования, чудо зарождения нового никакой инвентарной книгой или идеей линейного прогресса не поддается уловлению. «Ни у какой истинной книги нет первой страницы. Как лесной шум, она зарождается Бог весть где, и растет, и катится, будя заповедные дебри, и вдруг, в самый темный, ошеломительный и панический миг, заговаривает всеми вершинами сразу, докатившись».

Эта книга живет перекличкой множества голосов. Ею живет и Пастернак. Смешно, как это уже делают при нынешней моде на русскую философию начала века, видеть в Пастернаке или его герое усредненного Бердяева. Здесь нет никакой догматической пристежки. Свободно мешаются идеи художественные и религиозные. Шекспир и Гете, Толстой и Достоевский, социалистические идеи и христианство, духовный опыт модернизма и средневековые мистические ереси...

Вот какова челночная амплитуда. Нумерация здесь неуместна, но значит ли, что нет узловых глав в великой книге человеческой культуры? Такие главы есть:

И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дав.

Пастернак считал событием знаменательным для всей культуры встречу двух эпох — эпохи веры в воскресенье и Возрождения, перемоловшей догматику, раскрепостившей дух. С наивной гениальностью смешивали художники языческий дух и христианские мотивы, евангельское чудо и свое обыденное, и Пастернак учился этой свободе.

Это тысячелетний разлом истории, а на ближайшей «челночной дистанции» он отзывается поиском синтеза постсимволизма и предшествующей традиции, к которому стремится расстрига, дядя Юрия Живаго Николай Николаевич Веденяпин. У самого Пастернака в миросозерцании и в поэтике этот поиск и выразился в столкновении модернистского и классического духа в их поступательном и возвратном движении, иногда носившем драматический характер, но и обретавшем моменты гармонического равновесия.

В сущности, заметил Пастернак еще в «Охранной грамоте», все великие книги рассказывают историю своего рождения. Роман Пастернака, как лицо, задержанное без паспорта, только и делает, что объясняется с читателем, кто он такой и что он такое, откуда, с каким помыслом и куда держит путь.

Казалось бы, откуда в таком случае взяться неразберихе в жанровом восприятии романа. Ключ к нему, как в дыре за кирпичной прокладкой, оставляемый при входе Ларисой для Юрия Андреевича. С самого начала сказано: «Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать».

Но, как видим, замысел прозы с самого начала был гибридно причудливый. От современного привычного романа характеров и положений он звал вспять к истории жизни и житийной традиции, к некоторому смещению акцента.

С другой стороны, что значит «взрывчатые гнезда»? С повествовательной невозмутимостью они несовместимы, да и привычный роман эта загадочная идея взрывает. Нет ли в ней прорыва вперед, который готовили поэтические открытия Пастернака?

Пожалуй, так. Правда, с характерным поздним пренебрежением к стихам Пастернак продолжает: «Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине».

Пастернак, вероятнее всего, в этот момент не подумал о величайшем Александре Иванове, который так и делал: писал всю жизнь этюды к единственной картине «Явление Христа народу», превзошедшие итог и в то же время одухотворяемые им.

Но не предполагались же у Пастернака эти минные гнезда, чтобы пустить на воздух добропорядочный жанр жизнеописаний, напротив, они назначены приладиться друг к другу. Сами лирические гнезда в такой же мере открывали путь к движению вспять за привычный план жизнеподобин — к знамению, к преданию, к легенде.

И по мере того, как писалась и все больше уяснялась себя книга, обыденное все ярче сияло в световом нимбе предания. «Теперь мне первая книга,— изумляется сам автор в письме,— кажется вступлением ко второй, менее обыкновенной. Большая необыкновенность ее, как мне представляется, заключается в том, что я действительность, то есть совокупность совершающегося, помещаю еще дальше от общепринятого плана, чем в первой, почти на грань сказки».

И не удивительно, свет библейского предания в финале озаряет обыденность, перед ним лежащую:

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы...

Вот как далеко пустило корни жизнеописание: от популярного романного жанра «семейной хроники» к родословной человечества, но в этом немыслимом сочетании — самая сердцевина замысла, как разъясняет себя роман по мере движения далее: «Юра занимался древностью и законом Божьим, преданиями и поэтами, науками о прошлом и природе, как семейною хроникой родного дома, как своею родословною...»

Можно себе представить, каково жизнеописание, герой которого — сама история, кишащая кишмя всей тьмой отдельных житийных сюжетов:

Он знает тысячи историй
Про человеческое горе...

И сколько в ней «взрывчатых гнезд», подобных аввакумовскому «Житию», кстати, житию про самого себя, трагическая сила которого не стесняется вырастать на почве формального фабульного родства с авантюрным или плутовским романом.

И в то же самое время Пастернак не чужд «семейного романа» в самом узком понимании, романа, в частности, толстовской направленности, со вкусом к неторопливости жизнеописания во всей его ежедневной обыденности.

Но не близок ли Пастернаку, к примеру, Лесков с его вкусом к «житийности», писавший в 1890 году А. Суворину поразительно по-пастернаковски: «Очеловечить евангельское учение — это задача благородная и вполне современная». Было ли это анахронизмом в соседстве с Толстым или искусство разбегается вширь, давая разные побеги? Кстати, и перекликающиеся, как случалось у Толстого с Лесковым.

Когда я перечитывал пастернаковский роман последний раз, для меня в нем все явственнее звучали лесковские и островские мотивы там, где судьба героев-интеллигентов все глубже окунается в многолюдье народной жизни. И вдруг я почувствовал, как Пастернаку важны эти «массовки», без которых и нет романа, как нет той эпохи.

Замечали, как Лескову всегда предпочтительней писать «о действительном, хотя и невероятном событии»? О чем сказывают по слухам, молве и преданиям, когда событие, например, получает в народе еще «при жизни главного лица... характер вполне законченной легенды».

Почему в таком пересказе человек бывает столь же интересен, как и в его душевной диалектике, показанной изнутри? Потому, что такая молва о человеке становится удвоением его действительности в общем сознании, обретая самостоятельную жизнь: «Слухом земля полнится» — «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...»

По всей земле осевшим морем грусти,
Дымясь, гремел и стлался слух о ней,
Марусе тихих русских захолустий,
Поколебавшей землю в десять дней.

Но замечательно, что в романе «Спекторский», откуда взяты эти строки, речь пойдет о «человеке без заслуг», «дружившем с упомянутой москвичкой», самом Сереже Спекторском — «Знавали ль вы такого? — Наслышкой». Но это тоже слух или быль, просто без туманного ореола славы:

На свете былей непочатый край,
Ничем не замечательных — тем боле...

Неужто, жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?..

Как любит Пастернак слова: молва, быль, преданье, легенда, но рядовое и преданье у него, как дверь, отпираемая с двух сторон. Действительность у него не готовится в преданья, но таковое уже и есть, надо лишь соответственно перестроить зрение:

Однажды мы гостили в сфере
Преданий...

Бреди же в глубь преданья, героиня...

Это памяти Рейснер, а вот Цветаевой:

Мне все равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут, как сон,
Поэта в ней законопатив.

Облик Ахматовой «событья былью заставляет биться». Москве о себе — «как стих меня зазубришь, как быль запомнишь наизусть».

Было ли это? Какой это стиль?
Где эти годы?
Можно ль вернуть эту жизнь, эту быль,
Эту свободу?..

Словом:

Усни баллада, спи былина,
Как только в раннем детстве спит.

Но само детство всплывает в памяти из глубины преданья, из сказки: «Все, бывало, складывают: сказку о лисице, рыбу пошвырявшей с возу... Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина...» — «Все дымкой сказочной подернется...» — «Седой молвой, ползущей исстари...» — «Безумствует быль, притворяясь незнающей...» — «Пока преданье варит соус...» — «А сзади в зареве легенд герой, дурак, интеллигент...»

И в тридцатые — удивленное о самом себе:

При жизни переходит в память
Его признавшая молва...

Словом, все у Пастернака погружено в этот раствор — молвы, творимой были и преданья, ибо все перейдет в этот разряд, и в этом разряде его бессмертие. В эпилоге романа безродная бельевщица Таня, у которой удивительно живаговская улыбка, рассказывает под конец последней войны уцелевшим друзьям доктора «свою страшную историю» — «Будто не из простых я, сказывали. Чужие ли это мне сказали, сама ли я это в сердце сберегла...»

Рассказывает по молве, и, как во всякой легенде, многое остается зинющей тайной: «И вот я скажу. Видно, я тут чего-то не знаю. Думается, маменьку обманули...» и т. д. Между тем в легенде этой содержатся и сведения, которых уже не мог знать Юрий Андреевич, и, с другой стороны, многое кровное, реальное в той жизни смыто временем без следа.

Но вот почему так остро чувствует доктор притягательную тайну жизни, притягательную в своей безвестности, но неслыханно живучую в молве. Вот почему его глазами и на его глазах жизнь развертывается, а для нас развертывается роман как творимая легенда, как небывалое сказание:

Мне в ненастье мерещится книга
О земле и ее красоте...

Красота рушится, люди разбрасываются, как щепки, и если их что соединяет в этом вселенском разбросе, так это молва. «Сказывали...» — вот форма связи тех времен, но не только связи, но и образ времени, ореол преданья вокруг событий и героев.

В розысках Павла на фронте Лариса прежде всего сталкивается с молвой о его героической гибели, молва вокруг его бронепоезда в гражданскую войну гулнет по Уралу, и Лариса все время живет по соседству с ним, а точнее, с молвой о нем, однажды даже видит его издали у подъезда юрятинского исполкома.

И он живет молвой о том, что она здесь, рядом, но встретиться им нельзя. Молвой скреплены для него далее имена Ларисы и доктора. То, что рассказывают в разное время Лариса и Тоня, Живаго и Павел друг другу один о другом, сейчас отсутствующем,— их общее достояние, сквозная материя жизни.

Это добрая молва. От молвы никому не уйти. Молва настигает всех. Люди живут не друг с другом, но с молвой друг о друге. Доктор, явившийся с семейством в Варыкине, как и плененный партизанами, тоже обрастает молвой.

Когда он, вырвавшись из плена, обросший, первым делом попадает в юрятинскую парикмахерскую, то ему, незнакомцу, тут же рассказывают его собственную историю, он же, пытаясь напасть на след своих и Ларисы, там же запасется предварительной молвой о них.

Люди ищут друг друга сквозь пелену живого преданья, которая то прорывается, то вновь застилает видимость. То, что было молвой, то и дело является в человеческом лице. В дни февральской революции на фронте доктора будоражит легенда о такой «неформальной инициативе» той поры, как «тысячелетнее зыбушинское царство». Дорожный случай столкнет его с глухонемым, нигилистом-фантазером, его создателем.

По пути с семейством на Урал доктор нагоняет слух о легендарном бронепоезде Стрельникова, с которым случай тут же сведет его на минуту, а потом последние исповедальные часы Павла падут на его душу. Легендарный партизанский вожак Ливерий Микулицын тоже еще окажется бок о бок с ним, в раздражающей близости.

У доктора как бы особые полномочия разбираться с легендой и ее житейской изнанкой. Легенда саморазоблачается перед ним, когда она такова, но она и творима им там, где зрелище жизни ей вровень.

Таким олицетворенным «преданием» его жизни становится Лара, которая в то же время и есть для него лицо взбудораженной революцией России, ее молва, ее слух, как в этом лирическом мазке при возвращении доктора с фронта:

«Это повторялось весь путь. Всюду шумела толпа. Всюду цвели липы.

Вездесущее веяние этого запаха как бы опережало шедший к северу поезд, точно это был какой-то все разъезды, сторожки и полустанки облетевший слух, который едущие везде заставали на месте, распространившимся и подтвержденным».

Но это опережающее состав движение — уже в летнем дневнике, стихах 1917 года, который памятью возобновляется в романе. Бегут тучи, людские толпы, запахи, деревья, за ними не поспеть, ты еще здесь, тебя уже поджидают — «Возможно ль? Этот полдень сейчас южней губернией... Вот этот душный, лишний, вокзальный вор, валандала...»

Вся Россия сдвинулась с мест, и неповторимо, по-пастернаковски, это многолюдье «потопляется» в природе, дает ей свой образ, ворует у нее ее обличье, мешается с ней до неразличимости:

Возможно ль? Те вот ивы —
Их гонит с рельс шлагбаумами —
Бегут в объятья дива,
Обращены на взбаломошность?

Перенесутся за ночь,
С крыльца вдохнут эссенцию
И бросятся хозяйничать
Порывом полотенец?..

Таким юным, взбалмошным дивом, таким гудящим вокзальным табором, проснувшимся от спячки, явилось то необыкновенное лето: «Пахло всеми цветами на свете сразу, словно земля днем лежала без памяти, а теперь этими запахами приходила в сознание».

...Но вот ведь в чем философский фокус романа, мало кем замеченный. Это трагедия большевизма, коли он взял в свои руки власть, но это и трагедия любой идеи, не приведи ей оказаться у власти. В самом-самом начале романа высказывается эта горькая, заветная мысль: «Попадаются люди с талантом... Но сейчас в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки...»

В репетиловщине трагедия любой идеи, в прилипалах искренних и недалеких, а то и просто глупых, карикатурных, нравственно скользких... «Сколько типов и лиц! Вот душевнобольной. Вот тупица. В этом теплится что-то. А вот совершенный щенок...» — писал Пастернак в поэме «1905 год».

С точки зрения практического политика для Пастернака Февраля оказалось мало, а Октября много, и в его взглядах произошел откат назад. В переводе на грубый язык политики это так. Но откат не к Февралю, а в промежуток меж двух революций — «В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось...»

Для Пастернака это какой-то магический промежуток, как Бермудский треугольник, только не погибельный, а, напротив, поманивший проблеском возможного человеческого величия. И такой взгляд вытекает не из политической конъюнктуры момента, но из сокровенной глубины художественной его философии.

Для него «чудо жизни с час», с мгновенье, равновеликое вечности, с одно лето, мгновение в жизни истории:

О том ведь и веков рассказ,
Как с красотой не справясь,
Пошли топтать, не осмотрясь,
Ее живую завязь...

Чудо жизни не дается в руки человеку, но оно дается в какой-то мгновенности и тотчас упускается. Оно затаптывается в грязь из века в век, но из века в век манит своей мгновенной достижимостью. В этом смысле его не утвердить как порядок вещей, но и не стереть из идеалов человечества. Это бесконечно затаптываемая и бесконечно возобновляемая потенция.

Человек идет за этим мерцающим мгновением. В то лето одна узда была сброшена, а другая еще не накинута. Это было мерцающее мгновение, когда все на голову выросло, «столбы тайных нравственных залеганий» чудом вырвались наружу. Человек увидел, какой он есть в своей мгновенной безграничности.

В этом ускользающем и являющемся мгновении диалектика религиозного, а следом и исторического оптимизма. Человеческий лик в его совершенно обиходном варианте Пастернак помещает в «очищающем» зеркале природы. Так и живет в нем непринужденно, на свободе, в «гипнотической отчизне» этот двойник реального человека.

В ранних стихах Пастернака сад, забрызганный утренней росой, «разбужен чудным перечнем тех прозвищ и имен», которыми осыпал мироздание поэт, иначе говоря, тех волшебных метафор, той свежестью взгляда, на которую он неистощим. Ибо дело поэта давать новые имена и негаданные прозвища всем явлениям окружающего мира. В стихотворении тридцатых годов сказано о народе:

Он — чащи глубина,
Где кем-то в детстве раннем
Давались имена
Событьям и созданьям.

Все имена отыщутся в преданье. Здесь нет смены точек зрения, ибо предание творимо, пересоздаваемо непрерывно, при участии поэта, но здесь есть отчетливая программная смена акцентов. Это время программного объяснения в любви к народу, без притязаний судиться, «была ль любовь взаимна»:

Счастлив, кто целиком,
Без тени чужеродья,
Всем детством — с бедняком,
Всей кровию — в народе.

Я в ряд их не попал,
Но и не ради форса
С шеренгой прихлебал
В родню чужую втерся...

Но, как всегда у Пастернака, едва ли не важней программы допрограммный корм

живого чувства, коренившегося в нем изначально. Таковой была его изначальная тяга к низовой России и, прежде всего, всосанное с молоком чувство родной речи, домашний демократизм общения с укладом и «языком просвирен», свойственный старой русской интеллигенции. Демократизм, который никоим образом не был в разладе с просвещенностью и утонченным европеизмом.

Эта стихия расплескалась и по роману, в широких его народных фрагментах, начиная с нажима на фамильный колорит — Живаго, Громеко, Веденяпин, Кологривов, Выволочнов, Васька Брыкин, Притульев, Костоед, Тягунова, Огрызкова (по прозвищу Ноздри и Спрынцовка), Устинья, Палиха, Памфил Палых, Самдевятов, Нестор и Панкрат Модых, Терентий Галузин, Ливерий Микулицын, Сивоблюй...

Незадолго перед смертью Тонина мать рассказывает о легендарном варыкинском мужике по прозвищу Вакх. Это далекая легенда ее детства, но когда докторово семейство приезжает в Варыкино, их по-прежнему встречает Вакх. Прежний Вакх давно в земле истлел, но прозвище осталось, Вакх остался, признавший по Тониному облику наследницу былых господ.

Это пастернаковская символика незыблемости России или ее преданья. Устинья, Палиха с ее языческим шаманством... Россия у Пастернака моментами похожа на сказочный темный лес с лешими, моментами на «темное царство» Островского, которое, однако, само из себя высекает луч света. Она похожа на темный и просветляющийся оползень колокольной глыбы, поплывший в одной из его метафор.

В начале она полна воодушевления, полета. Революцией «сорвало крышу» с России, продуло ее благодатным сквозняком перемен. К концу она все больше погружается в свою дремучесть, в кровь, истерзанная соревновательной жестокостью белых и красных.

Но удивительна в романе эта сквозная перспектива России, прорезавшая его насквозь, пластически видимая в буквальном смысле слова даль романа. Она рассекает его пространство железнодорожным полотном — возвращением доктора с фронта в Москву.

Она рассекает его далее бескрайним движением к Уралу. На этом пути и подцепляется к осевой линии главного сюжета все российское многолюдье. Захватывающи страницы, где доктор и Самдевятов, свесив ноги за край теплушки, движутся вдоль этого приволья, так по-домашнему вдоль необъятной России с ее Васьками, Тягуновыми, Костоедами... Кстати, Самдевятов здесь тоже расскажет преданье о своей фамилии — не то от Сан Донато, не то от Демидовых. Будет у них самый актуальный на сегодня спор о марксизме и совместных фирмах. И будут оба, свесив ноги, глядеть на это приволье. Один глазами практика. Другой глазами поэта.

А в партизанских фрагментах будет рассекать необъятное пространство старинный Сибирский почтовый тракт: «Он, как хлеб, разрезал города пополам ножом главной улицы, а села пролетал, не оборачиваясь, раскидав далеко позади... Тракт жил одной семьей. Знались и роднились город с городом, селенье с селеньем...»

Вы чувствуете, как город цепляется за город, селенье за селенье. Вот так же случай за случай. Гинц за Палых. Новобранец Тешка Галузин за докторову партизанщину, а потом он же, окажется, погубит Павла Стрельникова.

Невероятно донести принцип случайности до такого педантически выверенного логического конца. До каждого сюжетного капилляра. И вдруг открывается: только так в этом романе и может быть. И я уже с нетерпением жду: случай зацепится за случай, притча за притчу, как село за село, как город за город. Ведь они идут навстречу друг другу вдоль одного тракта. Рано или поздно им не разминуться на этом тысячеверстном тракте сквозь всю Россию. И ведь сказано неспроста — «Тракт жил одной семьей». Ведь это по жанру своему сказание о единой человеческой общине, условности ради суженной до представительства выхваченными из человеческой гущи персонажами:

Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по краям креста.
Для кого на свете столько ширь,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?..

Наши публикации

Марина Цветаева

ПИСЬМО К АМАЗОНКЕ

(Третья попытка чистовика [1])

Перевод лирико-философского эссе Цветаевой «Письмо к Амазонке», написанного ею по-французски, был выполнен мной в 1978 году по просьбе моего покойного друга М. А. Балцвиника (1931—1980), который предоставил в мое распоряжение фотокопию цветаевского автографа. Снабженная вступительной статьей и примечаниями, эта ранее не известная французская проза Цветаевой — одно из удивительных ее сочинений! — должна была увидеть свет в СССР. В 1978—1979 гг. я несколько раз читал свою работу в узком литературном кругу.

В 1979 г. французская исследовательница творчества Цветаевой Г. Лимон опубликовала в издательстве «Меркюр де Франс» — без моего ведома и против моей воли — полный текст «Письма к Амазонке», не упомянув о том, что впервые получила его из моих рук. Тем самым устранена была открывшаяся нам в то время возможность напечатать «Письмо...» на родине Цветаевой.

Пытаясь опротестовать поступок французской славистки, я обращался за помощью к проф. Ж. Нива и проф. Е. Г. Эткинду. Однако дело не получило развития: в декабре 1980 г. я был репрессирован и смог вернуться к научной и литературной деятельности лишь в 1983 г.

И переводы имеют свою судьбу!

К. А.

Я прочла Вашу книгу. Вы близки мне как все пишущие женщины [2]. Не смущайтесь этим «все»: пишут не все — пишут лишь немногие женщины.

Итак, Вы близки мне как всякое неповторимое существо, особенно — неповторимое существо женского пола.

Я думаю о Вас с того дня, как увидела Вас — уже месяц? Когда я была молода, я всегда торопилась высказаться, я боялась упустить волну, исходящую от меня и меня уносящую к другому, я боялась, что больше не полюблю: ничего больше не узна́ю. Но я уже не молода и научилась упускать почти все — безвозвратно.

Уметь все сказать — и не разжать губ. Все уметь дать — и не разжать руки. Это — отказ, который Вы называете буржуазной добродетелью и который — чем бы он ни казался: пусть добродетелью, пусть буржуазной — является главной движущей силой моих поступков. Силой? — Отказ? Да, потому что подавление энергии требует бесконечно большего усилия, чем ее свободное проявление — для которого вообще не нужно усилий. В этом смысле любая естественная деятельность пассивна, подобно тому, как любая усвоенная пассивность

---

[1] Помета Цветаевой на первом листе рукописи.

[2] «Письмо...» обращено к писательнице Натали Клиффорд Барни, американке, постоянно жившей в Париже, автору книги «Мысли амазонки» (первое издание — 1918 г.). О встречах ее с Цветаевой ничего не известно.

активна (излияние — непротивление, подавление — действование).

Что трудней — сдержать лошадь или пустить ее вскачь? И — поскольку лошадь, которую мы сдерживаем,— мы сами — что мучительней: держать себя в узде или разнуздать свои силы? Дышать или не дышать? Помните эту детскую игру: честь победы принадлежала тому, кто мог дольше всех пробыть в сундуке, *не задохнувшись*. Жестокая и совсем не буржуазная игра. Действовать? Дать себе волю. Всякий раз, когда я отказываюсь, я чувствую, как внутри меня содрогается земля. Содрогающаяся земля — это я. Отказ? Застывшая борьба.

Мой отказ называется еще так: не снисходи — ничего не оспаривай у существующего порядка. Существующий порядок в нашем случае? Прочитать Вашу книгу, поблагодарить Вас за нее пустыми словами, Вас видеть время от времени «улыбающейся, чтобы скрыть улыбку» — делать вид, будто Вы ничего не написали, а я ничего не читала: будто ничего не было.

Я бы это смогла, могу еще и теперь, но на этот раз — не хочу.

Послушайте, Вы не должны отвечать мне, Вы должны меня только выслушать. Я наношу Вам рану — в самое сердце, в сердцевину Вашего дела, Вашего тела, Вашей веры, Вашего сердца.

В Вашей книге есть просчет — единственный, огромный — сознательный или нет? Я не верю в бессознательность мыслящих существ, еще меньше — мыслящих и пишущих существ, я не верю вовсе — в бессознательность пишущих женщин.

Этот просчет, этот пробел, это черное зияние — Ребенок.

Вы постоянно к нему возвращаетесь, воздавая ему должное лишь частым упоминаньем. Вы распыляете его, здесь, там, снова там, лишая его цельности того единственного крика, которым Вы обязаны только ему.

Того самого крика — неужели Вы его никогда, по меньшей мере, не слышали? — Если б я могла иметь от тебя ребенка!

Или этой ревности, жестокой и единственной в своем роде, что неумолима, ибо неисцелима и несравнима с другой, «нормальной», несравнима даже с материнской ревностью? Этой ревности, предвидящей неизбежность разрыва, этих глаз, широко отверстых навстречу ребенку, которого она однажды захочет, а Вы, любимая, ей не сможете его дать. Глаз, прикованных к будущему ребенку.

«У любящих нет детей». Да, но они умирают. Все. Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Ахилл и Амазонка, Зигфрид и Брунхильда (эти всемогущие любовники, эти разъединенно-соединенные пары, чья любовная разлука выше, чем самый прекрасный союз...) И другие... другие... Из всех песен, всех времен, всех земель... У них нет времени для будущего, которое — ребенок, у них нет ребенка, ибо нет будущего, у них одно настоящее — их любовь и всегда стоящая рядом смерть. Они умирают — или их любовь умирает (перерождается в дружбу, материнство: старая Бавкида со своим старым Филимоном, старая Пульхерия со стариком-ребенком Афанасием — столь же мерзкие, сколь и трогательные пары).

Любовь сама по себе — детство. Любящие — дети. У детей никогда не бывает детей.

Или — как Дафнис и Хлоя — мы больше о них ничего не знаем: даже продолжая жить, они умирают в нас, для нас.

Жить любовью нельзя. Единственное, что продолжает жить, когда любви уже нет,— Ребенок.

А этот крик — другой,— неужели Вы его тоже никогда не слышали? Как бы я хотела ребенка — без мужчины! Мечтательный вздох молодой девушки, простодушный вздох старой девы и даже — изредка — безнадежный вздох женщины: Как бы я хотела ребенка — единственно *моего!*

И вот этой мечтательной молодой девушке, не желающей в своем теле чужого, не желающей ни его, ни своего, желающей лишь *моего*, встречается на повороте дороги «она», другая «я»: ее не надо бояться и не надо от нее защищаться, ведь эта «другая» не может причинить ей боли, ибо невозможно (по крайней мере, в молодости) причинить боль самому себе. Эта уверенность — из самых зыбких: она пошатнется под первым недоверчивым взглядом подруги и рухнет под напором ее великой ненависти.

Но не будем забегать вперед: пока еще она счастлива и свободна, свободна, чтобы любить сердцем, без тела, без страха, любить любовью, не причиняющей боли.

А когда боль совершилась — она обнаружит, что это вовсе не боль. Боль — это: стыд, сожаление, угрызение совести, отвращение. Причинить боль означает изменить своей душе с мужчиной, изменить своему детству с врагом. Но не враг ей та, ведь это все еще *«я»*, новая *«я»*, спавшая в моих глубинах и разбуженная этой другой «я», там, до меня, проступившая теперь наружу и, наконец, *любимая*. Ей не надо было отрекаться от самой себя, чтобы стать женщиной, ей надо было лишь расковать себя (вплоть до самых недр своего существа), лишь разрешить себе быть. Ни раны, ни надрыва, ни бесчестья.

И это слово — итог:

— О, я! О, *моя* любимая *я!*

— О, она никогда не бросит ее от стыда или отвращения.

Но из-за другой (ради другой) причины.

Вначале это нечто вроде шутки.— Какой прелестный ребенок! — Ты хотела бы такого же? — Да. Нет. От тебя — да. Но... это так, в шутку.

В другой раз — вздох.— Как бы я хотела...— Чего же? — Ничего.— Нет, нет, я знаю...— Ну раз ты знаешь. Но только — *от тебя...* Молчание.

— Ты все еще об этом думаешь? — Раз уж ты сказала...— Но это ты сказала...

У нее есть все, но слишком многое, даже *все*, что она могла бы дать, остается при ней.— «Я хотела б любить тебя маленькой».— Точно так же женщина говорит:

— Я хотела б любить тебя маленьким. Другая ты. Еще одна ты. Мною созданная — ты ребенок.

И, наконец,— крик — отчаянный, обнаженный, неотвратимый:

— Ребенка от тебя!

Тот, кто никогда не придет. Тот, о чьем появленьи даже нельзя молить. Можно просить у Богоматери ребенка от возлюбленного, можно просить у Богоматери ребенка от старика — не справедливости — чуда, но о безумьи не просят. Союз, где ребенок исключен начисто. Порядок вещей, предполагающий отсутствие (невозможность) ребенка. Немыслимо. Все, кроме ребенка. Словно тот обед Короля и дворянина: все, кроме хлеба. Великого насущного хлеба — женского.

Ребенок — постоянное и отчаянное желание одной из них — той, что младше и более *она*. Старшей ребенок не нужен, у нее есть подруга для ее материнского чувства. Ты — моя подруга, мой бог, мое все.

Но подруга не хочет быть любимой как ребенок. Любить ребенка — вот чего она хочет.

И та, что начала с нежелания иметь ребенка от *него*, кончит желанием иметь ребенка от *нее*. И оттого, что этого не может быть, она однажды уйдет, продолжая любить, но гонимая ясной и бессильной ревностью своей подруги, и настанет день, когда она, никому не нужная, рухнет в объятья первого встречного.

(Мой ребенок, моя подруга, мое все и — Ваше гениальное слово, мадам, мой женский побратим,— никогда: сестра. Должно быть, слово «сестра» их пугает, как будто оно может насильно вернуть их в тот мир, откуда они ушли навсегда.)

Вначале старшая боится этого больше, чем другая этого хочет. Можно сказать, что именно старшая доводит ее до отчаяния, превращая улыбку в стон, стон в желание, желание в наваждение. Наваждение младшей создается наваждением старшей.— Ты уйдешь, ты уйдешь, ты уйдешь. Ты хочешь его от меня, ты захочешь его от первого встречного... Ты все еще думаешь об этом... Ты посмотрела на этого мужчину. Не правда ли, прекрасный отец для твоего ребенка! Оставь меня, раз я не могу тебе его дать...

Наши опасения — побуждение, наши страхи — внушение, наши наваждения — воплощение. Младшая вынуждена это скрывать, но постоянно думает об одном и том же. Она не отводит глаз от молодых женщин с полными руками. Подумать только: у меня никогда его не будет из-за того, что никогда, никогда, никогда я ее не брошу. (В этот миг она ее бросает.)

Ребенок — неподвижная точка, от которой отныне она не сможет оторвать глаз. Подавленный в ней ребенок вновь всплывает на поверхность ее глаз как утопленник. Надо быть слепым, чтобы его не увидеть в них.

И та, что начала с желания иметь ребенка от *нее*, кончит желанием иметь ребенка безразлично от кого: даже от него — ненавистного. Из гонителя он превратится в спасителя. А Подруга — в Недруга. И ветер возвращается на круги своя...

Ребенок зачинается в нас задолго до своего начала. Есть беременности, что длятся годами надежд, вечностями отчаянья.

А все подруги выходят замуж. И мужья у этих подруг такие веселые, открытые, понятные... Подумать только: я тоже...

Замурована.

Погребена заживо.

А другая не унимается. Намеки, упреки, подозрения. Младшая: Разве ты меня больше не любишь? — Я люблю тебя, но — ведь ты все равно уйдешь.

Ты уйдешь, ты уйдешь, ты уйдешь.

Прежде чем уйти, она захочет умереть. И вот, совсем уже омертвевшая, ничего не зная, не затевая, не задумывая, тройным и чистым инстинктом жизни (молодость, время, лоно) она обнаружит, что, впервые не придя в назначенный час на свиданье, она смеется и шутит на другом конце города — и жизни — неизвестно с кем — с мужем одной из ее подруг или подчиненным отца, с кем угодно, только б это была не *она*.

Мужчина после женщины, какая простота, какая доброта, какая откровенность! Какая свобода! Какая чистота!

Потом будет конец. Первый возлюбленный? Череда возлюбленных? Постоянный муж?

Это будет Ребенок.

Я опускаю исключительный случай: женщина без материнского инстинкта.

Я опускаю также банальный случай: девушка, развращенная модой или собственной чувственностью: живущее ради удовольствия и не достойное внимания существо.

Я опускаю также редкий случай неприкаянной души — той, что и в любви ищет душу, то есть предназначена женщине.

И жрицу любви — ту, что ищет в любви одной любви и берет ее там, где находит.

И медицинский случай.

Я беру нормальный случай, обыкновенный жизненный случай, когда юное женское существо, опасаясь мужчины, устремляется к другой женщине, но хочет ребенка. Оказавшись меж ним, который ей чужд, безразличен, даже враг, но помогает ей раскрыть свое начало, и возлюбленной, которая его подавляет, она кончает тем, что выбирает врага.

Та, что желает иметь ребенка больше, чем любить.

Та, что любит своего ребенка больше, чем свою любовь.

Ибо Ребенок — это нечто врожденное, он присутствует в нас еще до любви, до возлюбленного. Это его воля к существованию заставляет нас раскрывать объятья. Молодая девушка — я говорю о тех, чья родина — Север,— всегда слишком юна для того, чтобы любить, но никогда — для того, чтобы иметь ребенка. Она мечтает об этом уже в тринадцать лет.

Нечто врожденное, что нам должно быть дано. Одни начинают с любви к тому, кто им это даст, другие кончают любовью к нему, третьи кончают тем, что ему подчиняются, четвертые — тем, что не хотят ему более подчиняться.

Нечто врожденное, что нам должно быть дано. Тот, кто нам этого не дает, отнимает это у нас.

И вот мы застаем ее вновь, с полными руками и ненавистью в сердце — к той, которую отныне она будет звать «ошибкой молодости». Неблагодарная, как все, кто больше не любит, несправедливая, как все, кто продолжает любить.

Этим ее больше не обольстишь.

Не сердитесь на меня. Я отвечаю Амазонке, а не белому женскому призраку, которому от меня ничего не надо. Не той, что дала мне книгу,— той, что ее написала.

Если бы Вы ни разу не упомянули о ребенке, я признала бы, что это сознательное упущение, последний отказ — через умолчание, шрам, который я не могла бы не чтить. Но Вы все время к этому возвращаетесь, Вы бросаетесь этим, словно мячом: «По какому праву женщины создают и уничтожают жизнь? Два ребенка — две оплошности» и т. д.

Вот единственная погрешность, единственное уязвимое место, единственная брешь в том прекрасном целом, какое являют собой две любящие друг друга женщины. Не влеченье к мужчине, а желанье ребенка — вот чему невозможно противиться.

Единственное слабое место, из-за которого все рушится. Единственное уязвимое место, брешь, через которую проникает вражеский корпус. Даже если однажды мы сможем иметь ребенка *без него*, мы никогда не сможем иметь ребенка от нее — маленькое подобие *тебя*, любимая.

И даже если б чудо оказалось возможным, откройте глаза и взгляните: две матери.

(Приемная дочь? Ни моя, ни твоя? И, вдобавок, у двух матерей? Пусть уж природа делает свое дело.)

Ребенок: единственное уязвимое место, из-за которого все рушится. Единственное, что спасает мужчину. И — человечество.

Слишком цельная цельность. Слишком единое единство. («Двое могут стать лишь одним». Нет — двое могут стать *тремя*.) Путь, который никуда не ведет. Тупик. Вернемся обратно.

И какой бы ты ни была красавицей, какой бы ни была Единственной — первое же ничтожество возьмет над тобой верх. Ничтожество будут славословить. А ты останешься проклятой.

Но ведь это тот же случай, когда нельзя иметь ребенка от *этого* мужчины. Разве это причина, чтобы его бросить?

Исключительный случай не следует уподоблять закону без исключения. Ибо в каждом случае любви между женщинами осуждению подвергается весь пол, весь род, все племя.

Оставить бесплодного мужчину ради его плодотворящего брата совсем не то, что оставить вечную бесплодность ради вечно плодотворящего врага. Там я прощаюсь лишь с одним мужчиной, здесь я прощаюсь с целым племенем, целым полом, всеми женщинами в одной.

Сменить объект... Сменить берег и мир.

О, я знаю, это длится иногда до самой смерти. Умилительное и устрашающее видение: дикий крымский берег, две женщины, уже немолодые, всю жизнь прожившие вместе. Одна из них — сестра великого славянского мыслителя, которого сейчас так много читают во Франции. Тот же ясный лоб, те же яростные глаза, те же мясистые обиженные губы. Но вокруг них обеих была пустота, бо́льшая, чем вокруг «нормальной» пожилой и бездетной пары, более отчуждающая, более опустошительная пустота.

Вот, вот почему — проклятый пол.

И, быть может, ужас этого проклятья заставляет младшую, если она глубока, уйти от другой.

«Что скажут люди» — ничего не значит, не должно значить, ведь что бы люди ни сказали, они скажут дурное, что бы ни видели — увидят дурное. Дурной глаз зависти, любопытства, безразличия. Нечего сказать людям — им, погрязшим в грехе.

Бог? Раз и навсегда: до плотской любви Богу вообще нет дела. Его имя, поставленное рядом с любимым именем — неважно каким, мужским или женским — или противопоставленное ему, звучит святотатственно. Есть несоизмеримые вещи: Христос и плотская любовь. Богу нет дела до всех этих напастей, он может разве что излечить нас от них. Он ведь сказал, раз и навсегда: Любите меня, Вечного. Все, кроме этого,— суета. Однообразная неотвратимая суета. Уже одним тем, что я люблю человека этой любовью, я предаю Того, кто умер за меня и других на кресте другой любви.

Церковь и Государство? Не посмеют сказать ни слова, покуда не перестанут толкать и благословлять на убийство тысячи молодых людей.

Но что скажет, что говорит об этом природа — единственная мстительница и заступница за наши физические отклонения. Природа говорит: нет. Запрещая нам это, она защищает себя. Бог, запрещая нам что-либо, делает это из любви к нам, природа, запрещая нам что-либо, делает это из любви к себе, из ненависти ко всему, что не есть она. Природа ненавидит и монастырь, и остров, к которому прибило голову Орфея. Ее месть — наша гибель. Правда, в монастыре есть Бог, чтобы нам помочь, там, на острове — море, чтобы в нем утонуть.

Остров — часть земли, которой нет, земля, которую не дано покинуть, земля, которую надо любить, раз уж к ней присужден. Место, откуда видно все, откуда нельзя ничего.

Земля, которую можно пересчитать шагами. Тупик.

Великая страдалица — та, что была великой поэтессой,— удачно выбрала место своего рождения.

Братство прокаженных.

Вне естества. Но все же как получается, что молодая девушка, это естественное существо, так самозабвенно, так доверчиво сбивается вдруг с пути?

Это сети души. Попадая в объятья старшей подруги, она попадает не в сети природы, не в сети возлюбленной, которую слишком часто считают обольстительницей, охотницей, хищницей и даже вампиром, тогда как, почти всегда, она — лишь горестное и благородное существо, и все ее преступление заключается в том, что она многое «предугадывает» и, скажем сразу же, предугадывает разлуку — молодая девушка попадает в сети души.

Она хочет любить — но... Она горячо любила бы, если бы... и вот, в объятьях другой, она склоняет голову на ее груди — там, где обитает *душа*.

Оттолкнуть ее? Спросим у мужчин, молодых и старых.

...Потом — встреча. Неожиданная и неизбежная. Ибо — хотя живут они отныне в разных мирах — земля все равно одна: по которой ходят.

Удар в сердце, прилив и отлив крови. И первое и последнее оружие женщин — то, которым обезоруживают, надеются обезоружить даже смерть,— их жалкое последнее мужество — живое и сразу красное лезвие — улыбка. Потом — слабый и бессвязный поток слогов, захлестывающих друг друга,— точно мелкая рябь воды поверх камней (зубов). Что она сказала? Ничего, ибо другая ничего не услышала,— ведь обычно мы ничего не слышим при первых словах. Но вот другая, оторвав глаза от движущихся губ, догадывается, что в их движенье есть какой-то смысл: ...десять месяцев... любовь... он предпочитает меня всем другим... у него вес в обществе... (Вот тебе, вот тебе и еще раз вот тебе — за все, что ты мне сделала...) Я же сказала — у него вес... (больший, чем вся земля, чем все море на сердце у старшей подруги).

Какая жажда мести! А в глазах — какая ненависть! Ненависть рабыни, отпущенной наконец на волю. Жажда наступить ногой на сердце.

И вот слабый поток окончательно прегражден — колыханья волн, медленные, певучие, хрустальные: — Вы, может быть, навестите меня, навестите нас, меня и моего мужа...

Она ничего не забыла. Напротив: она слишком многое помнит.

Потом будет купание — ежедневное священнодействие.

Торжество мужского начала, явное и почти непристойное.

Потому что — сын, сразу же сын, всегда сын, как будто природа, торопясь снова вступить в свои права, не теряет времени на обходной путь — девочку. Не маленькая ты, желанная и невозможная,— маленький он, тот, кого и следовало ожидать, пришедший без зова, по заказу, простой результат (грандиозная цель!).

Другая, цепляясь за последнюю надежду или просто не зная, что сказать:

— Он похож на тебя.— Нет (сухо и отчетливо). *Имя,* сухо и отчетливо. И последний укол — должно быть с ним (на него) и уходит остаток того великого яда, которому имя любовь.

— Он похож на отца. Вылитый портрет моего мужа.— В этой мести — намеренная низость. Она выбирает слова, которые — она это знает — будут самыми обидными, самыми пошлыми, из всех — самыми (видишь, какую ты любила заурядность!).

Расчет или инстинкт? Все это получается у нее само собой, она обнаруживает, что произносит слова (как некогда, уже давно, обнаружила, что смеется...). Потом, когда обряд закончен, Моисей спасен и укутан, она дает ему грудь и — высшая месть,— опустив ресницы, она, кормящая, выжидает, не появится ли завистливый блеск в слезящихся от умиления глазах старшей. Ибо есть в душе любой женщины, если только она не чудовище, ибо есть в душе любого чудовища..., ибо среди женщин не бывает чудовищ.

Этот блеск, эта улыбка — она их *знает,* однако по той либо другой причине — она не поднимет глаз.

Если мужчина умен, он ни за что не спросит ее: «О чем ты думаешь?»

Может быть, когда другая уйдет, она захочет размозжить себе голову.

Может быть, когда другая уйдет, она не захочет его поцелуев.

Если мужчина умен, он не обнимет ее сразу же, он подождет — прежде чем обнять,— пока другая не уйдет — окончательно.

(Зачем она приходила? Чтобы причинить себе боль. Единственное, что нам порой остается.)

Потом — другая встреча, встреча — месть, *отплата.*

Та же земля (иное не заслуживает упоминанья, ибо все, что происходит, происходит внутри).

Те же зрители и слушатели. (Последняя месть природы: за то, что они не стали друг для друга слишком одинокими, слишком одними, слишком всем, они отныне будут видеться лишь при всех и вся.)

То же время: вечность юности, пока она *есть.*

— Погляди, не твоя ли это подруга? — Где? — Вон там, с брюнеткой в голубом платье.

Она знает, еще не видя.

И вот человеческая волна, более бесчеловечная и неотвратимая, чем морская, влечет ее, влечет к ней.

На этот раз начинает старшая: — Как Вы живете? (И не дожидаясь, не слыша) — Позвольте представить Вам мою подругу, мадмуазель такая-то... (имя).

Если та, прежняя, вся кровь которой вмиг отхлынет от ее нарумяненных щек, «была» блондинкой,— новая, ее заменившая, будет неизбежно брюнеткой. Сама хрупкость — сама сила. Верность после смерти? Желание окончательной смерти? Последний удар по воспоминаниям? Или наоборот? Ненависть к светлому цвету?

Попытка убить светлое темным? Это закон. Почему — спросите у мужчин.

Есть взгляды, которые убивают. Но не в этот раз, потому что брюнетка удаляется, жизнерадостная, в объятьях старшей — любимой. Обвив ее голубыми волнами своего длинного платья, что въявь воздвигают меж остающейся и уходящей всю безвозвратность морей.

Ночью, склонясь над спящим, обожаемым: Ах, Жан, если б ты знал, если б ты знал, если б ты знал...

Не тогда, не в день его рожденья, а сегодня, три года спустя, она поняла, чего он ей стоил.

Пока другая не состарится, ее всегда будет сопровождать живая тень.

Брюнетка изменится: станет блондинкой или рыжей. Брюнетка уйдет, как ушла блондинка. Как уходят все женщины навстречу своей неведомой цели — всегда одной и той же,— задерживаясь на миг, чтобы отдохнуть под деревом, которое никогда не уйдет.

Они все — пройдут. Они все *прошли бы через это,* если бы... Но вечной юности не дано никому.

Другая! Подумаем о ней. Остров. Вечное одиночество. Мать, теряющая своих дочерей, одну за другой, теряющая их навечно, ибо они не только никогда не придут к ней со своими детьми, чтобы дать их ей на руки, но, заметив ее на уличном перекрестке, украдкой осенят крестным знаменьем свою белокурую голову. Ниобея с женским потомством, погубленная этим другим охотником, по-другому свирепым. Всегда проигрывающая в единственно стоящей и существующей игре. Опозоренная. Изгнанная. Прóклятая. Белый бестелесный призрак, чью породу мы распознаем лишь по взгляду, понимающему и опознающему,— в нем оценщик уживается с идолопоклонником, игрок в шахматы со вкусившим блаженства; это взгляд, где несколько уровней глубины и последний всегда оказывается предпоследним, бесконечный и бездонный,— здесь бессильны любые определения, ибо это бездна — невыразимый взгляд, обесцвеченный зимней улыбкой отказа.

Когда они молоды, их узнают по улыбке, когда они старятся — из-за улыбки их не хотят знать.

Молоды они или стары — обликом своим эти женщины всего более подобны душе. Все другие, чье обличье — тело,— не *это,* не несут в себе *это* или несут мимолетно.

Она живет на острове. Она создает остров. Она сама — остров. Остров, населенный множеством душ. Кто знает, быть может, в этот самый момент, где-то там, в Индии, на краю земли... молодая девушка, перевязывая свои темные волосы...

«Кто знает» — обнадеживает.

И значит — всего надежней.

Она умрет одна, ибо слишком горда, чтобы любить собаку, слишком многое помнит, чтобы взять чужого ребенка. Она не хочет возле себя ни животных, ни сирот, ни дамы-компаньонки. Она не хочет даже девушки-компаньонки. Царь Давид, что грелся обездушенной теплотой Ависаги, был низок и груб. Она не хочет ни теплоты в награду, ни улыбки в долг. Она не хочет быть ни вампиром, ни бабушкой. Хорошо мужчине,— он довольствуется в старости жалкими остатками, движеньями, скользящими к другим телам, касаньями, бегущими к другим рукам, улыбками, летящими к другим устам,— выкраденными, вымученными, выхваченными наудачу. «Проходите, девушки, проходите...» Она никогда не будет бедной родственницей на празднике чужой юности. Ничто ей не заменит любви — ни дружба, ни уважение, ни набожность, ни та другая пропасть — наша собственная доброта. Она не отречется от ослепительной черноты, от черного обугленного отверстия — круга — магического, но иначе, чем твой круг, Фауст! — от огня былой радости. Она устоит против всех весен (ваших двадцати лет).

Даже если какая-нибудь девушка к ней бросится, подобно тому, как ребенок бросается к прохожему или стене: прохожий — она отступит в сторону, стена — останется неколебимой. Неистово любившая, она в старости останется чистой — из гордости. Всю жизнь пугавшая, она не захочет пугать таким способом. Та, что в юности была одержима любовью, не станет ламией в старости.

Доброжелательность — снисходительность — отрешенность.

«Проходите, прекрасные и безумные...»

Где размыло время, как рекою,
Стены погребов пороховых,
Девушки, свой свет прикрыв рукою,
Проходите мимо них.

И все равно — он; в ореоле законной славы всего их светлого цвета, уже потускневшего, проходит он. А вокруг нее — дымка ужаса.

То, что не смогли сделать с ней, с ее роковым природным влечением, ни Бог, ни

мужчины, ни ее собственное сострадание,— сделает ее гордость. Лишь гордость одолеет ее. Настолько, что девушка — вечная юность,— оробевшая, прильнет к своей матери: — Эта дама внушает мне страх. У иее такой суровый вид. Чем я ей не угодила?..

А другая, когда мать подведет ее к ней («даме»),— кто знает зачем? — услышит голос, надтреснутый от подавленного волнения: — Ваша мать сказала мне, что у Вас склонность к живописи. Следует развиаать свое дарованье, мадмуазель...

Она никогда не будет пудриться, краситься, молодиться, она не прибегнет к фальши и гриму, она оставит это «нормальным» старухам, что в шестьдесят лет, на глазах у всех, с благословения священника, законным образом выходят замуж за двадцатилетних. Она оставит это сестрам Цезаря.

Роковое и естественное влечение горы к долине, потока к озеру.

Когда приближается вечер, гора начинает течь к вершине. Когда наступает вечер, она сливается с вершиной. Как будто ее потоки несут ее вспять. Когда наступает вечер, гора себя поглощает.

...И однажды та, что была некогда младшей, узнает, что где-то, на другом конце той же аемли, умерла старшая. Сперва она захочет написать, чтобы убедиться. Но время помчится — письмо не сдвинется с места. Желание останется желанием. «Я хочу знать» превратится в «я хотела бы», потом — в «я не хотела бы».— Зачем, ведь она умерла? Ведь я тоже умру когда-нибудь...

И решительно, со всей правдивостью безразличья:

— Ведь она умерла во мне — для меня — уже двадцать лет назад?

Не нужно умирать, чтобы быть мертвым.

Остров. Вершина. Одиночество.

Плакучая ива! Пониклая ива! Ива — тело и душа женщин. Поникпая шея ивы. Седые волосы, разметанные по лицу, чтобы ничего больше не видеть. Седые волосы, метущие лицо земли.

Вода, воздух, горы, деревья даны нам, чтобы понимать душу людей, столь глубоко сокрытую. Когда я вижу, как печалится ива, я понимаю Сафо.

Кламар, ноябрь-декабрь 1932
(переписала и перечитала в ноябре 1934, еще чуть более поседевшая. МЦ).

Публикация и перевод с французского К. М. Азадовского

Петро Григоренко

ВОСПОМИНАНИЯ

Я УЗНАЮ, КАКОЙ Я НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Описанными событиями в моем сознании очерчивается начало гражданской войны. Правда, войти в нее мы попытались значительно раньше — ранней весой 1918 года. Иван и я при нем как круглый сирота попытались поступить в Красную гвардию — в Бердянске. Он, крепкий и рослый паренек, убедил командира отряда, что ему 17 лет, и его приняли в отряд. Но отец очень скоро нас разыскал и без труда (метрикой) доказал, что Ивану всего 15 лет. С тех пор у Ивана с отцом несколько недель шли непрерывные споры. Иван доказывал, что лучше идти со своими односельчанами. А отец отстаивал непреложный факт: «Ты еще очень молод и еще успеешь навоеваться за свою жизнь». В конце концов Иван объявил забастовку: «Не буду работать, пока пороху не понюхвю»,— и пообещал убежать куда-нибудь подальше, где отец его не найдет. Отцу пришлось отступить.

Село наше, как и все соседние украинские и русские села, было «красное». Соотношение такое. У красных, к которым до самого конца гражданской войны причислялась армия Махно, из нашего села служили 149 человек. У белых — двое. «Белыми» в наших краях были болгарские села и немецкие колонии.

О борьбе за украинскую независимость и об украинских национальных движениях в наших краях было мало что известно. Информация из Центральной Украины фактически не поступала. Большинство считало, что Украинский парламент — Центральная Рада — и устроивший монархический переворот «гетман» Скоропадский — это одно и то же. Отношение и к Центральной Раде, и к гетманцам было резко враждебное — считали, что они немцев привели. О петлюровцах, по сути дела, ничего не знали: «Какие то еще петлюровцы? Говорят, что за помещиков держатся, как и гетманцы». Но когда явились двое наших односельчан, которые побывали в плену у петлюровцев, где отведали шомполов и пыток «сичовых стрильцив», безразличие к петлюровцам сменилось враждой, и советская агитации против «петлюровских недобитков» стала падать на благодатную почву. Особенно усилилась вражда к петлюровцам, когда имя Петлюры стало связываться с Белопольшей. Рейд Тютюника рассматривался как бандитское нападение. Воевать всем надоело, и тех, кто хотел продолжать, встречали всеобщее недовольство и вражда.

Иван вернулся в начале 20-го года. Возвращение его живым можно считать чудом: в конце 1919 года он свалился в тифе, где-то в районе Днепра.

Отец потом, сопоставив его воспоминания, пришел к выводу, что шел он домой около двух месяцев.

Мы были все в хате, обедали, когда появился Иван. Отец сидел лицом к двери, когда она открылась. Лицо отца исказилось страхом и отвращением: «Выходь, выходь! Скорей выходь. В конюшню выходь!» — наступал он на Ивана. Мы с Максимом вскочили, подбежали к отцу, и тут я понял причину столь несоответствующего событию поведения отца. Шинель Ивана была покрыта сплошным слоем вшей. Серой массой они двигались, копошились, вызывая отвращение и страх. Около двух часов нам всем троим пришлось воевать со вшами, пока, наконец, вся одежда Ивана оказалась в прожарке, а он, стриженый и вымытый, одетый в домашнее, уселся за стол. Худобы он был невероятной. На него было

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1.

страшно смотреть. Виден был весь скелет. Казалось, что и кожа, натянутая на него, прозрачна, просвечивает. Отец налил ему борща и, глядя в лицо, ехидно произнес: «Да ты, сынок, порох нюхал, что ли?» И действительно, у Ивана был срезан самый кончик носа.

Оказывается, в одном из боев у его винтовки разорвало затвор. Редкий случай, что такое обошлось благополучно. Его не убило, не нанесло заметных увечий лицу, но нашелся маленький осколочек, поставивший печатку аккурат на том месте, которым нюхают.

Иван после тифа едва на ногах держался, и я был главным помощником отца по хозяйству, хотя мысли мои были совсем в другом.

В конце марта 1921 года в Ногайске, в здании реального училища открылась 1-я Трудовая семилетняя школа. Занятия шли плохо. Жалованье учителям платили нерегулярно. Да и не стоили эти деньги ничего, хотя и исчислялись миллионами. Учителя прямо-таки голодали. Чтобы не умереть с голоду, они вынуждены были бродить по селам, менять свои вещи на продукты. Приходили на занятия только те, кто были в городе. Обычно за день проводились один-два, иногда три урока. Причем с большими перерывами между ними.

Я как бывший реалист учился в 6-м классе. Со мной вместе учились несколько наших сельских девочек, бывших гимназисток. Симу, как сына служителя культа, в школу не приняли, и он учился экстерном. В пятом классе было уже больше десятка мальчиков и девочек нашего села, из тех, которые в 1919—1920 годах закончили сельскую школу. Тяга к учебе и у детей, и у родителей была огромная, а количество мест весьма ограничено. Мой отец организовал родителей, и они все коллективно обратились в органы народного образования с просьбой открыть в Борисовке 2-ю Трудовую семилетнюю школу. Им ответили, что могут разрешить лишь в том случае, если найдутся преподаватели.

— Где вы в селе найдете преподавателей-специалистов: математиков, физиков, историков?

— Пригласим из города,— заявил отец.

— Кто же из города поедет в село?

— Пойдут,— настаивал отец,— мы создадим условия, и пойдут. Вы только дайте список, каких преподавателей и сколько нам надо.

А дело в том, что отец к этому времени уже подготовился. Случайно, как-то еще в 1920 году, зимой, он увидел на улицах Ногайска странную фигуру. Широченная черная плащ-накидка и мягкая черная шляпа с висящими полями. Из-под шляпы выглядывают длинные и толстые рыжие усы на подусниках. Это был учитель математики и физики одной из московских гимназий — Михаил Иванович Шляпдин. Разговорились. И отец услышал его рассказ.

Семья в Москве страшно недоедала. От истощения умерла жена. Он в ужасе понял, что тем же путем могут последовать и его дети. О себе он не думал. Собственной жизнью не дорожил. Им овладела одна-единственная мысль — накормить детей. Он решил все бросить и пробиваться на юг. И вот он здесь. И они снова голодают. Скоро неделю он ничего не ест и в отчаянии бродит по городу.

Отец отдал ему все, что у него было из продовольствия. Михаил Иванович плакал и только повторял: «Это Бог вас послал нам. Это Лия (жена) там за нас Бога молит. Но чем же я вам заплачу?» — вдруг как бы очнулся он.— Вот, хотите, мой плащ возьмите. Больше у меня ничего нет». Отец заверил, что ему ничего не надо.

На следующий день отец с продуктами поехал на квартиру Михаила Ивановича. Встретили его радостно, благодарно. Семья — четыре человека. Сам Михаил Иванович примерно ровесник отцу: 42-43 года, старшая дочь Зоя — 16-ти лет, дочь Ия — 11-ти лет и сын Юра — 8-ми лет. Михаил Иванович снова заговорил, чем он расплатится. Отец ему ответил: «За то, что я привез — советом. Никакой другой платы мне не надо». И отец рассказал о своей мечте — иметь среднюю школу у себя в селе.— «Вот и посоветуйте, как это сделать? Если поддержите эту идею, да еще согласитесь пойти директором в школу, то мы вам кроме государственного жалованья обеспечим хороший продовольственный паек. Учителям тоже будет паек»,— добавил он.

И вот Михаил Иванович с горячностью включился в дело организации Борисовской семилетней трудовой школы. Был подобран прекрасный преподавательский состав, и школа начала работать. Но это не было простым рождением школы. Поскольку в старшие классы шли уже подростки и молодежь, школа стала рассадником культуры. Почти одновременно со школой родилась украинская культурная организация «Просвита». Привезли ее с собой учитель истории Онисим Григорьевич Засуха и его жена Оксана Дмитриевна — преподаватель немецкого языка. Они оба были членами «Просвиты» и организовали ее отдел у нас. У них у первых я и услышал бандуру. От них получил «Кобзаря», от них узнал, что написал его великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко. И что я принадлежу к той нации, что и великий Кобзарь, что я — украинец. Этого я уже никогда не забывал, хотя далеко не всегда работал на пользу своей нации.

ПЕРВЫЕ ИСКАНИЯ

Рождение Трудовой семилетней школы явилось в моей жизни важным, переломным моментом.

Изменилась прежде всего психология. В реальном училище я просто удовлетворял свою жажду к знаниям. Теперь я больше думал о том, что будет дальше. И тут у меня определились два главных советчика. Один — Михаил Иванович, который, крепко подружившись с моим отцом, и ко мне относился как к родному. Беседы с ним, дополнительные занятия по математике и физике привили мне любовь к этим наукам. Родилось желание стать инженером, строителем мостов, огромных, металлических. Мечтался даже мостовой переход через Берингов пролив. И эта, никогда не осуществившаяся мечта живет со мной до сих пор. Я могу часами смотреть на любой из висячих нью-йоркских мостов, любоваться их строгой красотой, и это для меня — лучший отдых. Когда я впервые попал в Сан-Франциско, первой моей просьбой было: «Найдите время показать мне Голден-Гейт».

Второй мой советчик — Онисим Григорьевич и Оксана Дмитриевна Засухи, а вернее, созданный ими в нашем селе отдел «Просвити». Как из небытия обрушилась на меня огромная украинская литература. Не только Шевченко, который буквально потряс меня,— Панас Мырный, Леся Украинка, Кропывныцкий, Иван Франко... звали меня пробуждать национальное самосознание моих земляков. Почти ежедневно в нашей школе проводились «читанки» произведений украинской литературы.

Сидели на партах, на подоконниках, просто на полу, стояли в коридорах, слушая через открытые двери. Стоило поражаться той жажде к родному художественному слову. 2-3 часа продолжалось чтение. И никто не выходил, и никому не хотелось, чтобы чтение заканчивалось.

Онисим Григорьевич высказал в нашем «просвитянском» кружке мысль о том, что надо вести беседы и «читанки» по истории Украины. Первая беседа Онисима Григорьевича, которую он назвал «Украинская нация» (о зарождении и становлении украинской нации), произвела на всех слушателей, и на меня в том числе, неизгладимое впечатление. Онисим Григорьевич был чудесный рассказчик и говорил таким чистым, таким волшебно-шевченковским языком, что слушать его было — одно удовольствие. Рассказ перемежался читанками Оксаны Дмитриевны и исполнением (дуэтом) народных песен под аккомпанемент бандуры. Постепенно «читанки» и исторические беседы стали чередоваться с концертами и спектаклями. Авторитет нашей деятельности среди селян был так велик, что сельсовет передал помещение бывшей сельской управы под «народный дом». Здание мы внутри перепланировали таким образом, что основную его площадь занял зал со сценой.

Теперь мы могли и спектакли ставить. Бывали они в субботу и в воскресенье. Предшествующая неделя отводилась для репетиций. Наши слушатели и зрители особенно бурно награждали нас вплодисментами за спектакли, хотя ничего артистического в них не было. По сути, это были тоже читанки, только в лицах и под суфлера, а не прямо из книжки. Думаю, все мы выглядели довольно комично. Представьте себе длинного, тощего подростка, которому приклеили большие запорожские усы и оселедець[1]. Фигура, мало похожая на лихого запорожца Назара Стодолю. Но наша публика не обращала внимания на такие несуразности.

Что осталось от всего этого, сказать трудно. Народ прошел через такую душеломку, что говорить о прямых результатах той «просвитянской» работы невозможно. Где вы, организаторы Борисовской «Просвиты» Онисим Григорьевич и Оксана Дмитриевна Засухи? И до сего дня я о вас ничего не знаю. Думаю, что с вашей любовью к Украине, с вашей культурой — выжить было невозможно. Скорее всего, вас уничтожили как «буржуазных националистов». Но то, что вы засеяли, загубить полностью невозможно. Вы и созданная вами «Просвита» и в моей душе оставили следы.

Однако и тогда, в период расцвета в Борисовке подлинной культуры, новые идеи вторгались и в нашу частную жизнь. Не только классиков украинской литературы читал я. Лозунги новой власти, плакаты, политические брошюры — все это глотал неискушенный разум. Любовь к своей культуре и к своему народу и, одновременно, мечта об общечеловеческом счастье, об интернациональном единении и о неограниченной «власти труда» — все это перемешалось в моем мозгу. Я хотел строить новую жизнь, бороться за идеи, которые несут миру партия, Ленин.

Мы уже знали, что у партии есть помощник — Коммунистический Союз Молодежи, комсомол, в рядах которого борются за коммунизм ребята нашего возраста. Создать ячейку комсомола в нашем селе стало мечтой многих «просвитян». Но как это сделать, как практически осуществить этот шаг, никто из нас не знал. На помощь пришел случай.

Вечером 7 марта 1922 года из района приехал докладчик о Международном женском дне, юноша лет 18—19-ти. Высокий, стройный, с густой вьющейся русой шевелюрой, одетый в кожаную куртку, он произвел на нас впечатление посланца из другого мира. Доклад о Международном женском дне, бессодержательный и скучный, мы слушали со внимани-

[1] Оселедець — хохол *(укр.)*.

ем. После доклада начали задавать вопросы. Ни один из них не имел отношения к теме доклада, все спрашивали о комсомоле. В частности, авдали вопрос — не комсомолец ли докладчик? И когда услышали твердое: «Да!», то само собой вырвалось единодушно: «А как создать ячейку комсомола у нас в селе?» В ответ мы услышали: «Очень просто. Все, кто желает вступить в комсомол,— останьтесь после того, как закончится торжественное заседание, и я проведу с вами организационное собрание».

Осталось более двадцати человек, в основном ученики трудовой школы и «просвитяне». Избрали бюро: секретарь — Коля Сезоненко, заворг — Митя Яковенко, агитпроп — я. Коля и Митя были избраны главным образом за их возраст. Коле было уже 19, Мите 17, остальные же были не старше 15-ти лет. Составили и список ячейки в двух экземплярах. Один из них забрал с собой наш организатор. При этом он пообещал, что недели через две или, на самый худший случай, через месяц мы получим комсомольские билеты. Мне как агитатору он достал из своего великолепного портфеля «Азбуку коммунизма» Бухарина. И наставительно сказал: «Здесь вся мудрость человечества. Вы должны это изучить со своими комсомольцами от корки до корки».

Я в несколько дней, запоем, прочитал эту книгу. И тут же начвли мы ее иаучать. К моей работе в драмкружке, в «Просвите» и в школе добавились занятия комсомольского политкружка — два раза в неделю.

Идеи «Азбуки коммунизма» поразили меня своей простотой. История человечества есть история борьбы классов. Всегда были угнетатели и угнетенные. Класс угнетателей, правящий класс, всегда охранял свои привилегии, эксплуатировал другие классы, которые прозябали в работе и нищете. Так было всегда, пока на историческую сцену не вышел рабочий класс — пролетариат. Этот класс берет власть в свои руки не для того, чтобы увековечивать свое господствующее положение, а чтобы поднять всех до своего уровня, превратить общество в единый коллектив трудящихся, где не будет ни эксплуататоров, ни угнетателей.

Мы с энтузиазмом воспринимали эти идеи. Они становились нашей верой, нашей религией. Счастье всего народа — вот цель. И ради этой великой цели можно всем пожертвовать, в том числе своей жизнью. Увлекшись великой целью, мы не видели, что «подниматься» до уровня рабочего класса можно, лишь опускаясь до его положения, что ради этого «поднятия» нужно уничтожить не только класс помещиков и капиталистов, но и самый многочисленный класс — городскую и сельскую мелкую буржуазию, что для подавления такой массы людей потребуется куда более могущественный аппарат угнетения, чем был у царской России.

Самое же главное, чего мы не видели,— от ЗЛА не может родиться добро. Понимание этого придет к нам, притом далеко не ко всем, значительно позже. А пока капиталисты для нас только эксплуататоры, паразиты. А таких — чего жалеть! То, что они еще и организаторы экономической жизни общества, организаторы и руководители предприятий, об этом мы, в силу своей малокультурности, даже и не догадывались. Интеллигенция развращена подачками с хозяйского стола. Поэтому и обиходное название ее в то время было — «гнилая интеллигенция». Ну а гниль — чего жалеть! Крестьянство — мелкобуржуазная стихия, которая ежедневно и ежечасно рождает больших и малых эксплуататоров. Так какая же может быть жалость к этой вредной стихии! Ну а рабочий класс? Он пополняется выходцами из мелкой буржуазии города и села и заражен предрассудками и пережитками. Кто же будет жалеть эти пережитки?

Так вместе с великой мечтой о счастье всего человечеств в наше сознание вошло убеждение, что для достижения этой мечты необходима переделка всего общества, что и должна совершить диктатура пролетариата. Звучный этот термин так хорошо воспринимался нашим еще ие освободившимся от детской наивности сознанием. От него веяло силой, непреклонностью, романтикой борьбы. И как-то не думалось о том, что это принуждение, подавление массы людей. Запоминалась лишь привлекательная формула: «Большинство мы убедим, перевоспитаем, а меньшинство подавим железным кулаком диктатуры». И душа наша восторженно откликалась на это: «Да, да! Мы будем переубеждать! Мы расскажем людям правду о будущем. И они поймут, поверят нам, и так же, как и мы, с восторгом, стройными колоннами пойдут в это будущее». Мысль, что идти придется по трупам тех, кого не удалось переубедить, как-то в голову не приходила. О чем мы не подумали — это о нашем праве. На каком основании мы, меньшинство народа, присвоили себе право перевоспитывать народ и подавлять тех, кто не перевоспитывается, а другим не даем возможности не только возражать нам, но и не соглашаться с нами?

Я и до сих пор не перестаю поражаться загадке нашего увлечения диктатурой. Ведь не были же мы злыми людьми, не были искателями легкой жизни и жизненных выгод.

Большинство друзей моей комсомольской юности остались в родном селе и пережили все, что потом выпало на долю наших односельчан: наш первый секретарь, Коля Сезоненко, рядовой колхозник, умер от голода зимой 1931/1932 года; Максим Махарин, председатель колхоза, в 1930 году отдан под суд «за проведение кулацкой линии в руководстве колхозом». Фактически аа то, что считал нецелесообразным принимать в колхоз людей, которые не хотели в него вступать, и противился вывозу всего зерна на хлебозаготовительные пункты. Осужден на 8 лет лагеря и исчез где-то в людском потоке. Митя Яковенко благополучно обошел все опасности и ушел иа пенсию с должности председателя колхоза. Иван Дейнека всю жизнь оставался рядовым колхозником. Пережил голод и войну, оставаясь все время в партии. Кроме меня, из села ушли лишь двое парней — Шапошник Антон и Гавриил Кардаш. Первый стал военным врачом, второй корреспондентом. Из девушек покинули село четверо, притом трое по замужеству, и лишь одна — Дуня Сезоненко — закончила университет и осталась преподавателем в нем. Все остальные парни и девчонки честно трудились в селе и закончили свой жизненный путь либо в годы искусственно созданного голода, либо в войну...

Мы не могли не видеть всего того, что творилось. Да и различать ДОБРО и ЗЛО умели. Хотя... не всегда. Все, например, знали о расстреле белыми первых Советов. Помнили об этом, осуждали белых и относились к ним враждебно. Но вот весной 1920 года по селвм пошли «тройки ЧК» по изъятию оружия у населения. Прибыла такая тройка и в Борисовку.

Собрали сход. Председатель тройки, весь в коже, увешан оружием с головы до пят, свое выступление посвятил тому, что зачитал список заложников (семь наиболее увважаемых мужчин старшего возраста) и объявил, что если до 12 часов завтрашнего дня не будет сдано все имеющееся у населения оружие, ааложники будут расстреляны.

Ночью к сельсовету были тайком подброшены несколько охотничьих ружей, револьверы, кинжалы. После обеда бойцы отряда, сопровождавшего тройку, пошли по домам с обысками. Нашли (а может, и с собой принесли) у кого-то в огороде, или даже на лугу за огородом, один обрез. Ночью заложников расстреляли и взяли семь новых. На следующий день снова собрали собрание. И снова председатель тройки, стоя на крыльце сельсовета, зачитал список заложников и объявил, что если завтра после 12-ти найдут оружие, то расстреляют и этих. Как и в прошлый раз, он закончил вопросом, на который ответа не ждал: «Всем понятно?» И повернулся, чтобы уйти. Но тут произошло неожиданное. Из толпы собравшихся раздался голос: «А аа що людэй росстриляли?» Кожаный человек остановился. Вопрос явно аастал его врасплох. Видимо, такого еще не случалось. Немного опомнившись, он грозно воззрился в толпу.

— Кто это спрашивал?

— Я,—послышался спокойный голос дяди Александра, который сидел на невысокой ограде, окружавшей сельсовет.

— Вам не понятно?! — грозно рыкнул чекист на дядю.

— Ни, нэ понятно,— продолжая сидеть, спокойно ответил дядя.

— Не понятно?! — еще грознее прорычал человек в коже.

— Нэ понятно,— так же спокойно ответил дядя.

— Взять его! Отправить к ааложникам! — распорядился председатель тройки.

В толпе зашумели. Раздались выкрики: «За что же брать?», «Что, уже и спросить нельзя?» Шум нарастал. Становился явно враждебным. Трое красноармейцев, добравшись до дяди, стояли, не решаясь ни на что.

— Раззойдись!!! — заорала «кожа».— Разойдись!! Прикажу применить оружие!

Красноармейцы, стоявшие позади толпы, взяли оружие на изготовку. Защелкали затворы. Толпа бурлила. Выкрикивали: «Не пугай, мы пуганые! Выпусти заложников! Не трогай Лександра!» В это время раздался спокойный голос дяди Александра: «Расходитесь, люди добрые, а то у них хватит разуму, щоб стриляти!» Толпа стала расходиться. Дядю увели. Когда стемнело, я пробрался к сельской «кутузке», в которой сидели заложники, и через стенку поговорил с дядей. На мой вопрос, действительно ли их расстреляют, дядя коротко ответил: «На всэ воля Божа».

Утром по селу пронеслась весть — «Чека» уехала. Толпы людей бросились к «кутузке». Заложники были живы. Что произошло, никто не мог сказать. Говорили, что этот председатель тройки меньше трех последовательных партий заложников не расстреливал. Почему в Борисовке расстреляли только одну, осталось тайной. В селе долго говорили о расстрелах, которые проводят тройки во всем иашем степном крае. И кровь лилась беспрерывно.

Но вот феномен. Мы все это слышали, знали. Прошло два года, и уже забыли. Расстрелы белыми первых Советов помним, рассказы о зверствах белых у нас в памяти, а недавний красный террор начисто забыли. Несколько наших односельчан побывали в плену у белых и отведали шомполов, но голову принесли домой в целости. И они тоже помнили зверства белых и охотнее рассказывали о белых шомполах, чем о недавних чекистских расстрелах.

В общем, расхождений с властью у меня не было. Власть была наша, родная, и я был предан ей всей душой. Первое, что потребовалось от нас, комсомольцев,— помочь власти собрать только что введенный трудгужналог.

Крестьянские хозяйства разорены. У людей нет средств для уплаты этого нового налога. И вот мы, комсомольцы, идем по хатам и отбираем все, что имеет хоть какую-то ценность. Селяне упрекают нас. Мне говорят: «Твой отец и дядя люди достойные, хозяева, а ты грабить пошел по дворам. А власть ваша... обещала один налог. Мы все выплатили, а теперь другой давай. Правду твой дядя говорил — обман тот нэп!»

А речь вот о чем. На собрании, где приезжий докладчик излагал новую экономическую политику Советского государства, высказался и дядя Александр. При этом он исходил из своего понимания термина «политика». У него это слово всегда, сколько я его помню, твердо ассоциировалось со словом «обман». Исходя из этого понимания, он подошел и к нэпу.

— Ага! — сказал он.— Политика! Другая политика... Новая! В старой люди уже разобрались. Так теперь новую придумали... Так, как молодую кобылицу ловишь, ласково так: «Кось, кось!» — пока на уздечку. Вот так и нам тот нэп. Обманом возьмут на уздечку, а потом и батогом можно.

Вот это мне и припомнили сейчас, указывая на меня и товарищей моих, как на кнут, которым пользуется власть.

Ходить по дворам было страшно тяжело. Почти всюду — плач женщин и детей, жестокие укоры, вражда. Комсомольцы жаловались, отказывались ходить. Многие выбывали из состава ячейки. Ушел и наш секретарь Коля Сезоненко. В бюро осталось нас двое. Возникала угроза развала нашей ячейки. Этому способствовало и то, что наш «организатор» не подавал о себе вестей. Не было ни комсомольских билетов, ни указаний от руководящих комсомольских органов. И мы по своим соображениям начали бороться за сохранение ячейки. Во-первых, на общем собрании освободили наименее устойчивых от участия в сборе трудгужналога. Получилось, что те, на ком эта обязанность осталась — комсомольцы более высокого качества. Во-вторых, усилили занятия «Азбукой коммунизма» и воспитательную работу через драмкружок. Украинская классика начала отодвигаться. Сцену заполнили советские агитки, в которых такие же, как мы, юнцы ведут борьбу с кулачеством, белогвардейщиной, бандитизмом и несознательностью трудящихся. И наконец, в-третьих, мы с Митей решили идти в Бердянск в уездный комитет комсомола.

Вышли мы рано утром в пасмурный апрельский день. Прошли примерно километров пять, и начался дождь. Мелкий, холодный. Постолы (обувь из сыромятной кожи) быстро намокли и промокли, стали скользить и разбегаться в стороны. Идти было очень тяжело, и мы преодолели 30 километров, отделявших Борисовку от уездного в то время города Бердянска, лишь поздно к вечеру. Промокшие насквозь, голодные, продрогшие, мы добрались до УКОМа комсомола. Бывший купеческий особняк в центре города был отдан комсомолу. В нем разместились молодежный клуб, занявший весь первый этаж, и УКОМ комсомола — на втором этаже. Мы ввалились в клуб, и я начал спрашивать у первого попавшегося юноши, здесь ли УКОМ комсомола? Юноша подозрительно нас оглядел: «А вам зачем?» И, не дослушав и не вникнув в суть рассказа, вдруг заорал: «Ребята! Здесь кулачье пришло! Клуб наш взорвать хотят!» Откуда-то набежала толпа ребят. Все остановились, охватив нас полукругом, и уставились на нас. Думаю, жалкую картину мы представляли: расползшиеся постолы, мокрая одежда, с которой течет все время, под нами уже образовались лужи. Мокрые фуражки у нас в руках, а промокшие волосы свалялись и всклокочены.

— Какие мы кулаки! — обиженно кричу я.— Мы комсомольцы!

— Ком-со-мольцы,— презрительно тянет наш первый знакомый.— А где ваши комсомольские билеты?

— У нас нет,— говорю я.— Мы за тем и в УКОМ пришли, чтобы оформиться...

— Да кулачье они! — кричит кто-то.— Что, не видно? Постолы, свитки натянули, вымокли где-то, чтоб за батраков сойти.

Из толпы нас начинают дергать. Митя старше меня на два года и лучше оценивает обстановку — отступает. А я начинаю злиться. Отталкиваю тех, кто особенно нахально напирает. Кому-то даже задел по лицу. И тут раздается: «Да бей их! Чего на них смотреть!» Поднимается страшный гвалт. Я оглядываюсь. По обстановке — быть нам битыми. Но тут вдруг резкий юношеский голос:

— Братва, что за шум?

— Да вот, товарищ Голдин, кулачье поймали! — загалдели со всех сторон.

Через толпу к нам протолкнулся юноша 20—22-х лет, в сапогах и галифе, на плечи накинута куртка кожаная, голова непокрыта. Черная, слегка курчавая шевелюра зачесана не назад, по Марксу, как было принято в то время, а вперед, с явной целью прикрыть страшный синий рубец, идущий от середины головы через лоб и почти до правого уха. Глаза у парня веселые, доброжелательные. Чувствуется, что все находящиеся здесь ребята относятся к нему с уважением и любовью.

— Ну, показывайте ваших кулаков! — весело сказал он своим ребятам. И тут же обратился к нам: — Вы откуда, хлопцы?

— Из Борисовки,— в один голос ответили мы.

— А на чем же вы приехали? Погода такая, что и не знаю, на чем можно ехать. Грязь по колено...

— А мы пешком,— сказал я.

— Пешком? — удивленно переспросил он. И, повернувшись к своим ребятам, сказал: — Ну вот, а вы говорите — кулачье. Да какой же кулак в такую погоду пойдет за тридцать километров! Наверное, комсомольцы? — повернулся он к нам.

— Ну да! — радостно воскликнул я.— Вот только уже второй месяц пошел, а мы до сих пор не оформлены. За тем и пришли.

— Ну вот! Что же вы, братишечки,— снова обратился он к ребятам,— своих не узнали. Ну, теперь делом свои грехи замаливайте. На хлопцев надо подобрать что-нибудь из костюмерной, чтобы они могли снять и просушить свою одежду. Да и что-нибудь поесть достаньте. А потом приведите их ко мне, разбираться с их комсомолом.

Вскоре мы сидели в кабинете у Голдина. Он заразительно хохотал, когда услышал, как наш докладчик проводил организационное собрание. Докладчика того он прекрасно знал. Тот не коммунист и не комсомолец и, конечно, не имел никакого права организовывать комсомольскую ячейку. Нашу деятельность и в отношении сбора трудгужналога, и по политической учебе, и по культурной работе одобрил и сказал, что он лично за то, чтобы такую ячейку сохранить. Но формально утвердить новую ячейку может только губком. Да и то это делается только в исключительных случаях.

— Но мы что-нибудь придумаем,— сказал он.— Пока отдыхайте, а завтра встретимся.

Но я не мог уйти так просто. Все время, пока мы говорили, мне не давал покоя его рубец. Он меня буквально тянул к себе. И прежде чем уйти, я спросил его о происхождении этого рубца. Не в гражданскую войну ли он приобрел его?

— Нет, не в гражданскую. Это особая история.

— А можно узнать, какая?

— Видите ли, это я попал под топор белых громил. Если бы не бабушка...

Меня как молнией озарило:

— А это не в Ногайске было?

— Да, в Ногайске,— слегка удивленно подтвердил он. И вот тут он рассказал:

— Я двум людям обязан жизнью. Бабушке, которая бросилась под топор, занесенный над моей головой. Топор скользнул по моему черепу, но не разрубил его. Рубец страшный, но повреждена лишь кожа. Второй человек — доктор Грибанов. Он вывез меня к своим знакомым и там лечил. Если бы офицеры, которые приходили вечером в больницу, нашли меня, я был бы убит, потому что я видел в лицо громил. Они сначала забрали все ценности, а потом топором порубили нас. Пришли они в дом в офицерской форме, как комендатура. Иначе бы дедушка и не впустил их. Ну а потом топором решили скрыть свое преступление.

Я, в свою очередь, рассказал ему о том, что творилось в те дни в Ногайске. Рассказал и о своей стычке с Павкой Сластеновым. Услышав это, он вскочил и воскликнул: «О, так ты, значит, тот защитник Изи, которого он так часто вспоминает. Мальчишка, за которого ты тогда вступился,— мой двоюродный брат. Он мне рассказал все точно так же, как рассказываешь ты. Он очень хотел найти тебя, но не знал ни фамилии, ни имени. Теперь я ему сообщу. Он в Днепропетровске».

Голдин сообщил Изе. Мы с ним обменялись несколькими письмами, собирались встретиться, но потом потеряли друг друга.

Мы переночевали в клубе и утром снова встретились с Голдиным. Он предложил мне заполнить анкету и прийти вечером на заседание УКОМа комсомола. План его был таков. Меня принимают в комсомол решением УКОМа. Это допускается в особых случаях, но нужен поручитель, член партии. Голдин — член партии, и он согласен поручиться за меня. Почему за меня, а не за Митю, определилось, видимо, моим поведением в защиту Изи. Но тогда я об этом не думал. Я буквально горел от гордости, что буду первым комсомольцем Борисовки. Дальше УКОМ присылает еще двух комсомольцев — одного на должность секретаря сельсовета в Борисовке, другого — председателем комитета бедноты. А три комсомольца — это уже комсомольская ячейка. Следовательно, она может принимать в комсомол остальных наших ребят.

Вечером после заседания УКОМа Голдин поздравил меня со вступлением в комсомол: «Смотри не подведи меня. Будь честным и мужественным в борьбе за счастье трудового народа. Не забывай, что я теперь для тебя вроде крестного». Но «крестного» я больше не видел. Я получил от него привет через тех двух комсомольцев, которые вскоре были присланы к нам в село УКОМом. Они приехали так быстро после нашего с Митей возвращения, что я даже не успел похвастаться своим новеньким комсомольским билетом.

Один из приехавших, Шура Журавлев, вступил в должность секретаря сельсовета. Одновременно он был рекомендован УКОМом на секретаря Борисовской сельской ячейки комсомола. Ваня Мерзликин, избранный председателем Комнезама [1], стал одновременно заворгом нашей ячейки. Меня оставили выполнять прежние мои обязанности — агитпропа.

О Голдине Шура сказал, что он из Бердянска уезжает. Губком партии забирает его на партийную работу. Последнее, что я слышал о нем, вернее, видел в местной газете сообщение, что в 1924 году он примкнул к троцкистской оппозиции. Как сложилась его дальнейшая судьба — не знаю, хотя думаю, что с его честностью и правдолюбием сохранить

[1] Комнезам — Комитет Незаможных *(укр.)* — Комитет Бедноты.

жизнь нелегко. В 30-е годы обвинения в оппозиции было вполне достаточно для того, чтобы расстрелять как врага народа.

С Шурой я подружился. Он был на два года старше, но за советом шел ко мне. Отношения у нас были те, что называются «водой не разольешь».

С Мерзликиным я тоже дружил. Но это была совсем не та дружба, что с Журавлевым. Главной причиной, видимо, была разница возрастов — Ване было около 20-ти. С ним произошел нелепый случай, который, несомненно, уберег меня от многих бед.

Случилось так, что мы ставили какую-то очередную советскую агитку, по ходу которой сельский кулак стреляет в комиссара. Комиссара играл Мерзликин, а кулака — Митя Яковенко. Ружье одолжили у старшего брата Мити. По нелепой случайности Ваня был ранен и доставлен в больницу. На следующий день я навестил его, и у нас состоялся разговор, которого я никогда не забуду.

— Ну, что там говорят о моем ранении? — спросил он.

— Все удивляются, что пыж мог пробить полушубок. А Митя ходит как кандидат в самоубийцы.

— Ну, это вы будете плохие комсомольцы, если допустите до этого. А насчет пыжа, так что же удивительного. У меня же полушубок был расстегнут. Так что пробивать его не пришлось.

— Как расстегнут? Я хорошо знаю — застегнут, сам застегивал.

— Ты застегивал, а я расстегнул. Очень жарко было. Да вон и полушубок висит. Найди, где там дыра.

Я подошел к висящему на гвозде полушубку, посмотрел: нет, это не тот полушубок!

— Нет, это именно тот,— подчеркнул он.— И ты запомни это! А теперь иди, садись и слушай.— Он засунул руку под подушку и что-то вытащил оттуда. Затем раскрыл ладонь и сказал:

— Вот он — «пыж».

На ладони у него лежала крупная (медвежья) картечь.

— Про «пыж» это я придумал. Уговорил Грибанова поддержать мою версию. С полушубком она не получается, поэтому я и подменил его. Для чего я это делаю? Я догадываюсь, как это произошло. Тут никто не виноват. Но если дело попадет в Чека, то не одна голова полетит. Ты еще не знаешь, что такое Чека, и дай Бог тебе никогда это не узнать. Я немного служил в Чека и теперь врагу не пожелаю туда попасть. С тем, что случилось, я сам разберусь. И никто не пострадает. И никакой опасности для меня. Еще раз говорю: виноватых в этом деле нет. И то, что Митин брат хотел со мной говорить, когда меня везли в больницу, свидетельствует, что он не виноват.

Теперь учти: кроме меня правду знают только Грибанов и ты. Грибанов не скажет, так как его за «пыж» запросто к стенке поставит. Я тем более не скажу, так как мне сразу припаяют «покровительство бандитам». Значит, жизнь моя, Грибанова, всех братьев Яковенко и еще, может, кого зависит от тебя одного. Почему я тебе говорю об этом? Потому что эту картечину надо как-то убрать, чтобы она никогда, никому в руки не попала. Пойдешь домой — выбросишь в речку. Я хотел сохранить на память, да боюсь — случайно найдут. Уже сегодня был чекист. Но он шляпа: поверил Грибанову и мне. Но там не все такие. Найдется кто-нибудь, кто начнет копать. Поэтому от греха подальше. Все улики уничтожить.

Я выполнил его просьбу.

Замечание насчет Чека запало мне в душу на всю жизнь. Может, именно этим объясняется, что я никогда ни на кого не донес в ЧК и в душе подвергал сомнению распространяемые советской пропагандой страшные истории о «врагах народа» и рассказы о «подвигах» чекистов. При той восторженности, с какой я воспринимал все советское, я без Мерзликина мог бы натворить много такого, за что потом было бы стыдно и больно.

Так прошли для меня первые два года второго десятилетия века, в котором я родился. Закончилось детство, началась кипучая юность. И если в раннем детстве меня тянули дороги дальних странствий, то теперь потянули дороги новой жизни.

Село, всколыхнувшееся под благотворным воздействием тех, хотя и ограниченных, но вполне реальных экономических свобод, которые давала новая экономическая политика, с энтузиазмом взялось за восстановление разрушенного хозяйства. Можно лишь поражаться тому, что после страшного голода 1920—1921 годов страна в 1922 году имела необходимый минимум продовольствия, а в 1923 году встал вопрос об экспорте хлеба за рубеж. И все это сделано людьми разоренной деревни. Сельское хозяйство почти не имело тягла. Пахали на коровах и сами впрягались в плуги. Помню поля, на которых везде люди, люди и почти нет животных. Но работали, и притом весело, со смехом. Помню частую и привычную шутку. Приезжие докладчики любили рисовать картину прекрасного будущего села с тракторами и машинами, а мы, комсомольцы, с энтузиазмом пересказывали все это. И вот, обычно, проходя мимо поля, где работала наша семья, односельчане, явно целясь в меня — комсомольского вожака,— весело кричали отцу: «Ну що, на трактор перейшли — сапкою трах! трах!» И все смеялись. И шутники, и мы.

Я, отдававший весь свой досуг культурной и комсомольской работе, трудился в хозяйстве своего отца. Теперь труд не казался таким, как в раннем детстве, тяжким наказанием. Я увлекался процессом труда и полюбил его — полюбил землю, поливаемую нашим потом, и ее плоды. Может, этому способствовало то, что я подрос, и работа стала посильна, но главное было, наверное, в том, что в своем труде я увидел смысл, в том, что рассматривал его как работу для будущего. Настроенный «Азбукой коммунизма», я мечтал о труде, освобожденном от пут мелкого собственничества, на общих полях, с помощью машин.

Тогда я не понимал и не мог понять, что именно общие поля несут с собой подневольный труд, убивают инициативу земледельца, превращают его в раба. Для того чтобы это понять, потребовалась почти вся жизнь.

Не знаю, понимал ли это мой отец. Скорее всего — нет. Он так увлекался самим процессом труда, что ни о чем другом думать не хотел. А вот дядя Александр — этот малограмотный мудрец — прекрасно понимал и пытался разъяснять это мне — своему любимцу. Но я не способен был этого понять и все дальше и дальше отходил от него. Я был весь в мечте о «светлом будущем человечества». И я хотел его приближать. Мы решили создать коммуну — молодежную. Представлялось все просто: заберем из хозяйства родителей свою часть и вложим в коммуну. Но оказалось, что по младости лет мы выделиться не можем, а родители наши только посмеялись над нами, когда мы им предложили объединиться.

После неудачи с коммуной мысли мои рванулись из села. Надо идти строить промышленность и из нее, как из крепости, атаковать сельское хозяйство. И я решил идти в профтехшколу, чтобы получить там производственную специальность.

Обстановка благоприятствовала. Создавалась профтехшкола в Бердянске. В первую очередь должны были приниматься те, кто приходил с комсомольскими путевками. Я таковую получил. И меня приняли. Перед отъездом мысли мои почему-то тянулись к дяде Александру и о. Владимиру. К дяде я сходил, но теплоты не вышло. Я чувствовал в чем-то себя виноватым. Попасть на глаза о. Владимиру не решился. Не простился и с благородным моим другом — Симой. Он стал, по новым законам морали, «классово чуждым». И мне до сих пор стыдно за это.

«ПОВАРИТЬСЯ В РАБОЧЕМ КОТЛЕ»

Занятия в профтехшколе начались. Класс мне не понравился. Все ученики — из городских интеллигентных или зажиточных сельских семей. Я не мог ни с кем подружиться.

Меня тянуло к тем, с кем встретился в молодежном клубе. Но и там ничего хорошего не выходило. Здесь не принимали меня. То и дело я слышал модную тогда фразу, которую адресовали непролетарским элементам, пытавшимся вступить в комсомол: «Надо повариться в рабочем котле». Меня как ножом по сердцу резало, когда кто-то, кто сам еще труда настоящего и не видел, цедил: «В рабочем котле повариться тебе надо». Никто ничего не доказывал, не приводил фактов, подтверждающих превосходство городского рабочего над сельским тружеником. Только сакраментальная фраза — «надо повариться». И как ни странно, но она покоряла. Становилось стыдно за то, что до сих пор не «поварился», и пропадало желание ходить в комсомольский клуб.

Свободное время некуда было девать. Чтобы его убить, я прямо из школы бежал на виноградник моего квартирного хозяина Степана Ивановича. Шла как раз уборка винограда. Хозяин был доволен моим участием. Но разве такое занятие требовалось? После школьного, просвитянского и комсомольского кипения в Борисовке жизнь здесь казалась мертвой и ненужной.

Я вел со Степаном Ивановичем длительные разговоры. Как-то высказал свое желание попасть на производство, «повариться в рабочем котле».

— Да в том котле пьянству только обучиться можно,— произнес он. Однако просьбу мою не забыл и однажды сказал:

— Мог бы я, пожалуй, тебя пристроить, но как же со школой?

— А я стану ходить во вторую смену,— сказал я.

Через несколько дней я уже был в «пролетарском котле» — начал работать подручным слесаря в депо паровозов станции Бердянск. Но со второй сменой в школе ничего не вышло. Я не успевал на начало занятий, и было как-то неудобно перед учителями, и хотелось ходить в комсомольский клуб. Теперь, я думал, являюсь туда уже как равноправный. Ведь я уже «варюсь». Но меня встретили еще враждебнее: «Примазывается к рабочему классу. Хочет подкраситься под пролетария».

Надо было что-то делать. И я поехал в Донбасс, в могучий пролетарский центр. Вот там действительно котел. Я написал отцу, чтобы он не беспокоился: «Как устроюсь, сам отзовусь».

И вот я подъезжаю к станции Сталино, ныне Донецк. Разговаривая с соседями по вагону, узнаю: в городе страшная безработица, толпы бездомных, голодных и полуголодных людей наполняют Сталино, Макеевку и шахтерские поселки. Тоскливо у меня на

сердце. Но вот кто-то, видя, в сколь мрачное настроение привели меня рассказы о безработице, спрашивает:

— А вы не комсомолец?

— Комсомолец,— отвечаю.

— Ну тогда проще,— сразу несколько голосов.— Комсомольцев устраивают. Не сразу, конечно, но через некоторое время работу дают.

На сердце у меня становится легче, но тут же мысль: «А почему, собственно говоря, я как комсомолец должен получать работу вне очереди?»

Прибыли. Узнал, как пройти к бирже труда.

Теперь этого барака с обширным двором, обнесенным высоким плотным деревянным забором, который располагался почти напротив Горного института, уже нет. Давно снесен, а территория застроена. Но я и сейчас въявь вижу огромный двор, заполненный сермяжной и лапотной Россией. Украинцев почти нет. Украина растит хлеб, сады, живность. В этом дворе, среди этой сдвинутой с места России, мне предстояло провести много дней — до самых холодов. Оказалось, и для комсомольцев найти работу не так просто. Правда, у меня было то преимущество, что не приходилось ежедневно выстаивать в огромной очереди. Я просто шел к окошку инспектора по молодежи и, поговорив с ним, мог отправляться куда угодно. И я без толку ходил по городу, пытаясь хоть что-то заработать. Денег у меня было очень мало, и я ограничивался расходом в 5—7 копеек — фунта полтора хлеба на день и немного овощей.

Время шло, надвигались холода — уснуть во дворе не было уже никакой возможности, тем более что одет я был по-летнему. Пришлось купить на барахолке какую-то рванину. На этом деньги мои и иссякли. Несколько дней голодал. Потом, как говорят на Украине, занял очи у серка (собаки) и пошел просить хлеба по дворам. Таким образом хлебная проблема была решена. Но оставалась проблема ночевки. Проще всего было вернуться домой или послать письмо отцу — попросить денег. Но я сам должен был войти в новую жизнь.

Однажды, когда я сидел на «весовой», ожидая, не подвернется ли разгрузка вагонов, подошел паренек — меньше меня ростом, но крепыш, коренастый и, видимо, старше меня.

— Слушай! У тебя нет чего-нибудь рубануть? Второй день ничего во рту не было.

Я только что вернулся с похода по дворам, и мой мешок был полон. Я гостеприимно пододвинул его к нему. Он начал жадно есть, и мы разговорились. Я пожаловался, что замерзаю по ночам.

— Да что же ты! — воскликнул он.— Прекрасный же ночлег на «Мартыне» (мартеновские печи).

Я сказал, что не знаю, где это. Тогда он предложил держаться вместе.

С Сережей дела мои пошли лучше. Разбитной и веселый паренек этот в тот же день сумел занять один из вагонов, прибывших под разгрузку. Это было нелегко. Желающих разгружать больше, чем прибывало вагонов. Все они бросались к прибывающему составу, отталкивая один другого. Нередко доходило до драк.

Сережа лучше меня разбирался в «экономической» политике. Он, как оказалось, дал взятку десятнику, и захваченный нами вагон был записан на нас. С тех пор удача сопутствовала нам. Почти ежедневно, даже по два-три раза в сутки, доставались нам вагоны. Мы приоделись, начали хоть один раз в день посещать столовую.

Спать в трубах под мартеновскими печами тоже было тепло. Правда, грязно. Выходили мы из этих труб утром, как черти, унося на себе всю накопившуюся за сутки мартеновскую пыль.

Вот в таком виде я и бежал однажды поутру через заводские железнодорожные пути, к одному из разбросанных по территории завода кранов с горячей водой.

— Эй, хлопче! А почекай лышэнь! — услышал я. Оглянулся. Ко мне шел человек выше среднего роста, плотный, коренастый, с длинными и толстыми, по-запорожски свисающими рыжими усами.

Человек приблизился. Теперь обратили на себя внимание глаза, буквально лучившиеся добротой.

— Что же ты такой грязный? — спросил он.

— А в тому готэли, дэ я жыву, обслуга бастует.

— Дэ ж цэ той готэль?

— На мартыне!

— О, та ты, бачу, вэсэлый хлопець. А дэ працюешь?

Я ответил серьезно. Он продолжал расспрашивать — откуда я.

— Что, в деревне скучно было? В город потянуло?

— И скажете такое — скучно. Да в нашей комсомольской ячейке все кипело. Некогда скучать было.

— А ты что, тоже комсомольцам помогал?

— Что значит помогал? Я был агитпропом ячейки.

— Выходит, ты комсомолец?

— Ясно дило!

— И комсомольский билет есть?

— Конечно!

— А ты куды сейчас бежал?

— Умыться.

— Ну, тогда беги умываться, а потом приходи вон туда...— Он указал на небольшое одноэтажное кирпичное здание.— Там меня найдешь. Только обязательно приходи. Может, я чем-то помогу.

И он помог. Со следующего дня я был зачислен в депо паровозов железнодорожного цеха металлургического завода в городе Сталино на должность подручного слесаря-арматурщика. Примерно через месяц Сережа тоже стал работать в депо — кочегаром.

В комсомольской ячейке железнодорожного цеха обстановка была сходной с той, что в Борисовке. Каждую свободную минуту ребята отдавали ячейке. Там всегда был народ. Что-то делали, спорили, обсуждали. Я брался за все, что поручали. От подписки на газеты до подготовки докладов на любые темы. Моя активность была замечена, и вскоре я получил одно из самых ответственных поручений: организовать пионерский отряд и руководить им.

Город в то время, когда я прибыл в него, назывался Сталино. К Сталину это название не имело никакого отношения. Больше того, я сомневаюсь, был ли в Сталино хоть один человек, слышавший имя Сталина до смерти Ленина. История наименования города такова. В 1919 году, сразу после изгнания белых, собрали большой митинг жителей рабочего поселка Юзовки, как тогда назывался этот город. На митинге кто-то поднял вопрос о необходимости смены названия, и митинг единодушно принял постановление: «Считать позором, что центр пролетарского Донбасса называется именем эксплуататора Юза. Чтобы смыть это позорное пятно — переименовать рабочий поселок Юзовку в город стали — Сталино». Название к городу пристало. Когда я приехал, все называли его так. Консерваторами оставались только железнодорожники. Станция называлась Юзовкой. Ее впоследствии переименовали официально, притом, вероятно, со ссылкой на Сталина.

Сейчас Донецк — большой современный город. Тогда это был конгломерат поселков, естественным центром которых являлся мощный металлургический завод.

Собираясь «вариться» в рабочем котле, я представлял себе рабочий класс как некий могущественный монолит. И как же я был поражен, когда увидел, что единоличное село объединено куда теснее, чем рабочий класс. Расслоение рабочих было доведено до крайней степени. И это расслоение отражалось и в расселении.

Центром заводских поселений нужно считать Масловку. Она расположена с южной стороны завода. Причем улицы не упираются в завод, как городские, а опоясывают его. Дома Масловки — кирпичные, на одну и на две семьи — являются собственностью завода. Живут в них мастера и особо высококвалифицированные рабочие. За восточной окраиной Масловки особняки инженеров, а за ними дворец директора завода. В мое время он был превращен в рабочий клуб. В центре Масловки, почти у самого завода — огромное здание: зрительный зал, сцена, фойе. Назвали его «Аудитория», хотя оно было театральным помещением клуба. Непосредственным продолжением Масловки была Ларинка. Она охватывала завод с юго-запада. Заводских строений в этом поселке не было, но земля принадлежала заводу, и участки выделялись только кадровым рабочим массовых квалификаций. Далее, на запад, к Ларинке примыкала Александровка. Здесь земля тоже заводская. Участки давались постоянным рабочим — чернорабочему заводскому люду. Южнее Масловки был еще один поселок — четырехквартирные заводские дома. Назывался этот поселок Смолянинова Гора и предназначался он для служащих и квалифицированных рабочих более низких разрядов, чем те, кого селили на Масловке. Между Масловкой и Смоляниновой Горой — заводские особняки для рабочих редких и особо важных квалификаций. Рабочий плебс, люди, только зацепившиеся за производство, работающие на временных, сезонных и особо низкооплачиваемых работах, ютились в клетушках, которые сдавались домовладельцами по баснословным ценам. Такие рабочие, кроме того, строились без спроса, создавали «дикие» поселки, так называемые Нахаловки и Собачовки. Один такой поселок был и у завода, юго-восточнее директорского дворца — километра полтора-два. Назывался этот поселок Закоп.

Между жильцами различных поселков были незримые моральные перегородки, пожалуй, покрепче существовавших в России социальных перегородок. Девушка с Масловки не только не выйдет замуж за парня с Александровки, но сочтет за позор подать руку ему — познакомиться, поздороваться. Сошлюсь на собственный опыт, добытый уже в советское время. Вхожу в магазин и почти нос к носу сталкиваюсь с Шурой Филипповым. Я в то время уже был секретарем комитета комсомола, а Шура — заместителем секретаря. Шура под руку с авантажной дамой. Он старше меня года на три и уже давно женат, но я его жену не знаю. Он немного смущенно: «Знакомьтесь!» И представляет: «Моя жена». Я протягиваю руку, и она, презрительно поджав губы, касается ее кончиками своих пальцев. Я понял и, извинившись, пошел к прилавку. Иду и слышу: «Ты что это вздумал меня с «граками» знакомить!» — «Потише! — слышу шепот Шуры.— Это наш секретарь». Но

в ответ еще громче, с явным расчетом, чтобы я услышал: «Это для тебя он секретарь. А для меня «грач» — какую бы должность ни занимал».

Эту оскорбительную кличку («грак», «грач»), которую применяют люди, считающие себя рабочей аристократией, к простому народу, к деревенщине, я слышал по отношению к себе не один раз.

Занят я был, конечно, не только пионерской работой. Шла борьба с троцкизмом, и я не мог стоять в стороне. Я прочел «Уроки Октября», читал периодическую прессу. И терялся. Нападало отчаяние. Неужели прав Троцкий? Неужели мы действительно не можем создать социалистическое общество? Неужели погибнем, если на помощь не придет мировая революция? Жить не хотелось. И думать не хотелось. Я не из тех людей, что могут ждать спасения от других. Я должен сам действовать. И вот в это время тяжких моих колебаний в «Рабочей газете» появляется статья Сталина «Троцкизм или Ленинизм». С присущей ему простотой (теперь я, пожалуй, скажу — упрощением) он тезис за тезисом опровергает утверждения Троцкого. Оказывается, социализм в одной стране можно не только строить, но и построить. Задержка мировой революции не должна нас останавливать. Мы обязаны своим трудом творить дело мировой революции.

Мы будем строить социализм, и мы его построим. Я был согласен здесь с каждой запятой. Сталин освободил меня от всех сомнений. Со статьей Сталина я теперь не разлучался, не уставая разъяснять друзьям своим ее потрясший меня смысл. Она была моим оружием и в споре с троцкистами.

Однажды меня пригласили в город, в клуб совторгслужащих. «Там будет дискуссия с троцкистами»,— сказал член бюро райкома. Нас встретили очень любезно, предоставили лучшие места. Но вот началась дискуссия. И первого же оратора от троцкистов наша компания встретила свистками, шумом, гвалтом. Затем затеяли драку. Нас с трудом удалили из зала. Когда мы шли домой, член бюро подошел ко мне:

— А ты что ж стоял, как красна девица? Ваши говорили, что драчун.

— Я не могу драться с тем, кто меня не трогает. Тут надо уметь хулиганить, а не драться. А я хулиганить не умею...

На душе у меня было пакостно. Я думал — как же так? Они хотят дискутировать, а на них с кулаками. Но дальше мысль не пошла. Я не стал ходить на такие «дискуссии», и на том мой протест кончился.

В заводских партийных организациях троцкисты не сумели завоевать заметное положение. Здесь им слова вымолвить не давали. Для меня это выглядело единством, и от этого было радостно. Молодость, дружба, широкое поле для удовлетворения потребности в общественной деятельности, любимая работа — делали жизнь интересной, насыщенной. Хорошему настроению способствовали и экономические условия.

Весной 1924 года я получал 45 рублей. Это по тем временам были огромные деньги. Мы втроем сняли комнату со столом в казенной квартире на Смолянниновой Горе. Комнаты и койки в казенных квартирах не сдавались. «Стол» был юридическим прикрытием «незаконного» извлечения дохода из государственной жилплощади.

Поселиться на частной квартире со столом предложил мне мой новый товарищ по цеху — Шура Кихтенко. Я пригласил в компанию комсомольца электротехнического цеха Гришу Балашова, с которым подружился в коммуне. Квартирохозяйка — она была матерью Шуры Кихтенко — предложила нам на троих светлую комнату — площадью около 30 кв. метров — в два больших окна. Плата с каждого по 15 рублей (с Шуры тоже), и кроме того мы по своей инициативе предложили дополнительно по три рубля с человека за стирку. На эти деньги (54 рубля) хозяйка кормила нас и содержала свою семью (она сама и две девочки). Кормила великолепно.

Был зенит нэпа. Рынки, что называется, ломились от продуктов сельского хозяйства, продававшихся буквально по бросовым ценам. Горы арбузов и дынь, полные повозки самых разнообразных фруктов и овощей. Сало, колбаса, хлеб, мука всех сортов, мясо, крупа...— все притягивает твой взор, охватывает чудеснейшей смесью запахов. Разная живность пищит, хрюкает, ревет, кудахчет, гагакает... Богатство страны на все голоса, всеми запахами и цветами красок заявляет о себе, радует душу труженика. И не только на рынке богатство. А магазины! Частные, государственные, кооперативные. Особенно сильны были тогда последние. Центральный рабочий кооператив — ЦРК — сверкал не только красотою вывесок, но и богатством содержания. Некоторое уныние наводили лишь промтоварные магазины. Они и в ЦРК, и в госторговле нагоняли тоску отсутствием в них покупателей. Село было буквально голым, но купить ничего не могло. Цены были слишком высокие. На простую покупку не хватало всего излишка урожая. Рабочим с семьями тоже приходилось не так часто делать промтоварные закупки, хотя с моим окладом и без семьи покупка костюма, скажем, или ботинок затруднений не представляла. Я помню только один случай, когда покупка забрала у меня двухмесячный остаток от получки, после оплаты «стола». Это я купил серебряные часы. В остальном люди моего достатка ни в чем себя не стесняли. Так беспечно, как я жил в годы нэпа, будучи рабочим, я уж потом никогда не жил, даже когда стал генералом.

Возвращаясь с работы, мы, как правило, у хозяйки не обедали. У нас было много

интересных дел, и мы спешили к ним. Обедали мы где-нибудь по пути — в одной из столовых ЦРК. Эта организация развернула широкую сеть продовольственных магазинов, столовых и буфетов. Столовые были подлинным чудом. Сейчас в СССР первоклассные рестораны не умеют готовить столь вкусно и так обслуживать, как это делалось в столовых ЦРК. Цены же даже сравнивать неприлично. Столовые ЦРК были дешевле в десятки раз.

Прекрасная бурливая жизнь моя оборвалась внезапно. Осенью 1925 года я перешел работать на паровоз — помощником машиниста. 1 февраля 1926 года мы работали на шахте Смолянка. Утром 2-го паровоз по плану уходил на промывку. Поехали взять путевой лист. Машинист зашел в помещение дежурного по станции. Тот в это время, заканчивая ведомостичку для нас, спросил:

— А может, захватите «больные» вагоны из выходного тупика? Если да, то я их впишу сейчас вам.

Но так как бригаду сцепщиков с нашего паровоза уже перебросили на другой, пришедший на смену, то дежурный, в ответ на согласие машиниста, спросил:

— Прицепите сами или мне съездить?

Машинист высунулся в окно и, коротко сообщив мне о предложении дежурного, спросил:

— Сумеешь прицепить или дежурный пусть едет?

— Сумею! Дело нехитрое! — ответил я.

Мы заехали в тупик. Я прицепил вагоны.

— Пойду проверю состав. Сколько единиц? Семнадцать? — говорю машинисту.

— Семнадцать,— подтверждает машинист.

— Ну, пройдусь. Подсчитаю. Посмотрю, не расцеплено ли где, не затянуты ли тормоза.

Машинист соглашается, и я иду.

Через несколько минут возвращаюсь.

— В одном месте расцеплено — метров десять между вагонами. Я пойду. Как дойду, свистну. Тогда давай потихоньку. Фонаря у нас нет. Светового сигнала подать не могу, только собственный свист.

В месте расцепки с одной стороны — платформа с незакрывающимся лобовым бортом, с другой — крытый вагон без одного буфера. Подхожу к крытому вагону, осматриваю фаркоп. В порядке. Свищу. Откликается гудок, и вагоны пошли на меня. Едет очень осторожно, временами даже останавливается. Тут же толкает. Уже близко. Беру фаркоп в руки. Не хватает буквально сантиметров, чтобы набросить его на крюк, но состав в это время остановился, приторможенный снегом. Машинисту, как мне ясно, пришлось добавить пару.

Резкий толчок, и буфер платформы соскальзывает с единственного буфера крытого вагона и упирается в обшивку последнего. Не поднимающийся борт платформы прижимает меня к вагону, нажимая чуть ниже диафрагмы. Все произошло так быстро, что я, к счастью, фаркоп на крюк не набросил, но у меня темно в глазах и, чувствую, сейчас потеряю сознание. Проносится мысль: вот тебе и длинная жизнь.

Почему я именно сейчас вспомнил об этом давно забытом событии, объяснить невозможно. А событие такое. В один из первых дней после нашего поселения на Смолянниновой Горе к нам в комнату зашла пожилая цыганка. Говорила она, как и все украинские цыгане, по-украински и внешне не отличалась от других цыган, но в облике ее было что-то неуловимо интеллигентное. Она сразу же обратилась ко мне: «Позолоти ручку — погадаю». Я резко отказался. Чтобы как-то загладить мою резкость, Гриша Балашов — человек внутренне мягкий — протянул руку и сказал: «Мне погадай». Она внимательно посмотрела на его руку и сказала: «Ты не тот, за кого себя выдаешь. И жизнь твоя пойдет не так, как ты наметил. Будешь летчиком, но... недолго полетаешь». Самое удивительное в этом гадании: «летчик». В начале 1924 года даже самые фантастически настроенные комсомольцы не думали об этой специальности. Стоит удивляться, что простая цыганка заговорила об этом.

После Гриши она снова приступила ко мне. Я снова, еще резче, отказался. Не хватало еще комсомольцу гаданьем заниматься! Но она не отставала. К ней обратился Шура: «Мне гадай!» Она, мельком взглянув на его руку, пренебрежительно сказала: «Что тебе гадать! Живешь по-собачьи и подохнешь, как собака». И снова ко мне. Ребята тоже взялись за меня. Пришлось дать руку. И вот что она мне сказала: «Долго здесь не будешь. Пойдешь учиться. Но кем захочешь стать — не станешь. Будешь военным. Служба будет успешная. Товарищи завидовать будут. Потом придут страшные времена и войны. Не убьют. Переживешь. Жить будешь долго, но старость... О-о!» Она скорчила страдальческую рожу и закачала головой. Вот это ее обещание долгой жизни я и вспомнил, полураздавленный вагонами.

Но вдруг облегчение. Неприцепленные вагоны от толчка стронулись с места. Я пользуюсь этим и изо всех сил стараюсь приподнять борт. Немного приподнимается, я проваливаюсь под вагоны и теряю сознание. Прихожу в чувство от того, что меня волочит. Ничего не вижу. Решаю кричать. Но вырывается только слабый стон. Однако и он был услышан. Как раз мимо шли рабочие на смену. Послышались крики: «Человек под вагоном! Остано-

вите паровоз!» Вскоре слышу: «Тут-тут-тут»,— сигнал остановки паровоза, и я опять теряю сознание. Пришел в себя только в больнице, услышав, что состригают мои чудесные рыжие кудри. Заплакал от обиды и снова потерял сознание.

Почти месяц — между жизнью и смертью. Потом начал поправляться. Выписался из больницы в конце марта. Заключение медкомиссии: «Перевод на работу, не связанную с физическим трудом». Волосы ко времени выписки отросли, но больше уж никогда не кудрявились.

ПРОДОЛЖАЮ «ВАРИТЬСЯ»...

Прямо из больницы — в райком комсомола. Поговорить насчет работы. В райкоме я был уже личностью известной, и мне предложили дальше продолжать работу с детьми. Направили политруком в Первую трудовую школу. Работа временная, до возвращения с курсов основного работника, поэтому ни друзей, ни близких знакомых завести здесь не успел. Первая школа запомнилась только беседами с мамами еврейских учеников. Не знаю, кто и для чего придумал создать в Сталино еврейскую трудовую семилетнюю школу. Но политруку эта школа далась. Все мамы бросились доказывать, что ее Изя, Гриша, Роза и т. д. еврейского языка не знают и учиться в такой школе не могут. Всех таких мам направляли ко мне. А я, согласно полученным мною указаниям, пытался доказать этим мамам, что язык можно выучить, что вообще важно евреям возродить свою культуру и т. д., в том же духе.

Сбить меня было невозможно, пока разговор велся в такой плоскости. Но вот однажды вместо мамы явился папа и перевел дело совсем в другую плоскость. Он спросил: а где его Изя будет учиться после окончания еврейской школы? И я скис. Так и не найдя ответа на этот вопрос, я закончил свою временную работу. И поехал на другую, тоже временную, тоже на должность политрука и тоже в трудовой школе, в рабочем поселке Путиловке.

Недолго пришлось мне поработать там. Вернулся из отпуска штатный политрук этой школы, а меня ждало новое назначение — станция Желанная — политрук детгородка для несовершеннолетних правонарушителей.

С Желанной у меня связано тяжелое воспоминание. Здесь я впервые сблизился с женщиной. Казалось бы, что особенного. Парню девятнадцать лет. Но для меня это чуть не кончилось трагедией. Дело в том, что в моей душе творился страшный разлад. В годы моего «вываривания» в рабочем котле среди комсомольской и околокомсомольской молодежи господствовала теория безлюбовности. «Нет любви. Есть физиологическая потребность и естественная тяга к продолжению рода человеческого». Такова немудреная «мудрость» рационалистического взгляда на отношения мужчины и женщины. «Есть физиологическое влечение, и удовлетворяйте его, и нечего мечтать о принцах и принцессах и вздыхать при луне». Создалась целая литература, пропагандирующая такое отношение к любви. «Без черемухи», «Луна слева», «Луна с правой стороны» — вот только некоторые из названий забытых теперь книг, которые во времена моей юности зачитывались до дыр. Я как истый комсомолец воспринял, естественно, рационалистический взгляд на любовь и высказывался только в этом духе.

Но то, что в душе заложено, не так просто удалить оттуда. Воспитывался я на классической литературе, на идеалах тонкой, самоотверженной, чистой любви и мечтал когда-то о встрече той единственной, которая только для меня. Все это было придушено рационализмом, но из души не ушло. И именно это, не ушедшее, удерживало меня от случайных связей. А здесь я себя не сдержал. Приехала девушка из нашей железнодорожной ячейки комсомола — чистая, красивая, увлекшаяся, а может, и полюбившая меня, но наслушавшаяся тех же физиологических теорий. Оставшись вдвоем, мы потянулись друг к другу. Она мне нравилась, но я... не любил ее. И мне после сближения сказать ей нечего было. У меня было пакостно на душе. Как будто я совершил какое-то черное дело. Мне жить стало противно. «Если это и все, если это главное, для чего живет человек, то зачем тогда жить?» — думал я. Не покончил с собой я в тот день только случайно.

В детгородке я проработал тоже недолго. Окружком комсомола рекомендовал меня, то есть по сути назначил секретарем Селидовского сельского райкома комсомола. Поехав в свой первый объезд района, я горько разочаровался. Везде царил формализм, мертвечина. Большинство ячеек существовали только на бумаге.

Чтобы работа кипела, надо, чтоб инициатива шла снизу. Такой инициативы в сельском комсомоле по опыту Селидовки на рубеже 1926—1927 годов не было. Вся энергия уходила в единоличное хозяйство. Оно бурно возрождалось, но практически без помощи города. Не было машин. Ремонтировали дореволюционное старье. Не хватало даже сбруи для лошадей и другой тягловой силы, не во что было одеться. Чтобы не светить голым телом, приходилось изготавливать одежду из домотканых материалов и шкур животных. Совершилось, по сути дела, возвращение к натуральному хозяйству. В этих условиях комсомол свое место в жизни не находил. Мне удалось несколько расшевелить наши ячейки. Мертвых организаций, во всяком случае, не стало. Комсомольцы узнали свой райком. Стали его посещать.

Работая здесь, я не терял связи с заводскими ячейками. Часто ездил на завод, чтобы выколотить металл для наших сельских кузниц.

Во время одной из таких поездок меня зазвал к себе секретарь партийной организации железнодорожного цеха — машинист Илья Разоренов. Он спросил:

— В партию вступать собираешься?

— Что за вопрос! Если бы не собирался, то зачем бы в комсомол вступал?

— Ну, если так, то вот тебе анкета. Пиши заявление и заполняй анкету.

— А куда писать?

— В нашу парторганизацию.

— Но я же в цехе сейчас не работаю...

— Это не твоя забота. Ты делай, что тебе говорят.

— Тут ты, Илья, что-то темнишь. Со мной так не надо. Если собираетесь возвращать в цех, то почему бы не сказать об этом прямо?

— Говорить прямо немного рановато. Но ты парень нетерпеливый, и я тебе скажу. Не для разглашения, понятно. Окружком намечает объединить все транспортные организации города, завода и прилегающих шахт. 16 подразделений в один транспортный комбинат. В комбинате создаются партийный и комсомольский комитеты — на правах райкомов. На секретаря комсомольского комитета партийная организация выдвинула твою кандидатуру.

Таким образом я снова оказался в рабочем котле. В партию меня приняли в феврале 1927 года, но в цех я вернулся лишь летом того же года.

И вот первое собрание комсомольцев транспортного комбината — всех его 16-ти ячеек. Избран комитет комсомола — 21 человек. Меня избрали секретарем. Заворг — Шура Филиппов — квалифицированный слесарь-инструментальщик, потомственный рабочий, родители жили на Масловке. Агитпроп — Ильяшевич.

На следующий день иду к Разоренову.

— Прошу платную должность секретаря заменить платной должностью заворга.

— Почему?

— Во-первых, задача секретаря — руководить членами комитета, добиваться, чтобы работу тащили они. А платный секретарь в силу просто того, что он не занят на производстве, начнет заниматься текучкой и увязнет в ней. В конце концов производственники ему начнут давать поручения: «Сделай, Петя, ты же ничем не занят». Во-вторых, я оказываюсь в невыгодном материальном положении. Оклад секретаря маленький, а право на сохранение оклада я потерял, так как иду на комсомольскую работу не с производства (производственникам, назначаемым на выборные должности, если новые оклады были ниже прежних, сохранялся прежний заработок). Поэтому я и предлагаю поставить на оклад заворга. Его работа по самому своему характеру требует в значительной мере личного исполнения, и ему просто, кстати, взять на себя всю текучку в комитете. А материально он ничего не потеряет, так как ему будет сохранен сегодняшний заработок.

— А пойдет ли он? Все же потеря квалификации.

— Ну ты же пошел. И я, и другие. Избран, значит, пойдет.

Илья пообещал переговорить в окружкоме. Там сначала удивились. Потом, узнав, что предложение выдвинул сам секретарь, согласились.

Как реагировал Шура, когда я ему сказал? Обрадовался! И с тех пор во всех перипетиях завязавшейся впоследствии борьбы преданно поддерживал меня. И вообще я обнаружил, что рабочие, как правило, с удовольствием уходят на чиновничьи посты. И Соломатина Ивана Федоровича я склонил к вступлению в партию перспективой занять руководящее положение. Не имея намерения сулить это, я просто теоретически обосновывал необходимость вступления в партию кадровых рабочих. И сказал при этом:

— Сейчас требуется такая масса кандидатов из рабочих для выдвижения на руководящую работу, а вы — потомственный пролетарий — вне партии. Для вас, с вашим умом, уже из кандидатов пошлют на выдвижение.

С этого разговора он отказался от своей прежней позиции нежелания вступать в партию, начал посещать партсобрания и вскоре вступил в кандидаты партии. И его действительно из кандидатов послали на руководящий пост в кооперацию.

Более двух лет просекретарствовал я, совмещая это с работой на производстве. Правда, предоставленная мне должность — дежурный слесарь — позволяла время от времени отлучаться по делам комитета. Если рассказывать об этой работе, то опять надо вспомнить энтузиазм и увлеченность претворением в жизнь идей партии. Началась эпоха индустриализации. Гремел из всех микрофонов Турксиб, и начал выходить на авансцену Днепрострой. А там началась массовая коллективизация, Магнитострой...

Вообще это время вспоминается как бурная пора великих дел. Нельзя отрицать — умел Сталин выдвигать все новые большие задачи. И мы как зачарованные взирали на эти манящие дали. Помню,— правда, это было несколько позже описываемого времени, но, по сути дела, это один и тот же период,— какой энтузиазм вызвала сталинская статья «Год великого перелома». Уже резко не хватало хлеба. Появились хлебные очереди, приближалась карточная система и великий голод 30-х годов, а мы увлеченно зачитывались сталин-

ской статьей и радовались: «Да, действительно, великий перелом — ликвидировано мелкое крестьянское хозяйство, устранена сама почва, могущая возродить капитализм. Теперь пусть попробуют тронуть нас империалистические акулы. Теперь прямой путь к полной победе социализма».

В сентябре 1927 года я женился. Отношение к любви у меня оставалось прежнее. И любви поэтому я не искал. Выбирал хорошую жену. Выбрал девушку из прекрасной, очень дружной рабочей семьи. Из самого рабочего низа — родители имели собственную землянку с крохотным огородом на Александровке. Мария, предпоследняя из шести детей (двое сыновей и четыре дочери), стала моей женой, и мы прожили в согласии около 13 лет. Но отсутствие любви себя проявило. Совместная жизнь в конце концов стала невозможной, и мы расстались. А потом ко мне наконец пришла любовь. Та, что одна на всю жизнь.

В августе 1928 года вызвал меня Илья:

— Горком партии по указанию ЦК создает вечерний рабочий факультет. Набор ведется на все четыре курса. Развертывается он на базе Второй трудовой школы. Свяжись с директором и приступайте к вербовке рабочей молодежи. Имей в виду — это важная партийная задача. Мы не можем сейчас, когда развертывается непосредственная борьба за социализм, продолжать опираться на старую интеллигенцию, не можем полностью доверять ей. Нам надо создать свою, пролетарскую интеллигенцию.

Прошло свыше месяца, и у нас состоялась повторная беседа о рабфаке. Илья, когда я зашел к нему, строго спросил:

— Ну, как с вербовкой рабочей молодежи на рабфак?

— Мы провели работу со всеми возможными кандидатами. Провели комсомольские и молодежные собрания.

— Знаю, знаю,— перебил он меня.— Это все мне известно. А меня интересует другое: набрал ли рабфак нужное число учеников?

— Этого я не знаю.

— Зато знаю я. Позорный провал. И 10 процентов не набрали.

— Значит, нет желающих,— раздражаясь его тоном, отвечаю я.— Разъяснительная работа была проведена достаточная.

— Да не разъяснительная работа нужна, людей надо набрать на рабфак в количестве, определенном партией,— повышенным голосом подчеркнул Илья.— Не разъяснять, а пример показать и потребовать с комсомольцев. Ну вот ты сам поступил на рабфак? На какой курс?

— Нет, не поступил. Я хочу квалификацию закрепить.

— Рабочую квалификацию будут другие получать, а вам инженерами становиться надо. А в общем спорить не будем. Есть решение горкома партии — обязать коммунистов и комсомольцев идти на учебу на рабфак.

Меня зачислили на третий курс.

В сентябре 1929 года, едва началась учеба на рабфаке, нас, теперь уже четверокурсников, стали вызывать в здание окружного совета профсоюзов для собеседования. Оказывается, приехала комиссия для вербовки, по решению ЦК КПУ, рабочих от станка в Харьковский технологический институт. Пришла и моя очередь для беседы. В комнате ожиданий я познакомился с перечнем факультетов, поэтому сразу ответил отказом на предложение пойти на учебу в ХТИ без экзаменов.

— Почему? — спросили меня.

— А зачем мне торопиться? Мне осталось несколько месяцев учебы, и после этого я смогу поступить куда захочу. А здесь что? Нет же ни одного факультета, который меня интересовал бы!

— Да что вы! Вы же паровозный машинист, а у нас локомотивный факультет. Будете не водить, а строить локомотивы.

— А я не хочу строить локомотивы. Я хочу мосты строить!

— О, ну тогда вам тем более к нам! Вот, пожалуйста, посмотрите,— он раскрыл книжечку (в ожидании я смотрел список факультетов на одном листике),— на строительном факультете отделение мостов. И руководит этим отделением, если вы знаете мостовиков, крупнейший авторитет, ученый с мировым именем — профессор Николаи.

И я дал немедленное согласие.

Получив направление в институт, я отправился рассчитываться. Снова отрыв от привычного, дорогого, уход в незнаемое, неведомое — лучшее ли? Иное, наверняка. Но прежде я должен рассказать, что цыганкино гадание пришлось вспомнить не только между вагонами. Летом 1926 года Гриша Балашов поехал в свой первый отпуск к себе на родину — в город Балашов, где он не был с 1922 года. Почему так долго не был, я знал. Тогда, после гадания цыганки, шагая на следующее утро рядом со мной на работу, он вдруг сказал: «А ведь цыганка права, я действительно не тот, за кого себя выдаю. Я сын священника. Когда отца начали преследовать и меня выгнали из девятилетки, я уехал к дяде, к учителю, в Балашов. Дядя мне достал справку, как своему сыну, будто я сын учителя. И я уехал. С этой справкой поступил на работу и в комсомол». Теперь отец его умер, и он намеревался подать заявление с разоблачением себя, в надежде, что ему простят его обман. Я посоветовал ему не делать этого. Если же дознаются сами, скажешь, что воспитывался у дяди и считал его отцом. Гриша долго колебался, но в конце концов послушался моего совета. Не знаю почему, но я считал этот обман полностью оправданным.

Собравшись ехать в отпуск, он советовался со мной. Очень опасался, что его в Балашове могут разоблачить. Я же высказал мнение, что такая поездка ему будет полезной. Договорится с дядей о версии «воспитанника» и продемонстрирует продолжение связи с воспитателем. В конце концов Гриша поехал. Но... из отпуска не вернулся. В это время в Балашове создавалась авиационная школа, со временем превратившаяся в прославленное Балашовское летное училище.

Гриша поступил в него. В 1928 году окончил. За отличные успехи оставлен в постоянном составе училища — инструктором. Во время учебно-тренировочного полета отказал мотор. Одновременно что-то случилось с двойным управлением, инструктор не мог перебрать управление на себя. Добрался как-то до управления курсанта и попытался посадить самолет. Но потерпел аварию. Курсант остался жив, а инструктор умер в больнице, не приходя в сознание.

Я узнал о гибели Гриши через месяц. Товарищи нашли у него мое письмо и решили сообщить мне о происшедшем. Странные чувства одолевали меня. Я не мог, просто не в состоянии был поддаваться мистике, но гадание сбывалось столь реально, что объяснить все случайным совпадением я тоже не мог.

Продолжение следует

СОДЕРЖАНИЕ

К СТОЛЕТИЮ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ЗВЕЗДЫ»

К СТОЛЕТИЮ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

К сведению авторов

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов не возвращаются.